ISSN 0130 – 6545

6.1990

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Пейзаж.

На 1-й и 4-й страницах обложки — Натюрморт. Натюрморт.

Цветные иллюстрации номера — работы итальянского художника Джорджо Моранди

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

**Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:**

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная
коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

6 ИЮНЬ 1990

СОДЕРЖАНИЕ

МАРГЕРИТ ДЮРАС — Любовник *(Повесть. Перевод с французского Н. Хотинской)* 5

СТИВЕН ВИНСЕНТ БЕНЕ — Тело Джона Брауна *(Фрагменты поэмы. Перевод с английского Ивана Елагина. Вступление С. Джимбинова)* 47

Рассказы молодых английских писателей

ФИЛИП РИДЛИ. ЭЙДАН МЭТЬЮЗ. ДЖЕЙМС ЛАСДАН. ДЖОАН СМИТ *(Перевод с английского Т. Тульчинской, Ольги Варшавер, А. Волкова, Е. Селецкой)* 55

ГЕРТРУД ФОН ЛЕ ФОРТ — Стихи *(Вступление и перевод с немецкого С. Аверинцева)* 90

ПЕТЕР КАРВАШ — Об умении слушать *(Рассказ. Перевод со словацкого Ю. Преснякова)* 95

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ — Русский отдел *(Роман. Продолжение. Перевод с английского И. Гуровой и Е. Рождественской)* 99

АНА БЛАНДИАНА — Эссе *(Вступление и перевод с румынского Анастасии Старостиной)* 172

ВЕЙККО ХУОВИНЕН — Рассказы *(Перевод с финского Ю. Воронина)* 180

Критика

Классика и мы

ЛЕВ ШЕСТОВ — «Юлий Цезарь» Шекспира 187

НЕЛЛИ МОТРОШИЛОВА — Невыносимое слово «жертва»... 192

Вне жанра

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ — Был ли Фрейд великим писателем? 197

Публицистика

АЛЬБЕР КАМЮ — Человек бунтующий. *(Главы из книги. Окончание. Перевод с французского Ю. Стефанова. Послесловие А. Руткевича)* 202

ГОРДОН БРУК-ШЕПЕРД — Судьба советских перебежчиков *(Перевод с английского Иосифа Косинского и Людмилы Скорописцевой)* 227

К нашим иллюстрациям

К 100-летию со дня рождения

Е. Херсонская — Джорджо Моранди (1890—1964). 252

Авторы этого номера 253

План публикаций на 1991 год 255

© «Иностранная литература», 1990

Художественный редактор Е. Н. Черняев.
Технический редактор Е. П. Поляков

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая, д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 16.04.1990. Подписано в печать 03.07.1990. Формат 70×108¹/₁₆. Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч. изд. л. 28,05.

Тираж 360 000 экз. (1-й завод: 1 — 290 000 экз.). Зак. 1680. Цена 1 р. 80 к.

Отпечатано с матриц типографии ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев-6, ул. Анри Барбюса, 51/2 в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

МАРГЕРИТ ДЮРАС

Любовник

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского Н. ХОТИНСКОЙ

Брюно Нюиттену

Однажды — я была уже в годах — в холле какого-то учреждения ко мне подошел мужчина. Он представился и сказал: «Вы меня не помните, но я знаю вас всю жизнь. Говорят, вы были красивы в юности, а для меня вы красивее сейчас, чем тогда, мне меньше нравилось ваше лицо юной девушки, чем теперешнее — опустошенное лицо».

Я часто вспоминаю этот образ — я одна еще вижу его и никогда никому о нем не говорила. Так он и стоит передо мной, безмолвный, чарующий. Этот свой образ я люблю больше всех других, восхищаюсь им.

Как быстро в моей жизни все стало слишком поздно. В восемнадцать лет было уже слишком поздно. С восемнадцати до двадцати пяти с моим лицом творилось что-то непонятное. В восемнадцать я постарела. Не знаю, может быть, это со всеми так, я никогда не спрашивала. Кажется, кто-то говорил мне, что время, случается, вдруг поражает людей в самые юные, самые праздничные годы жизни. Я постарела внезапно, грубо. Время подчинило себе мои черты одну за другой, я видела, как они меняются, как глаза становятся больше, взгляд — печальнее, рот — решительнее, лоб пересекают глубокие морщины. Не могу сказать, чтобы это меня испугало, наоборот, я наблюдала, как стареет мое лицо, будто читала увлекательную книгу. Я знала, всегда знала: в один прекрасный день старение замедлится и возобновится обычный ход вещей. Знакомые, видевшие меня семнадцатилетней во время моей поездки во Францию, были поражены при новой встрече два года спустя, когда мне исполнилось девятнадцать. Вот это новое лицо у меня и осталось. Оно стало моим лицом. Конечно, оно еще постарело, но куда меньше, чем можно было ожидать. Мое лицо иссечено глубокими морщинами, кожа сухая и потрескавшаяся. Оно не обрюзгло, как некоторые лица с тонкими чертами, но порода, из которой оно состоит, разрушилась. У меня разрушенное лицо.

А пока мне пятнадцать с половиной лет.

Я еду на пароме через Меконг.

Этот образ так и стоит у меня перед глазами все время, пока паром пересекает реку.

Мне пятнадцать с половиной лет, и я живу в краю, где нет времен года, где всегда лето — жаркое, тягучее, однообразное: я живу в теплом краю, где нет весны, нет обновления.

Я в государственном пансионе в Сайгоне. В пансионе я только ем и ночую, а учусь во французском лицее. Моя мать, учительница, хочет,

© 1985. Editions Minuit

чтобы дочь получила среднее образование. Тебе необходимо среднее образование, малышка. Но того, что было хорошо для нее, уже недостаточно для дочки. Сначала среднее образование, а потом конкурс на место преподавательницы математики в лицее. Всегда одна и та же песня, с тех пор как я пошла в школу. Я никогда и не представляла, что мне удастся избежать математики, я была счастлива — пускай мать хоть на что-то надеется. Я видела, как она день за днем устраивает будущее своих детей и свое собственное. Однако настал день, когда она не могла уже строить грандиозные планы для сыновей, и тогда появились другие проекты, она изобретала новые варианты, но они отвечали все той же цели — заполнить, обеспечить наше будущее. Помню, она говорила о бухгалтерских курсах для младшего брата. И об Универсальной школе — каждый год, с самого детства. Надо наверстать упущенное, говорила мать. Это продолжалось три дня, не больше. Не больше. Потом мы переезжали, и разговоры об Универсальной школе прекращались. На новом месте все начиналось сначала. Мать продержалась десять лет. Ничто не могло ее сломить. Младший брат стал скромным бухгалтером в Сайгоне. Школы Виоле[1] в колониях не было, поэтому старшему брату пришлось отправиться во Францию. Он жил там несколько лет, якобы посещая школу Виоле. Но на самом деле не учился. Я думаю, мать об этом знала — ее не проведешь. Но у нее не было другого выхода — следовало во что бы то ни стало отлучить этого сына от двух других детей. На несколько лет он выпал из семейного круга. А мать в его отсутствие купила концессию. Ужасная затея, но у нас, двух оставшихся детей, больший ужас вызвал бы, наверное, только вечно маячащий под окнами убийца, убийца детей, бандит с большой дороги, подстерегающий жертву в ночи.

Мне часто говорили: ты выросла под слишком жарким солнцем, в этом все дело. Но я не верила. Говорили еще: дети, растущие в нищете, рано начинают задумываться. Нет, и это не совсем так. Я видела в колониях опухших от голода детей, похожих на маленьких старичков, но мы-то — нет, мы не голодали, мы были — белые дети; нас мучил стыд, ибо порой приходилось продавать мебель, но мы не голодали; у нас был бой-слуга, и ели мы — да, надо признаться, иногда мы ели всякую гадость, жесткое, невкусное мясо птиц или даже кайманчиков, но его готовил бой, а иногда мы отказывались есть, могли позволить себе такую роскошь — отказаться от еды. Нет, когда мне было восемнадцать лет, что-то произошло, и мое лицо разительно изменилось. Должно быть, ночью. Я боялась самой себя, Бога. Днем я боялась не так сильно, и смерть не казалась мне столь устрашающей. Но и днем мысли о смерти не оставляли меня. Я хотела убить, убить старшего брата, да, я хотела его убить, раз в жизни одержать над ним верх и потом смотреть, как он будет умирать. Я должна была отнять у матери предмет ее любви, наказать ее за то, что она любила его столь неистово и напрасно, а главное, я должна была спасти младшего брата, моего малыша, спасти его от гнета чужой жизни, слишком живой жизни старшего, не дававшей младшему жить, спасти от мрака, заслонявшего ему свет, преступить закон, провозглашенный старшим братом и воплощенный в нем, зверский закон, воплощенный в человеке, превращавший каждый миг существования младшего в сплошной ужас, в ужас перед жизнью, и вот однажды ужас добрался до самого сердца и убил мальчика.

Я и раньше много писала о моей семье, но тогда и мать, и братья были еще живы, и я могла только кружить вокруг да около, не доходя до сути.

---

[1] Школа Виоле — высшее привилегированное учебное заведение (Франция). *(Здесь и далее прим. перев.)*

Истории моей жизни нет. Ее не существует. Никогда не было исходной точки. Нет и жизненного пути, четко прочерченной линии. Только обширные пространства, и хочется, чтобы все поверили, будто там кто-то есть, но это неправда, там нет никого. Я уже описала более или менее подробно историю моей юности, вернее, ничтожно малой ее части, но по ней можно о чем-то догадаться — я имею в виду переправу на пароме через реку. То, что я делаю сейчас,— и похоже на прежнее, и непохоже. Раньше я говорила только о светлых, вернее, озаренных светом периодах моей юности. Сейчас говорю об оставшемся в тени, о скрытом в той же самой юности, открываю вам вещи, чувства, события, о которых раньше умалчивала. Когда я начала писать, моя среда волей-неволей навязывала мне стыдливость. Окружавшие меня люди считали писательский труд все же нравственным занятием. Теперь мне часто кажется, что писать вообще бессмысленно. Иногда я отчетливо понимаю: да, писать бессмысленно, разве только хочется потешить свое тщеславие или просто плыть по течению. Да, наверное, и еще ради того, чему я не подберу названия, быть может, хочется предать огласке собственную жизнь. Но чаще я не задумываюсь о причине, вижу пространство, открытое на все четыре стороны, безо всяких стен, и то, что я пишу, все равно не скрыть, не спрятать, и когда написанное мной прочтут, обнажится вся неуместность текста, даже непристойность,— но дальше я не думаю.

Теперь я вижу: в юности, в восемнадцать лет, даже в пятнадцать мое лицо уже обещало стать таким, каким стало в зрелые годы, когда я много пила. Алкоголь сделал со мной то, чего не сделал Господь Бог, а потом убил меня, вернее, медленно убивал. Но лицо мое состарилось еще до того, как я начала пить. Алкоголь только закрепил эти черты. Как будто во мне угнездился порок — я знала,— но на удивление рано. Так же гнездилось во мне и плотское желание. В пятнадцать лет на моем лице была написана чувственность, хотя я еще не знала наслаждений плоти. Это выражение лица ни от кого нельзя было скрыть. Даже мать, должно быть, замечала его. И братья видели. Вот так все и началось у меня, началось с лица — слишком яркого, утомленного, с запавших глаз, и лицо сложилось преждевременно, до *познания*.

Мне пятнадцать с половиной. Переезжаю на пароме через реку. Я возвращаюсь в Сайгон — для меня это целое путешествие, особенно если я еду автобусом. В то утро я, как обычно, села в автобус в Шадеке — там работает моя мать, она директор женской школы. Кончаются каникулы, уже не помню какие. Я провела их в маленьком домике при школе, где живет мать. И вот возвращаюсь в свой пансион в Сайгоне. Автобус для местных жителей отправляется с рыночной площади Шадека. Мать снова провожает меня до автобуса и вверяет заботам шофера — она всегда вверяет меня заботам шофера на случай аварии, пожара, попытки изнасилования, бандитского нападения или поломки парома. Шофер, как всегда, сажает меня впереди, рядом с собой — тут место для белых.

Во время путешествия вырисовывается этот образ. Он мог бы стать отчетливее. Мог бы существовать, кто-нибудь мог сфотографировать девушку, как фотографировали ее в другое время, при других обстоятельствах. Но такого снимка нет. Кому пришло бы в голову ее фотографировать? Если бы кто-нибудь знал, какую роль сыграет в моей жизни это путешествие, этот переезд через реку! Но тогда никто ничего не знал. Никто, кроме Бога. Потому-то моего образа — и как могло быть иначе? — не существует. Его нет. Он забыт. Неотчетлив. И поэтому незабываем: он воплощает в себе абсолют и сам создает его.

Итак, я пересекаю один из рукавов Меконга на пароме, следующем из Шадека в Виньлонг, а вокруг расстилается широкая долина, покры-

тая илом, и рисовые плантации — это южная часть Кохинхина, Долина птиц.

Я выхожу из автобуса. Облокачиваюсь о парапет. Смотрю на реку. Мать говорит мне иногда, что больше я не увижу в жизни таких красивых рек, таких широких, необузданных, как Меконг и его рукава, бегущие к океану — потоки, которые сгинут в океанских глубинах. Ровная долина тянется насколько хватает глаз, а течение быстрое, словно земля наклонна.

Когда автобус въезжает на паром, я каждый раз выхожу, потому что мне страшно, боюсь, канаты не выдержат и нас понесет к морю. Вглядываясь в стремительное течение, я словно вижу последние минуты моей жизни. Такое течение унесет все что угодно — камень, башню, целый город. В толще вод бушует буря. Там бьется ураган.

На мне поношенное шелковое платье, едва ли не прозрачное от времени. Раньше это платье носила мать, но она перестала его надевать — слишком оно светлое — и отдала мне. Платье без рукавов, с глубоким вырезом. Блекло-желтоватого цвета — таким становится натуральный шелк от долгой носки. Я хорошо помню это платье. И всегда считала, что оно мне очень идет. Я подпоясалась кожаным поясом — должно быть, это пояс одного из моих братьев. Не могу припомнить, какие туфли я носила в те годы, помню только некоторые платья. Кажется, бо́льшую часть времени я ходила в полотняных сандалиях на босу ногу, пока не поступила в лицей в Сайгоне. После, естественно, стала носить туфли. В тот день у меня на ногах, наверное, были туфельки из золотой парчи на высоких каблуках. Не представляю, что еще я могла бы надеть, значит, на мне те самые туфельки. Мать купила их на распродаже уцененных вещей. Когда я иду в лицей, надеваю туфельки из золотой парчи. Да, я хожу в лицей в туфельках, расшитых золотом и украшенных маленькими стразами. Мне так хочется. Я себе нравлюсь только в этих туфельках, даже сейчас я представляю себя в них; первые в моей жизни туфли на каблуках, очень красивые, затмили прежнюю обувь, все белые полотняные сандалии, в которых так удобно было бегать и играть.

Но туфельки — не самое странное и необычное в облике девушки на пароме. Удивительно вот что: в тот день на ней мужская шляпа с плоскими полями, мягкая фетровая шляпа цвета розового дерева, с широкой черной лентой.

Шляпа — последний штрих к этому образу, именно она придает ему явную неоднозначность.

Не помню, как попала ко мне эта шляпа. Даже не представляю, кто мог мне ее подарить. Кажется, ее купила мать и, кажется, по моей просьбе. Единственное, в чем я уверена — на дешевой распродаже. Почему мы ее купили? Ни женщины, ни девушки в колониях не носили в то время мужских шляп. Местные женщины тоже. Вот как, наверное, было: я примерила шляпу просто так, смеху ради, глянула в висевшее в лавке зеркало и увидела, что мое худое лицо и угловатая фигура вдруг преобразились, перестали быть досадными природными недостатками и сделались, наоборот, чудесными дарами, полученными от природы. Я вдруг поняла, что они желанны. Словно увидела себя со стороны — незнакомку, доступную любому, открытую всем взглядам, в городах, на дорогах, на перекрестках — и желанную. Шляпа моя, я ношу ее не снимая, я владею шляпой, которая создает мой образ, и отныне я всегда буду носить ее. Наверное, и с туфельками было что-то похожее, но уже после шляпы. Они не идут к шляпе, но ведь и шляпа не идет к детской фигурке, а значит, они для меня хороши. Я больше не расстаюсь с ними, теперь я всюду хожу в этих туфельках и в этой шляпе — в любую погоду, в любое время, я хожу в них в город.

Я нашла фотографию моего сына, ему двадцать лет, он снят в Калифорнии с Эрикой и Элизабет Леннард, своими приятельницами. Он

жутко тощий, как и я тогда. У него надменная улыбка, похоже, он посмеивается надо всем на свете. Ему хочется походить на юного бродягу. Он нравится себе в этой роли — худой, долговязый, слегка несуразный. Юноша со снимка больше всего похож на ту девочку на пароме, которую так никто и не сфотографировал.

А вот и та, что купила мне розовую шляпу с плоскими полями и широкой черной лентой, вот она, женщина со старой фотографии,— моя мать. Здесь она больше похожа на себя, чем на недавних снимках. Вот двор нашего дома на берегу озера близ Ханоя. Мы все вместе — она и мы, дети. Мне четыре года. Мать в центре снимка. Я вижу: она напряженно держится, не улыбается, ждет — скорее бы щелкнул фотоаппарат. По ее осунувшемуся лицу, по тому, как небрежно она одета, по сонному взгляду я догадываюсь — жарко, она устала, и ей тоскливо. А по тому, как одеты мы, дети, какой у нас жалкий вид, я понимаю: мать в очередной раз впала в то самое состояние. Это случалось с ней нередко, и мы уже тогда, детьми, видели предзнаменования: она будто бы разом теряла все силы и не могла больше ни умывать нас, ни одевать, ни даже кормить. Полный упадок духа, изо дня в день. Правда, иногда к ночи проходило. Да, вот уж повезло — у меня была отчаявшаяся мать. Ее отчаяние было столь глубоко, что вся полнота и радость жизни не могли его рассеять. Не знаю, по каким именно причинам она ежедневно погружалась в эту пучину и отгораживалась от нас. Может быть, сейчас дело в том, что она совершила эту глупость — купила дом, вот он, на снимке, совершенно не нужный нам: ведь отец уже тяжело болен, он умрет через несколько месяцев. А может быть, ей сказали, что она тоже больна болезнью, от которой скоро умрет отец? Судя по дате, похоже. Я не знаю, да она, наверное, и сама не знала, почему ее вдруг охватывала такая безнадежность, такое отчаяние. Уже близкая смерть отца или просто угасание дня? Разочарование в своем браке? В детях? В муже? Или во всем на свете?

Это повторялось каждый день. Я помню точно. Должно быть, на нее находило внезапно. Каждый день ни с того ни с сего накатывало отчаяние. И она не могла больше ничего делать, или ей просто хотелось спать, или, наоборот, хотелось покупать дома, переезжать, а то она просто бывала в плохом настроении, всего-навсего в унынии, а иногда вела себя как королева — дарила все, что у нее просили, принимала все, что предлагали: дом на берегу озера — непонятно, зачем он нам, ведь отец умирает, или шляпу с плоскими полями — малышке так ее хотелось, или золотые туфельки, или еще что-нибудь в этом роде. Или — ничего, или — уснуть. Умереть.

Я никогда не видела фильмов, где индианки носят такие же шляпы с плоскими полями и косы, перекинутые на грудь. Сегодня я тоже заплела косы, против обыкновения не заколов их. Однако они не такие, как в кино. Две длинные косы перекинуты на грудь, как у индианок, которых я никогда не видела, но это детские косы. Получив в подарок шляпу, я перестала закалывать волосы — неудобно. Теперь я с силой стягиваю их, зачесываю назад, приглаживаю, чтобы не выбивались. Каждый вечер перед сном расчесываю их, заплетаю косы, как учила меня мать. Волосы тяжелые, вьющиеся, расчесывать их больно; медно-рыжая масса спускается ниже пояса. Мне часто говорят: волосы — лучшее, что у тебя есть, и я понимаю, подразумевается — я некрасива. Я остригу свои чудесные волосы, когда мне будет двадцать три, в Париже, через пять лет после окончательного разрыва с матерью. Я сказала: режьте. И парикмахер стал резать. Сперва начерно, одним махом; я почувствовала, как ножницы холодят шею. Волосы упали на пол. Меня спросили, не возьму ли я их, предложили завернуть. Я отказалась. С тех пор никто не говорил, что у меня красивые волосы, то есть о них вообще не упоминали, как бывало раньше, прежде чем я остриглась. С тех пор говорили: у нее красивые глаза. И приятная улыбка.

Но вот посмотрите, я на пароме, и пока у меня длинные волосы. Мне пятнадцать с половиной. Я уже крашусь. Мажу лицо кремом «Токалон», чтобы скрыть веснушки на щеках, под глазами. Поверх крема кладу пудру телесного цвета марки «Убиган». Это пудра моей матери, она пользуется ею, когда ходит на приемы в Главное управление. Сегодня у меня и губы накрашены — темно-вишневой помадой. Не знаю, где я ее взяла, может быть, Элен Лагонель стащила у своей матери, не помню. Я не душусь — у нас есть только одеколон и мыло «Пальмолив».

На пароме рядом с автобусом стоит большой черный лимузин. За рулем — шофер в белой ливрее. Да, это черный, похожий на катафалк автомобиль из моих книг. Марки «Моррис Леон-Болле». Черная «Ланчиа» посла Франции в Калькутте еще не попала в литературу.

Между шофером и пассажирами — стеклянная перегородка. Есть еще откидные сиденья. Внутри просторно, как в комнате.

В лимузине сидит элегантный мужчина и смотрит на меня. Не белый, но одет по-европейски — в легкий светлый костюм, какие носят банкиры в Сайгоне. Он так и ест меня глазами. Впрочем, на белых девушек в колониях всегда смотрят, даже на двенадцатилетних девочек. Последние три года я замечаю, что и белые мужчины на меня смотрят, оглядываются на улице, а друзья матери любезно просят зайти к ним выпить чаю, пока их жены играют в теннис в спортивном клубе.

Я могла бы ошибиться, решить, будто я тоже красива, как женщины, на которых оглядываются, как красивые женщины — ведь на меня действительно оглядываются многие. Но я-то знаю, дело тут не в красоте, а в чем-то другом, да, в другом. Быть может, это особый дар: я кажусь такой, какой мне хочется казаться, и красивой — если надо, чтобы я была красивой, и хорошенькой — для семьи, только для семьи, не более того, я всегда могу сделаться такой, какой окружающие хотят меня видеть. И поверю, что это действительно я. Поверю, что очаровательна. И едва поверю, стану для человека такой, какую ему хочется видеть, это ясно. Очаровательной я буду даже при мыслях о смерти, об убийстве старшего брата. Эта смерть касается только матери. Я говорю: «очаровательная», как говорили взрослые при мне, при нас, детях.

Я уже не ребенок. Мне кое-что известно. Известно, что женщину делают красивой не платья, не косметика, не дорогие кремы, не редкие, изысканные туалеты. Я знаю, дело не в этом. Но в чем — не знаю. Знаю только: все женщины не там ищут. На улицах Сайгона, в факториях среди джунглей я видела много белых женщин. Есть очень красивые, белокожие, здесь они заботятся о своей красоте больше, чем где бы то ни было, особенно те, что живут в факториях. И ничего не делают, занимаются только собой; берегут себя для Европы, для белых любовников, для отдыха в Италии, для долгого отпуска — шесть месяцев раз в три года, когда они смогут наконец рассказать знакомым о том, как им живется здесь, рассказать о загадке жизни в колониях, о том, как работают их мужья, о своих расторопных слугах-боях, о буйной зелени, о балах, белых виллах — таких огромных, что там можно заблудиться,— где живут служащие самых отдаленных факторий. Женщины ждут. Носят грошовые платья. Смотрятся в зеркала. В полумраке белых вилл они подолгу смотрятся в зеркала, думая о будущем и чувствуя себя героинями романов, а их гардеробы набиты ненадеванными платьями, они нанизывают платья на вешалку, как на нить времени один за другим — долгие дни ожидания. Некоторые сходят с ума. Иногда их мужья гуляют с молоденькими служанками, которые умеют держать язык за зубами. Гуляют. Словечко припечатывает звонко, будто пощечина. Некоторые кончают счеты с жизнью.

Эти женщины не удовлетворены собой и сами в этом виноваты: я всегда знала, в чем их главная ошибка.

Нельзя вызвать желание. Либо оно есть в женщине, либо нет. Его видишь с первого взгляда — или же понимаешь, что его нет и не было. Сразу чувствуется в женщине сексуальная привлекательность или ее отсутствие. И это тоже пришло ко мне еще до *познания*.

Одна только Элен Лагонель избежала ошибки. Она навсегда застряла в детстве.

У меня долго не было своих платьев. Все мои платья похожи на мешки — они перешиты из старых платьев матери, тоже похожих на мешки. Правда, кроме тех, что сшила мне До. До — это наша экономка. Она не покинет мать, даже когда та вернется во Францию, даже когда в Шадеке мой старший брат попытается изнасиловать До в домике при школе и даже когда матери нечем будет ей платить. До воспитывалась в миссии монахинь; она умеет вышивать и закладывать складки, она шьет, как не шьют уже несколько столетий, иголкой не толще волоса. До искусна в вышивке, и мать велит ей вышивать простыни и покрывала. Она хорошо закладывает складки и по просьбе матери шьет для меня платья с плиссированными юбками и платья с воланами, они все равно сидят на мне мешком, таких платьев давно никто не носит, они слишком детские: два ряда складок спереди и отложной воротничок, или кофта с баской, или косые воланы, «как носят в Париже». И я ношу эти платья, как мешки, подпоясываюсь ремнем, отчего они окончательно теряют форму, и сносу им нет.

Пятнадцать с половиной лет. Тело худенькое, почти тщедушное, еще детские груди, бледно-розовая пудра и яркая помада. И наряд, который мог бы вызвать смех, однако никто над ним не смеется. Я знаю: в этом я вся. Пока ничего не ясно, но в моем образе уже есть все, чему суждено сбыться, я вижу это по глазам людей, в их глазах — моя судьба. Я хочу писать. Я уже сказала матери: единственное, чего я хочу,— это писать. Сначала она не ответила. Потом спросила: что писать? Книги, романы, сказала я. Она ответила, как отрезала: выдержишь конкурс на место преподавателя математики, тогда пиши, если хочешь, меня это не касается. Она — против, это недостойное занятие, ну, разве это работа? Так, забава, позже она скажет: ребяческие бредни.

Девочку в фетровой шляпе освещают солнечные блики, играющие на поверхности мутной воды, она стоит одна на палубе, облокотясь о перила. От ее мужской шляпы словно падает розовый отсвет на все вокруг. Других красок нет. Подернутое дымкой солнце над рекой, такое жаркое солнце, берега тоже в дымке, река уходит куда-то за горизонт. Она течет беззвучно, без малейшего шума, как кровь в жилах. Ни ветерка над водой. Единственный звук — шум мотора старого парового двигателя, который вечно барахлит. Время от времени словно бы порыв ветра доносит голоса. И еще — лай собак, отовсюду, из тумана, из всех деревень. Девочка знает паромщика с детства. Он улыбается ей и спрашивает: а как поживает госпожа директриса? Говорит, что часто видит ее по вечерам, когда она едет в Камбоджу на свою плотину. У мамы все в порядке, отвечает девочка. За бортом — река, она течет вровень с берегами, над стоячей водой рисовых полей, но их воды не смешиваются с ней. Река несет все попавшееся ей по дороге от самого Тонлесапа, от камбоджийских лесов. Она уносит что попало: останки соломенных хижин, стволы деревьев, головешки — следы пожаров, дохлых птиц, дохлых собак, тигров, буйволов, утопленников, бог знает что еще, островки водяных цветов — все плывет к Тихому океану, не успевая утонуть, все уносит бушующая в глубинах буря, невидимое, но головокружительно быстрое течение, все уплывает вниз по реке.

Я ответила ей: единственное, чего я хочу в жизни,— писать, писать и только, больше ничего. Знаю — она ревнует. Ничего не сказала, быстро взглянула — и тут же отвела глаза, слегка пожала плечами, никогда не забуду. Я уйду от нее первой. Но пройдет еще несколько лет, прежде чем она окончательно потеряет меня, потеряет свою девочку, дочку. За сыновей она может не бояться. Но дочь в один прекрасный день уйдет, сумеет вырваться, и мать это знает. Девочка — лучшая в классе по французскому языку. Директор лицея говорит: ваша дочь, сударыня, лучшая ученица по французскому. Мать ничего не отвечает, ничего, она не рада, ведь это не сыновья лучшие по французскому, вот досада-то, и моя мать, любовь моя, спрашивает: а по математике? Ей говорят: пока нет, но это придет. Мать снова спрашивает: когда? Ей отвечают: когда она сама захочет, сударыня.

Мать, любовь моя, до чего же она нелепа в бумажных чулках, заштопанных руками До,— здесь, в тропиках, она еще носит чулки, чтобы выглядеть настоящей дамой, директрисой школы; а эти ее жалкие платья, бесформенные, чиненые-перечиненые верной До — мать, похоже, только что покинула свою родную ферму в Пикардии, где у нее полным-полно кузин, она изнашивает платья до лохмотьев, считает, что все нужно заработать, все, а туфли, ее туфли — совсем стоптанные, ей неудобно ходить, она ставит ноги как-то боком, а волосы гладко зачесаны и стянуты в пучок, как у китаянок,— нам стыдно за нее, мне стыдно, когда я вижу ее на улице перед лицеем — она подъезжает в своем «Б-12», и все смотрят на нее, все, а она никогда ничего не замечает, ничего, ну хоть запирай ее, хоть бей, хоть убей. Она смотрит на меня и говорит: ты, может быть, выпутаешься. Вот ее неотступные думы, ее идея-фикс. Не важно, достигнешь ли ты чего-нибудь, важно вырваться из этих пут.

Когда отчаяние отступает и мать снова вздохнет посвободнее, она замечает мою мужскую шляпу и золотые туфельки. Спрашивает: а это что еще? Ничего особенного, отвечаю я. Она внимательно смотрит на меня и улыбается: ей нравится мой наряд. Недурно, говорит мать, очень даже недурно, ты сразу так изменилась. Она не спрашивает меня, кто все это купил: кому же, кроме нее. Знает, это на нее похоже, когда на нее находит, можно выпросить все что угодно, и она не откажет. Я говорю: с распродажи уцененных вещей на улице Катина. Мать ласково смотрит на меня. У девочки богатая фантазия, думает она, совсем неплохо — надо же придумать так одеться. Мать не только позволяет мне носить шутовской, почти неприличный наряд, она, сама одетая как вдова, как монашка, в душе даже одобряет это неприличие.

От нашей нищеты никуда не денешься, о ней напоминает и мужская шляпа — ведь мы нуждаемся, и не важно, каким путем придут в дом деньги, так или иначе без них нельзя. А матери не на что рассчитывать, вокруг — пустыня, от сыновей ждать нечего, нет смысла, и от солончаков тоже. Деньги потрачены впустую, это конец. Последняя надежда на малышку; девочка растет, и, быть может, когда-нибудь благодаря ей в доме и появятся деньги. Поэтому, сама того не сознавая, мать позволяет девочке ходить в наряде маленькой проститутки. Поэтому девочка уже прекрасно во всем разбирается, умеет использовать оказанное ей внимание, зная — это поможет добыть денег. А мать понимает и улыбается.

Когда девочке захочется денег, мать не будет ей мешать. Дочь скажет: я попросила у него пять тысяч пиастров, чтобы уехать во Францию. Мать ответит: да, на эти деньги ты сможешь устроиться в Париже. Да, скажет она, пять тысяч пиастров — то, что нужно. Девочка знает что делает, мать и сама посоветовала бы ей так поступить, если бы осмели-

лась, если бы хватило сил, вот только думать об этом изо дня в день так больно, так нестерпимо больно.

Я уже писала в книгах о моем детстве, но почему-то не могу вспомнить, о чем умолчала, о чем рассказала: кажется, я писала о том, как мы все любили мать, но не помню, говорила ли я, как мы ненавидели ее, как мы все любили друг друга, и эта история — о разрушении и смерти,— история нашей семьи, где живы и любовь и ненависть, и я еще не могу постичь всего умом, истина пока недоступна моему пониманию, ибо прячется где-то внутри меня самой, истина слепая, как новорожденный младенец. Да, за порогом ее начинается молчание. Там действительно царит молчание, и я неустанно буду вслушиваться в него. Эти одержимые дети так и стоят у меня перед глазами, но я не могу приблизиться к тайне. Я всю жизнь думала, что пишу, но не писала, думала, что люблю, но не любила, всю свою жизнь я только ждала перед закрытой дверью.

В тот день, когда я переезжаю через Меконг, когда на пароме стоит черный лимузин, мать еще не отказалась от концессии на плотину. Время от времени мы еще бываем там, как раньше, втроем: выезжаем поздно вечером и остаемся на несколько дней. Мы сидим на веранде нашего бунгало и смотрим на гору Сиам. Потом уезжаем обратно. Матери нечего больше там делать, но она то и дело ездит туда. Мы с младшим братом сидим рядом с ней на веранде, лицом к лесу. Мы уже большие, мы не купаемся в озере, не играем в охоту на черную пантеру в болотах близ устья реки, не ходим ни в лес, ни в деревни, где выращивают перец. Все вокруг нас тоже стало другим. Нет уже ребятишек на буйволах, нет ни у реки, ни в деревнях. Нами овладело то же странное состояние, мы погрузились в оцепенение, как и мать. Мы ничему не научились, только смотреть на лес, и ждать, и плакать. Земли в низине окончательно загублены, а наверху слуги еще возделывают какие-то клочки; мы оставляем им жалкий урожай риса, и они живут здесь, не получая никакой платы, зато в хороших хижинах, которые велела для них выстроить мать. Они любят нас, будто мы одна семья, знают, что должны охранять бунгало,— и охраняют его. Старая посуда вся в целости. Прогнившая от дождей крыша едва ли не рушится. Но мебель сверкает чистотой. И бунгало стоит, его видно с дороги, четко, как на картинке. Каждый день двери открывают, чтобы ветерок подсушил отсыревшее дерево. И каждый вечер запирают, чтобы в дом не забрели собаки или контрабандисты, скрывающиеся в горах.

Вот, значит, я познакомилась с богатым мужчиной, владельцем черного лимузина, не в кафетерии в Реаме, через два или три года после того, как мы потеряли концессию. Так я писала, но на самом деле это произошло на пароме, в день, о котором я сейчас рассказываю, под жарким солнцем, подернутым дымкой.

Через полтора года после этой встречи мать вернется с нами во Францию. Она продаст всю мебель. И в последний раз поедет на плотину. Сядет на веранде лицом к заходящему солнцу, и мы в последний раз посмотрим на Сиам, в последний раз, больше этого не будет, даже когда она снова уедет из Франции и вздумает вернуться в Индокитай, чтобы получить пенсию в Сайгоне, она уже не вернется к этой горе, к желто-зеленому закатному небу над лесом.

Надо еще сказать, что под старость мать снова начала работать. Она открыла школу французского языка, «Новую французскую школу»,— это позволило ей частично оплачивать мою учебу и до конца своих дней кормить старшего сына.

Младший брат умер — сгорел в три дня от бронхопневмонии, сердце не выдержало. Вот тогда я и рассталась с матерью. Это случилось во время японской оккупации. Все было кончено. Я больше никогда не задавала ей вопросов ни о нашем детстве, ни о ней самой. Для меня она умерла вместе с младшим братом. И старший брат тоже. Мне так и не удалось превозмочь ужас, который вдруг объял меня. И мне больше нет до них дела. С тех пор я не желаю ничего о них знать. Понятия не имею, как мать ухитрилась заплатить все долги ростовщикам; просто однажды они не пришли. Так и вижу их перед собой. Они сидят в маленькой гостиной нашего дома в Шадеке, в белых набедренных повязках, ни слова не говорят и сидят так месяцами, годами. Я слышу, как мать плачет и бранится в своей комнате, не хочет выходить, кричит: оставьте меня в покое,— но они будто не слышат, сидят спокойно, улыбаются и не уходят. А потом в один прекрасный день их словно ветром сдуло. И мать, и оба брата уже умерли. Вспоминать тоже слишком поздно. Я не люблю их больше. Не знаю даже, любила ли когда-нибудь. Я рассталась с ними навсегда. Память не сохранила ни запаха кожи, ни цвета глаз. Я не помню голоса матери, разве только одно — как тихо она говорила, когда под вечер ее одолевала усталость. Ее смеха я не помню, и криков тоже. Все кончено, не помню ничего. Поэтому мне так легко сегодня писать о ней — выходит так длинно, так подробно: она попросту обратилась в беглый почерк.

Мать жила в Сайгоне с 1932 по 1949 год. В декабре 1942 года умер младший брат. Она уже не могла сдвинуться с места. И осталась там, у его могилы, как говорила сама. Но потом все же вернулась во Францию. Мы встретились, когда моему сыну исполнилось два года. Слишком поздно, чтобы вновь обрести друг друга. Обе поняли это с первого взгляда. Что там было обретать? Она всецело принадлежала старшему сыну, остальному давно пришел конец. Она поселилась в департаменте Шер-и-Луара, в за́мке «под Людовика XV», там и умерла. С ней жила До. Мать все еще боялась ночи. Она купила ружье. До охраняла ее сон, сидя с ружьем в мансарде под крышей. Еще мать купила для старшего сына участок земли возле Амбуаз. Там были леса, он велел их срубить на продажу. И пошел играть в баккара в парижском ночном клубе. Все леса он проиграл в одну ночь. Вот это воспоминание, похоже, волнует меня: до слез жалко старшего брата, проигравшего деньги за лес. Я знаю, что утром его нашли на Монпарнасе, у кафе «Купо́ль»: он лежал в своей машине и говорил, что хочет умереть. Как было дальше, не знаю. Но мать — невозможно вообразить, что она сделала со своим за́мком, и все для старшего сына, для своего ребенка, который в пятьдесят лет не научился зарабатывать деньги. Купила электрический инкубатор и установила его в большой гостиной на первом этаже. Вылупилось сразу шестьсот цыплят — сорок квадратных метров живой, копошащейся массы. Она не сумела как следует отрегулировать обогрев, цыплята вылупились слишком рано, ни один не мог есть. Шестьсот цыплят с разинутыми, незакрывающимися клювами, все умрут от голода; больше она не будет связываться с инкубатором. Я приехала в замок, когда они вылупились,— это был настоящий праздник. А потом — дохлые цыплята и несъеденный корм так воняют, что просто невозможно есть в этом замке, к горлу подступает тошнота.

С ней были До и ее сын, которого она называла «дитя мое», она умерла в большой комнате на втором этаже, куда пускала на ночь баранов, четыре-шесть баранов лежали у ее постели в морозные ночи, в последние зимы.

Здесь, в своем последнем доме на берегу Луары, когда она наконец успокоилась и перестала ездить туда-сюда, когда пришел конец этой семье, я впервые в жизни отчетливо увидела безумие. Увидела, что моя

мать совершенно безумна. Я поняла: До и старший брат всегда знали об этом. А я нет. Мне никогда не приходило в голову, будто мать безумна. Она такая от рождения. Это у нее в крови. Безумие было для нее не болезнью, а нормальным состоянием. Она жила, полагаясь на До и старшего сына. Никто больше и представления об этом не имел. У нее всегда было много друзей, дружбу она хранила долгие годы, и в то же время появлялись новые знакомые, часто совсем молодые люди, приезжавшие служить в фактории в джунглях, да и потом, в Турени тоже — среди них было много отставных колониальных чиновников. Люди всегда тянулись к ней, независимо от ее возраста, их привлекал ее ум — такой живой ум, говорили они, ее веселость, естественный нрав, не покинувшие ее и в старости.

Я не знаю, кто сделал снимок, на котором так ясно видно отчаяние. Тот, где мы во дворе дома в Ханое. Может быть, отец щелкнул фотоаппаратом в последний раз. Через несколько месяцев его отзовут во Францию — по состоянию здоровья. Перед этим он получит новое назначение — в Пномпень. И пробудет там несколько недель. Жить ему осталось меньше года. Мать откажется последовать за ним во Францию, останется там, куда мы переедем, не сдвинется с места из Пномпеня, из великолепной резиденции на берегу Меконга, в бывшем дворце камбоджийского короля, посреди огромного парка, растянувшегося на много гектаров, где матери всегда страшно. Ночью мы сами ее боимся. Спим вчетвером в одной постели. Мать говорит: я боюсь ночи. В этом дворце она узнает о смерти отца. Узнает до прихода телеграммы, как только увидит знак и поймет его, увидит птицу, которая среди ночи будет, обезумев, метаться и биться в большом кабинете в северной части дома — дома моего отца. А еще за несколько дней до смерти мужа мать увидит призрак отца — своего отца. Она зажигает свет. Он здесь. Стоит у стола в большой восьмиугольной гостиной. Смотрит на нее. Я помню крик, помню, как она звала на помощь. Она разбудила нас, рассказала про призрак, рассказала даже, как он был одет — в серый праздничный костюм, как стоял и смотрел ей в глаза. Она говорит: я позвала его, словно раньше, в детстве. И совсем не испугалась. Бросилась к призраку, и тут он исчез. Оба, отец и дед, умерли в дни и часы, когда появлялись птицы и призраки. Наверное, поэтому мы так восхищались матерью — она знала все на свете, даже смерть.

Элегантно одетый мужчина вышел из черного автомобиля и закурил английскую сигарету. Он смотрит на девушку в мужской фетровой шляпе и золотых туфельках. Медленно приближается к ней. Заметно, что он смущен. Сначала даже не улыбается, только предлагает ей сигарету. Пальцы его слегка дрожат. Между ними преграда — ведь он не белый, он должен еще преодолеть этот барьер, потому его и бьет нервная дрожь. Она отвечает, что не курит: нет, благодарю вас. И ничего больше, не просит оставить ее в покое. Теперь ему уже не так страшно. И он говорит ей: это словно чудесный сон. Она не отвечает. Действительно, стоит ли отвечать, и что, собственно, она может сказать? Девушка ждет. Тогда он спрашивает: а откуда вы едете? Она объясняет — ее мать преподает в женской школе в Шадеке. Он на минуту задумывается, а затем говорит, что много слышал о ее матери; надо же, не повезло ей с этой концессией, кажется, в Камбодже, не так ли? Да, правда.

Он повторяет: вот удивительно, встретить вас на этом пароме. В столь ранний час, такая красивая девушка, нет, вы себе не представляете, до чего это неожиданно — белая девушка в автобусе для местных.

Он говорит: шляпа ей идет, очень идет, это даже... ммм... оригинально... мужская шляпа, ну и что? Такая хорошенькая девушка может все себе позволить.

Она смотрит на него. И спрашивает, откуда он. Недавно из Парижа, отвечает он, учился там, а вообще-то тоже живет в Шадеке, на берегу

реки, знаете, большой дом с террасами, и перила выложены голубой плиткой. Она спрашивает, кто он. Китаец, его родители из Северного Китая, из Фушуня. Позволит ли она отвезти ее в Сайгон? Девушка кивает. Он велит шоферу взять ее вещи из автобуса и отнести их в черный автомобиль.

Китаец. Сын одного из немногих китайских дельцов, которые держат в своих руках все дома, всю недвижимость в колонии. И так случилось, что в тот день молодой человек пересекал Меконг, направляясь в Сайгон.

Она садится в черный автомобиль. Хлопает дверца. Вдруг почему-то возникает смутное чувство потерянности, странной усталости; блеск солнечных лучей на воде слегка потускнел, шума уже не слышно, всю ее будто бы окутал густой туман.

Я больше никогда не сяду в автобус для местных. Отныне в моем распоряжении лимузин, на нем я буду ездить в лицей и возвращаться в пансион. Буду обедать в лучших ресторанах города. И всегда жалеть о том, что я делаю, от чего отказываюсь и что принимаю, и хорошее и плохое, автобус, шофер, с которым мы обменивались шутками, старухи на задних сиденьях, постоянно жующие бетель, детишки — на полках для багажа, моя семья в Шадеке, ужас ее существования и ее неколебимое молчание.

Он продолжал разговор. Сказал, что скучает по Парижу и здесь ему не хватает очаровательных парижанок, свиданий, вечеринок, кутежей — о-ля-ля! — да и «Куполь», и «Ротонды» (лично я, знаете, предпочитаю «Ротонду»), и ночных кабаре, короче — всей этой «шикарной» жизни, которой он жил два года. Она внимательно слушала, вылавливая из сказанного сведения о его богатстве и прикидывая, сколько же у него может быть миллионов. Он принялся рассказывать о своей семье. Мать давно умерла, он — единственный ребенок. Остался только отец, ему-то и принадлежат все деньги. Но вы знаете, какой он — вот уже десять лет сидит на одном месте, курит трубку с опиумом да глядит на реку, но все равно никогда не выпустит из рук бразды правления. Она говорит: понятно.

Старик не позволит сыну жениться на девушке с белой кожей, на этой маленькой проститутке из Шадека.

Все началось задолго до того, как он решился заговорить с белой девочкой, стоявшей у перил парома; началось, когда он вышел из автомобиля и сделал первый шаг к ней. Она знала — уже тогда знала, что ему страшно.

Да, поняла с первой минуты, и еще поняла: он целиком в ее власти. А значит, и любой другой мужчина может при случае оказаться в ее власти. И еще она поняла: сегодня настало время сделать то, что она обязана сделать. И знать об этом не должны ни ее мать, ни братья. Захлопнувшаяся дверца черного автомобиля отрезала ее от семьи раз и навсегда. Мать и братья не должны отныне знать, что с ней станется. Ее могут отнять у них, увести, оскорбить, развратить — теперь это не их дело. Это больше не касается ни матери, ни братьев — так суждено. И девочка в черном автомобиле уже готова расплакаться.

Она — дочь и сестренка — будет теперь связана только со своим первым мужчиной, подвернувшимся ей на пароме.

Это случилось очень скоро. Каждый день он встречал ее у дверей лицея и отвозил в пансион. А однажды в четверг после полудня подъехал к пансиону. И увез ее в черном автомобиле.

Они приехали в Шолон. Остановились напротив бульваров, соединяющих китайские кварталы с центром Сайгона. Широкая, словно

в Америке, улица кишит трамваями, рикшами, автомобилями. Только что перевалило за полдень. Девушка улизнула с прогулки, обязательной для воспитанниц пансиона.

Квартирка в новом доме в южной части города. Обставлена, можно сказать, на скорую руку, в основном мебелью в стиле «модерн». Он говорит: я не сам выбирал мебель. В кабинете полумрак, но поднять жалюзи она не просит. У нее нет никакого определенного чувства — ненависти или отвращения; но это, наверное, уже и есть желание? Она не знает. Когда он вчера вечером попросил ее прийти, она сразу же согласилась. Девушка чувствует, что оказалась именно там, где ей следует быть, да, именно там. Ей немножко страшно, видно, так и должно быть, так бывает со всеми, почему же не с ней? Она внимательно всматривается, вслушивается, будто впитывает в себя свет и уличный шум, проникающий в комнату. А его бьет дрожь. Сначала он смотрит на нее, словно ждет, чтобы она заговорила первой, но она молчит. Он тоже не двигается, не пытается раздеть ее и наконец говорит, что любит ее, любит как безумный. Он произносит это тихо-тихо. И опять умолкает. Девушка не отвечает. Она могла бы сказать, что не любит его, но молчит. И вдруг понимает, вот так, сразу, что он не знает ее и никогда не узнает, что он просто не может себе представить такую бездну порочности. И, как ни старайся, ее не покорить, никогда она не будет принадлежать только ему... Она все решает сама. Уже решила. Он-то не знает, но она поняла: тогда, на пароме, он уже нравился ей. Да, он ей нравился, и все теперь зависит только от нее.

Она говорит: было бы лучше, если бы вы меня не любили. Ну, ладно, вы любите меня, но все равно ведите себя как с другими женщинами. Он смотрит на нее с ужасом и спрашивает: вы этого хотите? Она кивает. Ему уже больно, и здесь, в комнате, он впервые не скрывает этого. Он говорит, что она никогда его не полюбит, он уже в этом уверен. Девушка не возражает. Сначала говорит: не знаю. Потом слушает молча.

Он говорит: я так одинок, просто чудовищно одинок со своей любовью. Она отвечает, что тоже одинока. И не продолжает. Он говорит: вы с кем угодно пошли бы так же, как пошли сюда со мной. Откуда мне знать, отвечает она, я еще никогда не ходила с мужчиной к нему домой. Она просит его ничего больше не говорить, хочет, чтобы он все делал как с другими женщинами, которых приводит сюда. Молит только об этом.

Он сорвал с нее платье и отшвырнул, сорвал бе́лые трусики и несет ее, обнаженную, на постель. И там отворачивается к стене и плачет. А она привлекает его к себе тихонько, терпеливо и начинает медленно раздевать. С закрытыми глазами. Медленно-медленно. Он пытается ей помочь. Не шевелись, просит она. Я сама. Я хочу сама, говорит она. И раздевает его. Потом просит повернуться, и он поворачивается на постели, но совсем тихонько, легко-легко, будто боится разбудить ее.

Восхитительно нежная кожа. Его тело. Худое, слабое, лишенное мускулов, словно тело больного или выздоравливающего, безволосое, в нем нет ничего мужского, кроме полового признака, такое хрупкое, незащищенное, страдающее. Она не видит его лица. Не смотрит на него. Только гладит. Гладит нежную оболочку члена, ласкает золотистую кожу, отдается новому, незнакомому ощущению. Он стонет, всхлипывает. Захлебывается своей невыносимой любовью.

И, не переставая плакать, делает это. Сначала ей больно. Но потом боль исчезает, уступает место чему-то другому, медленно покидает ее, тонет в волне наслаждения. Наслаждение окутывает ее.

Словно безбрежное, ни с чем не сравнимое море.

Уже образ девочки на пароме позволял предугадать эту минуту.

Внезапно через комнату проходит призрак женщины в заштопанных чулках. Я наконец вижу ее девочкой. Сыновья и тогда все знали. А дочь — еще нет. Они никогда не будут говорить друг с другом о матери, никогда не поделятся отлучающим их от нее, последним, окончательным известием о детстве матери.

Мать никогда не знала наслаждения.

Я понятия не имела, что от этого идет кровь. Он спрашивает: тебе было больно? Я отвечаю: нет, и он говорит, что счастлив.

Он вытирает кровь, моет меня. Я смотрю, как он это делает. Такое чувство, будто он возвращается ко мне, вновь становится желанным. Я только не понимаю, как у меня хватило сил пойти наперекор запрету матери. Хладнокровно, решительно. Как это мне удалось «довести дело до конца».

Мы смотрим друг на друга. Он целует мою грудь, живот. Спрашивает, почему я пришла. Я говорю: так было нужно, это вроде бы долг. Мы впервые беседуем. Я рассказываю ему о своих братьях. И говорю, что у нас нет денег. Ничего больше нет. Он знает старшего брата, встречал его в курильнях в Шадеке. Я рассказываю: брат крадет у матери деньги на опиум, обворовывает слуг, а иногда хозяева курилен приходят и требуют у матери долги. Потом рассказываю о плотинах. Мать умрет, говорю я, она больше не выдержит. Наверное, приближающаяся смерть матери как-то связана с тем, что произошло со мной сегодня.

Я вдруг понимаю, что хочу его.

Ему жаль меня; нет, говорю я, нет, не надо меня жалеть, никого не надо жалеть, кроме моей матери. Он говорит: ты пришла, потому что у меня есть деньги. Я отвечаю, что хочу его вместе с деньгами, с автомобилем и с деньгами, и откуда мне знать, что́ бы я сделала, если бы все было иначе. Он говорит: я хотел бы тебя увезти, уехать бы вдвоем. Я отвечаю: пока еще не могу покинуть мать, иначе умру с горя. Он вздыхает: не повезло мне с тобой, но я все равно дам тебе денег, не беспокойся. Он снова вытянулся на постели. Мы умолкаем.

Громкий уличный шум врывается в окно, он сохранился в памяти — так в кинофильме слишком громкий звук заглушает все. Я очень хорошо помню: в комнате темно, мы лежим молча, и нас захлестывает шум большого города, комната плывет в этом гуле, погруженная в городскую суету. В окнах нет стекол, только шторы и жалюзи. На шторах мелькают тени людей, идущих мимо по залитым солнцем тротуарам. Огромные толпы людей. От жалюзи на тенях ровные полосы. Стук деревянных башмаков отдается в мозгу, голоса пронзительные, по-китайски можно только кричать, такими я представляю себе языки пустынь, это невероятно чужой мне язык.

День клонится к вечеру, за окном нарастает шум, толпа велика, разноголоса. Ночью городом правят развлечения и удовольствия. Вот сейчас сядет солнце и наступит ночь.

Нашу кровать отделяют от улицы лишь жалюзи да полотняная штора. Никакой преграды между нами и людьми на улице нет. Но они и не подозревают о нашем существовании. А до нас доносится гул их голосов, звук их шагов, подобный зову сирены, печальный, надломленный голос, которому нет ответа.

В комнату проникают запахи леденцов, поджаренных земляных орехов, китайского супа, жареного мяса, трав, жасмина, пыли, курений, дымок от горящих углей — огонь здесь носят в корзинах и продают на улицах, в городе пахнет деревней, затерянной в джунглях, пахнет лесом.

Я вдруг вижу его в черном шелковом халате. Он сидит в кресле, пьет виски и курит.

Он говорит, что я спала, а он тем временем принял душ. Я и не заметила, как уснула. Он зажигает лампу на низком столике.

И вдруг я думаю о нем: это человек с устойчивыми привычками, он, наверное, довольно часто приходит в эту комнату и много занимается

любовью; этого мужчину преследует страх, он занимается любовью с разными женщинами, чтобы одолеть свой страх. Я говорю: мне нравится думать, что у тебя много женщин, нравится принадлежать к их числу, ничем не выделяясь. Мы смотрим друг на друга. До него доходит смысл сказанного. Взгляд сразу становится другим, глаза мутнеют, в них — боль, смерть.

Я прошу: иди ко мне, возьми меня опять. Он подходит. От него приятно пахнет английскими сигаретами, дорогими духами и еще медом: кожа впитала запах шелка, легкой шелковой ткани, отдающей какими-то плодами, теплый золотистый запах; и я хочу его. Я говорю ему: я тебя хочу. Он просит меня потерпеть еще немного. И говорит — говорит мне, что сразу, еще на пароме понял: я буду такой после своего первого мужчины, всегда буду любить любовь; он уже знает, я стану изменять ему, как и всем мужчинам, с которыми буду близка. И добавляет, что сам навлек на себя такое несчастье. А я счастлива все это слышать и не скрываю радости. Он делается грубым, ибо сознает всю безнадежность своей любви, и набрасывается на меня, кусает детские груди, выкрикивает бранные слова. Я закрываю глаза от острого наслаждения. Думаю: ему можно довериться, это ведь все, что он умеет в жизни — только любить, больше ничего. Какие опытные, какие чудесные, восхитительные руки! Ясно, мне повезло: для него это едва ли не профессия; сам того не ведая, он точно знает, что надо делать, что говорить. И называет меня шлюхой, мерзавкой, своей единственной любовью — именно так он должен говорить, так говорят, когда дают волю словам, дают волю телу, и оно само ищет, находит, берет то, что хочет, и тогда все прекрасно, осечки быть не может, все тонет в неистовом потоке желания.

Шум города так близко, рядом, я слышу, он касается планок жалюзи. Слышу шаги, будто толпа идет через нашу комнату. Я ласкаю его тело под этот шум, под шорох шагов. Нас окружает необъятное море, уходит, вздымается, приближается вновь.

Я просила его: еще, еще. Делай так со мной. И он повиновался. Прямо так, в липкой крови. И от этого действительно можно было умереть. Просто можно было умереть.

Он зажег и дал мне сигарету. Потом приблизил свои губы к моим и заговорил со мной тихо-тихо.

И я так же тихо отвечала ему.

Сам он ничего не знает, и я рассказываю ему, вместо него,— он не знает, а я рассказываю об утонченности его ласк.

Наступает вечер. Он говорит, что я на всю жизнь запомню этот день, воспоминание не угаснет и тогда, когда я совсем забуду его, забуду даже его лицо, даже имя. Я спрашиваю, вспомню ли этот дом. Он отвечает: взгляни вокруг, повнимательнее. Я гляжу. И говорю: ничего особенного, так же, как везде. Да, говорит он, как везде, как всегда.

Я еще не забыла его лицо, помню его имя. Вспоминаю белые стены, полотняную штору, отгораживающую нас от уличного пекла, полукруглую, в виде арки дверь, которая ведет в другую комнату и в сад, где растения пожухли от жары, в сад, окруженный голубой балюстрадой, как на большой вилле в Шадеке, с террасами в несколько ярусов, выходящими на Меконг.

Кажется, будто в этой комнате только что произошла беда, катастрофа. Он спрашивает, о чем я думаю. Я отвечаю: о матери, о том, что она убьет меня, если узнает правду. Я вижу — ему приходится сделать над собой усилие, и наконец он говорит, что прекрасно понимает мою мать, говорит — это позор. И еще: на ее месте я бы не пережил, даже если бы мы поженились. Я смотрю в глаза ему, он — мне. А он, оказывается, гордый. Он говорит: я китаец. Мы улыбаемся друг другу. Я спра-

шиваю его, всегда ли бывает так грустно потом. Он отвечает: это потому, что мы занимались любовью днем, в самую жару. Потом всегда очень тяжело. Он улыбается. Говорит: любят люди друг друга или нет, все равно потом тяжело. И добавляет — к ночи все обычно проходит, а скоро уже наступит ночь. Нет, говорю я, это не только из-за жары, ты ошибаешься, это моя грусть, я ее ждала, она идет от меня самой. Говорю, что всегда была грустна. Это видно даже на снимках, где я совсем маленькая. А сегодня моя всегдашняя грусть так на меня похожа, ее можно было бы назвать моим именем. Сегодня, говорю я, эта грусть — благо, ведь со мной наконец случилось то самое несчастье, что предрекала мне мать, вечно вопиющая в пустыне своей жизни. Говорю: я не очень хорошо понимала ее слова, но эта комната — именно то, чего я ожидала. Я говорю, говорю и не жду ответа. Говорю: мать выкрикивает свои пророчества, будто посланница Божья. Она кричит, что не надо ничего ни от кого ждать: ни от людей, ни от властей, ни от богов. Он глядит, не сводя с меня глаз, смотрит, как шевелятся мои губы, гладит мое обнаженное тело, может быть, даже не слушает, не знаю. Я говорю: случившееся со мной — не только мое несчастье. Рассказываю, как нам было тяжело — питаться, одеваться, жить на одно только жалованье матери. Говорить все труднее. Он спрашивает: и как же вы жили? Я отвечаю, что мы остались без крова, нищета подточила сами опоры семьи, и наше прибежище рухнуло, каждый делал все, что хотел. Мы потеряли стыд. Вот почему я здесь, с тобой. Он уже лежит сверху и погружается в меня все глубже. Мы лежим так, неразрывно спаянные и тихонько постанываем в окутывающем нас уличном шуме. Еще слышим его. А потом больше не слышим.

Он целует мое тело, и я плачу. Он утешает меня поцелуями. Дома я не плакала никогда. Сегодня, в этой комнате, слезы приносят утешение, что бы ни случилось со мной в прошлом, да и в будущем тоже. Я снова говорю о матери: как только расстанусь с ней, разлюблю даже ее, мою мать. Я плачу. Уткнувшись мне в плечо, он тоже плачет оттого, что плачу я. Говорю: в детстве я так много думала о несчастье матери, что не оставалось времени мечтать. Я всегда мечтала о матери, а не о рождественских елках, о ней одной, когда нищета заживо сдирала с нее кожу, когда она из себя выходила, вопияла в пустыне, билась, чтобы раздобыть еды, или вела нескончаемый рассказ о том, что случилось с ней, Мари Легран из Рубе [1], говорила о своей наивности, о своих сбережениях, о надеждах.

Сквозь жалюзи я вижу — спустился вечер. Шум снаружи все сильней. Улица гомонит громче, не так глухо. В фонарях загорелись розоватые лампочки.

Мы выходим из гарсоньерки. Я снова надела мужскую шляпу с черной лентой и золотые туфельки, накрасила губы темно-красной помадой, надела шелковое платье. Вдруг чувствую, что постарела. Он тоже заметил и говорит: ты устала.

На улице толпа, люди идут в разные стороны, то медленнее, то быстрее, прокладывают себе путь, толпа шелудива, как бродячий пес, слепа, как старик нищий, это китайская толпа, я и теперь узнаю ее на фотографиях, воспевающих процветание страны, узнаю по манере людей идти без малейших признаков нетерпения, по умению каждого держаться среди толпы так, будто он совсем один, без особой радости, но и без печали, без всякого любопытства, и даже не поймешь, идут прохожие или стоят на месте, просто движутся в том направлении, а не в ином, затерянные в толпе, эти люди никогда не остаются наедине с собой, их одиночество — в толпе.

---

[1] Рубе — старинный город на севере Франции, близ Лилля.

Мы идем в один из больших китайских ресторанов, занимающих целые многоэтажные здания, рестораны огромны, как универсальные магазины или казармы, тут множество балконов и террас, выходящих на улицу. Царит шум, который невозможно представить себе в Европе: официанты во весь голос выкрикивают заказы по нескольку раз, затем их так же громко подхватывают на кухне. В этих ресторанах не разговаривают, здесь можно только кричать. На террасах играют китайские оркестры. Мы поднимаемся на самый тихий этаж, предназначенный для европейцев,— меню здесь то же, но кричат меньше. Крутятся вентиляторы, стены обиты чем-то мягким, чтобы было не так шумно.

Я прошу его рассказать мне о состоянии отца — как тот его нажил. Он отвечает, что терпеть не может говорить о деньгах, но если мне так хочется, готов рассказать все, что знает об отцовском богатстве. Начал старик в Шолоне со строительства квартир-отсеков для местных жителей. Построил около трехсот квартир. Несколько улиц целиком принадлежат ему. Сын его говорит по-французски с чуточку утрированным парижским акцентом, говорит о деньгах с подкупающей непринужденностью. У отца было несколько домов, он продал их, чтобы купить участки под застройку на юге Шолона. И рисовые поля продал, в Шадеке, кажется. Я спрашиваю об эпидемиях. Говорю, что видела целые улицы закрытых квартир-отсеков, и закрываются все новые и новые, они так и стоят с заколоченными дверями и окнами из-за эпидемии чумы. Мой спутник отвечает: случаев заболевания здесь меньше, и крыс морят чаще, чем в факториях. И вдруг разражается целым монологом о квартирах-отсеках. Они стоят дешевле квартир в больших домах или частных домиков и гораздо больше подходят для здешних рабочих кварталов, чем изолированные жилища. Люди здесь держатся вместе, особенно бедняки, к тому же все они из деревни и привыкли жить прямо на улице. Не стоит ломать привычки бедняков. Отец недавно построил ряд отсеков с крытыми галереями, выходящими на улицу. Это настоящие улицы — светлые, веселые. Люди проводят целые дни на галереях. Когда очень жарко, они там же и спят. Я говорю: мне тоже хотелось бы жить на такой галерее, в детстве я всегда мечтала спать на улице. И вдруг ощущаю боль. Слегка, только на мгновение. Будто сердце не на месте, будто оно бьется в свежей ране, нанесенной им, человеком, который что-то говорит мне, человеком, сегодня давшим мне наслаждение. Я больше не слышу его, не слушаю. Он понял это и умолкает. Я говорю: продолжай. Он снова начинает рассказывать. Я слушаю его. Теперь он говорит, что часто вспоминает Париж. По его словам, я совсем не похожа на парижанок, далеко не так мила. Я говорю, что вся эта затея с отсеками, должно быть, не особенно выгодна. Он уже не отвечает.

На протяжении всего нашего знакомства, все полтора года, о чем бы мы ни говорили, никогда не заходил разговор о нас самих. Зная с самого начала, что вместе нам не быть, мы не говорили о будущем; наши беседы напоминали пересказ статей из газет, о том, о сем и всегда об одном и том же.

Я говорю: пребывание во Франции определило твою судьбу. Он соглашается. Говорит, что во Франции купил все: женщин, знания, образ мыслей. Он старше меня на двенадцать лет, и это внушает ему страх. Я слушаю, как он говорит, сам себя обманывая, и все-таки любит меня, не без примеси актерства, однако искренне.

Я заявляю, что представлю его своей семье, он хочет избежать этой темы, а я смеюсь.

Он не в состоянии выразить своих истинных чувств, получается пародия. Я догадываюсь: он не может любить меня, не считаясь с волей отца, взять и увезти меня куда-нибудь. Он часто плачет, потому что его любви не победить его страха. Я — воплощение его смелости и свободы, а богатство отца — воплощение его рабства.

Когда я завожу разговор о братьях, им тут же овладевает страх, словно его уличили в чем-то недозволенном. Ему кажется, будто все вокруг только и ждут, когда он попросит моей руки. Он знает, мои родственники уже считают его негодяем, и ему суждено лишь еще больше замарать себя, а заодно и меня.

Он рассказывает, как поехал в Париж, чтобы поступить в коммерческое училище, наконец-то говорит правду: он ничего не делал, и тогда отец перестал снабжать его деньгами и прислал обратный билет; вот так ему пришлось покинуть Францию. Возвращение домой — трагедия для него. Коммерческое училище он не окончил. Говорит, что надеется сдать экзамены экстерном.

Встречи с моей семьей начались с роскошных обедов в Шолоне. Когда мать и братья приезжают в Сайгон, я говорю ему: надо пригласить их в китайский ресторан, они никогда там не были.

Все эти обеды проходят совершенно одинаково. Братья обжираются, а его не замечают. Даже не смотрят в его сторону. Не могут на него смотреть. Просто не могут. Если бы им удалось сделать над собой усилие, пришло бы и многое другое, например, умение учиться, подчиняться элементарным правилам жизни в обществе. Говорит за столом только мать, и то очень мало, она роняет несколько замечаний о блюдах, которые нам подают, о бешеных ценах, затем и она умолкает. В первый раз, да и во второй тоже он пробует завязать беседу, говорит без умолку, пытаясь развлечь присутствующих рассказами о своих похождениях в Париже, но все напрасно. Будто его и нет вовсе, будто его не слышат. Все попытки тонут в гробовом молчании. Мои братья продолжают жрать. Никогда не видела, чтобы так обжирались.

Он расплачивается. Пересчитывает деньги. Кладет на блюдечко. Все на него смотрят. Помню, в первый раз он отсчитал семьдесят семь пиастров. Я вижу, что мать вот-вот истерически расхохочется. Мы встаем. Никто не благодарит. Ему никогда не говорят ни «спасибо за прекрасный обед», ни «здравствуйте», ни «до свидания», ни «как поживаете»? — ничего не говорят.

Братья никогда не обращаются к нему. Будто он невидим, прозрачен, его не воспринимают, не замечают, не слышат. Все потому, что он у моих ног и они убеждены: я не люблю его, встречаюсь с ним из-за денег, о любви здесь и речи нет, это невозможно, они снесли бы любую мою выходку, но не допускают и мысли о том, что я могу любить этого человека. Ведь он китаец, не белый. Старший брат молчит и уверенно игнорирует моего любовника, а нам остается только следовать его примеру. Да, мы все обращаемся с этим китайцем как и старший брат. И я с ним тоже не разговариваю при братьях. В присутствии родных я не должна говорить с ним, не могу сказать ему ни слова. Разве только по просьбе братьев. Например, они говорят мне после обеда, что хотят поехать в ночной клуб «Родник», выпить и потанцевать, а я должна передать ему: мы хотим выпить и потанцевать в «Роднике». Он сначала притворяется, будто не расслышал. Но я, подчиняясь старшему брату, не повторяю сказанного, не прошу дважды: это значило бы ошибиться, уступить, поддаться жалости. В конце концов он все же отвечает мне. Стараясь понизить голос до интимного шепота, он говорит, что предпочел бы побыть со мной вдвоем. Он пытается положить конец этой пытке. Но тут я должна притвориться, словно не расслышала, я опять предаю его: он пытается в одиночку отразить удар, изобличить в моих глазах недопустимое поведение старшего брата, поэтому и теперь я не должна ничего отвечать. Он делает новую попытку, нерешительно произносит: посмотрите на вашу мать, она устала. Действительно, после сказочных китайских обедов в Шолоне мать одолевает сон. Но я по-прежнему не отвечаю. И тогда раздается голос старшего брата: звучит фраза, краткая, как удар, не допускающая возражений. Мать однажды сказала о нем: из троих детей он лучше всех умеет говорить. Брат произносит эту

фразу и ждет. Все замирают, я смотрю на моего любовника и узнаю его страх — тот же страх, что владеет младшим братом. Он больше не сопротивляется. Мы едем в «Родник». Мать тоже едет с нами, в «Роднике» она просто заснет.

В присутствии старшего брата он уже не мой любовник. Да, он существует, но для меня он никто. Пустое место. Желание моего тела слабее, чем воля старшего брата, и тот заставляет меня отвергнуть любовника. Всякий раз, когда я вижу их вместе, мне кажется, я этого больше не вынесу. И я отрекаюсь от любовника, от его слабости, от слабого тела, доставлявшего мне немыслимое наслаждение. В присутствии брата он становится моим позором, постыдной тайной, которую надо скрывать. Я не в силах противиться безмолвному приказу старшего брата. Если он настраивает меня против младшего, я еще могу бороться. Если же против моего любовника, ничего не могу с собой поделать. Даже сейчас, когда я пишу об этом, мое лицо приобретает отвратительное, неискреннее выражение, я словно вижу человека, рассеянно глядящего в сторону и думающего о чем-то постороннем, но по тому, как стиснуты зубы, можно догадаться, что нервы на пределе, и неужели надо терпеть эту гнусность лишь затем, чтобы хорошо поесть в дорогом ресторане, ведь, казалось бы, что может быть естественней? Воспоминание озарено бледным ночным светом, это ночь, когда убийца с большой дороги выходит на промысел. Я слышу пронзительный, тревожный звук — крик ребенка.

В «Роднике» с ним по-прежнему никто не разговаривает.

Мы заказываем «Мартель Перье». Братья залпом осушают свои бокалы и повторяют заказ. Мы с матерью отдаем им свои порции. Братья быстро пьянеют. С моим любовником они не говорят, но вскоре начинают жаловаться на все вокруг. Особенно младший. Ему здесь не нравится, ему скучно, не с кем потанцевать. В будни народу очень мало. Я танцую с младшим братом. И с любовником тоже. Но со старшим — нет, с ним я никогда не танцевала. Рядом с ним я остро ощущаю опасность, некое пагубное влечение, которому подвластны все.

Поразительно, до чего я на него похожа, особенно лицом.

Китаец из Шолона обращается ко мне; он готов расплакаться и спрашивает: ну, что я им сделал. Я говорю: не беспокойся, мы всегда ведем себя так, даже дома, всегда, при любых обстоятельствах.

Я все объясню ему, когда мы вернемся в гарсоньерку. Я говорю: неистовая натура моего старшего брата, его холодная ярость проявляются во всем, что бы с нами ни произошло, что бы ни случилось. Его первое, неосознанное еще движение — убить, зачеркнуть человека, распорядиться чужой жизнью, ему хочется унижать, преследовать, причинять боль. Но ты не бойся, успокаиваю я. Да, тут нечего бояться. Ведь единственный человек, которого старший брат сам боится, перед которым он, как ни странно, робеет — это я.

Мы никогда не говорим ни «добрый день», ни «добрый вечер», ни «с Новым годом». Никогда не говорим «спасибо». Мы вообще не разговариваем. Это ни к чему. Мы безмолвны, далеки друг от друга. Наша семья — каменная, окаменевшая в своей неприступности. Изо дня в день мы пытаемся убить каждый себя и друг друга, нам хочется убивать. Мы не только не разговариваем — даже не смотрим друг на друга. Нас видят, а мы ни на кого не смотрим. Посмотреть, поддаться любопытству — первый признак падения. Никто не стоит и взгляда. Смотреть — позорно. Мы изгнали из обихода слово «беседа». Вот, наверное, самое полное отражение нашего стыда и нашей гордыни. Любое сообщество, семья ли, нет ли,— ненавистно и унизительно. Нас объединяет изначальный стыд — нам стыдно за то, что мы живем. Вот глубинный смысл истории нашей семьи, истории троих детей простой и честной женщины,

нашей матери, женщины, погубленной обществом. Мы все — выходцы из общества, которое довело нашу мать до отчаяния. Что сделали с матерью, такой доброй, доверчивой! Вот за это мы ненавидим жизнь, ненавидим каждый себя и друг друга.

Мать не могла знать, какими мы станем, изо дня в день наблюдая ее отчаяние, особенно мальчики, сыновья. Но даже если бы она это предвидела, разве можно было скрыть от нас само течение ее жизни? Постоянно лгать — лицом, глазами, голосом? Своей любовью? Конечно, она могла умереть. Убить себя. Тогда распалась бы эта невыносимая семья. И мать окончательно отлучила бы старшего сына от младших детей. Но она удержалась. Мать была неосторожна, непоследовательна, безответственна. Да, разумеется. Но она жила. И мы все трое любили ее сильнее, чем можно любить в этой жизни. За то, что она не умела, никогда не умела молчать, скрывать правду, лгать, мы, такие разные, одинаково любили ее.

Это продолжалось долго. Семь лет. Началось, когда нам было лет по десять. А потом исполнилось двенадцать. Потом тринадцать. Потом четырнадцать, пятнадцать лет. И наконец, шестнадцать, семнадцать.

Мать боролась все эти годы — семь лет. А потом оставила надежду. Оставила навсегда. И не пыталась больше сражаться со стихией. Мы сидим в тени веранды и смотрим на гору Сиам, темную, почти черную под яркими лучами солнца. Теперь мать спокойна: она ушла в себя. А рядом с ней мы — маленькие герои, дети отчаяния.

Младший брат умер в 1942 году, во время японской оккупации. Я уехала из Сайгона в 1931-м, после второго экзамена на степень бакалавра. За десять лет он написал мне всего одно письмо. Не знаю почему. Письмо было чистенькое, без единой помарки, переписанное красивым почерком. Он сообщал, что чувствует себя хорошо, учится неплохо. Письмо получилось длинное — на двух страницах. Я сразу узнала его почерк, совсем детский. Еще он писал, что у него есть квартира, машина, даже указал, какой марки. Писал, что снова стал играть в теннис. Что он живет хорошо, все в порядке. Что любит меня и целует крепко-крепко. Он не упоминал ни о войне, ни о старшем брате.

Подобно матери, я часто говорю о братьях так, будто они — одно целое. Я говорю «мои братья», как она говорила при посторонних «мои сыновья». Она всегда с какой-то агрессивностью рассказывала, что сыновья у нее очень сильные. При посторонних она никогда не вдавалась в подробности, не уточняла — старший сын гораздо сильнее младшего, только говорила, что он силен, словно ее родные братья, крестьяне с севера Франции. Она гордилась силой своих сыновей, как раньше гордилась силой братьев. И мать, и ее старший сын презирали слабых. О моем любовнике из Шолона они отзывались одинаково. Я не привожу здесь этих слов, сравнений с падалью, гниющей в пустыне. Я говорю «мои братья», ибо раньше и я так говорила. Только потом стала говорить иначе, позже, когда младший брат вырос и превратился в мученика.

Мало того, что в нашем доме не отмечается ни один праздник, что у нас никогда не было ни рождественских елок, ни вышитых платочков, ни цветов. Мало того, мы даже не поминаем умерших, у нас нет дорогих нам могил, нет воспоминаний об ушедших. Есть только мать. Старший брат навсегда останется убийцей. Младший из-за него погибнет. А мне удалось уйти, вырваться. И до самой смерти мать всецело принадлежала только старшему сыну.

В ту пору в Шолоне, когда возник мой новый образ, когда у меня появился любовник, на мать находит приступ безумия. Она ничего не

знает о происшедшем в Шолоне. Но я вижу, как она наблюдает за мной, и понимаю: подозрений не избежать. Она хорошо знает свою дочь, с недавних пор девочку окружает атмосфера отчужденности, некая сдержанность появилась в ее поведении, и этого нельзя не заметить; речь у нее стала еще медленнее, чем раньше, прежде такая любопытная, она теперь рассеянна, смотрит в пространство, словно созерцает спектакль под названием «жизнь матери», наблюдает за ее несчастьем, смотрит развязку драмы. И это — нежданный ужас в жизни матери. Девочке грозит самое страшное: она рискует никогда не выйти замуж, не завоевать положения в обществе, стать отверженной, парией, погубить себя. В припадке отчаяния мать набрасывается на меня, запирает в комнате, бьет кулаками, хлещет по щекам, раздевает донага, приблизившись ко мне, обнюхивает мое тело, белье, заявляет, что от меня пахнет китайцем, но и этого ей мало, она выискивает подозрительные пятна на белье и кричит, кричит так, что, наверное, всему городу слышно: ее дочь — проститутка, надо вышвырнуть девчонку вон, пусть подыхает, никому она больше не нужна, опозоренная, да за бродячую суку больше дадут. И рыдает — что же ей теперь делать, остается только выгнать дочь, пусть не поганит дом.

За закрытой дверью слушает брат.

Брат отвечает матери — правильно, девчонку надо бить, медовым, вкрадчивым, ласковым голосом говорит: необходимо узнать правду любой ценой, чтобы не дать девочке погубить себя, а матери — умереть от горя. Мать бьет меня изо всех сил. Младший брат кричит: оставь ее в покое! Он бежит в сад, прячется там, бедный, ему страшно, а вдруг меня убьют, он боится, как всегда боялся этого чужака — нашего старшего брата. Страх младшего успокаивает мать. Он плачет, оплакивает свою разбитую жизнь и опозоренную дочь. Вслед за ней я тоже начинаю плакать. И лгу. Я клянусь жизнью: ничего не было, даже ни одного поцелуя. Ты с ума сошла, говорю я, он же китаец, как я могу — с китайцем, да еще с таким уродом, он же тощий, как щепка! Старший брат приник к двери, весь обратился в слух, он знает, что́ там делает мать, знает — сестренка голая, ее бьют, и пускай избиение длится без конца, пусть ее забьют до смерти. А мать угадывает эти мрачные, устрашающие помыслы старшего брата.

Помню, мы еще совсем маленькие. Постоянно вспыхивают драки между братьями, безо всякого повода; вернее, повод всегда подает старший брат, говорит младшему: уйди, ты мешаешь. И тут же бьет. Они дерутся молча, слышно только их тяжелое дыхание, стоны да глухие удары. Сцена проходит под аккомпанемент воплей матери.

Оба одинаково подвержены вспышкам ярости, неистовой, убийственной ярости — так бывает только у родных братьев, у сестер, у матерей. Старший брат страдает оттого, что не может безнаказанно творить зло, не может повелевать злом, не только здесь, везде. Младший беспомощен перед этим кошмаром, снедающим старшего.

Когда они дрались, нас охватывал смертельный страх за обоих; мать говорила, будто братья дрались всегда, никогда не играли вместе, даже не разговаривали. Общего у них было — мать и, главное, сестренка — родная кровь, больше ничего.

Помню, только о старшем мать говорила «дитя мое». Да, иногда она называла его так. О двух других детях говорила «младшие».

Мы никогда никому обо всем этом не рассказывали, научившись с раннего детства молчать о главном в нашей жизни — о нищете. А позже поняли: об остальном тоже надо молчать. Первыми, кому мы исповедовались — впрочем, это слишком сильно сказано,— были наши любовники и любовницы и те, кого мы встречали за пределами факторий, сначала на улицах Сайгона, затем на пароходах, в поездах, а потом — везде.

Иногда под вечер, особенно когда стоит сушь, мать — это тоже находит на нее внезапно — начинает мыть дом сверху донизу, она говорит: пусть у нас станет чище, свежее, здоровее. Дом стоит на небольшой насыпи, он приподнят над садом, чтобы не заползли змеи, скорпионы и красные муравьи, а еще для защиты от разливов Меконга, наступающих после муссонных дождей. Поэтому наш дом так легко мыть, просто лить воду ведрами, залить все комнаты, как дождь заливает сад. Все стулья на столах, по полу текут ручьи, даже у пианино в маленькой гостиной ножки в воде. Вода стекает по ступенькам крыльца, заливает внутренний дворик, устремляется к кухне. Маленькие бои сияют, мы веселимся с ними вместе, брызгаем друг на друга водой, а потом моем пол марсельским мылом. Все бегают босиком, и мать тоже. Она смеется. И она всем довольна. Дом благоухает, восхитительный аромат мокрой земли, словно после грозы, сводит нас с ума, особенно когда смешивается с другими запахами — марсельского мыла, чистоты, доброты, белья немыслимой белизны, с запахом нашей матери, ее чистой души. Вода стекает на аллеи сада. К боям приходят родители, друзья, прибегают белые ребята из соседних домов. В доме шум, гам, настоящий разгром, и мать счастлива, она может быть очень, очень счастлива, когда забывается, когда моет дом, как же мало надо, чтобы сделать ее счастливой. Мать бежит в гостиную, садится за пианино, играет несколько мелодий, которые знает наизусть, она выучила их в Нормальной школе. И поет. Да, иногда она играет и смеется. Потом вскакивает и танцует, продолжая напевать. И все мы думаем вместе с ней: надо же, ведь мы можем быть счастливы в этом безобразном доме, который вдруг превращается в озеро, в заливной луг, в отмель, в берег моря.

Младшие дети — девочка и мальчик — спохватываются первыми. Они перестают смеяться и уходят в сад, где сгущаются сумерки.

Я пишу эти строки и вдруг вспоминаю, что старшего брата не было с нами в Виньлонге в те дни, когда мы мыли дом. Он гостил у нашего опекуна, сельского священника в департаменте Лот-и-Гаронна.

Конечно, он тоже иногда смеялся, но так, как мы,— никогда. Все-то я забываю, забыла сказать: мы с младшим братом в детстве часто хохотали до упаду, просто умирали со смеху.

Война представляется мне похожей на мое детство. Я просто путаю военное время и эру господства старшего брата. Наверное, еще и потому, что во время войны умер младший: я уже говорила, сердце у него не выдержало, остановилось. Кажется, в войну я ни разу не видела старшего. Тогда для меня уже не имело значения, жив он или умер. Война представляется мне похожей на него: везде присутствует, всюду проникает, обкрадывает, берет в плен, во все лезет, вмешивается, впутывается, она здесь, в моем теле, в мыслях, наяву и во сне, горит неистовой жаждой, желая владеть чужой землей, чужим телом, телом ребенка, более слабого, побежденного; вот оно, зло, у моих дверей, я чувствую его кожей.

Мы идем в гарсоньерку. И снова мы — любовники. Любим друг друга и не можем остановиться.

Я не всегда возвращаюсь вечером в пансион, бывает, засыпаю рядом с ним. Не могу спать в его объятиях, потому что слишком жарко, но сплю в его комнате, в его постели. Бывает, пропускаю занятия в лицее. Поздно вечером мы идем ужинать в город. И он сам моет меня под душем, намыливает, ополаскивает, он обожает это делать, наносит мне грим, одевает меня, обожает. Я — единственная его любовь. Он живет в страхе, боится, что я могу встретить другого мужчину. А я ничего этого не боюсь. Его преследует и другой страх, не потому, что я белая,— потому что совсем юная, такая юная, что его посадят в тюрьму, если узнают о нашей связи. Он просит: лги матери по-прежнему, и особенно — старшему брату, никому ничего не говори. И я лгу. А еще смеюсь

над его страхами. Мы слишком бедны, говорю я, мать не сможет даже подать в суд, да и вообще, она проиграла все свои процессы — против налогового управления, против администрации, против губернаторов, против властей, она совершенно не умеет судиться, не умеет сохранять спокойствие и ждать, долго ждать, нет, не может, срывается и сама все портит. И с тобой вышло бы точно так же, не бойся.

Мари-Клод Карпентер. Американка, насколько я помню, из Бостона. Очень светлые, серо-голубые глаза. 1943 год. Волосы у Мари-Клод Карпентер тоже были светлые. Слегка увядшее лицо. Все еще красивая. Быстрая улыбка на мгновение озаряла ее лицо и тут же исчезала, словно вспышка молнии. Даже теперь я еще слышу ее голос, очень низкий, иногда он вдруг становился пронзительным и фальшивым на высоких нотах. Ей стукнуло сорок пять, это уже возраст, солидный возраст. Жила она в шестнадцатом округе, недалеко от моста Альма. У нее была большая квартира в последнем этаже высокого дома, стоявшего, кажется, на набережной Сены. Зимой мы, случалось, обедали у нее. А летом — завтракали. Она заказывала еду в лучших парижских ресторанах. Очень приличная еда, но ее всегда не хватало. Я видела Мари-Клод Карпентер только у нее дома и нигде больше. Несколько раз к ней приходил поэт, последователь Малларме. Обычно были двое-трое писателей. Они появлялись лишь раз и исчезали. Я так и не узнала, где она их выкапывала, где знакомилась с ними и зачем их приглашала. Ни об одном из них я никогда не слыхала, не читала и не знала их книг. Затраки и обеды продолжались недолго. Много говорили о войне, о Сталинградской битве, был конец зимы 1942 года. Мари-Клод Карпентер слушала, расспрашивала, сама говорила мало, она удивлялась, что столько событий ускользают из поля зрения, и смеялась над собой. Сразу после обеда она извинялась перед гостями: ей нужно срочно уйти, у нее дела. Никогда не уточняла, что́ за дела. Если нас, гостей, было много, оставались в квартире еще час-другой после ее ухода. Она говорила нам: сидите сколько хотите. В ее отсутствие никто о ней не говорил. Думаю, что это было бы просто невозможно, ведь никто ее на самом деле не знал. Домой мы всегда возвращались с одним и тем же чувством — будто видели странный сон, провели несколько часов у незнакомцев, в окружении гостей, которые испытывали то же самое чувство и сами были незнакомцами, несколько часов без будущего, необъяснимых ни с человеческой, ни с любой другой точки зрения. Это напоминало переезд через границу, долгое путешествие на поезде, ожидание в приемных врачей, в холлах гостиниц, в аэропортах. Летом мы завтракали на большой террасе, выходившей на Сену, и пили кофе в саду на крыше дома. Там был даже бассейн. Но никто не купался. Мы сидели и смотрели на Париж. Пустынные проспекты, река, улицы. На пустых улицах — деревья в цвету. Мари-Клод Карпентер. Я почти все время смотрела на нее, она смущалась, но я ничего не могла с собой поделать. Смотрела, пытаясь понять, кто же она такая, Мари-Клод Карпентер. Отчего она здесь, а не в другом месте, зачем явилась из такой дали, из Бостона, отчего богата и окружена тайной, и зачем ей эти чопорные приемы, и отчего, отчего в ее взгляде, в глубине ее глаз так ясно видится притаившаяся смерть, отчего? Мари-Клод Карпентер. Отчего все ее платья были так похожи одно на другое, какие-то странные, словно с чужого плеча, словно выглядели бы точно так же на другой женщине? Платья без особых примет, все очень светлые, белые — лето посреди зимы.

Бетти Фернандес. Воспоминания о мужчинах никогда не бывают окружены столь ярким светом, как встающие в памяти образы женщин. Бетти Фернандес. Тоже иностранка. Я произношу это имя и вижу ее снова: вот она идет по улицам Парижа; очень плохо видит, близоруко щурится, наконец узнает вас и приветствует легким взмахом руки. «Здравствуйте-как-поживаете?» Она уже давно умерла. Лет тридцать

назад. Я помню, она была грациозна, я все помню, ничего не забуду, теперь уже слишком поздно, воспоминания не кончаются, никогда не кончатся, помню то время, холод и голод, поражение Германии и разоблачение ее Преступления. А она все спешит по улицам над Историей, над всеми событиями, сколь бы ужасны те ни были. У нее тоже светлые глаза. Старое розовое платье, черный капор, на ярком солнце совсем пыльный. Высокая, худая — словно набросок тушью или гравюра. Прохожие останавливаются и как зачарованные смотрят на элегантную иностранку, которая проходит, никого не замечая. Королева. Сразу не поймешь, откуда она идет. И невольно говоришь себе: только оттуда, издалека, из другого мира. Поэтому она красива, очень красива. Одевается в старые, поношенные платья, зато от лучших портных Европы. Старая парча, старые, вышедшие из моды костюмы, одежды, сшитые из древних занавесок, из каких-то обрезков, найденных на дне сундука, лоскутков от нарядов, сшитых когда-то в лучших парижских ателье, траченные молью лисьи воротники и горжетки, старые шляпы и муфты из выдры, ее красота растерзанна, ежится от холода, плачет навзрыд, это красота изгнанницы, ни один наряд ей не идет, все слишком велики, она такая худая, что тонет в них, все на ней болтается, но это красиво. Такова уж она, с головы до ног: на ней любая вещь тут же приумножает ее красоту.

Бетти Фернандес тоже принимала гостей, у нее был свой «день». Мы иногда ходили к ней. Однажды там был Дриё ла Рошель [1]. Он раздувался от гордости, говорил бархатным голосом — мало, не снисходя, говорил с трудом, будто на чужом языке. Кажется, был еще Бразильяк [2], но я его не помню, а жаль. Сартра не было. Приходили поэты монпарнасской группы, но я никого не запомнила, совсем никого. Немцев не было никогда. О политике не говорили. Только о литературе. Рамон Фернандес рассказывал о Бальзаке. Мы готовы были слушать его ночи напролет. Он говорил со знанием дела, почти недоступным в наши дни, и лишь мелочи можно было подтвердить фактами. Информации в его рассказах было мало, зато они изобиловали суждениями. Он говорил о Бальзаке, будто о себе, будто сам однажды попытался влезть в шкуру Бальзака. Рамон Фернандес был необычайно учтивым человеком, даже и в учености; он умел просто и доступно делиться своими знаниями, не давя на слушателей. И всегда — искренне. Как радостно бывало встретить его на улице или в кафе, он счастлив вас видеть, вправду, и здоровается, сияя от удовольствия. «Здравствуйте-как-поживаете?» Произносил он это на английский манер, в одно слово, с веселым смешком, и тогда все казалось шуткой — и война, и ее бесчисленные и неизбежные тяготы, Сопротивление и коллаборационизм, голод и холод, пытки и предательство. И она, Бетти Фернандес, говорила только о людях, о прохожих на улице или о знакомых, о том, как у них идут дела, о товарах в витринах магазинов, о дополнительных талонах на молоко, на рыбу, о том, как бороться с нуждой, с холодом и вечным голодом, она была очень практична, дружелюбная и внимательная, преданная и нежная. Да, Фернандесы сотрудничали с немцами. А я через два года после войны вступила в коммунистическую партию. Теперь я понимаю — это абсолютно равноценно. Все то же — жалость, крик о помощи, несостоятельность суждений, можно сказать, суеверие — вера в то, что политика поможет разрешить личную проблему. Бетти Фернандес тоже видела пустынные улицы времен немецкой оккупации, видела Париж, скверы с цветущими деревьями, как и та, другая женщина, Мари-Клод Карпентер. И у нее тоже был свой день приема.

---

[1] Пьер Дриё ла Рошель (1893—1945) — французский писатель крайне правого толка, во время второй мировой войны сотрудничал с немцами.

[2] Робер Бразильяк (1909—1945) — французский писатель, ярый коллаборационист.

Он отвозит ее в пансион в черном лимузине. Останавливается, не доезжая до ворот, чтобы его не увидели. Уже ночь. Она выскакивает, бежит не оглядываясь. Вбежав в ворота, видит: большой двор для прогулок освещен. И, войдя во двор, сразу замечает ее, ту, что ждет, волнуется, держится очень прямо, на лице — ни тени улыбки. И спрашивает: где ты была? Девушка отвечает: я не ночевала в пансионе. Она не объясняет почему, но Элен Лагонель не задает больше вопросов. Девушка снимает розовую шляпу и начинает расплетать косы. «Ты и в лицее не была».— «Да, не была». Элен говорит, что звонили из лицея, поэтому она все знает, и что нужно поговорить с главной надзирательницей. В полутемном дворе гуляют девушки. Все в белом. Фонари горят среди деревьев. Во многих классных комнатах тоже еще горит свет. Кое-кто до сих пор занимается, другие просто сидят в классах, болтают, играют в карты, поют. Ученицы не ложатся спать в определенный час, днем слишком жарко, поэтому вечером им дают порезвиться в свое удовольствие, да и молоденьким надзирательницам тоже этого хочется. Мы с Элен — единственные белые девушки в государственном пансионе. Здесь много метисок, большинство из них брошены отцами — солдатами, моряками, мелкими служащими таможни, факторий, государственных учреждений. Их направляют в пансион общественные благотворительные службы. Есть здесь и девушки с четвертью белой крови. Элен Лагонель думает, что, окончив пансион, придется стать сиделкой в больнице или надзирательницей в сиротском приюте, в лепрозории, в психиатрической лечебнице. Еще она боится, что могут послать в холерный или чумной лазарет. Вот что думает Элен Лагонель и плачет, ее не прельщает такое будущее, она все время твердит: сбегу из пансиона.

Я пошла к дежурной надзирательнице, это молоденькая метиска, она все приглядывается к нам с Элен. И говорит: вы не были в лицее, не ночевали здесь прошлой ночью, придется сообщить вашей матери. Я отвечаю, что никак не могла иначе, но с этого дня постараюсь всегда возвращаться на ночь в пансион, я обещаю, и не стоит беспокоить мою мать. Молоденькая надзирательница смотрит на меня и улыбается.

Я не сдержу слова. Матери сообщат. Она явится к директрисе пансиона и попросит предоставлять мне свободу по вечерам, не вынуждать возвращаться к определенному часу и освободить от обязательной для пансионерок воскресной прогулки. Эта девочка привыкла к свободе, говорит она, иначе вы ее не удержите, даже я, мать, ничего не могу с этим поделать; чтобы не потерять ее, я вынуждена предоставить ей полную свободу. Директриса на все согласна: ведь я белая, а для репутации пансиона среди метисок должно быть хоть несколько белых девушек. Еще мать сказала, что я хорошо учусь в лицее и там мне тоже предоставляют свободу; сказала, что с сыновьями ей так трудно, так тяжело, а эта девочка — ее последняя надежда, ей нужно получить образование.

С тех пор директриса позволяла мне жить в пансионе, как в гостинице.

Вскоре у меня на безымянном пальце появилось кольцо с бриллиантом. И надзирательницы совсем перестали делать мне замечания. Они, конечно, подозревают, что я вовсе не помолвлена, но бриллиант очень дорогой, вне всякого сомнения, настоящий, и больше никто ничего не говорит: ведь мне, совсем еще юной, подарили такую драгоценность.

Я возвращаюсь к Элен Лагонель. Она лежит ничком на скамье и плачет — думает, что меня выгонят из пансиона. Присаживаюсь рядом с ней на скамью. Я изнемогаю: так прекрасно тело Элен Лагонель, прижавшейся ко мне. Восхитительное тело под тонким платьем, я могу коснуться его рукой. Какие груди, я никогда таких не видела. И никогда я их не трогала. Элен Лагонель бесстыдница, она просто не понимает, что делает, разгуливая по дортуарам нагишом. Тело Элен Лагонель —

лучший из всех даров Божьих: эта ни с чем не сравнимая гармония стана и манера нести свои груди, словно нечто ей не принадлежащее, отдельное от тела. Нет ничего удивительнее этой округлости, которая так и просится в руку. Даже грация младшего брата, маленького кули, меркнет рядом с этим великолепием. Линии мужского тела — строгие, скупые. Но оно не разрушается, подобно телу Элен Лагонель, которому уготована недолгая жизнь, быть может, всего одно лето. Элен Лагонель приехала с гор, из Далата. Ее отец служит в фактории. Она пришла к нам совсем недавно, в середине учебного года. Элен всего боится, прижмется теснее и сидит так, молчит, иногда плачет. У нее смугло-розовый цвет лица, как у всех жителей гор, их легко узнать здесь, среди слишком бледных, анемичных детей, выросших в изнуряющем зное. Элен Лагонель не ходит в лицей. Она, Элен Л., не в состоянии ходить в школу. Не умеет учиться, ничего не запоминает. Она посещает курсы начального обучения в пансионе, но и это ничего не дает. Она плачет, прижавшись ко мне, а я глажу ее волосы, руки и говорю, что останусь с ней в пансионе. Элен Л. сама не знает, как она хороша. Ее родители ума не приложат, что с ней делать, нужно выдать ее замуж поскорее. Все женихи будут у ног Элен Лагонель, стоит ей только захотеть, но она не хочет, не желает выходить замуж, ей бы вернуться к матери. Элен Л. Элен Эль. Элен Лагонель. В конце концов она все-таки уступит настояниям матери. Она гораздо красивее меня, красивее девочки в шутовской шляпе и золотых туфельках, Элен Лагонель гораздо легче выдать замуж, можно найти мужа для Элен Лагонель, связать ее брачными узами, запугать ненужными, непонятными объяснениями и приказать ей терпеть и ждать.

Элен Лагонель. Она еще не знает того, что известно мне. А ведь ей, между прочим, семнадцать. И никогда не узнает, смутно догадываюсь я.

Тело Элен Лагонель — тяжелое, еще невинное, кожа такая нежная, словно кожица тропического плода, тончайшая на ощупь, будто ее и нет — это уж слишком. Когда видишь Элен Лагонель, возникает желание убить ее, вот странная фантазия — собственными руками предать ее смерти. Она несет свои белоснежные груди, ничего о них не зная, показывает их, чтобы руки могли их мять, рот — кусать, она же их не замечает, не подозревает, что они всевластны. Мне хочется кусать груди Элен Лагонель, как тот человек кусает мои груди в комнате в китайском квартале, куда я ухожу каждый вечер, чтобы углубить свое знание о божественном. Я сгораю от желания при виде божественно вылепленных грудей.

Я изнемогаю, потому что желаю Элен Лагонель.

Я изнемогаю от желания.

Я хочу взять Элен Лагонель с собой, увести ее туда, где каждый вечер, закрыв глаза, кричу от наслаждения. Я хочу отдать Элен Лагонель человеку, который доставляет наслаждение мне, чтобы он сделал то же самое с ней. Я хочу, чтобы это произошло на моих глазах, чтобы она отдалась ему по моему желанию, отдалась тому, кому отдаюсь и я. Мой путь лежал через реку, теперь мой путь лежит через тело Элен Лагонель, через него я познáю самое полное наслаждение.

И от этого просто можно умереть.

Мне кажется, она из той же плоти, что и молодой китаец, но ее настоящее солнечно, лучезарно, невинно, ее вечный расцвет заметен в каждом движении, в каждой слезинке, даже в ее изъянах, в ее неведении. Элен Лагонель для меня — его женщина, этого раба, который доставляет мне ни с чем не сравнимое, невыносимое наслаждение, женщина этого загадочного мужчины из Шолона, этого китайца. Элен Лагонель для меня — Китай.

Я не забыла Элен Лагонель. И этого человека, раба, я не забыла тоже. После того как я уехала, рассталась с ним, два года не подпускала близко ни одного мужчину. Но дело тут не в таинственной верности ему, дело только во мне самой.

Я так и не ушла из своей семьи и живу в ней, где бы ни жила на самом деле. В этой иссушенной ветрами пустыне, в этой окаменелой ожесточенности я больше всего уверена в себе, здесь я верю всей душой в суть и дело моей жизни — в то, что когда-нибудь я стану писать.

Моя семья. Здесь я всю жизнь буду укрываться от настоящего, где бы ни жила. После часов, проведенных в гарсоньерке китайца, я смотрю на свой дом свежим глазом, вижу его в новом свете. В этом доме трудно дышать, здесь притаилась смерть, здесь живут насилие и боль, отчаяние и позор. И дом в Шолоне — такой же. Но он — по другую сторону реки. Я пересекла реку.

Я не знаю, что сталось с Элен Лагонель, жива ли она. Она первой покинула пансион, задолго до моего отъезда во Францию. Она вернулась в Далат. Мать ей велела. Насколько я помню, возвращение было связано с ее замужеством: в Далат приехал новый чиновник из метрополии. А может быть, я ошибаюсь, может быть, я сама придумала все, что случится с Элен Лагонель, когда мать вызвала ее домой.

Я все-таки должна рассказать, что́ это было, как это было. Ну, вот: он крадет деньги у боев, чтобы курить опиум. Крадет деньги у матери. Роется в шкафах. Ворует. Играет. Отец перед смертью купил дом в Антр-дё-Мер [1]. Это наше единственное достояние. Старший сын играет. И мать продает дом, чтобы заплатить его долги. Денег нет: ему никогда не хватает, ему все мало. Он пытается продать меня, совсем юную, богатым клиентам в «Куполь». Только для него мать еще хочет жить, для того, чтобы он ел, спал в тепле, чтобы кто-то звал его по имени. А история с земельным участком возле Амбуаз, который она купила ему на свои сбережения за целых десять лет. Он заложил его, чтобы заплатить проигранные в одну ночь деньги. А она платит проценты. Он вырубил и продал все леса, я уже говорила. И тоже проиграл их в одну ночь. Обворовывал умирающую мать. Этот человек рылся в шкафах, у него был нюх на деньги, он безошибочно находил те стопки простыней, где было что-то припрятано, раскрывал все тайники. Крал даже обручальные кольца, памятные безделушки, украшения, еду. Крал у До, у боев, у младшего брата. И у меня тоже, еще как. Он и ее, свою мать, готов был продать. Когда она умерла, он тут же вызвал нотариуса, сразу, пока еще не стихла боль утраты. И умело использовал эту боль. Нотариус сказал, что завещание недействительно. Мать слишком увеличила долю старшего сына, обделив меня. Разница огромная, моя доля смехотворна. Я должна, ознакомившись с текстом завещания, признать его или опротестовать. И я признаю: ставлю свою подпись. Я на все согласна. Брат опускает глаза: спасибо. Плачет. Он искренне переживает смерть матери. Это правда. После освобождения Парижа его разыскивают, наверное, из-за сотрудничества с немцами на юге, ему некуда деваться. Я так никогда и не узнала, что ему грозило. Возможно, он выдавал партизан, евреев, все может быть. Он нежен, ласков со мной, как всегда после очередного злодеяния или когда ему что-нибудь нужно. Мой муж в плену. Брат мне сочувствует. Он прожил у меня три дня. Я забыла, какой он, уходя, я ничего не запираю. Он перерыл все шкафы. Я берегла к возвращению мужа сахар и рис, полученные по карточкам. Он отыскал их и забрал. Обыскал и маленький шкафчик в моей спальне. И нашел, что хотел. Он взял все мои сбережения, пятьдесят тысяч франков. Ничего не оставил мне, ни франка. И сбежал из моей квартиры, как вор, унося

[1] Местность на юго-западе Франции, между реками Гаронной и Дордонью.

с собой награбленное. Когда я снова увиделась с ним, ни слова об этом не сказала, так было стыдно за него, что я просто не смогла. Отхватив завещание, он продал зáмок «под Людовика XV» буквально за гроши. И эта сделка — мошенничество, как и само завещание.

После смерти матери он остался совсем один. У него нет друзей, никогда не было, только женщины, которых он заставлял «работать» на Монпарнасе; правда, нескольких женщин он не заставлял работать, во всяком случае поначалу; появлялись у него и мужчины, те сами платили ему. Он жил очень одиноко. Под старость стал еще более одиноким. Обыкновенный проходимец, вечные мелкие делишки. Он сеял страх только вокруг себя, но не дальше. Потеряв нас, он лишился своего царства. Ведь это был не гангстер, а просто паршивая овца в семье, проходимец, воришка, рывшийся в шкафах, убийца без оружия. И он никогда не компрометировал себя перед посторонними. Все проходимцы живут так: без друзей, не зная величия, в постоянном страхе. Его преследовал страх. После смерти матери он вел странную жизнь. Жил в Туре. Ни с кем не был знаком, кроме официантов из кафе, поставлявших ему «левые» сведения о скачках, да нескольких клиентов, больших любителей выпить, которые играли в покер в задней комнате. Он стал похож на них, тоже много пил, глаза у него налились кровью, рот огрубел. В Туре у него ничего не осталось. Замок продан, участок заложен — ничего. Год он прожил на мебельном складе, где хранилась вся наша обстановка, этот склад когда-то арендовала мать. Весь год спал в кресле. Пока пускали. Прошел год. И наконец, его выставили вон.

Весь этот год брат, наверное, надеялся выкупить заложенный участок. Он играл и постепенно проиграл всю мебель нашей матери, хранившуюся на складе, бронзовые статуэтки Будды, медную посуду, а потом — кровати, шкафы, постельное белье. И вот ничего не осталось, это случается с проходимцами, однажды утром он увидел, что все его достояние — костюм и больше ничего, ни простыни, ни вилки, ни ножа. Брат совсем один. Целый год ни у кого не бывал. Тогда он написал письмо дальнему родственнику в Париж. Тот помог ему найти работу и комнату в Мальзербе. И в пятьдесят с лишним лет он впервые пошел работать, получил первое в жизни жалованье: он стал рассыльным в морской страховой компании. Проработал там лет пятнадцать. Потом его положили в больницу. Но умер он не там. Умер он в своей комнате.

Мать никогда не говорила о своем старшем сыне. Никогда не жаловалась. Никому не рассказывала, как он роется в шкафах. В ее материнской любви было что-то преступное. И мать скрывала ее. Она была уверена: ее не поймут те, кто не знает сына так, как знает его она, а говорить об этом дозволено перед Богом, только перед Ним. И она всегда обходилась общими фразами, банальными истинами. Говорила, что если бы он захотел, был бы самым умным из троих. Самым «артистичным». Самым проницательным. И он больше всех любил мать. Лучше всех ее понимал. И я представить не могла, говорила она, чтобы мальчики бывали столь чуткими, удивительно нежными.

Мы встретились с ним еще раз, и он говорил тогда о покойном младшем брате. Какая нелепая смерть, сказал он, как это ужасно, наш братишка, наш маленький Пауло.

В памяти осталась эта картина: мы все вместе обедаем в Шадеке. Сидим в столовой втроем. Одному из братьев семнадцать лет, другому — восемнадцать. Матери с нами нет. Мы с младшим ели, а он все поглядывал на нас, а потом отложил вилку и не мигая уставился на младшего. Долго глядел на него и вдруг сказал, очень спокойно сказал нечто ужасное. О еде. Будь осторожен, посоветовал он, не ешь так много. Младший брат не отвечает. Ест. Но старший не унимается. Не забывай, говорит он, большие куски мяса — для меня. А ты обойдешься. Почему это для тебя? — спрашиваю я. Он отвечает: потому что. Я говорю: чтоб

ты помер. Есть больше не могу. Младший брат тоже. А он — он только и ждет, чтобы младший брат посмел открыть рот, произнести хоть слово: сжатые кулаки уже занесены, готовые безжалостно обрушиться на младшего, разбить ему лицо в кровь. Младший брат молчит. Он очень бледен. На ресницах уже дрожат слезы.

Старший умер в хмурый, пасмурный день. Кажется, это случилось весной, в апреле. Мне позвонили. Сказали только, что его нашли мертвым на полу в комнате. Больше ничего. На самом деле он умер задолго до конца своей жизни. Он еще ходил по земле, но было уже слишком поздно: он умер со смертью младшего брата. Какие безжалостные слова — все кончено.

Она просила, чтобы старшего похоронили рядом с ней. Я не помню, где они похоронены, на каком кладбище, кажется, где-то в долине Луары. Они лежат в одной могиле. Вдвоем. Это правильно. И невыносимо прекрасно.

Вечер наступал в один и тот же час в любое время года. Сумерки сгущались быстро, почти внезапно. В сезон дождей мы неделями не видели неба. Его затягивал густой туман, сквозь него не просачивался даже свет луны. А в сухой сезон небо ясное, ярко-синее, без единого облачка. Даже безлунными ночами светло. И ложатся тени — на землю, на воду, на дорогу, на стены.

Я плохо помню дни. Яркий солнечный свет затмевал все краски, смазывал их. Зато помню ночи. Синева вдалеке, где-то выше неба, за этим твердым, прозрачным куполом, на самом дне опрокинутой чаши. Небо для меня — вот это чистое сияние, что рассекает синеву, бесцветный блеск холодного расплавленного металла. Иногда — мы жили тогда в Виньлонге — если матери было грустно, она приказывала запрячь двуколку, и мы ехали за город, полюбоваться летней ночью. Как же мне повезло — у меня были эти ночи, я любовалась ими вместе с матерью. Потоки прозрачного света струятся с небес, словно бесшумные, недвижные водопады. Воздух синий, его можно взять в руки. Синий-синий. Небо в сиянии лунного света тоже можно потрогать рукой. Все залито светом, поля по обеим сторонам реки освещены до самого горизонта. Каждая ночь — особая, непохожая на другие, и особость ее длится до самого рассвета. Единственный звук в ночи — вой собак. Они воют на луну, томясь ее тайной. Звук несется от деревни к деревне, собаки подхватывают его одна за другой, пока он не заполнит собой ночь от края до края.

Чернильные тени коричных деревьев лежат на аллеях. Сад застыл в каменной неподвижности. Неподвижен дом — величественный, мрачный. Застыл и мой младший брат — он шел рядом со мной, вдруг остановился и неотрывно смотрит на открытые ворота и пустынный проспект за ними.

В тот день его не оказалось у дверей лицея. В черном автомобиле сидел один шофер. Он сказал мне, что молодой господин срочно уехал в Шадек, потому что заболел его отец. И приказал ему, шоферу, остаться в Сайгоне, чтобы утром отвозить меня в лицей, а вечером — обратно в пансион. Молодой господин вернулся через несколько дней. Я снова увидела его на заднем сиденье черного автомобиля, он, как всегда, прятал лицо от любопытных взглядов, как всегда, боялся. Мы молча обнялись прямо на улице, перед лицеем, обнялись, забыв обо всем на свете. Он целовал меня и плакал. Отец будет жить, сказал он. Рухнула его последняя надежда. Он говорил с отцом. Умолял позволить ему не расставаться со мной, остаться со мной еще ненадолго, сказал: ты должен меня понять, ты ведь, наверное, тоже любил, как я, хоть один раз за

твою долгую жизнь, иначе быть не может, позволь же и мне испить до дна эту страсть, помрачение рассудка, безумную любовь к белой девушке, позволь мне побыть с нею еще немного, прежде чем она уедет во Францию, позволь любить ее, владеть ею еще, еще хотя бы год, я не в силах расстаться с ней сейчас, слишком рано, это все так ново, любовь еще так сильна, так неистова, мне было бы слишком тяжело лишиться ее сразу, ведь ты же знаешь, отец, что такое уже не повторится.

Отец ответил, что предпочел бы видеть своего сына мертвым.

Мы обливались прохладной водой из глиняных кувшинов, целовались и плакали, и просто можно было умереть, но на этот раз мы были безутешны в своем наслаждении. А потом я ему все сказала. Не жалей ни о чем, сказала я, ведь ты же сам говорил, что меня не удержать и мои поступки от меня не зависят. Он ответил — теперь даже это безразлично, он уже готов ко всему. И тогда я сказала, что согласна с его отцом. Сказала, что не останусь с ним. И не стала объяснять почему.

Я иду по широкому проспекту в Виньлонге, по проспекту, что выходит на Меконг. По вечерам здесь всегда пустынно. В тот вечер, как и почти каждый день, в электросети произошла авария. С этого все и началось. Стоит мне выйти на проспект, а воротам захлопнуться за моей спиной, свет гаснет. Я бегу. Я очень боюсь темноты. Бегу все быстрее и быстрее. И вдруг слышу — или мне чудится,— будто позади меня тоже кто-то бежит. Я понимаю, что это правда, сзади кто-то есть, кто-то бежит за мной следом. Я оборачиваюсь на бегу и вижу высокую, худую словно скелет женщину, она бежит и смеется. Ноги босые, она бежит за мной и пытается меня поймать. Я узнаю ее: это городская сумасшедшая, ее знают все в Виньлонге. Я впервые слышу ее голос, она разговаривает только по ночам, а днем спит, часто она спит прямо здесь, на проспекте, у входа в сад. И вот она бежит и что-то кричит на незнакомом мне языке. От страха я не могу даже позвать на помощь. Мне лет восемь. Я слышу ее пронзительный смех и радостные вопли, сомнения нет, она хохочет надо мной. Это воспоминание — о самом сильном, всепоглощающем страхе в моей жизни. Сказать, что он сильнее моего рассудка, моей воли — значит ничего не сказать. Я помню жуткую уверенность, захлестнувшую меня целиком: если женщина дотронется до меня хоть пальцем, это хуже смерти — я тоже сойду с ума. Я ворвалась в соседский сад, добежала до дома, взлетела по ступенькам крыльца и упала у самой двери. И еще много дней спустя не могла рассказать, что со мной случилось.

Сейчас, в старости, я все еще боюсь осознать, как ухудшается состояние матери,— я по-прежнему не решаюсь назвать его истинным именем — эта преграда отделяла ее от нас, детей. Именно мне суждено увидеть ее со всей ясностью, мне, а не братьям, потому что братья тут ничего не понимают.

Это случилось за несколько месяцев до нашего окончательного разрыва, в Сайгоне, поздно вечером; мы сидели на террасе нашего дома на улице Тессар. И До тоже. Я посмотрела на мать. И с трудом узнала ее. А потом вдруг, словно при внезапной вспышке, увидела вместо матери незнакомку. Передо мной была чужая женщина, она сидела на месте матери, но не была ею, очень походила на нее, но эта женщина не могла быть моей матерью. Она как-то тупо смотрела в сторону парка, смотрела в одну точку, будто ждала чего-то неотвратимого, о чем я и не догадывалась. У нее было молодое лицо, молодые глаза, и вся она светилась счастьем, хоть и старалась сдерживаться в силу привычной стыдливости. Как она была хороша! Рядом с ней сидела До. Та, казалось, ничего не замечала. А я испугалась не красоты матери, не счастливого выражения ее лица, а совсем другого: кто-то сидел здесь вместо нее, а я и не заметила, когда произошла подмена, я знала, что никакой другой женщины

тут быть не могло, только она, но вдруг исчезла именно ее неповторимость, и я не знаю, как вернуть ее. Нечем больше заполнить опустевшую оболочку. Я обезумела, будучи в полном рассудке. Еще успею закричать. И я закричала. Слабый крик, бессильный призыв на помощь, но он разбил смертоносный лед, сковавший всех нас. Мать обернулась.

Я заполнила весь город ею, этой нищенкой с проспекта. Все попрошайки из больших городов, с рисовых полей, с дорог вокруг горы Сиам и с берегов Меконга соединились для меня в одной, в той, что напугала меня. Она приходила отовсюду. Но откуда бы ни шла, всегда направлялась в Калькутту. Она спала в тени коричных деревьев во дворе пансиона. А над ней склонялась моя мать, она обмывала и бинтовала ей чудовищную рану на ноге, изъеденную червями и обсиженную мухами.

Рядом с нищенкой — маленькая девочка, о ней я и хочу рассказать. Женщина прошла две тысячи километров, неся ее на руках. Девочка ей совсем не нужна, она бы отдала ее, берите, кому надо. У нее нет больше детей. Они ей ни к чему. Все уже умерли, или брошены, их было много за ее долгую жизнь. А эта девочка, что спит под коричным деревом, еще жива. Она проживет дольше всех. И умрет в доме, одетая в кружевное платье. И ее будут оплакивать.

Вот она сидит на краю рисового поля, у самой дороги, кричит и хохочет во все горло. У нее такой звонкий смех, что и мертвого разбудит, да, разбудит всякого, кто прислушается к смеху ребенка. Целыми днями сидит она возле бунгало, в этом бунгало живут белые люди, девочка помнит: они дают нищим поесть. Но вот однажды она просыпается и отправляется в путь, однажды утром она уходит — кто знает почему, сворачивает к горам, идет через лес, карабкается по извилистым тропам на гребень Сиама. Она смотрит вверх, видит желто-зеленое небо над долиной по ту сторону горной цепи — быть может, это помогает ей перебраться через горы. И вот она начинает спускаться к морю, к концу своего пути. Ее тощие ноги быстро-быстро мелькают на лесистых склонах. Она идет, идет. Проходит через зачумленные селения. В этих местах очень жарко. Здесь не чувствуется целительного дыхания моря. Только монотонное жужжание множества комаров, да мертвые дети, да дожди изо дня в день. И вот наконец дельта. Самая большая дельта в мире. Черный ил под ногами. Дорога ведет к Читтагонгу. Она прошла лесными тропами, миновала чайные плантации под палящим солнцем и теперь выходит к дельте. Оттуда начинается вращение земли. Она идет в этот далекий, недостижимый край, на восток. И однажды утром видит море. Она радостно кричит, заливается своим удивительным, квохчущим смехом, так похожим на птичий щебет. Из Читтагонга плывет джонка, рыбаки, привлеченные смехом девочки, берут ее с собой, и вот она плывет с ними через Бенгальский залив.

А потом она появляется то здесь, то там, на свалках в предместьях Калькутты.

Затем пропадает из виду. Но снова появляется. В том же городе, за зданием французского посольства. Сытая, умиротворенная, она спит посреди парка.

В этом парке она проводит ночи. Купается в Ганге на рассвете. Она всегда весела, всегда смеется. И никуда больше не уходит. Она ест здесь, спит, здесь так спокойно ночью, она поселилась в парке под олеандрами.

Однажды в этот парк пришла я. Мне семнадцать лет. В английском квартале Калькутты стоят здания посольств, окруженные садами; идут муссонные дожди, теннисные корты пусты. На берегу Ганга хохочут прокаженные.

Наш пароход сделал стоянку в Калькуттском порту. Какая-то поломка на корабле. Мы гуляем по городу, чтобы убить время. На другой день вечером мы уплываем.

Пятнадцать с половиной лет. В Шадеке слухи разносятся быстро,

Даже этот наряд — разве он не говорит о позоре? Что за мать, она ничего в жизни не умеет, не сумела даже воспитать девочку! Бедное дитя. Расхаживает в этой шляпе, с накрашенными губами, вряд ли она так уж невинна, нет, это о чем-то говорит, это все не просто так, старается привлечь мужчин, ради денег. А ее братья и вовсе негодяи! Говорят, она с китайцем, сыном миллиардера, у него еще вилла на берегу Меконга, отделанная голубой плиткой. Казалось бы, для него это должно быть лестно, однако даже он не хотел бы видеть ее женой своего сына. Семейство белых проходимцев.

Все называли ее «дамой», она приехала из Саваннакхета. Ее муж получил назначение в Виньлонг. Целый год она в Виньлонге не появлялась. Все из-за того юноши, помощника управляющего в Саваннакхете. Им нельзя было больше любить друг друга. И тогда он застрелился. Слухи об этом дошли и до Виньлонга. В тот день, когда она уезжала из Саваннакхета в Виньлонг, он пустил себе пулю в сердце. На площади перед факторией, средь бела дня. Потому что из-за маленьких дочерей и из-за мужа, получившего назначение в Виньлонг, она сказала ему: больше так продолжаться не может.

Это происходит каждый вечер в квартале Шолона, пользующемся дурной славой. Каждый вечер эта испорченная девочка отдает свое тело ласкам грязного китайца, сына миллионера. Она ходит в лицей вместе с другими белыми девушками, с юными спортсменками, которые учатся плавать кролем в бассейне спортивного клуба. Однажды им прикажут не разговаривать с дочкой учительницы из Шадека.

На переменах она стоит одна, облокотившись на ограду, и смотрит на улицу. Матери ничего не говорит. И продолжает ездить в лицей в черном лимузине. Девушки с любопытством глядят ему вслед, когда он отъезжает. Ни одна из них не нарушит приказа. Никто больше не заговорит с ней. Это отчуждение вызывает из глубин памяти даму из Виньлонга. Той было тридцать восемь лет. А девочке — десять. И теперь, в шестнадцать лет девочка вспоминает о ней.

Дама сидит на террасе и смотрит на проспект, тянущийся вдоль Меконга, я вижу ее каждый раз, возвращаясь с младшим братом из воскресной школы. Ее комната — в центре большого дворца, а дворец стоит посреди парка олеандров и пальм. Одна и та же преграда отделяет и даму, и девушку в розовой шляпе от остальных жителей фактории. Обе они смотрят на длинные проспекты и на реку, и обе так похожи друг на друга! Они остались в одиночестве. Королевы в опале. Их презирают — это само собой разумеется. Каждая обречена на немилость из-за собственного тела, это тело ласкает и целует любовник, каждая предана анафеме, ибо познала наслаждение, от которого можно умереть, так они сами говорят, умереть загадочной смертью, подстерегающей любовников, что не испытали любви. Вот в чем дело: в этой тяге к смерти. Смерть витает вокруг них, ее не запрешь в спальне, эта смерть сильна, и о ней знает весь город, знают в факториях, в административных центрах, на приемах, на нескончаемых балах в колониальных управлениях.

Дама в то время возобновила у себя приемы; она решила, что все уже в прошлом, юноша из Саваннакхета окончательно забыт. И снова стала устраивать вечера, которые необходимы, чтобы люди могли время от времени видеться, чтобы они хоть иногда вырывались из одиночества, неминуемого в затерянных среди нескончаемых рисовых полей факториях, среди страха, безумия, лихорадки, забвения.

Вечером она выходит из лицея, у дверей — все тот же черный лимузин, на ней та же шляпа, придающая ей дерзкий и детский вид, те же золотые туфельки, и снова она идет, идет туда, где сын китайского миллиардера разденет ее и будет долго мыть под душем — вот так же она мылась каждый вечер дома, у матери,— будет поливать ее прохладной

водой из глиняного кувшина, специально для нее приготовленного, а потом отнесет ее, мокрую, на постель, включит вентилятор и будет целовать ее всю, жарче и жарче, и она будет просить: еще, еще, а потом она вернется в пансион, и снова некому будет наказать ее, побить, высечь, выбранить.

Застрелился он на рассвете, перед факторией, на широкой площади, залитой светом. Она в это время танцевала. Потом наступил день. Очертил контур тела. Позже, под палящими лучами солнца оно стало бесформенным. Никто не решался подойти к нему. Телом займется полиция. В полночь придет баркас и все будет кончено, площадь очистят.

Мать сказала директрисе пансиона: это все пустяки, это не имеет значения, вы же видели ее? Поношенные платьица, розовая шляпа, золотые туфельки — ей идет, не правда ли? Мать просто пьянеет от радости, говоря о своих детях, и от этого становится еще обаятельнее. Юные надзирательницы слушают ее как зачарованные. Что делать, говорит мать, они все крутятся вокруг нее, все мужчины из фактории, и женатые, и холостые, так и ходят кругами, все хотят эту малышку, девочку, еще не вполне оформившуюся, вы только посмотрите на нее — она же совсем ребенок. Люди говорят: опозорена? Что ж, а я скажу вам: как может сама невинность быть опозоренной?

Мать говорит, говорит. Да, говорит она, девочка выставляет себя напоказ,— и смеется, говоря о моем скандальном поведении, о шутовском наряде, об этой дурацкой шляпе, об удивительной элегантности девочки, которая уже пересекла свою реку; она смеется: вы же не понимаете, никто не может устоять здесь, во французских колониях, никому не устоять перед белоснежной кожей, не устоять перед этой девочкой; ее долго прятали в глуши и вдруг выпустили на свет божий, и теперь она в большом городе, у всех на виду разгуливает с китайским подонком, у которого много миллионов, и носит бриллиант на пальце, и впрямь, как жена банкира,— и мать плачет.

Увидев мой бриллиант, она говорит тоненьким голосом: знаешь, это напоминает тот маленький солитер, который мой первый муж подарил мне к помолвке. Да, говорю я, господин Ноль. Мы смеемся. Правда, говорит она, его действительно так звали.

Мы долго смотрели друг на друга, а потом она улыбнулась мне ласково и чуть насмешливо, в этой улыбке было такое глубокое понимание всего, что происходит с ее детьми и что с ними еще произойдет, такое всеведение, что я чуть было не заговорила с ней о Шолоне.

Но все-таки не сделала этого. Ни тогда, ни потом.

Она долго молчала, словно ждала чего-то, а потом сказала с искренней любовью в голосе: ты понимаешь, что все кончено? Что здесь, в колониях, ты уже никогда не выйдешь замуж? Я пожала плечами и рассмеялась. Я выйду замуж где угодно и когда захочу, ответила я. Мать покачала головой. Нет, сказала она, только не здесь, здесь уже всё знают. Она опять посмотрела на меня и сказала слова, которые я никогда не забуду: ведь ты им нравишься? Да, ответила я, ты права, я все равно им нравлюсь. И тут она сказала: я знаю, ты нравишься им, потому что ты — это ты.

И еще спросила: ты видишься с ним только из-за денег? Помедлив немного, я ответила: да, только из-за денег. Она долго смотрела на меня, не веря моим словам. Потом сказала: я была не такая, как ты, учеба мне давалась труднее, и я была очень серьезной, да, я слишком долго была серьезной и утратила вкус к удовольствиям.

Это было во время каникул в Шадеке. Мать отдыхала в качалке, положив ноги на стул; она открыла двери в гостиную и в столовую, чтобы устроить сквозняк. Она была спокойна, ни на кого не злилась.

Вдруг она увидела дочь, и ей захотелось поговорить со своей малышкой.

Уже немного оставалось до конца, до отказа от концессии на плотину. До отъезда во Францию.

Я долго смотрела, как она засыпает.

Время от времени мать объявляет: завтра идем к фотографу. Она ругает цены, но все же тратится на семейные фотографии. Фотографии — их мы иногда смотрим, не смотрим друг на друга, но разглядываем снимки, не вместе, нет, каждый сам по себе, молча, без комментариев, мы смотрим и видим себя. Видим всех членов нашей семьи вместе и по отдельности. Видим себя совсем маленькими на старых фотографиях и сравниваем их с недавними снимками. Мы стали еще дальше друг от друга. Посмотрев, мы убираем фотографии в бельевой шкаф. Мать фотографирует нас, чтобы знать, нормально ли мы растем. Она подолгу смотрит на фотографии, как и все матери. Сравнивает снимки и рассказывает о том, как растут ее дети. Ей никто не отвечает.

Мать фотографирует только своих детей. Больше ничего, никогда. У меня нет ни одного вида Виньлонга, ни сада, ни реки, ни тамариндов, посаженных вдоль прямых проспектов еще во времена французского завоевания, ни одного снимка нашего дома, наших комнат, похожих на больничные палаты, с белеными стенами, большими железными кроватями, черными с позолотой, и освещенных, будто классные комнаты, тусклым светом уличных фонарей, с зелеными жестяными абажурами — ни одной фотографии этого немыслимого дома, временного пристанища, такого безобразного, что хочется бежать оттуда куда глаза глядят, пристанища, где обитала моя мать, ожидая, пока можно будет построить настоящий дом, не здесь, а во Франции, в тех местах, о которых она рассказывала нам всю жизнь,— в зависимости от ее настроения, возраста, воспоминаний или в Па-де-Кале, или в Антр-дё-Мер. Но когда она наконец поселится в своем последнем доме на берегах Луары, ее комната будет точной копией комнаты в Шадеке, такой же безобразной. Она все забудет.

Она никогда не фотографировала ни домá, ни пейзажи, только нас, своих детей, чаще всего всех троих вместе: это стоило дешевле. Есть еще несколько любительских снимков, сделанных друзьями матери и ее новыми коллегами, приехавшими в колонии: они фотографировали тропические пейзажи, пальмы, маленьких кули на улицах — и посылали снимки близким.

Тайком от нас мать показывает наши фотографии своей родне, когда ездит в отпуск. Мы не желаем иметь дела с родней. Мои братья даже ее не знают. Меня, самую младшую, она поначалу возила показывать родственникам. Потом я выросла и перестала к ним ездить: тетки, шокированные моим поведением, не хотели, чтобы их дочери общались со мной. Теперь матери остается только показывать фотографии, одну за другой, по порядку; она показывает своим двоюродным сестрам детей, которых вырастила. Это словно долг, и она его выполняет: ведь кроме кузин никого не осталось из ее семьи, и вот мать показывает им семейные фотографии. Понимает ли хоть кто-нибудь, как живет эта женщина? Как хочет во всем дойти до конца, не допуская и мысли, что можно оставить, бросить и этих кузин, и эту тяжкую ношу, это бремя? Наверное. Благодаря ее крестьянской стойкости, казалось бы, такой бессмысленной, я обретаю покой и благодать.

Когда она состарилась и волосы у нее поседели, она тоже пошла к фотографу, одна, и сфотографировалась в нарядном темно-красном платье, со своими двумя драгоценностями — цепочкой и золотой брошью с нефритом, маленьким кусочком нефрита в золотой оправе. На этой фотографии она аккуратно причесана, волосок к волоску, просто кар-

тинка. Местные жители, те, что побогаче, тоже ходили к фотографу, один раз в жизни, когда чувствовали приближение смерти. Фотографии были большие, одного формата, их вставляли в красивые рамки и вешали рядом с семейным алтарем. Люди на этих фотографиях — а я видела их немало — выглядели почти одинаково, сходство было просто поразительным. И не только потому, что все старики походят друг на друга: портреты были отретушированы так, что своеобразные приметы лиц, если они и уцелели к старости, оказывались словно смазанными. Все лица были одинаково приукрашены для встречи с вечностью, старательно омоложены и обезличены. Заказчики сами этого хотели. Похожесть и скромность отличали их воспоминания о пребывании в семье, определяя личность каждого человека, его земные дела. Чем разительней было их сходство, тем очевиднее говорили фотографии об их принадлежности к семье. К тому же все мужчины были в одинаковых тюрбанах, все женщины — с туго зачесанными волосами и одинаковыми шиньонами, все одинаково одеты, у всех стоячие воротнички. Они очень похожи, я и сейчас узнала бы их из тысяч людей, и так же выглядела на фотографии моя мать в красном платье, тот же облик, кто-нибудь сказал бы — благородный, а другой возразил бы — невыразительный.

Больше они не разговаривают об этом. Между ними существует молчаливый уговор: он оставит свои попытки и не будет больше просить у отца разрешения жениться на ней. Они знают: у того нет ни капли жалости к сыну. Он не жалеет никого. Из всех китайских эмигрантов, что держат в руках торговлю в колониях, этот человек из виллы с голубыми террасами — самый безжалостный и самый богатый, его владения — самые обширные, они простираются далеко за пределы Шадека, до самого Шолона, китайской столицы французского Индокитая. Мужчина из Шолона знает: решение отца, как и решение девочки, окончательно и обжалованию не подлежит. В глубине души он уже понял, что ее отъезд, разлука с ней — единственно возможный благополучный исход их романа. Ведь она не создана для замужества, она сбежит от любого мужа, рано или поздно все равно придется расстаться с ней, забыть ее, вернуть ее белым людям, вернуть ее братьям.

Он без ума от ее тела, и девочка сама перестала тяготиться этим телом, его хрупкостью, и, как ни странно, даже ее мать больше не тревожится, словно тоже вдруг обнаружила, что оно вполне пристойное, приемлемое, не хуже других. Любовник из Шолона считает, что чересчур жаркое солнце помешало белой девочке вырасти. Он сам родился и рос под палящим солнцем. Это их как-то роднит. Он говорит: годы, проведенные в изнуряюще жарком климате, сделали ее девушкой из Индокитая. У нее такие же тонкие запястья, как у местных девушек, густые волосы, вобравшие, кажется, в себя всю ее силу, такие же длинные, и главное — кожа, столь нежная от дождевой воды, которую здесь собирают для купания женщин и детей. Он говорит: у француженок кожа грубоватая, даже шершавая на ощупь, не то что у нее. Еще он говорит: скудная пища тропиков — рыба да фрукты — тоже сыграла свою роль. И одежда — платья из хлопка и шелка, широкие, свободные, нисколько не стесняющие тело.

Любовник из Шолона уже не может жить без девочки-подростка, он растворился в этой любви. Каждый вечер девочка дарит ему наслаждение, и оно поглощает его целиком. Теперь он почти не разговаривает с ней. Быть может, он думает: слова бессмысленны и ей все равно не понять того, что он может сказать о ней, о своей любви, он ведь и сам только сейчас узнал, как это бывает, что́ же ему сказать? Или он понял: они никогда и не разговаривали по-настоящему, а только звали друг друга в полутемной комнате по вечерам. Да, раньше он не знал этого, а теперь уже понимает.

Он смотрит на нее. Даже с закрытыми глазами он все еще на нее смотрит. Вдыхает аромат ее лица. Вдыхает запах детской кожи, вбирает в себя ее дыхание, слабое теплое дуновение. Он почти не различает очертаний ее тела, это тело не такое, как другие, у него нет четких границ, застывших форм, здесь, в комнате, оно еще растет, ежечасно, ежеминутно изменяется, оно не только там, где он видит его, оно везде, там, где он и не может его видеть, где царит игра и витает смерть, податливое, гибкое, оно растворяется в наслаждении, у него нет возраста, оно не лукавит, просто страшно, до чего оно все понимает.

Я смотрела, что́ он делает со мной, смотрела, как он берет меня, я и не знала, что так бывает, это превосходило все мои ожидания, отвечало малейшим движениям моего тела. Так я стала его ребенком. И он тоже стал чем-то другим для меня. Я узнавала невообразимую нежность его кожи, его полового органа. Тень другого мужчины проносилась по комнате, тень юного убийцы, но я еще не знала об этом, я его не видела. И другая тень витала в комнате, тень молодого охотника, вот о ней я знала, иногда я видела ее в минуты наслаждения и говорила ему, любовнику из Шолона, о теле того, другого, о его немыслимой нежности, о том, как он был смел, когда по лесу или по берегу реки шел прямо на логово черной пантеры. И все это разжигало в нем желание, и он брал меня снова и снова. Я была — его дитя. Каждый вечер он занимался любовью со своей дочерью. Иногда ему вдруг становится страшно, он обеспокоенно спрашивает, как она себя чувствует, будто только сейчас обнаружил, что она, подобно другим, смертна, его пронзает мысль, что он может потерять ее. Он вдруг замечает, какая она хрупкая, и его охватывает внезапный страх. Его пугают ее головные боли, ему страшно, когда она лежит, слабая, мертвенно-бледная, неподвижная с мокрым платком на глазах. Его пугает внезапно находящее на нее отвращение к жизни, когда она думает о матери и начинает кричать и плакать от бешенства при мысли, что не может ничего изменить, не может сделать мать счастливой, пока та еще жива, не может убить людей, которые причинили ей зло. Склонившись над ней, он собирает губами ее слезы, с неистовой силой прижимает ее к себе, обезумев от желания при виде ее слез и ее ярости.

Он берет ее, как взял бы свое дитя. Вот так же он овладел бы своей дочерью. Он играет с телом своего ребенка, переворачивает его, прижимается к нему лицом, губами, утыкается в него лицом. А девочка отдается этой игре, зная заранее, к чему она приведет. И вот уже она молит его о чем-то, а он кричит: замолчи, кричит, что больше не хочет ее, не хочет наслаждаться ее телом, и вот они снова обнимаются, сплетаются в смертельном страхе, страх вновь окутывает их, и они плывут по течению, и снова слезы, отчаяние, счастье.

Весь вечер они молчат. В черном автомобиле, который везет их к пансиону, она кладет голову ему на плечо. Он обнимает ее. И говорит: как хорошо, что скоро придет пароход из Франции и увезет тебя навсегда. Они молчат весь остаток пути. Несколько раз он просит шофера не торопясь проехать вдоль реки. Утомленная, она засыпает, прижавшись к нему. Он будит ее поцелуями.

В дортуаре горит голубоватый свет. Пахнет ароматической смолой: ее всегда жгут здесь на закате солнца. Душно, воздух неподвижен, все окна раскрыты настежь, но нет ни ветерка. Я снимаю туфли, чтобы не шуметь, но не волнуюсь, знаю, что надзирательница не встанет, ведь теперь я могу возвращаться, когда мне вздумается. Я сразу подхожу к кровати Э. Л., за нее мне всегда немного беспокойно, боюсь, как бы она не сбежала из пансиона в мое отсутствие. Она здесь. Вот она, Э. Л., крепко спит. Помню, что и во сне у нее упрямый, почти враждебный вид.

Будто она от чего-то отказывается. Руки закинуты за голову. Она спит не так, как другие девушки, те лежат в приличных позах, а у нее ноги поджаты, лица не видно, подушка соскользнула на пол. Я догадываюсь: она ждала меня и, не дождавшись, уснула, обиженная, сердитая. Должно быть, плакала, пока не провалилась в сон. Мне хотелось бы ее разбудить, мы бы поболтали шепотом. Я больше не разговариваю с мужчиной из Шолона, и он больше не разговаривает со мной, и теперь мне хочется расспросов Э. Л. Она всегда внимательна, как все люди, которые не понимают, что им говорят. Но будить ее нельзя. Если Э. Л. разбудить среди ночи, она больше не уснет. Ночью она встает, ей хочется на улицу, и она выходит, сбегает по лестницам, бродит по коридорам, по пустому двору, бегает, зовет меня, она так счастлива, ничего нельзя с ней поделать, разве что лишить ее прогулки днем, но ведь именно этого она и ждет. Нет, я не стану ее будить. Под москитной сеткой невыносимо душно, если задернуть ее, то просто нечем дышать. Но ведь я пришла с улицы, с берегов реки, где ночью всегда свежо. Я уже привыкла, лежу неподвижно и жду, когда это пройдет. Постепенно проходит. Я никогда не засыпаю сразу, хоть и очень устаю от того нового, что пришло в мою жизнь. Я думаю о мужчине из Шолона. Сейчас он, наверное, сидит в каком-нибудь ночном баре недалеко от «Родника» вместе со своим шофером, и они молча пьют, вдвоем, без чужих, пьют, как всегда, рисовую водку. Или, может быть, он вернулся домой и уснул в полумраке своей комнаты, так ни с кем и не поговорив. Сегодня мне невыносимы мысли о мужчине из Шолона. И так же невыносимы мысли об Э. Л. Их жизнь видится мне полной глубокого смысла, пришедшего откуда-то извне. А я ничего подобного не знаю. Мать говорит: девочка вечно всем недовольна. Мне кажется, я начинаю отчетливее видеть свою жизнь. И чувствую — я уже могу себе в этом признаться,— чувствую смутное желание умереть. Слово «смерть» уже неотделимо от моей жизни. В глубине души мне хочется остаться одной, но я больше не бываю одна с тех пор, как ушла из детства, покинула свою семью, семью Охотника. Я буду писать книги. Это единственное, что я вижу за пределами настоящего, в раскинувшейся передо мной пустыне моей будущей жизни.

Я не помню, какие слова прочла в телеграмме из Сайгона. Было ли там сказано «скончался» или «Господь призвал его»? Кажется, так и было: «Господь призвал». Я вдруг отчетливо поняла: она не могла послать такую телеграмму. Младший брат. Умер. До меня это не сразу дошло, а потом вдруг — боль, она везде, она захлестнула меня, накрыла с головой, повлекла куда-то, я ничего не видела, меня больше не было, осталась только боль, я уже не знала какая: то ли вернулась боль от потери ребенка — это случилось несколько месяцев назад,— то ли накатила новая. Теперь я понимаю — новая боль, мой ребенок прожил всего несколько часов, я не знала его, и тогда мне не приходило в голову покончить с собой, а теперь мне хотелось этого.

Они заблуждались. Просто ошиблись, но в несколько секунд эта ошибка захватила всех и вся. Скандал на уровне Господа Бога. Мой младший брат был бессмертен, а они этого не заметили. Бессмертие таилось в теле моего брата, пока он жил на земле, но мы не знали, никто не знал, что в нем скрыто бессмертие. Тело младшего брата умерло вместе с ним. А мир продолжал жить без этого тела — вместилища божественного духа, без этого чудесного духа. Они заблуждались. Ошибка захватила всех и вся, это скандал, позор.

Когда младший брат умер, мир должен был умереть вслед за ним. Умереть его смертью. Это была цепная реакция, смерть начиналась с него, с этого ребенка — ведь для меня он так и остался ребенком.

А умершее тело ничего не знало о том, что последовало за его

смертью. Мой брат двадцать семь лет носил в себе бессмертие, не ведая о нем.

Никто не знал, кроме меня. И когда это знание пришло ко мне, стало очень просто: тело младшего брата было и моим телом, поэтому я тоже должна была умереть. И я умерла. Младший брат и меня вобрал в себя, я соединилась с ним и умерла.

Людей надо предупреждать о таких вещах. Они должны узнать, что бессмертие смертно, что оно может умереть, такое уже случалось и может случиться снова. Бессмертие не проявляется само по себе, ведь всякий, кто живет,— смертен. Оно не существует в частностях, это — начало всех начал. Люди должны знать, что иные из них могут носить бессмертие в себе, сами того не ведая. А кто-то может открыть его в своих ближних, тоже не ведая о его могуществе. Поймите, жизнь бессмертна, только пока она жива. Поймите, бессмертие — не вопрос времени, даже не вопрос собственно бессмертия, дело в другом, но никто не знает, в чем. Сказать, что бессмертие не имеет ни начала ни конца — ложь, но так же лживы заверения в том, что оно начинается и кончается с жизнью человеческого духа, хотя, быть может, бессмертие связано с духом, с поиском ветра в поле. Взгляните на безжизненные пески пустынь, на тела мертвых детей: бессмертие через них не проходит, оно останавливается и осторожно их огибает.

А младший брат носил в себе чистое бессмертие, это не плод чьей-нибудь фантазии, это было бессмертие без изъяна, не подверженное никаким случайностям, беспредельное. Младший брат не вопиял в пустыне, ему не о чем было вопиять, нечего сказать где бы то ни было, просто нечего. Он не получил образования, никогда ничему не учился. Он не мог складно говорить, едва умел читать и писать, иногда казалось даже, что он не умел страдать. Он просто ничего не понимал и всегда испытывал страх.

Не знаю, почему я так безумно любила его, эта любовь навсегда останется для меня непостижимой тайной. Почему я любила его так, что захотела умереть его смертью? До этого мы не виделись десять лет, и вспоминала я о нем не часто. Наверное, я любила его всегда, и ничто не было властно над этой любовью. Ничто, кроме смерти, а о ней я забыла.

Мы редко говорили с ним, почти не говорили о старшем брате, о нашей общей беде, о несчастье матери, о неудаче с плотинами. Говорили больше об охоте, о карабинах, о механизмах, об автомобилях. Он не мог спокойно видеть разбитую машину, злился и говорил, какие автомобили у него будут когда-нибудь. Я уже знала все типы охотничьих карабинов и все марки машин. Еще мы, конечно, говорили о том, что можно попасть в зубы тигру, если не будешь смотреть в оба, что можно утонуть, если вздумаешь купаться там, где слишком быстрое течение. Он был старше меня на два года.

Ветер утих, и под деревьями стало неестественно светло, как бывает только после дождя. Птицы кричат изо всех сил, будто ошалелые, им не нравится холод, и они оглушительно орут в прохладном воздухе, широко-широко разевая клювы.

Пароходы поднимались по реке, мотор молчал, их тянули буксиры, они двигались к порту в устье Меконга, в сторону Сайгона. Эту излучину одного из рукавов Меконга называют здесь Ривьерой, сайгонской Ривьерой. Пароход стоял здесь восемь дней. Он причаливал к пристани, и с ним причаливала сама Франция. Можно было пообедать и потанцевать во Франции, правда, моя мать не могла себе этого позволить, слиш-

ком дорого, да ей это было и ни к чему, а вот с ним, с любовником из Шолона, можно было бы туда пойти. Но он не хотел этого, боялся, что его увидят с такой молоденькой белой девушкой, ей он ничего не говорил, она сама все знала. В то время, всего лет пятьдесят назад, путешествовать по свету можно было только на пароходах. Огромные пространства на всех континентах еще не были опутаны сетью шоссейных и железных дорог. Сотни, тысячи квадратных километров связывались лишь древними морскими путями. Между Индокитаем и Францией ходили большие пассажирские суда компании «Мессажери маритим», мушкетеры морских трасс — «Портос», «Д'Артаньян», «Арамис».

Путешествие длилось двадцать четыре дня. За это время пароход становился настоящим городом со своими улицами, барами, кафе, библиотеками, где происходили встречи, романы, свадьбы и смерти. Здесь складывалось свое общество, случайное, вынужденное, разумеется, но именно потому оно всех устраивало, и для многих это были незабываемые, веселые дни, а для женщин — вообще единственные в их жизни путешествия. Да, для большинства женщин и для некоторых мужчин тоже путешествие из Франции в колонии на всю жизнь оставалось самым захватывающим приключением. Так и для нашей матери, мы тогда были совсем маленькие, а она часто говорила потом о «лучших днях своей жизни».

Они уходили. Прочь. Испокон веков мужчины уходили в море. Разлука с землей отзывалась в душе болью и отчаянием, но это никогда не мешало уходить мужчинам — вечным скитальцам, мыслителям и просто путешественникам, пускавшимся в единственный в своей жизни долгий путь по морю, как не мешало женщинам отпускать их; женщины никогда не уезжали, они оставались, чтобы хранить семейный очаг, чистоту расы, нажитое добро, чтобы мужчинам было куда возвращаться. На протяжении долгих веков путешествия на кораблях оказывались дольше и трагичнее, чем в наши дни. Длительность путешествия была тогда равна расстоянию. Люди привыкли медленно передвигаться и по земле, и по морю, привыкли запаздывать, дожидаться попутного ветра, благоприятной погоды, солнца, притерпелись к кораблекрушениям, к смерти. Пароходы, которые видела белая девочка, были самыми современными, самыми быстроходными. В то время уже появились первые авиалинии, которые постепенно и неизбежно лишили человечество долгих путешествий по морю.

Мы по-прежнему приходили каждый вечер в гарсоньерку в Шолоне. Он вел себя как раньше, еще долгое время делал все как обычно, обливал меня водой из глиняных кувшинов и относил в постель. Он ложился рядом со мной, но утратил всю силу, ничего больше не мог. С тех пор как день моего отъезда, пусть еще не близкий, был назначен, он больше не мог владеть моим телом. Это случилось внезапно, помимо его воли. Его тело отвергало тело девушки, которое должно было покинуть его, предать. Он говорил: я не могу больше быть с тобой, я думал, что смогу, но ничего не получается. Я умер, говорил он. С ласковой, извиняющейся улыбкой он бормотал, что, наверное, никогда больше не сможет. А ты хотел бы? — спрашивала я. Пытаясь рассмеяться, он отвечал: не знаю, сейчас, может быть, и хотел бы. Его нежность растворилась в боли. Он не говорил о том, как ему больно, ни разу и словом не обмолвился. Иногда губы у него начинали дрожать, тогда он закрывал глаза и стискивал зубы. Он по-прежнему молчал, и я не знала, что он видит там, за сомкнутыми веками. Казалось, он любил эту боль, любил очень сильно, словно раньше — меня, до смерти, и теперь предпочел ее мне. Он еще говорил, что ему хочется ласкать меня, ведь я так желала этого, а он хотел только смотреть, как на меня снизойдет наслаждение. И он ласкал меня, и смотрел на меня, и звал меня, будто своего ребенка.

Мы решали не встречаться больше, но это было невозможно, абсолютно невозможно. Каждый вечер я снова видела его у дверей лицея в черном автомобиле, он сидел, пряча лицо от стыда.

Наступил час отплытия, пароход дал три протяжных гудка, очень долгих, очень громких, они разнеслись по всему городу, и небо над портом почернело от дыма. К пароходу подплыли буксиры и потащили его на середину реки. Сделав свое дело, буксиры отдали швартовы и вернулись в порт. Тогда пароход снова прощально загудел, опять раздался оглушительный рев, почему-то печальный, и все готовы были расплакаться, не только те, кто уезжал или провожал своих близких, но и люди, пришедшие просто так, посмотреть, хоть им и не с кем было прощаться. Застучали моторы, и пароход медленно поплыл вниз по реке. Еще долго был виден вдали его высокий силуэт, он уплывал все дальше и дальше, к морю. Толпа стояла, глядя ему вслед, люди еще махали шарфами и платочками, но все реже, все нерешительнее. И наконец силуэт корабля скрылся за горизонтом. День был ясный, и, казалось, пароход медленно погружается в воду.

И она не выдержала: лишь раздался первый прощальный гудок, когда убрали сходни и заработали буксиры, потащили пароход от земли, она тоже заплакала. Никто не должен был видеть ее слез: ведь он был китайцем, разве таких возлюбленных оплакивают? Перед матерью и младшим братом она не подала виду, что ей больно, оставаясь внешне бесстрастной, как принято было в их семье. Она видела его автомобиль, длинный, черный, с шофером в белой ливрее. Автомобиль стоял на отшибе, в некотором отдалении от стоянки машин «Мессажери маритим». Она сразу узнала его. Узнала и едва различимый силуэт на заднем сиденье, неподвижный, словно приросший к месту. Девушка стояла, облокотившись о парапет, как тогда на пароме. Она и теперь знала, что он смотрит на нее. Она тоже смотрела на него, уже почти не различая, она не сводила глаз с черного автомобиля. А потом и он исчез. Скрылся вдали порт, и уже не было видно земли.

Потом было Китайское море, Красное море, Индийский океан, Суэцкий канал; однажды, проснувшись утром, мы поняли, что вошли в канал: пароход больше не качало, будто он плыл по песку. Но сначала был океан. Огромный, необъятный океан, простиравшийся до Южного полюса, по нему пролегал самый длинный отрезок нашего пути — от Цейлона до Сомали. Бывали дни — вода такая тихая, такое ласковое солнце в безоблачном небе, что казалось, будто мы плывем вовсе не через океан. В такие дни на пароходе открывались все двери в салонах, коридорах, все иллюминаторы. Пассажиры не могли больше сидеть в душных каютах и уходили спать на палубу.

Во время путешествия, когда пароход плыл через океан, умер один человек. Во время того первого путешествия, или в другой раз — она уже не помнит. Несколько человек играли в карты в баре для пассажиров первого класса, среди них был один юноша, и вдруг он молча положил карты на стол, вышел из бара, бегом промчался по палубе и бросился в море. Пароход шел полным ходом, и когда остановился, найти тело было уже невозможно.

Нет, она пишет эти строки и видит не корабль, а другое место, где она услышала эту историю. Шадек. Юноша был сыном управляющего. Она знала его: он тоже учился в лицее в Сайгоне. Он встает перед глазами, высокий, темноволосый, доброе лицо, очки в роговой оправе. В его каюте не нашли никакой записки, никакого объяснения. Ужасно: он был ее ровесником, ему было семнадцать лет. На рассвете пароход отправился дальше. Это было самое страшное. Заря, бескрайнее море, поиски решено прекратить. Еще одно расставание.

Во время этого путешествия, в том же океане, в сумерках, из большого салона на верхней палубе вдруг донеслись звуки вальса Шопена; девушка помнила этот вальс — несколько месяцев она пыталась разучить его, но безуспешно, ей ни разу не удалось сыграть вальс правильно, и поэтому мать наконец позволила ей бросить занятия музыкой. Эту ночь, одну из множества ночей, девушка провела на пароходе, она точно знает, она была на палубе, когда вдруг зазвучала под звездным небом музыка Шопена. Было совсем тихо, ни ветерка, и музыка разнеслась по темному пароходу как откровение свыше, но никто не знал кому, как наказ от Бога, но никто не знал, о чем. И девушка вскочила, словно для того, чтобы броситься в море, покончить счеты с жизнью, а потом долго плакала, думая о мужчине из Шолона; она уже не была уверена в том, что не любила его, может, она и сама не знала об этой любви, любовь ушла, как вода в песок, и это открылось ей только сейчас, в ту минуту, когда зазвучала музыка посреди безбрежного моря.

Так же потом ей открылось бессмертие младшего брата посреди безбрежной смерти.

Люди вокруг нее спокойно спали, музыка окутывала их, но не будила. Девушка подумала, что это самая тихая на свете ночь, таких никогда еще не бывало в Индийском океане. Кажется, той же ночью она увидела, как на палубу вышел ее младший брат под руку с женщиной. Он облокотился на перила, а женщина обняла его, и они поцеловались. Девушка спряталась поблизости, чтобы получше разглядеть их. Она узнала женщину. Уже несколько дней та была неразлучна с младшим братом. Замужняя женщина, несчастливая в браке. Муж, похоже, ничего не замечал. Последние дни путешествия брат провел с нею в своей каюте, выходили они только под вечер. В эти дни младший брат смотрел на мать и сестренку и, казалось, не узнавал их. Мать помрачнела, стала неразговорчивой, она ревновала. А сестренка плакала. Она была счастлива счастьем брата, но в то же время боялась за него. Ей казалось, что он покинет их, уедет с этой женщиной, но нет, по приезде во Францию он вновь присоединился к ним.

Она не знала, сколько времени прошло после ее отъезда, прежде чем он подчинился наконец воле отца и женился на девушке, которую тот выбрал для него: семьи сговорили их еще десять лет назад, девушка тоже была богата, осыпана золотом, бриллиантами, украшениями из нефрита. Это была китаянка, как и он, из Северного Китая, она приехала из Фушуня в сопровождении своей родни.

Наверное, он еще долго не мог быть с ней, не мог подарить ей наследника всех богатств. Воспоминание о белой девочке было слишком свежо, ее тело виделось ему в супружеской постели. Еще много дней он желал только ее, к ней одной были устремлены все его помыслы, его любовь, его безграничная нежность и мрачная, пугающая чувственность. А потом однажды настал день, когда близость с женой стала возможной. В этот день он так страстно желал белую девочку, это было до такой степени невыносимо, что он вдруг, словно в горячечном бреду, увидел ее всю и овладел другой женщиной, желая только ту, белую девочку. Это была ложь, но он вошел в тело своей жены, это была ложь, но он сделал то, чего ждали от него обе семьи, и Небо, и духи предков там, на севере — он смог зачать наследника имени и состояния.

Быть может, она знала о существовании белой девушки. У нее были служанки — уроженки Шадека, они все знали и, наверное, рассказали ей. Она не могла не видеть, как ему тяжело. Девушки были ровесницами, ей тоже было шестнадцать. Что же произошло в ту ночь? Увидела ли она слезы своего супруга? Попыталась ли утешить его? Могла ли шестнадцатилетняя девочка, невеста-китаяночка тридцатых годов, уте-

шить мужчину, страдающего от сознания своей измены, и взять этот груз на свои плечи? Или она сочла это чересчур непристойным? Как знать? Или все было не так: не говоря ни слова, она просто проплакала вместе с ним остаток ночи. И, может быть, потом, после слез, пришла любовь.

Но белая девушка так никогда и не узнала об этом.

Прошли годы, кончилась война, она выходила замуж, рожала детей, разводилась, писала книги, и вот много лет спустя он приехал с женой в Париж. Он позвонил ей. «Это я». Она сразу узнала его. Он сказал: я только хотел услышать ваш голос. Она ответила: да, это я, здравствуй. Он смутился, его опять, как раньше, одолел страх. Голос его дрогнул. И у него вдруг снова появился китайский акцент. Он знал, что она пишет книги, ему рассказала ее мать, он встречался с ней в Сайгоне. Знал и о смерти младшего брата, посочувствовал. Не мог придумать, что́ еще сказать. А потом вымолвил главное: всё как прежде, он еще любит ее, никогда не переставал любить и будет любить только ее до самой смерти.

◆

СТИВЕН ВИНСЕНТ БЕНЕ

Тело Джона Брауна

(Фрагменты)

Перевод с английского ИВАНА ЕЛАГИНА

«Американская Илиада» и ее русский переводчик

С обычным для нашей расторопности шестидесятилетним опозданием советский читатель может познакомиться с фрагментами из едва ли не самой знаменитой американской поэмы XX века — «Тело Джона Брауна» Стивена Винсента Бене (1898—1943). Это даже не поэма, а эпопея, стихотворный эпос, вышедший отдельной книгой впервые в 1928 году. Через пятнадцать лет, в начале 40-х годов, вышло уже тридцатое издание поэмы, а общий тираж перевалил за 220 тысяч экземпляров — для поэтической книги успех неслыханный!

Фамилия Бене звучит для американского уха несколько экзотично, и в самом деле, предки поэта еще в XVIII веке прибыли во Флориду из Испании, а точнее — с Балеарских островов. И дед и отец будущего поэта были военными. В библиотеке отца было много книг о Войне за независимость и Гражданской войне 1861—1865 гг., которые мальчик с жадностью читал. Первую книгу стихов он издал в семнадцать лет, будучи студентом-первокурсником Йельского университета. Книга состояла из драматических монологов, посвященных гражданской войне в Древнем Риме, и называлась «Пятеро и Помпей». Повзрослев, Бене обратился к американской истории и американскому фольклору. В 1926 году ему удалось получить Гугенхеймовскую стипендию для работы в Париже. Молодой человек, которому тогда было 28 лет, решил написать для американцев национальный эпос, сравнимый с «Энеидой» Вергилия. Тем для эпоса могло быть целых три: Война за независимость, Гражданская война и освоение Дикого Запада. Бене избрал вторую, как самую драматическую и наиболее актуальную.

Бене сразу отказался от единого размера для своего эпоса — громадная поэма, написанная одним и тем же размером, как писали в прошлом веке, была бы слишком монотонной и утомительной. Поэт решил сделать стих своей поэмы предельно разнообразным: от классических балладных размеров до верлибра и даже вкраплений прозы.

Разумеется, эпос должен начинаться с обращения к музе, но это будет обращение к американской музе. Потом будет пролог — описание невольничьего корабля, который везет свой груз из Африки в Америку. Характерная деталь: капитан корабля — вовсе не южанин, а северянин-янки, он разрешает сомнения своего молодого помощника ссылками на Библию: сыны Хама должны трудиться в оковах. Бене не упрощает свою задачу: в рабстве виновен не только Юг.

За прологом следуют восемь книг поэмы, хотя история неистового аболициониста Джона Брауна (1800—1859) занимает только первую книгу. С отрядом из двух десятков смельчаков немолодой уже фермер Браун на свой страх и риск захватил арсенал в штате Виргиния, чтобы раздать оружие противникам рабства и начать войну за освобождение негров. Браун был непоколебимо убежден, что он избран Господом стать камнем из его пращи, который проломит стену рабства. Отряд смельчаков быстро окружили, а Брауна повесили. Но когда через полтора года, в 1861 году, началась настоящая Гражданская война за освобождение негров, тогда Брауна вспомнили, вспомнили его мученическую смерть и сложили о нем песню: «Тело Джона Брауна истлевает в земле, но его душа шагает с нами». Первые два слова этой знаменитой песни аболиционистов Бене и вынес в название своей поэмы как некий эмоциональный рефрен.

Со второй книги начинается описание событий Гражданской войны — от нападения конфедератов-южан на Форт-Самтер (апрель 1861 года) до капитуляции генерала Ли при Аппоматтоксе четыре года спустя, которая и закончила войну. Наряду с историческими лицами в поэме выведены и вымышленные герои, волею судеб вовлеченные в войну,— студент-северянин Джек Эллиат, аристократ-южанин Клей Уингейт, беглый негр Спейд и многие другие.

Как мы уже сказали, успех поэмы был оглушительный. Она получила Пулицеровскую премию, была поставлена в театре, включена в школьную программу и т. д.

Бене задумал еще одну эпическую поэму, на этот раз об освоении Дикого Запа-

да. Первая часть поэмы — «Западная звезда» — вышла в 1943 году, уже посмертно, и в следующем году была удостоена Пулицеровской премии.

Бене умер сравнительно молодым, сорока четырех лет, от сердечного приступа, вызванного непомерно напряженной работой во время войны. Последней его книгой была краткая история Америки, предназначенная для военнослужащих.

Советский читатель уже знаком с Бене-рассказчиком — в 1988 году в библиотеке нашего журнала вышел сборник его рассказов «За зубом к Полю Ревиру».

Бене принадлежит к уитменовской эпической традиции американской поэзии, для которой характерно стремление к панорамному охвату действительности. Может быть, при жизни Бене перехвалили, но сегодняшнее пренебрежительное отношение к нему некоторых критиков как представителю «массовой культуры» своего времени тоже вряд ли справедливо.

Фрагменты из поэмы С. В. Бене печатаются в переводе замечательного поэта русского зарубежья Ивана Венедиктовича Елагина (1918—1987).

Иван Венедиктович Матвеев (Елагин — литературный псевдоним) родился 1 декабря 1918 года во Владивостоке в литературной семье: дед — журналист и издатель — был автором «Истории города Владивостока», отец — поэт-футурист, печатавшийся под псевдонимом Венедикт Март, был арестован и расстрелян в 1938 году. Сам Иван Венедиктович собирался стать врачом, но война прервала учебу в Киеве. В 1943 году вместе с женой, поэтессой Ольгой Анстей, оказался в Германии, влившись в поток так называемых «перемещенных лиц», ди-пи (displaced persons). С 1950 года жил в США, преподавал русскую литературу в Питтсбургском университете. Первый сборник стихов с характерным названием «По дороге оттуда» вышел еще в 1947 году в Мюнхене. Всего издал девять сборников стихов.

В русской зарубежной поэзии долгое время преобладала акмеистская, петербургская традиция, идущая от Г. Иванова и Г. Адамовича. Ершистый И. Елагин не вписался в нее, ему гораздо ближе московская, пастернаковско-цветаевская школа (ломаную линию городских крыш он называет «извечной городской кардиограммой»).

Перевод на русский язык громадной поэмы С. В. Бене был вполне донкихотской затеей: кто в Америке будет читать Бене по-русски? И тем не менее издательство «Ардис» выпустило в 1979 году перевод И. Елагина отдельной книгой (около 300 страниц мельчайшего шрифта) — тоже, в сущности, донкихотский поступок: ведь о советском читателе перевода в то время нельзя было и помыслить.

Перевод получился неровный (как, впрочем, и сама поэма), но в целом — труд впечатляющий и самоотверженный. Почему Елагин выбрал именно эту необыкновенно трудную для перевода поэму? Быть может, хотелось слиться с Америкой, своей второй родиной, а для этого лучше всего было погрузиться в «американскую Илиаду», как нередко называли «Тело Джона Брауна» критики.

Иван Елагин не дожил совсем немного до возвращения своих стихов на родину. Он умер 8 февраля 1987 года, а в августе следующего года журнал «Нева» опубликовал первую подборку его стихов. Вскоре появилась еще одна подборка в журнале «Новый мир» (1988, № 12). В издательстве «Художественная литература» готовится к печати однотомник произведений И. В. Елагина. Будем надеяться, что придет время и для полного издания поэмы Стивена Винсента Бене в его переводе.

С. ДЖИМБИНОВ

Молитва Джона Брауна

О Всемогущий Боже Сил,
Не Ты ль, меня узрев,
Как милость, сам провозгласил,
Что я — Господень гнев?

Ты полстолетья благодать
Мне беспощадно нес,
Чтоб вместо сердца пулю дать,
Железо вместо слез.

Но так как может эта плоть
Вся изнемочь в борьбе,
Пред тем как грянет гром, Господь,
Внемли моей мольбе.

Не Ты ль рабов мне показал
И властелинов их,
Чтоб я одних освобождал
И убивал других?

Russian translation © 1979 by Ardis

Я слышал, как велел Ты мне,
Чтоб сеял гибель я.
Пусть весь Канзас в крови, в огне,
Но воля в том Твоя.

Я слышу боевую рать
И грохот колесниц,
Как будто сломлена печать
И двери пали ниц,

И звери с тысячами крыл
И глаз к Тебе пришли,
Встают святые из могил,
Как ладан из земли.

На мучениках-королях
Багрец зари надет.
Кровь на твоих полях, Канзас,
И мне покоя нет.

Вздыхает твой маис опять,
Твой небосвод томит,
и помню я убитых пять
у Поттаваттоми[1].

То жатва, Господи, Твоя —
Так мог ли я уйти?
Канзас, ты весь в крови, Канзас,
Твой стон в моей груди.

И твоего маиса шум
Стрелой во мне торчит,
И рана, что в себе ношу,
Всю ночь кровоточит.

Вперед, сыны мои, идем,
Господь ведет нас в бой,
Туда, где пикой и ружьем
Становится любой.

Мы всех рабов освободим,
А если ждет нас смерть —
Могилу роет Бог святым
Там, где в закате твердь.

Прекраснее, чем рога речь,
Свод яшмовых могил,
Чтоб там, где лег Навинов меч,
Свой меч я положил.

Но если против наших сил
Встал филистимлян щит —
Бог, что друзей не пощадил,
Врагов не пощадит.

---

[1] Место в Канзасе, где по приказу Джона Брауна были убиты пять сторонников рабства. *(Здесь и далее прим. издательства «Ардис»).*

* * *

В субботний день на ярмарке, на Юге
В те времена, когда еще я был
Мальчишкой с капиталом в двадцать центов,
С утра съезжались в городок телеги,
На площади выстраиваясь к полдню
И вдоль широкой улицы центральной.
Съедаемые мошкарою мулы
Друг с другом перефыркивались между
Починенных оглоблей, ветхих дрожек,
Замызганных колясок и фургонов.
То тут, то там телега шла с холмов.
Торжественно волы ее влекли,
Чьи плечи тверже грубых белых скал,
Носы невинны, влажны, черноваты,
Как ракушки улиток, а в глазах
Такое неизбывное терпенье.

На площади там здание суда,
Увенчанное куполом, стояло
Обычно, и дремотно время шло
За серовато-белой колоннадой,
И выглядел весь дом как старый, сонный
С засаленною мантией судья.
Всегда поодаль — вялая тюрьма
Из стершихся неровных кирпичей
И в трещинах замшелых иль из камня,
Что старых сосен цвет с годами принял.
Смотритель пухлый летом надевал
Передник полотняный, и его
Всегда привыкли видеть у стены
Качающимся на сосновом стуле,
Плюющим в пыль задумчиво, меж тем
Как бесконечный полдень расплывался
Медлительно в длиннеющие тени
И в сумерки, синевшие, как пыль.
Тех дней сумбурных нет уже в помине,
Нет рысаков, и на дрова пошли
Покрашенные в желтый цвет двуколки.
И дом суда вставные зубы скалит
Из алабамской извести. И плачет
Из войлочной материи покрышка,
Надетая на радиатор «форда».

Но старый дом суда еще я видел:
Окошки в мухах, полинялый флаг
Над головой судьи. Я трогал стены
Потертые. В огромные плевал
Латунные плевательницы. Запах
Вдыхал, который выветрить нельзя,
Хоть год держать открытыми все окна,—
Незабываемый, неуловимый запах
Сигар дешевых, пота, нищеты,
Изъеденных червями книг, законов,
Печали и помады для волос,
Которую употребляют негры...

Итак, тогда в Чарлстауновский суд
Под сводчатую крышу сторожа
Внесли на койке Брауна, лежащим,
Как ястреб с переломанным хребтом.
Мне чудится — я слышу гул толпы,
И воздуха тяжелый вялый вкус,
И затхлый запах, и вдоль улиц вижу
Повсюду деревенские повозки.
Шел суд неделю долгую, как будто
Она была сплошным базарным днем...

...Вот наконец пришел он — ясный, теплый,
Так медленно приблизившийся день.

И тело Джона Брауна теперь
Уже в распятье превращает Север,
В легенду возводя за часом час
И символами окружая — вот он
Целует негритянского ребенка,
Вот то и это делает. Вещает,
Чего вовек не говорил. Событий
Смещались очертанья, давши место
Сентиментальным предзнаменованьям.
А было все не так.
В домашних туфлях на крыльце тюремном
Стоял в костюме черном, мешковатом
Усталый фермер, ждущий лошадей.
Он написал последнюю записку:

«Я, Джон Браун, теперь окончательно у в е р е н, что преступления этой в и н о в н о й с т р а н ы ничем не м о г у т б ы т ь с м ы т ы: только Кровью. Как я теперь вижу: н а п р а с н о я льстил себя мыслью, что без о ч е н ь б о л ь ш о г о кровопролития это может произойти».

В тюрьме или на площади они
Его не стали вешать. Громыхая,
Две белых лошади поволокли
Телегу прочь из города. Джон Браун
Сидел на крышке собственного гроба,
А вкруг него, за спинами солдат,
Раскинулись широкие поля
Коричневато-серые, морозом
Почти еще не тронутые вовсе.
Как фермер он смотрел на изобилье.
«Что за чудесный край»,— сказал Джон Браун...

* * *

Удлиненные строчки стихов как стальные вытягивай тросы,
И давайте прославим все то, что унизить нельзя похвалой.
Эти злаки, что рвались вперед, чтобы их раздавили колеса.
Обернулось, что спало в душе, закоснелой кровавой мечтой.

Нет, не шелковый флаг, и не крик, и не лозунги всех патриотов,
Не шумливые визги газет, не речей кровожадная страсть,—
Нет, в сердцах молодых пушкарей прозвучала упрямая нота,
Они знали орудья едва, они падали мертвыми в грязь.

Они шли, как косяк осетров, к занесенному льдом Кеннебеку,
Им навстречу швырявшему смерть в серебристый крученый сумбур,
Так стекаются к горным ручьям молодые олени набегом,
А на них еще бархат рогов и блестящая изморозь шкур.

Собирался и Север и Юг, грянул зов боевой против зова.
Оба призраки ныне для нас — барабаны на стенах висят.
Но они были первой волной, что по-юному к смерти готова,
Приосанясь, как будто на бал, в битву шел за солдатом солдат.

На мальчишках мундиры блестят! Этих пуговиц блеск золоченый!
Их девицам дарили они за цветы и малиновый сок,
Не привыкшие к устали злой, к маршировкам на стуже каленой,
К бредовой духоте лагерей и ко рже, разъедавшей клинок.

В наше время вступали в войну тоже бравым охвачены духом.
Знаем мы, как смыкается круг и как дух начинают терять,
Как пшеницу дано погубить, точно мусор, глупцам или шлюхам,
И пшеницы налившейся гнев мы воспеть не дерзаем опять.

Искажен и почти позабыт (то же самое видели все мы,
Нам запомнилось после и до, когда водит слепого слепой)
Тот стремительный юности взлет до того, как прогнили эмблемы,
Он был гордою куплен ценой, чересчур дорогою ценой.

Так и с ними случилось. У них со знакомыми нашими сходство,
Невзирая на бороды их и особый покрой сюртуков.
Письма милым писали они и гадали — как все обернется.
Разве, гневным испугом объят, хоть один отступить был готов?

Это — Мэн и Флорида, Нью-Йорк, и Род-Айленд, и Джорджия это,
И охотник на белок из чащ, и с винтовкою новою клерк,
Муштровали, учили их там, и опять за весною шло лето,
Спотыкаясь, до смерти дошли: у Булл-Рана [1] их полдень померк.

* * *

Солнце светит, ветерок.
Пленным — каменный мешок.
Не сыскать в стене глазок.

Что им холод зимних дней?
Те, кто смерзли до костей,
Тем не станет холодней.

Лета луч не будет сладок,
Дождь весенний не зальет
Раскаленных лихорадок,
От которых плоть гниет.

Хрип рогов, оркестров звон,
Отдан форт иль занят он,
Чей-то рапорт так умен!

И победой кто-то сыт,
И у пленных трупный вид
Раньше, чем их смерть сразит!

[1] Небольшая речушка в Виргинии, где 21 июля 1861 года произошла первая Булл-Ранская битва, в которой северяне потерпели поражение.

* * *

С любовью сосватал туман на заре,
Когда ветвь была зелени рада.
Но вырезать сердце мое на коре
Успела я до листопада.

Весной зеленела листьев семья,
А нынче стала каленой.
У ветра кольца не просила я
Там, под веткой склоненной.

Падайте, листья, легко летя,
На меня с моею бедою.
У меня не у первой будет дитя
От ветра, что шел стороною.

Не последней, не первой — глаза вперив
В облака, что плывут синевою,—
Гадать, что несет мне этот порыв,
И дать ему имя какое.

Как снег, белоперая птица, слетай,
Метели, кружитесь злее!
С евангельским словом девочки-пай
Спят, свою честь лелея.

Спит девочка-пай, скромна и кротка,
А с шалою спит ее срам.
А мне — спать в дупле до тех пор, пока
Я имя ребенку не дам.

На веретенах мне пряжи не прясть,
Чтоб роды ткались в порядке;
Я ножниц не стану под койку класть,
Чтоб вырезать боль у схватки [1].

Псалма не читай, молитв не читай
За меня, проповедник в церкви,—
Но дрожащие руки свои пускай
Береза подымет кверху.

Стужа, и стужа, и стужа опять —
Зябко в ветвях ютиться.
В восприемниках ветры будут стоять,
Крестить его будет птица.

Слушай меня, теннессийский хлеб,—
Мой голос к тебе обращен:
Это первый младенец на всей земле,
Который птицей крещен.

Он будет рыскать, как гончий пес,
Из дубовых выйдя ветвей.
Хочу, чтоб гордо он голову нес
По земле теннессийской всей.

---

[1] Существует поверье, что можно облегчить родовые боли, положив ножницы под матрац роженицы.

Пускай он грудь у меня сосет.
Джек-Свист — ему имя я дам.
Отец ему птичье гнездо принесет,
Когда возвратится к нам.

* * *

Когда-то вы садились в дилижанс
И ехали на поле боя [1] — ныне
В автобусе, я полагаю, ездят.
А в дилижансе можно было есть
Зажаренную курицу, в вощанку
Завернутую, между тем, как гид
Бубнил неторопливо про войну.
А летние большие облака,
Свернувшись простоквашей, в синеве
Навалены, как пышки с кремом, были.
Пах дилижанс колесной мазью, кожей,
И головой кивала сонно лошадь,
Украшена соломенною шляпой,
С продетыми ушами сквозь нее.
День летний, и сенная лихорадка
В разгаре, и жара, и можно было
Все поле боя видеть, начиная
С Могильного хребта — там все как прежде,
За исключеньем памятников; вдруг
Там группы статуй удивляют нас,
Внезапно появляясь из земли
То в мраморе, то в бронзе,— и на плитах
Могильных интересный ряд имен...

К чему имена полководцев на кубиках видеть —
«Хилл», иль «Хенкок», или «Пендер» —
старайтесь увидеть вместо того
Три мили живых людей — три длинные мили двойные
Пушек, солдат, лошадей, костров и повозок,
Хирургов, возниц, генералов и ординарцев —
Стошестидесятитысячной цепью живой они растянулись;
Кто спит, а кто ест, а кто думает; пишут короткие письма
В мыслях о смерти; кто кости бросает, а кто сквернословит;
Стонут в повозках больничных, стоят на часах.
А тихие звезды по небу идут в серебряных латах...
Люди, что слушают голос ручья или шутку, или — как лошадь
щиплет траву,
Или не слышат ни звука — слишком устали, чтоб слушать.
Всю ночь, пока круглое солнце не встанет и утро пока
не наступит,—
Три двойных мили живых людей.
Прислушайтесь к ним — в ночи их дыханье встает,
Как жизни огромный аккорд — в бормотанье и вздохах
Волнуемой ветром пшеницы.
Сто шестьдесят тысяч людей,
Дышащих ночью на двух враждебных хребтах.

---

[1] Имеется в виду сражение при Геттисберге 1—3 июля 1863 г., в котором южане потерпели тяжелое поражение, ставшее переломным в ходе Гражданской войны. *(Прим. ред.)*

■

Рассказы молодых английских писателей

С английского

ФИЛИП РИДЛИ

Левиафан

Мне было четырнадцать, когда я впервые увидел, как мама плачет. Она сидела на кухне, а я подошел к ней и положил на стол учебники; тут она уцепилась за мою куртку и расплакалась. Я тоже заплакал.

Потом она вытерла глаза кухонным полотенцем и велела мне умыться. Засуетилась, принялась чистить картошку, жалуясь, что время летит, через час придет папа, а в духовке пусто. Наконец, она поставила овощи тушиться; заметив, что мне не по себе, обняла меня. Она пахла солью и водорослями, будто морское существо.

— Порой одиночество — как океан,— прошептала она.— Пустынный, безбрежный. А я посреди океана, Феликс. Ты еще мал, не поймешь.

Вечером, лежа в постели, я услышал, как мама с папой разговаривают у себя. Я насторожился. Мама снова плачет. Папа утешает. Голос его, слабый и глухой, доносился словно из-под земли.

Наутро оба выглядели ужасно, глаза покраснели, опухли; а как только папа ушел на работу, мама снова расплакалась. Я взял ее за руку и сказал: не уйду, пока не объяснит, что случилось. Она стала уверять, что ничего особенного, во всяком случае, я тут ни при чем, просто ей одиноко. А может, спросил я, у нее смертельная болезнь? Другого объяснения я не находил. Она улыбнулась и поцеловала меня.

— Не смертельная болезнь, Феликс,— усмехнулась она.— А смертельная тоска.

Я нехотя поплелся в школу. Ее плач слышался мне весь день. И все у меня валилось из рук.

А выйдя из школы, я неожиданно увидел папину машину. Я сел рядом с ним на переднее сиденье, и он молча повел машину. Наверняка что-то случилось. У светофора он взглянул на меня.

— У нас с мамой не все ладно, старик,— начал он.— Ты уже большой, должен понимать... Ты тут ни при чем. Мама любит тебя по-прежнему. Мы оба тебя любим. А это... это из-за меня. Так, во всяком случае, мама говорит.— Он глубоко вздохнул.— Она влюбилась, Феликс. Давно уже с ним встречается. Теперь ей нужно кого-то из нас выбрать. Вот и все. Выбрать.

Зажегся зеленый, и мы свернули налево. Он вез меня не домой. Я испугался. Спросил, куда едем.

— На вокзал, старик,— ответил он.— Поживешь пару денечков у тети Флорин. Мы уже договорились.

— А мама знает? — спросил я.

— Конечно, знает! — заорал он.— А ты что думал? Краду собственного сына, что ли?

Я прямо вздрогнул. Он редко когда повышал голос. Мы почти болезненно боялись обидеть друг друга.

© 1988 by Philip Ridley

Папа остановил машину и приобнял меня.

— Прости, старик,— пробормотал он.— Что это со мной — на тебе вымещаю... Понимаешь, я-то думал, все у нас тихо, мирно, ни волн, ни ряби. И на́ тебе... Какое там тихо — смерч! Давным-давно налетел, а я только сейчас и узнал. Понимаешь?

— Да,— сказал я. Хоть и не понимал.

Он завел машину, и дальше мы поехали молча.

Машин было много, до вокзала мы добирались долго и к поезду неслись уже сломя голову. Поезд тронулся, а папа еще держал меня за руку через открытое окно, даже побежал, чтоб не отстать. Я видел: он хочет что-то сказать, но не находит слов; дыхание у него сбилось, в глазах мелькнул страх.

— Попроси маму остаться! — крикнул я.

Он опустил мою руку и помахал мне.

Я все смотрел на него, а он уменьшался и уменьшался — черная точка на сером перроне.

Ехать мне было три часа, и я почти всю дорогу проспал. Стучали колеса, а чудилось, будто ревет прибой, и рев этот меня околдовывал, и качало, как в колыбели. Оттого-то мне и приснился сон.

Я — большая рыбина в прозрачном-прозрачном океане. Вокруг меня, в лазурных водах, переливаясь и сверкая, как алмазная россыпь, плавают меньшие рыбы. Это мой дом, мой мир: мне никто не грозит, и никто не страшен, и все меня любят. Мимо проплывают акулы и дельфины, изгибаются в родах киты, дышит и исходит пузырьками коралл, весь океан вращается вокруг меня, ведь я его отрада. И я плыву от одного затонувшего судна к другому, и меньшие рыбы — лосось и щука — укрываются за щитами моих плавников. Я бог этих вод — огромный, могучий, непобедимый...

Поезд со скрежетом стал, и я проснулся.

Выглянул в окно и увидел тетю Флорин. Она располнела еще больше. В черном она напоминала здоровенный валун. Она искала меня глазами в одном окне, в другом и, наконец, увидела. Улыбнулась, помахала и с удивительным для ее сложения проворством бросилась к моему вагону.

— Быстренько, Феликс, золотко! — Я соскочил на перрон, и она захлопнула за мной вагонную дверь.— Ух, как ты вырос! Уже не головастик, а лягушонок. Господи, да ты ростом с Шиллинга! Залезай скорее в машину, нам ехать еще целый час.

По дороге я открыл окно, и в лицо мне хлестнуло свежим соленым ветром. Тетушка живет на побережье. Она — папина сестра. Ее настоящее имя — Флоренс, но все зовут ее Флорин. Из-за этого прозвища она назвала единственного своего сына, а моего двоюродного брата, Шиллингом. Он на три года старше меня и собирается стать астрономом.

— Ты только ни о чем не волнуйся,— говорила тетушка.— Гуляй себе да радуйся. Неплохо ведь недельку отдохнуть от уроков. А у Шиллинга новый телескоп. Лунные кратеры видно. А если на море навести, то и китов-лоцманов разглядишь. Я их боюсь!

Скоро показался океан — плоская, серая пустыня, которая сливалась с небом. Будто стоишь на краю света и смотришь в пустоту.

— Ты маму не вини,— мягко уговаривала тетя Флорин.— Бывает... бывает, годами живешь спокойно и счастливо. Но это счастье не настоящее. Просто другой-то жизни не пробовал. И вдруг... вдруг все меняется. Понимаешь, иногда нужно рискнуть, хотя, может, благополучие — вдребезги...

К тетушкиному дому мы добрались уже затемно.

Я вышел из машины, и дыхание у меня занялось. Холодное и прекрасное, блистало миллионами звезд небо. Далеко во тьме шумел прибой.

Тетя Флорин повела меня в дом.

На кухне дядя Шон готовил ужин. Он походил на жену, только был худой и высокий. Он обнял меня, усадил за стол. Угощали самым моим любимым: курицей, чесночными хлебцами, ананасом со взбитыми сливками. Так они были со мной добры и ласковы, словно я болел или похоронил кого. О Шиллинге я спросил только в конце ужина.

— А он на море, в скалах,— объяснил дядюшка.— Он и телескоп с собой взял. Говорит, оттуда звезды виднее. А ты, Феликс, планетами увлекаешься?

— Не знаю,— сказал я.— Нет, наверное.

И мы стали пить чай с печеньем.

А потом я начал зевать.

— Ну что ж, пора спать,— сказала тетя Флорин.

И отвела меня в комнату Шиллинга, где мне постелили на раскладушке.

— Вам будет хорошо вместе,— объяснила она.— Найдется о чем поболтать. С нами-то он слова лишнего не скажет.— Она поцеловала меня.— Ну спи, Феликс Фрост.

Я разделся и лег. Простыни были холодные, гладкие. Дома постель у меня была совсем другая,— хоть я и устал, долго не мог уснуть...

Мне приснилось, будто я всесильный житель морской, огромный и серый и шкура у меня вся в ракушках и шрамах — точно звездное небо, а могучие плавники — точно щит для мелкой рыбешки.

Медленно поднимаюсь я на поверхность своего океана и выпускаю водяной фонтан. Я дышу воздухом, крошечные мои глазки видят, как падают звезды. Надо мною вращаются и блистают небеса — другой океан, тоже необъятный, безбрежный. Я же словно парю меж двух стихий. А потом замечаю — вдалеке что-то темнеет. Берег. Мощно толкаюсь хвостом и плыву туда.

Меня разбудил чей-то голос:

— Ты спишь?

Я тотчас открыл глаза:

— Нет.

На краю кровати сидел Шиллинг, голый по пояс, и вытирал полотенцем короткие черные волосы. В окно светила луна, и его гладкое тело мокро поблескивало. От него одуряюще пахло прибоем и ночью — удивительный запах!

— Я слышал, твои разводятся,— сказал он, поднимаясь.

Он был намного выше, чем мне помнилось. Когда он повернулся, я увидел мускулистую широкую спину, лопатки, гибкий, как гусеница, позвоночник. Я как бы заглянул в другой мир, другой океан.

— Ты не переживай,— продолжал он, снимая брюки.— Родители вечно ссорятся. Мои, например. Но меня это не трогает. Я вообще интересуюсь только одним. Знаешь чем? — Он выпрямился.

— Чем? — спросил я.

Он велел мне вылезти из постели и осторожно подвел к телескопу у окна. Глянул в него, настроил.

— Вот! — воскликнул он.— Смотри!

Я прильнул к окуляру. И увидел молочную поверхность луны так близко, что, кажется, можно было потрогать. Голубоватым серебром отливали кратеры. Удивительная, сверкающая земля!

— Там все по-другому,— шепнул мне на ухо Шиллинг.— Другая жизнь. Пока это существует, меня в нашем мире ничто не может расстроить. Всегда есть где укрыться, понимаешь?

Я посмотрел на Шиллинга.

— Мама, наверное, от меня уйдет,— сказал я. Нужно, чтоб он знал.

— Ну и что? — спросил он.

Я не нашел, что ответить.

— Пойми,— сказал он, укладываясь.— Меня это не трогает. Что бы ни случилось, можно пережить. И не приставай ко мне со своими болячками.

Я лег, но глаз с него не сводил. Мне так хотелось поговорить с ним! А из-за его безучастности — еще сильней.

— Послушай...— начал я.

Но он уже спал.

На следующий день мы с Шиллингом отправились в скалы. Он показал мне перевернутую лодку, свое укрытие. Иногда он и ночевал тут; смотрел в небо и слушал море. Шиллинг сказал: чем старше он становится, тем все меньше нужны ему люди. А мне — все больше, сказал я.

— Почему? — спросил он.

— Не знаю.

— А друзья у тебя есть?

— Нету.

— И у меня нету,— сказал он.— Без них лучше.

И мы забрались через лаз в перевернутую лодку.

Мы будто очутились в пещере. Шиллинг зажег свечку. Спальный мешок, книги, консервы, звездная карта. Шиллинг стал рассказывать про разные созвездия.

Я придвинулся ближе, почувствовал на щеке его дыхание. Я невольно потянулся рукой к его руке. Он отпрянул, точно мои пальцы были раскалены добела. Скрывая смущение, он принялся перечислять спутники Юпитера.

Вечером, за ужином, я спросил Шиллинга, нельзя ли нам вместе переночевать в лодке. Но тетушка, погремев тарелками, сказала, что не стоит. Сейчас уже холодно, и, кроме того, мне будет там скучно. Я уверил ее, что не будет и что луна мне ужасно нравится. Тетушка приготовилась было снова возразить, но тут зазвонил телефон. Она взяла трубку, пробормотала что-то и сказала, что это меня.

— Папа? — спросил я одними губами.

Она покачала головой и шепнула:

— Мама.

И передала трубку.

— Здравствуй, мама,— сказал я.

— Послушай, Феликс,— начала она, и я понял, что она только что плакала.— Послушай, родной. Я не могу остаться. Мне так тоскливо... Этот океан такой бездонный, безбрежный... Понимаешь? Его не переплыть, Феликс. Это трудно объяснить. До свиданья.— И она повесила трубку.

Я подождал немного, послушал гудки.

Случилось что-то очень важное — а я не понимал что. Вся жизнь перевернулась — а я не понимал отчего.

Я повесил трубку и вернулся к столу.

— Ну, Феликс,— бодро сказала тетя Флорин,— кажется, потеплело. Собирайся, Шиллинг берет тебя в лодку.

Мы взяли термос с кофе, бутерброды, печенье, одеяла и несколько свечей про запас и отправились. Правда, Шиллинг шел так, словно он один.

Пришли мы почти уже затемно. Забравшись в лодку, мы первым делом зажгли свечку, выпили горячего кофе. Было свежо и сыро, но я не мерз. Мне столько хотелось рассказать Шиллингу — и затаившиеся слова согревали.

Выпив кофе, мы вылезли наружу.

Теперь было совсем темно, над нами блистало небо. Шиллинг лежал на спине и улыбался. Он протянул мне телескоп, и я попытался отыскать названные им созвездия. Немного погодя я отдал телескоп.

Я долго смотрел Шиллингу в лицо.

— Неужели тебе ни с кем не хочется дружить? — спросил я.

— Нет,— ответил он.— На друзей у меня нет времени. Вон мои друзья.— Он показал на звезды.

— И больше тебе ничего не надо?

— Не надо.

Он встал, стряхнул с себя травинки и заполз в лодку.

Я — следом.

Мы сидели у свечки, и я смотрел, как он чистит телескоп, бережно протирая линзы.

— Шиллинг...— начал я.

— Ну? — буркнул он.— Чего еще?

Я сказал, что ничего, просто я устал. Шиллинг велел ложиться спать.

Я лег и закрыл глаза. Но мне не спалось. Я все думал и думал о Шиллинге. Я ему не нужен, я вообще никому не нужен, все меня бросили.

Я слышал, как он еще раз выбрался наружу — посмотреть на звезды. Потом вполз в лодку, задул свечку. Свернулся рядом калачиком, вздрогнул, коснувшись щекой влажного одеяла.

— Меня в школе ребята бьют,— сказал я.

— Почему? — спросил Шиллинг.

— Они меня не любят.

— Почему?

— Не знаю. Наверное, потому, что я сам по себе. Не играю с ними.

— Я тоже,— сказал он.

— А тебя бьют? — спросил я.

— Нет.

— Почему?

— Драться умею.

— Ты часто дерешься?

— Часто,— сказал он тихо.

— А меня научишь?

— Нет.

— Давай... давай дружить,— сказал я.

Мне слышно было, как он затаил дыхание. Минут пять мы лежали напрягшись, боясь шевельнуться. Потом он что-то пробормотал.

— Что? — переспросил я.

Но ответом мне был чей-то крик.

Крик разом раскатился вокруг. Такой гулкий и печальный, что земля подо мной вздрогнула. Стало вдруг до того тревожно, тоскливо.

— Кто это? — прошептал я.

— Скорей! — крикнул Шиллинг.— Киты!

И мы покинули наше логовище. Унылый стон креп — казалось, стонет само море.

— Киты! — повторил Шиллинг.— Я и раньше слышал, как они плачут. Господи... Слушай же! — Он упал в траву.— До того жалобно... Будто это плачет небо.— Он взглянул на меня.— Вот что такое тоска, Феликс.

— Да,— сказал я.

Шиллинг смотрел в море так, словно киты окликали его по имени. Глаза его наполнились восторгом и ужасом.

— Слышу,— прошептал он.

Китовый крик подхватывался эхом.

— Убегу я из дому,— тихо сказал Шиллинг.— Убегу и не вернусь.

— Когда? — спросил я.

— Скоро.

Киты все тянули свою пронзительную, прекрасную песнь — она лилась отовсюду.

Шиллинг посмотрел на меня и улыбнулся.

— Как ты? — спросил я.

— Ничего.

Я обнял его:

— Не переживай.

— Ладно,— ответил он.

Он положил голову мне на плечо, и я стал тихонько его укачивать.

Тревога и тоска отступали. Никогда я не был таким спокойным и сильным.

— Все хорошо,— говорил я.— Не переживай. Не надо.

Мы проговорили всю ночь.

Я стал совсем другим, будто переродился.

Утром мы вернулись в дом, и тетя Флорин накормила нас завтраком. А ближе к полудню позвонил папа. И дневным поездом меня отправили домой.

Мама уже уехала. Она забрала свою одежду, вещи. Папа улыбался, вид у него был бодрый, он говорил, что все образуется. Спросил, как мы поладили с Шиллингом, и я сказал: «Нормально».

А вечером, за ужином, с папиного лица спала жизнерадостная маска, и я впервые увидел, как он плачет. Прости, сказал папа и бросился к себе.

Медленно я собрал посуду, вымыл ее и ушел спать. Из соседней комнаты глухо доносились отцовские рыдания. Оттого мне и приснился сон.

Я — кит. Поднимаюсь на поверхность океана и плыву к острову, где на скале сидят двое мальчишек. Я пою им песню радости и надежды, песню моря и звезд. Песня стара как мир, и я пою ее, чтобы одолеть одиночество.

Перевод Т. ТУЛЬЧИНСКОЙ

ЭЙДАН МЭТЬЮЗ

Рельсы

Тимми ложится животом на подлокотник своего кресла — он сидит у иллюминатора — и говорит стюардессе, что его тошнит. Можно было и стюарду сказать, совсем недавно он принес Тимми магнитные шахматы, правда, без одного слона; только Тимми не сказал — хоть ему всего двенадцать, двенадцать «с хвостиком», но у него есть мама и сестра, и он точно знает: тайны лучше доверять женщинам.

Стюардесса ему улыбается. Улыбка бодрая, как положено, а глаза усталые. Из дырочки для сережки на левом ухе вытекла и повисла капелька. Интересно, мягкие у нее мочки? Он вспоминает, как одна бывшая монашка прокалывала его сестре уши в день ее тринадцатилетия. А немцы, когда убивали людей в лагерях, серьги вырывали? Или только золотые коронки? Названия у этих лагерей трудные, не выговоришь.

— Тошнит?

— Немножко.

— А голова кружится?

— Нет, только тошнит.

— Ты, наверно, слишком быстро кока-колу выпил. Может, кресло откинешь? Или пусть лучше вырвет? В пакет...

— Нет.— Все самолетные трофеи он уже надежно спрятал в карман школьной куртки: и пакет, и проспект авиакомпании, и упаковочку от сахара, который давали к завтраку.

— Дюссельдорф уже скоро,— говорит стюардесса и, перегнувшись через пожилого пассажира в соседнем кресле, треплет Тимми по макушке; ногти у нее красные, блестят от лака.

Она погладила его, и теперь он скажет все по-честному. Хоть бы сосед не услышал, но он вроде спит, даже рот приоткрыл; на нижних

© 1988 by Aidan Mathews

зубах — пластинка, какие детям ставят; на кончиках воротника — пуговицы; от его волос немножко пахнет бриолином.

— Я никак не могу сходить по-большому,— признается Тимми стюардессе.— С самого утра. Я пробовал в аэропорту, там туалет в зале. И в самолете два раза пробовал, как взлетели, только не досидел — вдруг еще кому-то надо? А тужиться уже больно.

Стюардесса смеется, но совсем необидно.

— Обычный запор. Это пройдет. Зато ты теперь представляешь, каково женщинам детей рожать.

Стюардесса идет дальше по проходу, а пожилой сосед открывает глаза.

— Я бы на нее пожаловался,— говорит сосед.— Надо ж ребенку такое сказать.

Тимми молчит. Отворачивается к иллюминатору и поправляет на переносице очки, чтобы не расплывалась земля внизу. А каково женщинам детей рожать? И почему об этом нельзя говорить? Живот опять схватило, и Тимми охает.

— Тебе нехорошо?

— Нет, спасибо, все нормально.

Пожилой сосед подносит ко рту ингалятор и вдыхает — резко и глубоко. Надолго задерживает дыхание, а потом медленно выпускает воздух, будто невидимые кольца табачного дыма. Искоса глядит на Тимми.

— Такая вот веселая жизнь,— произносит он.

— А вы на войне были?

— Был.

Тимми доволен. Он подносит магнитные пешки донышками друг к другу, и они точнехонько притягиваются.

— Десантником были?

— Нет, провиантом заведовал.— Мальчик скучнеет.— Зря нос морщишь. Армия брюхом сильна.

Но Тимми отворачивается к окну. Далеко внизу показалась река — наверное, Рейн,— этакий тонкий бетонно-серый червячок. Вдоль него дорога, автострада,— видно, со времен рейха... А где же рельсы? Между Дюссельдорфом и Крефельдом, где живут Штермы, должны быть рельсы. Ведь эту чужую, угрюмую страну рельсы бороздят вдоль и поперек, они проложены от городов к концлагерям. Тогда, в войну, все об этом знали, знали — и молчали.

Мальчику видятся железнодорожные станции, забитые арестантами. Ему видятся химики, учителя, певицы меццо-сопрано, втиснутые в вонючие, наглухо задраенные скотовозы, ему видятся бородачи, которые прежде читали лекции по анатомии, актеры и актрисы, которым рукоплескали в самых дальних уголках Земли, люди, которые знали по три языка. И всем им пришлось спускать штаны или задирать юбки над соломой, а поезда тем временем грохоча несли их к лагерным вышкам.

— Хочешь посмотреть кабину летчиков?

Стюардесса лучезарно улыбается ему. Ее усталости как не бывало. А может, она вернулась из-за соседа? Неужели он пожалуется и ее уволят?

— Нет, спасибо.

— Ты разве не хочешь быть летчиком, когда вырастешь?

Он глядит на нее, на мочку с капелькой, на завиток каштановых волос, черных у корней...

— Нет, я хочу быть евреем.

Она хмурится; пожилой сосед поворачивается и глядит на него в упор; самолет идет на посадку.

Его одноклассники шлепают по мелким лужицам хлорированной воды в раздевалку. Стягивают плавки и выжимают их над раковинами.

Веселый гомон заполняет громадное пространство с деревянными шкафчиками вдоль стен. Кто-то насвистывает модный мотив, кто-то ковыряет в носу заколкой.

— Умираю — пить хочу! Пи-и-ить!

Парнишка вываливает язык, точно собака, изнывающая от жары. Другой мальчик, повыше, выпячивает грудь — страждущий жадно припадает к маленькому розовому соску.

— Давай, крошка моя, угощайся.

Тимми выжимает спортивные шорты, выкручивает до последней капли. Он забыл плавки уже в третий раз за четверть, и до школы опять придется ехать в мокрых шортах. И еще в наказание за рассеянность придется переписать «Отче наш» двенадцать раз — поскольку ему двенадцать лет.

— В душ! Все в душ! Поживее!

Это покрикивает с порога мистер Мэдден. В руках у него картонная коробка из-под хрустящей картошки, туда ребята складывают очки и часы, когда идут плавать. Тимми спешит в душ; сам толкается, его толкают, задевают голыми бедрами и ягодицами. Он подставляет лицо под крутую струю воды.

— Хардиман, покажи! Давай показывай!

Один голос, два, потом целый хор. Тимми тоже вступает, хотя и не знает, о чем просят Хардимана. Мальчик рядом с ним поднимает руку: на запястье записан телефон, пятизначный номер, очень похож на лагерный — их так накалывали,— очень похож...

— Пусть тогда каждый заплатит шесть пенсов. Слышите, каждый!

Притихнув, они серьезно кивают. Хардиман складывает руки на груди и сосредоточенно смотрит на свой член. Один из мальчиков выключает воду, остальные обступают, загораживают Хардимана — вдруг кто войдет. Там, в бассейне, визжат приготовишки, они барахтаются по-собачьи, цепляясь за желтые плотики; слышен свисток. Жаль, очков с собой нет. Без них все расплывается. И Тимми оттягивает уголки глаз пальцами.

— Так ты похож на китайца,— замечает его сосед.

— Сильно похож?

— Немножко. Слушай, Тим, ты на той неделе в Германию поедешь — привези мне гитлеровских почтовых марок, ладно?

— Глядите. Сейчас,— произносит Хардиман. И точно: его член начинает расти, сперва медленно, потом быстрее. Он твердеет, распрямляется и вот — поднялся. Мальчики смотрят, затаив дыхание: член так красив, так бесстыж...

— А ведь я его даже не трогал,— говорит Хардиман.— Многие без этого никак. А я просто думаю, и он встает.

— О чем? — спрашивает Тимми.— О чем ты думаешь?

— Не твоего ума дело,— отвечает Хардиман.

Из аэропорта они едут на вокзал, садятся в поезд. Только в купе Тимми удается как следует разглядеть фрау Штерм. Она такая скромная, тихая — знает, что Тимми глядит во все глаза, но виду не подает. Смотрит в окно на длинные, низко осевшие баржи на реке и кротко улыбается.

— Это Рейн,— объясняет она.— Рейн! — И смеется, неудержимо смеется: этот рыженький мальчуган рассматривает ее так внимательно, точно она ихтиозавр или какая-нибудь ползучая тварь из музея естествознания; в музей она ходит с сыном Клаусом в дождливые субботние дни. Смеясь, фрау Штерм поднимает обе руки и откидывает челку со лба. Мальчики наверняка поладят, они такие разные, а это основа всякой дружбы, что бы ни вещали ученые мужи. В том-то и смысл этих обменов: подружить сверстников, чьи отцы воевали по разные стороны фронта. Зато сыновья будут вместе мастерить клетки для кроликов.

Тимми озадачен: у нее под мышками волосы. Такого он никогда не видел. Ни у мамы, ни у сестры. О волосах под мышками нет в журнале по этнографии, нет и в отцовском запретном томе «Грудные болезни». Интересно: волосы под мышками только у немцев или во всех странах, где говорят по-немецки? А может, в Италии и Франции тоже? Фрау Штерм ничуть не стесняется: носит платье без рукавов. Хотя европейцы — люди особые. В Испании, например, его сестру без провожатого за дверь бы не выпустили, а в Греции, умри ее муж, ей пришлось бы всю жизнь носить только черное. Чего только на свете не бывает.

— Не боишься?

Фрау Штерм широко улыбается. У нее во рту много золотых коронок. Если бы тогда, в детстве, она была еврейкой, эти коронки у нее вырвали бы клещами. Но она никакая не еврейка. И не потому, что всех евреев поубивали, просто она замужем за бывшим солдатом вермахта, который обморозился в России. А вот золото ей могло достаться от еврейки: оно кочевало изо рта в рот, слыхало литовский говор, знало вкус кошерного мяса, а теперь слушает немецкую речь да жует сосиски.

— Нет,— отвечает он.— Не боюсь.

Она смотрит на него, и Тимми, не выдержав молчания, принимается рассказывать о привезенных подарках.

— У меня для вас беспошлинные бутылки.— Какие, он не помнит; выбирали родители.— А для Клауса модель самолета. «Хайнкель», бомбардировщик. Там сто пятьдесят деталей. Вы знаете «хайнкели»?

— Да, знаю,— отвечает она.— «Хайнкели» знаю.— И умолкает.

Тимми снова хочется в туалет. Что-то твердое, жесткое засело в кишках и распирает — нужно вытолкнуть из себя, а сил нет. Он выходит из купе и пытается проскользнуть мимо женщины с вешалкой, похожей на оленьи рога. Разминуться в узком коридоре трудно, он извиняется. Интересно, она догадалась, что он англичанин? А если да, не возненавидела ли? Ведь она наверняка еще помнит обугленные трупы среди развалин.

— Спасибо, извините,— говорит он.

— Пожалуйста.

Вот и туалет; Тимми наконец один. Дома сиденье деревянное, а тут пластмассовое. Да и вода не так сливается: надо не за цепочку тянуть, а нажать на рычажок на бачке. Тимми спускает штаны и проверяет: не испачкал ли трусы. Да, испачкал чуть-чуть. Как же постирать, чтобы фрау Штерм не заметила? И что сказать ей, если заметит? Мама-то все твердила, что о мальчике судят по чистоте воротничка и трусов. Он садится и тужится, тужится. Щупает в попке: ком уже близко, но его не вытолкнуть. Слишком больно.

Унитаз чист, Тимми заглядывает в дыру и видит бегущую землю, хотя труба внизу изгибается. Шпалы, шпалы, шпалы, а между ними мелькают узкие полосы гравия и травы, и все сливается в сплошную серую ленту. И они — балерины и мясники — видели то же самое сквозь щели в полу наспех сколоченных товарняков.

Мальчик срывает с лацкана карточку со своей фамилией и номером рейса, их написала стюардесса с красными ногтями. Он держит карточку над унитазом — она трепещет на воздушной струе, которая бьет снизу; потом он разжимает пальцы.

— Вуаля,— произносит мистер Макдонах и сдергивает с него простыню.— Вуаля! Это по-немецки. Или по-французски.

Тимми нашаривает очки и надевает их, сдув волоски со стекол. Мистер Макдонах выполнил папины указания буквально. Обкорнал — короче некуда. Словно голым на посмешище выставил. Тимми вспыхивает от стыда.

— Исполнил, как просили,— говорит мистер Макдонах.

Клиент в соседнем кресле хихикает:

— Боже! Ну точь-в-точь из концлагеря. Кстати, Тимми, ты когда уезжаешь?

— Через три дня.

— Привези чего-нибудь почитать, договорились?

— Привези глоток культуры,— добавляет мистер Макдонах.— Рейнских дев из Вагнера.

— Лучше не дев, а Die grossen Frauen [1],— уточняет клиент.— Понял, о чем я?

Тимми качает головой.

— Оставьте его,— говорит мистер Макдонах, сдувая волоски с шеи Тимми.— Ребенок же, святая невинность.

Тимми недоуменно глядит в зеркало на отражение мистера Макдонаха.

— Мальчик, к которому я еду... Его отец служил в немецкой армии. В России был. Там его ранило. А мои родители в тот год как раз поженились. Представляете, он от метели за танком прячется, а мои родители в Паркнасилье, и у них медовый месяц, и в гостинице полно монахов. Правда, странно?

— Ничего странного,— отзывается мистер Макдонах.— У монахов двадцать лет назад была куча денег.

— Мистер Макдонах, а вы помните, как немцы вторглись в Россию?

— Так меня же в тот день и призвали! Еще бы не помнить. Я ведь тоже служил.

— Да? А где?

— Мы стояли в Лимерике. Я был в ирландской армии.

— А вы хотели, чтобы кто победил?

— Союзники, конечно. Хотел, чтобы они победили, но...

— Что но?

Мистер Макдонах протирает очки концом темно-синего галстука.

— Хотел, чтоб им сперва крепко всыпали. За все, что Англия с нами сделала.

Мальчик смотрит на свои коленки, потом на пол. Линолеум усыпан упругими прядями его волос. Странно, что частицы тебя самого — ногти, перхоть, волосы,— все, что только что было тобой, можно собрать и вымести, точно собачьи какашки или разбитую солонку. И уж совсем трудно представить мокрые, свалявшиеся волосы, которые парикмахеры Бельзена и Бухенвальда сбривали у школьников, у малышей с молочными зубами, у подростков, что гоняли на велосипедах, не держась за руль...

— Мистер Макдонах, а про евреев вы знали?

— А-а, евреи,— говорит он, вытряхивая простыню.— Евреи. Очень способный народ. Да каждый второй актер — еврей, в Голливуде их полно. Жаль, что с ними так обошлись в войну.

Клиент откашливается. На его нижней губе повисает мокротина.

— Среди евреек тоже полно хорошеньких,— говорит он.— Не такие grossen, но вполне Frauen. Эх, и почему я не в Мюнхене родился!

Фрау Штерм показывает Тимми дом. Кухня, гостиная, кабинет — тут герр Штерм работает над судебными делами — и узкая «гостевая» спальня на первом этаже. Но сосредоточиться трудно: мешает непонятный, чужой запах, им здесь пропитано все. Дома у Тимми нет аэрозолей: горничная по старинке поплюет на губку и протирает книжные полки, столы и бронзовую каминную полку. А здесь, в этом шикарном и шатком мире, все иначе.

— Нравится?

Фрау Штерм нажимает кнопку: от стены отделяется кровать и медленно раскладывается на полу. Такого Тимми еще не видывал. Как и

---

[1] Зрелых женщин (*нем.*). (*Здесь и далее прим. перев.*)

окон с двойными стеклами — они выходят на лужайку перед домом. Лужайка без каменной ограды, даже без забора — как бы невзначай переходит она в уличный тротуар.

— Да,— отвечает он.— Все очень красиво.

Она протягивает ему руку:

— Пойдем, еще кое-что покажу.

Мальчик идет за ней обратно на кухню. Под потолком тихонько, по-комариному, зудит лампа. На сушильном подносе укреплен скелет рыбины. Напротив, на подоконнике, корзина с виноградом и бледными бананами; Тимми присмотрелся: оказывается, фрукты стеклянные. А возле него, на полированной полочке, весы фирмы «Крупп», вокруг ножки — каемка просыпанной муки. Крупп? Он где-то встречал эту фамилию, вспомнить бы где...

— У меня для тебя письмо,— говорит фрау Штерм.— От твоих родных. Два дня назад пришло.

Тимми берет конверт, вскрывает. Внутри один листок — тонкий, почти прозрачный. Почерк сестры.

Дорогой Тимми!

Скоро девять, и я пойду спать. Ты уже спишь у себя наверху, а мама выбирает, какие брюки тебе взять с собой. Забавно, что ты прочтешь это письмо в стране Ханселя и Гретель. Поэтому-то я и пишу.

По средам я буду ходить в книжный магазин и забирать твои комиксы. Ты приедешь через два с половиной месяца, а все комиксы тут.

Вот какая Заботливая и Расчудесная у тебя

Сестра.

Фрау Штерм складывает белье в дальнем углу кухни. Она хорошая — отвернулась, пока он читал. И оттого, что она отвернулась, Тимми вдруг начинает понемногу успокаиваться, приходить в себя. Но по-прежнему мешают запахи. Хоть бы один, один домашний запах — глаженого белья или свежевымытой посуды. Ему хочется сразу же написать ответ сестре. Он напишет, как летел на реактивном самолете без всяких пропеллеров, как в киосках в аэропорту продавали чудные журналы — женщины на обложках ухмыляются и выпячивают зад; напишет, что где-то между Дублином и Дюссельдорфом потерял немецкий разговорник и теперь не может даже сказать, до чего ему все нравится; напишет, что на кухне стоят весы фирмы «Крупп» — не эта ли фирма строила крематории? А еще напишет, что тужился, тужился, но так и не сходил по-большому.

Фрау Штерм бьет по оконному стеклу сложенным кухонным полотенцем; удар точен: навозная муха еще мгновение барахтается в своих вытекших внутренностях и падает на подоконник. В ответ на удар срабатывает ультрасовременная система охраны. На весь дом завывает сирена — как воздушная тревога во время войны. Тимми сперва даже не слышит фрау Штерм; она пытается объяснить, что случилось, но ей не хватает английских слов.

— Я понял,— говорит Тимми.

Папа подтыкает одеяло и смахивает с него карандашные стружки. Тимми откладывает альбом. Они целуются. Папа выключает свет.

— Мне всегда проще разговаривать в темноте. Как думаешь почему?

Тимми не отвечает. Он устраивается поудобнее. И ждет.

— Так вот, о поездке. Бояться нечего. Люди везде добры, во всем мире. Сам увидишь. А этот дурной итальянец, который тебя латыни учит, забивает тебе голову всякой ерундой. А все потому, что его братцу где-то на Сицилии задницу штыком проткнули. И комиксы твои тоже хороши:

боши — то, боши — сё! Офицерики с моноклями, пехотинцы точно дикие кабаны. Немцы не хуже и не лучше других. Ты мне веришь?

— Верю.

— И музыку я играю большей частью немецкую. Разве тебе не нравится Моцарт и Малер? А Бетховен?

— Нравятся.

— Вот видишь. Герр Штерм — чудесный человек. Он может показаться чуть надменным — так уж немцы устроены. Зато, когда сойдешься с ними коротко, становится очень весело. Помнишь, в прошлом году в Коннемаре ты играл с герром Штермом в бильярд, и он все время поддавался. Я-то тебе не поддаюсь, сам выигрывай.

Папа идет к двери и останавливается — темный контур на фоне приглушенного света в коридоре, за дверным стеклом.

— Запомни крепко. Во-первых, немцы не сами антисемитизм выдумали, он им по наследству достался. От кого? Я тебе объясню. От различных христианских церквей. Вот от кого. Десять лет назад меня за такие слова объявили бы оголтелым коммунистом. Но сейчас работает Ватиканский собор, и люди поняли наконец, что рот им дан не только спагетти лопать.

— Ага.

— А будут приставать — напомни вот о чем. Летом сорок четвертого союзники прицельно бомбили военный завод неподалеку от Аушвица. Прицельно бомбили. Весь комплекс — и завод, и жилье — с землей сровняли. Но рельсы, что вели к лагерю, не тронули. Они прекрасно знали, что там концлагерь, прекрасно знали, что там творится. Но бомбили беременных женщин и новорожденных — детки разлетались, словно мячики. А рельсы не тронули. Зато теперь, через двадцать лет, они требуют уберечь выдру от вымирания!

Он открывает дверь.

— У меня утром была операция. Необычная операция.

— Почему необычная?

— Он умер. Прямо на столе. И пришлось... вскрывать грудину. Я держал в руке его сердце и массировал, пока оно не забилось снова. Я работал вместо его сердца — работал вот этими пальцами, которыми в носу ковыряю.

Он протягивает руку:

— Хочешь потрогать?

— Нет.

Папа усмехается.

Тимми встает, придерживая шорты у колен, и поворачивается к унитазу. Наконец-то удалось сходить по-большому. Как же долго, как мучительно он тужился. Даже попка болит. Он осторожно подтирается и рассматривает клочок бумаги, прежде чем бросить. Тот едва прикрывает громадную какашку в неглубоком унитазе. Ну и здоровая! Как только в животе умещается?

Надо спешить. Он и так просидел здесь почти пятнадцать минут. Вдруг постучит фрау Штерм? Он решительно нажимает на рычажок, по стенкам унитаза хлещет голубая вода. Она бурлит и пенится, потом тихо и медленно сливается, иссякает, а коричневый ком остается на прежнем месте. Тимми отчаянно дергает рычажок. Бесполезно. Бачок пуст. Пока-то он снова наполнится. Тимми натягивает шорты, застегивает ширинку, моет руки, приглаживает отрастающий хохолок на макушке. Где сейчас фрау Штерм? Сколько он тут уже торчит? Сколько? А воняет! Он открывает окно, брызгает на пробковый коврик туалетную воду. Сколько он тут пробыл?

Бачок полон. Наверно, полон: журчанье смолкло. Тимми нажимает слив, на этот раз более плавно, и снова в унитаз врывается голубой поток. Тимми ждет, смотрит. Водоворот стих, пена ушла.

Какашка осталась.

Мальчик выбегает из туалета. Слева еще дверь, но какая? Может, спальня, и фрау Штерм сейчас здесь? Он останавливается, возвращается к двери, заглядывает. Оказалось — детская. Комната Клауса. На стенах переводные картинки из диснеевских мультфильмов, в углу надувной мяч и тонкая толедская шпага, а на полу, прямо перед ним, игрушечная железная дорога: уложенные штабелями рельсы, маленькие переезды, вагончики, тендера, локомотивы, крошечные носильщики и кочегары.

Мальчик прислушивается. Ни звука. Он наклоняется, хватает длинный рельс и бежит обратно в туалет. Запирает дверь, снова прислушивается. И ожесточенно, с размаху всаживает рельс в огромную какашку: кромсает ее, тыкает, режет. Она начинает расползаться, но ему все мало. Он колет и лупит, колет и лупит. Длится это долго, очень долго. Наконец он удовлетворен. Тыкает напоследок еще разок и спускает воду. Кусок за куском, часть за частью смываются, исчезают в бурлящем водовороте.

Тимми хочет заплакать, но еще рано, еще не пора. Ведь в руке испачканный рельс. Сколько Тимми тут торчит? Он поворачивает кран и сует рельс под сильную струю, скоблит его ногтями — но куда там! Рельс испорчен, воняет, его не очистить. Тимми долго глядит на него, потом выбегает из туалета, несется вниз по лестнице, на первом этаже останавливается и опять прислушивается: не слышны ли шаги? Не идет ли фрау Штерм?

Выбежав в сад, он размахивается и изо всей мочи бросает рельс через низкую деревянную ограду за кустами рододендронов и малины. Рельс приземляется среди розовых кустов у соседей. Тимми так размахнулся, что ноет под мышкой. Теперь можно и поплакать.

— Тебе не будет больно.

Мама стоит на коленях, Тимми в пижаме — перед мамой. Уже поздний вечер. Завтра он уезжает в Германию. Вещи собраны.

— Я тебе в чемодан положила оплечник.— Мама приспускает ему штаны и берет в руки его половой член.— Знаешь, что такое оплечник?

— Нет.

Мама очень осторожно оттягивает крайнюю плоть. Вверх-вниз, вверх-вниз. Очень, очень нежно.

— Оплечник — это вроде иконки,— говорит она.— Он тебя охранит. Моя мама дала мне такой, когда мы с папой поехали в свадебное путешествие.

— Он тебя охранил?

Мама смеется:

— От кого же меня охранять?

Тут Тимми решается:

— Мне вчера ночью приснился сон. Про тебя. Будто я сижу в шезлонге, не знаю где, а ко мне идет целое стадо коров. И у всех вымя прямо по земле волочится. И они просят, чтоб их подоили.

— И ты подоил?

— Да, своими руками, в траву. Целое море надоил.

— А где же про меня?

— Тебя там не было. Просто у меня внутри так бывает, когда я с тобой.

Мама целует Тимми в кончик носа. И натягивает ему пижамные штаны.

— Попроси, чтобы фрау Штерм тоже тебе так делала. Ладно? Это очень важно. Подрастешь — поймешь.

— А ты мне письма будешь писать?

— Конечно, буду. Конечно. А ты отвечай. И не только мне. Папе тоже пиши. Пиши на адрес больницы, он будет рад.

— Хорошо.

Мать смотрит на сына, сын — на мать.

— В Германии совсем неплохо. Помнишь, я тебе рассказывала: я там была с бабушкой, как раз перед войной.

— Ты лечилась?

— Да, лечилась. Выздоравливала. Я долго болела.

— Плевритом.

— Плевритом, верно. Тогда многие болели. Как в эпидемию.

— Что значит «эпидемия»?

— Это когда все кругом болеют. Многие тогда умерли...

— А ты вылечилась.

— А я вылечилась. В Германии вылечилась. Вернее, я там долечивалась. И познакомилась с очень славными людьми.

— С кем?

— Ну, например, с одной женщиной. Вернее, девушкой. У нее была своя кофейня, кафе. Там подавали вкусные пирожные. А по вечерам играла виолончель. Милая была девушка, только очень сильно красилась. Как накрасится — сама будто пирожное.

— А из мужчин тебе кто-нибудь понравился?

— Да. Один был очень похож на папу, только пониже ростом.

— Он был нацист?

— В армии-то он служил, но вообще хотел стать пасечником.

— Стал?

Мама поднимается и растирает покрасневшие коленки.

— Не знаю. Может быть, он умер. На войне погиб. А звали его Никки.

Тимми зарывается в постель поглубже. И придвигается к стенке: он всегда оставляет и будет оставлять рядом место для святого Бернарда, своего ангела-хранителя.

Клаус с Тимми поладили. Фрау Штерм в этом убеждена. Разумеется, оба слегка стесняются, но это вполне естественно. Дублин — не Дюсельдорф, а Крефельд — не Килларни. Фрау Штерм любит сравнения с красивыми созвучиями. Не забыть бы рассказать мужу.

А по саду, улыбаясь, кружат мальчики — все ближе и ближе друг к другу. Клаус раскрывает английский разговорник, выбирает наугад предложения и зачитывает вслух.

— Это не та комната, которая мне обещана.

Тимми смеется, смеется громче обычного.

— Этот музей по воскресеньям тоже открыт?

— Jawohl! — говорит Тимми и салютует, выбрасывая по-фашистски руку вперед. Клаус смотрит на него пристально. Мрачнеет. Тимми смущается, робеет. И опускает руку.

— У меня тоже был разговорник,— говорит он Клаусу.— Только я его потерял. Сам не знаю где. Или в самолете, или в аэропорту. Но я куплю другой. Мы тогда сможем все время разговаривать. Правда?

Клаус ничего не понял. Он снова листает разговорник Берлица. Листает, а сам посматривает на нового друга. Наконец находит, что искал.

— Можно заказать билет на этот поезд?

Тимми вспоминает о рельсе в розовых кустах, о железной дороге, разбросанной наверху, на пестром ковре. А вдруг фрау Штерм вздумает сложить все рельсы в коробку и начнет пересчитывать? Или Клаус вспомнит, сколько их было? Конечно, недостающий рельс никогда не найдут, но вдруг Штермы почувствуют, что с его приездом у них стали воровать вещи? Они, ясное дело, скажут: вещи пропадают, а про себя будут думать, что он вор. И отошлют домой, а в самолете ему встретится та же стюардесса. Ей придется подать ему завтрак, но смотреть на него она не захочет. Отведет глаза.

— В этом поезде есть спальные места?

Никто не видел, как он бросил рельс. Окно в туалете матовое, дверь была заперта; по крайней мере, он ее запирал. Фрау Штерм поблизости не было. Окна соседнего дома, возле которого растут розы, в сад не выходят. Теперь, приглядевшись, он понял, что это даже не дом, а дачка. И с облегчением вздохнул.

— И сидячих мест нет?

Клаус улыбается ему. Он приберег для Тимми единственное английское слово, какое знает,— ругательство; он узнал его от хулиганистого шутника в своей Mittelschule [1].

— Говно,— говорит он.

Тимми не успевает ответить; Клаус устремляется на другой конец сада и склоняется под деревом. И тут же возвращается с черепахой в руках. Тимми подходит поближе, хочет потрогать панцирь, но Клаус вдруг подбрасывает бедное животное высоко в воздух. Ловит. Тимми изумлен, и Клаус повторяет фокус. Потом он неожиданно перебрасывает черепаху своему новообретенному приятелю, другу по переписке. Тимми кидает ее назад; она опять летит к нему. Черепаха выглядывает из панциря. Видна голова и лапки. А мальчики все перебрасываются: взад-вперед, туда-сюда, точно мячиком. Но вскоре происходит неизбежное. Клаус промахнулся, и черепаха падает на бетонную дорожку. Клаус в ужасе пятится. Мальчики думают об одном: жива ли? Больно ли ей? Оба молчат. Тут налетает ветерок и пригибает траву на лужайке; клонят головы подсолнечники.

— Клаус...

Но Клаус не отзывается. Он подходит к черепахе, поддевает ее мыском сандалеты и заталкивает подальше под куст — там никто не увидит. Он придет попозже, после обеда, и посмотрит, что с нею сталось. А Тимми задумывается: есть ли у черепах позвоночник? И если панцирь треснет или даже чуточку расколется— может, это не так уж опасно?

— Говно,— снова говорит Клаус.— Очень говно.

Отец Эдди прицеливается и резким ударом загоняет шар в лунку. Тимми хлопает в ладоши. Отец Эдди переходит к следующей римской цифре: лужайка для гольфа в саду у Тимми устроена наподобие циферблата.

— Когда я был юнцом, Лютер для нас был все равно что Люцифер. Дьявол во плоти, как твой Гитлер, даже хуже.

— Правда?

— Истинная правда. Он расколол христианский мир и пошел на Церковь войной. Чужое мнение в грош не ставил. И пришло на землю горе. Голод, убийства, святотатства. Поэтому для нас, семинаристов, Лютер был отступником. Бандитом!

Отец Эдди снова прицеливается, на этот раз — еще тщательнее.

— Но теперь, когда работает Ватиканский собор и папа Иоанн многое объяснил, все видится иначе. Мы стали милосерднее и великодушнее. Мы стали терпимее и поняли, что Лютер — вовсе не дьявол. Просто он был не в себе. Безумец, сумасшедший.

Шар колеблется на краю лунки, но не вкатывается. Отец Эдди раздосадован.

— Однако терпимость терпимостью, а в церковь со Штермами не ходи — откажись. Скажи, что тебе дозволено посещать только католическую церковь. А если в их округе такой нет, не огорчайся. Церковь снисходительна к верующему, когда он в чужой стране. Я был однажды в Греции, за несколько лет до принятия сана,— и целый месяц вынужден был обходиться без мессы. Вернулся домой духовно истощенным.

Тимми ногой подталкивает шар в лунку, потом достает его и отдает отцу Эдди. Священник снова примеривается: как поточнее ударить.

---

[1] Средняя школа (*нем.*).

— Будут спрашивать, отчего не идешь в церковь,— объясняй, что ты ирландец, а не англичанин. А английский учишь в школе.

— Хорошо.

— И помни: за пределами страны ты по национальности — католик. Главное — вера! Помни об ирландских монахах, которые ездили обращать немцев. Колумбанус, Циллиан... Святые люди, цельные люди, движимые высоким порывом. Ты идешь по их стопам. Понимаешь?

— Да.

Отец Эдди оглядывает выложенный в траве циферблат.

— Это какая цифра? — Он указывает битой на большую металлическую галочку под сливовым деревом.

— Пять.

— А эта?

— Девять. Я все знаю, до ста. Сто — латинское С.

— Молодчина.

День на исходе. Последние лучи солнца освещают лишь верхние стекла теплицы. Священник с мальчиком идут к дому.

— Все-таки удивительно,— говорит отец Эдди.— Римскими цифрами пользовался еще Юлий Цезарь. И Октавиан Август... Перед извержением Везувия помпейские хозяйки произносили их вслух, считая на пальцах. И было это не сегодня, не вчера. А давным-давно.

— Сколько пап сменилось с тех пор?

— Много, очень много. И вот две тысячи лет спустя мы встречаем эти цифры тут, в уголке твоего сада. Знаешь, как сохранились они?

— Нет. А как?

— Это надо знать. Их сохранила Церковь. Именно Церковь сохранила латынь — язык, на котором говорили римские воины, те, что распяли Господа нашего. Такова ирония судьбы.

— А что это — ирония судьбы?

— Когда и больно, и радостно.

Священник наклоняется и поднимает с земли перышко.

— Можешь поговорить с Клаусом по-латыни. Ты уже немного умеешь. Наверное, и он учит латынь в школе. А ты знаешь все формы глагола «любить». Для начала этого достаточно. Этого хватит каждому. Должно хватить. Ты не робеешь? Не надо робеть. Вы с Клаусом станете не разлей вода, приземлиться не успеет самолет.

За их спинами из-за кипарисов вылетают сороки, делают круг над циферблатом и, опустившись на лужайку, клюют блестящие римские цифры.

Герр Штерм за обедом все время откидывается на стуле и задирает подбородок. У него, как пришел, потекла кровь из носа. Уже запачкана рубашка, и на зеленом парадном галстуке, надетом в честь Тимми, бурые пятна. Но фрау Штерм уверяет, что это обычное дело. Такое с ним часто бывает, это признак здоровья, а не болезни. И проходит само собой, как все на свете. Она ставит перед Тимми тарелку с целой горой овощей.

Еда какая-то невнятная. Тимми даже не знает, как называется то, что лежит на тарелке. Все необычно — величина, форма, запах, вкус. Он возит ножом и вилкой среди этого месива, но в рот взять духу не хватает. На широком лезвии ножа — его отражение, только не целиком: сперва нижняя, обветренная губа, неровные белые зубы, потом брови, ресницы, глаза. Глаза глядят прямо: не то признаваясь, не то скрывая...

— Хочешь завтра посмотреть кино?

Он смотрит на фрау Штерм. Она вдруг оказывается далеко-далеко — совсем крошечная.

— Да, спасибо.

— Хочешь — «Звуки музыки»?

— Да.

Стул герра Штерма опускается на все четыре ножки. Герр Штерм говорит с женой, прижимая к носу большой платок. Говорит сначала по-немецки, потом по-английски.

— «Звуки музыки» — нехороший фильм, антинемецкий. Музыка красивая, ну а по сути это — пропаганда. Есть другие фильмы. Другие. Вот их мы и будем смотреть.

Они умолкают, жуют. Тимми с трудом проглатывает немного зелено-лиловой бурды. Клаус занят своим: катает горошины — разыгрывает на тарелке футбольный матч. А сам, наверное, думает о черепахе, и ему, наверное, страшно. У герра Штерма снова пошла кровь: капает на салфетку, на кольцо от салфетки. Он ругается себе под нос. Жена шикает. Снова тишина... И тут раздается звонок.

Мелодичный звонок-колокольчик у входной двери.

Все за столом замирают. Супруги смотрят друг на друга. Герр Штерм встает, выходит. Фрау Штерм приподнимает жалюзи на двери.

— По-моему, соседка,— говорит она.

И Тимми знает, знает утробой, печенками,— на все есть свой ответ. Отчего пожилой пассажир хотел пожаловаться на стюардессу? Отчего он, Тимми, сказал, что хочет быть евреем? Отчего не пошел к летчикам в кабину? Отчего у Хардимана встает? И о чем он думает в это время? О чем?

Дверь распахивается. Возвращается Герр Штерм. Он молчит. В руке у него рельс. Отчего он, Тимми, в поезде выбросил в унитаз свою карточку? Не просто же так? Папа говорит, что все в жизни не просто так. Тогда отчего ухмыляются женщины с обложек журналов? Герр Штерм бьет Клауса испачканным рельсом по плечам, по спине. Его жена вскрикивает. Но Клаус — Клаус молчит. Ни звука. Он даже не пытается закрыть голову. Как мистер Макдонах относится к евреям? По правде? И что такое «grossen Frauen»? Отчего это смешно?

Фрау Штерм толкает мужа в бок. Умоляет прекратить; он не отвечает. Из носа у него снова идет кровь. Кровь капает на футболку Клауса, на спину. Мальчик всхлипывает, дрожит. Герр Штерм снова замахивается бурым, испачканным в дерьме и в земле рельсом, замахивается, смотрит на рельс — и опускает руку. Приглаживает волосы.

— Я купил это... эту дорогу вчера для Клауса. В подарок! И тебе, тебе тоже. Чтоб вы вместе играли.

Отчего он не потрогал папину руку? И отчего авиация союзников не бомбила рельсы, ведущие в Аушвиц? Отчего? И когда он узнает ответы? Ответы на все вопросы, которых боишься, которые мучают, от которых не уйти. Он смотрит на герра Штерма, на фрау Штерм, на Клауса. Внутри, в животе, все сжимается от дурноты и боли. Его прошибает жаркий пот, и стекла очков затуманиваются. Очки потихоньку сползают с переносицы, и вот половина видимого мира размыта, а другие полмира выпуклы, отчетливы, словно выведены крупным шрифтом.

Он молчит. Он не говорит ни слова.

Перевод ОЛЬГИ ВАРШАВЕР

Прыжок

На экране, над американским флажком, появилось знакомое имя. Конечно, лыжник в защитных очках и шлеме, изготовившийся к прыжку с трамплина, мог быть просто однофамильцем. Но Виктория все же всматривалась — вдруг разглядит знакомое лицо на мерцающем экране старенького телевизора.

Лыжник ринулся по крутому снежному склону, энергично и размашисто отталкиваясь палками. Он несся к кромке, надпись еще не исчезла, и Виктория ясно вспомнила: так же были подписаны сочинения по древнегреческой литературе, даже шрифт похож — квадратный, компьютерный. Не тот ли Карл Перрецон? Но лицо скрыто за очками, тело согнуто — не узнать. Виктория прибавила звук, однако комментатор молчал — должно быть, ждал прыжка. Спортсмен мчался все быстрее по убегающему склону. Другая камера показала его сбоку — он резал экран наискось, и Виктория впервые разозлилась на телевизор — все расплывается, ничего не разберешь. Он или не он? Взлетев на край, он рванулся и взмыл в ярко-синее небо. Но что это? Где же единый ладный снаряд из лыж и тела? Будто наткнувшись на невидимую преграду, прыгун нелепо, судорожно завращал руками и ногами и рухнул гигантским кузнечиком.

Глазам своим не веря, Виктория увидела, как он ударился оземь, замер бесформенной грудой, и его неестественно яркий костюм заалел на снегу.

Комментатор заговорил; Виктория вскочила и выключила телевизор, жалея, что не сделала этого раньше, до начала спортивной передачи,— хорошо хоть, она больше ничего не узнает.

Она вернулась к работе и постепенно настроилась на тонкий иронический лад — именно так она рецензировала новую книгу об Эпихарме своего бывшего профессора. (Виктория слыла неумолимым, принципиальным критиком, а ведь молва подстегивает!) Слова приходили сами, но тут — п-пых! — точно от струи кислорода вспыхнули тлеющие угли: перед мысленным взором вдруг мелькнула огромная, пугающая тень.

Год назад Виктория начала преподавать в небольшом колледже в Брандерхейвене, что на востоке штата Коннектикут. Из окна аудитории студгородок просматривался как на ладони; было видно и строение под готику, где размещался «непревзойденный по оснащенности спортивный комплекс», как говорилось в рекламной брошюре. Шла ли Виктория утром на занятия, возвращалась ли поздно вечером — он всегда был полон: десятки юношей и девушек упражнялись на диковинных снарядах, сиявших в золотистом свете ламп.

«...Иногда они устраивают вылазку на лекцию или семинар,— писала она лондонским коллегам,— но неохотно; даже совестно извлекать их из спортзала, хотя все там напоминает ожившую иллюстрацию Босха. Вот уж где mens sana... Преподаватели под стать студентам. Им не по вкусу приправлять свои (эпикурейские!) обеды острой научной полемикой; а уж выйти за рамки рыболовной тематики — просто неприлично. О рыбалке я говорю — не наговорюсь. Помните Честера Платкина — «охламона из Оклахомы»? Здешние мужчины вроде него, хотя завкафедрой гуманитарных наук — не то Хэдли, не то Брэдли — порой подает признаки жизни. Он вызвался показать мне Нью-Йорк. Соболезнования принимаются».

© 1988 by James Lasdun

Нью-Йорк был залит ярким синим светом, который подчеркивал и заострял углы, серебрил поверхности. Казалось, холодное небо — сплошь граненый хрусталь. И город, по обыкновению, поразил еще одну гостью.

— Мы словно бы в сердцевине алмаза,— заявила Виктория. Они миновали сверкающий синим салон искусственного загара, магазин, торгующий экзотическими цветами.— Нет, сейчас скажу, где мы — разом в Лондоне, Риме, Мадриде и на Венере.

Сияющее утро и любезный спутник вызвали у нее прилив воодушевления, впервые после Лондона она по-настоящему разговорилась. Все смелее и острее с каждым словом.

— Тут во всем есть что-то от ящериц, даже в людях,— сообщила она Брэду.— Они чутки к малейшему раздражению, понимаете? Они черпают свою энергию из пищи иного рода. Того и гляди, выстрелит язычок и поймает муху.

— Ну, а в Лондоне разве питаются не мухами? — Мрачновато-добродушное бульдожье лицо Брэда расплылось в улыбке.

Виктория оживилась еще больше — он поддержал ее шутку.

— Боже, а это что за машина? Какая-то помесь «мерседеса» с анакондой...

— Просто удлиненный лимузин.

— Удлиненный? Очень мило!

Когда они обедали в Вест-Виллидж, Виктория явственно почувствовала неладное — так бывает, когда потеряешь что-то, кошелек или ключи. Тревога не проходила, хотя никаких видимых причин не было. Разлад все усиливался, и в конце концов Виктория умолкла на полуслове. Наступившая пауза, похоже, удивила Брэда, и хотя до этого он вроде бы ее слушал, теперь виновато заулыбался, точно она уличила его в невнимании. Виктория вновь заговорила, но — она уже тогда, в крошечную паузу, поймала себя на том, что не получается у нее очаровать этого бывалого мужчину, надежного и прочного, как кресло. Когда же она оплошала? Может, слишком дерзко отозвалась о Нью-Йорке? Еще несколько дней назад Брэд казался чудом, какое запросто входит в жизнь, заслоняя все, что мучило и томило. От его большущей влажной дубленки веяло безграничным дружелюбием и покоем, в этом она уверена. Голос ее зазвучал визгливо. Надо бы остановиться, одернула она себя мысленно и замолчала. Брэд тоже молчал — тишина разделила их, как разлившееся озеро. За окном прошел малоприятный на вид человек, он вел пуделя на поводке со строгим ошейником.

— И на случку — с провожатым! — хихикнула Виктория.

Брэд улыбнулся, правда холодно,— или ей так показалось? Она вновь заговорила, но выходило или бесцветно, или чуть снисходительно, а перестать она уже не могла. И чем острее она чувствовала, что раздражает Брэда, тем сильнее хотелось вернуть его расположение. Они вышли из ресторана, и Виктория рассказала, как отобедала с деканом в первый день в Брандерхейвене, не без кокетства вспоминая расхожие словечки из той беседы — «подоплека собрания», «значимые другие». «И еще, Брэд, «моменты творческого озарения»; я насчитала целых три озарения...» Но Брэда не занимали чужие разговоры, он равнодушно пробормотал что-то, и Виктория устыдилась своего мелкого предательства: «Только не подумайте, что я сплетничаю...» И тут же пожалела, что так сказала...

Однако она все же надеялась, что тревожные мысли в конце концов пройдут. Может, они вообще на пустом месте: ведь часто мучаешься надуманными страхами.

В подземном переходе на 14-й улице они свернули за угол и нос к носу столкнулись с испражняющимся человеком. Тот вперил в них яростный взгляд из единственного своего убежища — капюшона. Виктория хотела что-то сказать — нет, вовсе не об этом человеке,— но Брэд остановил ее взмахом руки. Правда, он тут же примирительно добавил:

— По-моему, комментарии здесь излишни.

Виктория была вконец подавлена и даже не попыталась объясниться: а она всего-навсего хотела спросить, не доводилось ли ему путешествовать по античным городам Средиземноморья.

Утром на ее рабочем столе появились тюльпаны — белые, с причудливо изогнутыми лепестками. Где-то она уже видела такие, но где? Записки нет. Брэд? Вряд ли, после вчерашнего молчаливого, позорного возвращения домой. Но цветы — вот же они, белоснежные, нежные, источающие свежесть. Может, Брэдли из тех, кто должен непременно обидеть, чтобы проверить собственные чувства? Виктория улыбнулась: что ж, она не против ершистого ухажера.

Занятия в то утро она вела необычно легко и свободно — настолько ее одушевляла тайна. Несколько студентов вдруг застрочили в блокнотах, а такое всегда изумляло и радовало. Даже кудрявый Карл Перрецон, сидевший в заднем ряду в неизменном спортивном костюме,— даже этот изнывающий от науки физкультурник был на редкость внимателен, глядел смущенно и удивленно. Неужто его уши открылись наконец для красот древнегреческой поэзии? Виктория спросила его о прихотливых образах в стихах Сафо, от испуга он даже переменился в лице. Виктория улыбнулась и спросила другого. Едва слышный аромат тюльпанов всколыхнул в ней приятные ожидания.

После занятий Виктория пошла прямо в деканат. Мальтийка Ита — секретарша Брэда — как всегда пожирала булочку с изюмом; она придурковато ухмыльнулась (к нижней губе прилипла крошка) и поинтересовалась, как съездили в Нью-Йорк. В голосе ее послышалась насмешка, а может, Виктории показалось — ведь Ита говорила, не переставая жевать и чавкать.

— Спасибо, мне очень понравилось.

— Брэдли тоже страшно доволен.

— Правда?

— Конечно! («Каэшн!») — протрубила Ита, дождем рассыпая крошки, и для пущей убедительности выпучила глаза. Она прижала жирный палец к большой, как у тролля, бородавке на подбородке, качнула головой и вытаращилась на нее.

Виктория думала было обрести в этой женщине наперсницу, но та не вполне подходила на роль старшей, достойной подруги; ее будто точила обида или неутоленная страсть — то вдруг надуется, то беспричинно, по-девчоночьи хихикает.

Ита показала на дверь кабинета и едва ли не презрительно бросила: «Он у себя», словно у Виктории на лбу написано, зачем явилась.

Ошеломленная проницательностью Иты, Виктория вошла в кабинет в полном смятении, даже не подыскав предлога. Брэд сидел, откинувшись, положив ноги на стол, и теребил пучок ярких перышек. Он поднял на нее глаза:

— Здравствуйте! Чем обязан?

Виктория смешалась, не зная, что придумать. Брэд начал обматывать перышки ниткой, движения рук его были спокойны — на тайного поклонника, приславшего дивные тюльпаны, не похож.

— Я хотела поблагодарить вас за чудесную вчерашнюю поездку,— нашлась она наконец.

Брэд безучастно взглянул на нее:

— Не за что.

Виктория вконец растерялась. Она сгорала от стыда и унижения, но уйти не хватало духу. С ужасом осознавая, до чего это нелепо, она шагнула к Брэду и тронула пестрые перышки:

— Какие красивые! Что это?

Что-то вдруг кольнуло ее в палец. «Блесна!» — рявкнул Брэд. Виктория отпрянула и выскочила из кабинета.

Ита прикинулась, будто вытирает липкую пятерню; на лице ее мелькнула недобрая усмешка.

Несколько дней Виктория пыталась найти своего тайного поклонника. Те из мужчин, что здоровались с ней в деканате, подсаживались за ее столик во время обеда (верх вежливости), теперь вдруг стали ловить на себе чересчур пристальные взгляды, отчего очень скоро перешли на сугубо деловой тон.

Ее начали сторониться; Виктория сразу заметила эту суету вокруг — избегают встреч, поспешно опускают глаза, обрывают на полуслове фразу и исчезают («Ой, кажется, забыл книги на столе...»), трусливо убегают, прикрываясь милыми улыбками.

Виктория поняла — нужно взять себя в руки. «Все уверены — я приехала охотиться за мужем»,— написала она коллегам в Лондон и решила оставшиеся месяцы в колледже держаться особняком. Она прекратила поиски, равно как и без того скромное общение с преподавателями — из гордости. «...Если во мне хотят видеть только ученого-гастарбайтера из бедствующей страны, я, конечно, ни в коей мере не стану навязывать им свое общество. Отныне буду вести себя скромнее гувернантки из викторианского романа...»

Она усердно готовилась к занятиям, долгими часами сочиняла замысловатые рефераты и статьи, рьяно проверяла примитивные, серенькие студенческие работы. Обедала за столиком в одиночестве, разве что ее пригласят в компанию, что случалось редко, а потом и вовсе сошло на нет. Ко сну отходила рано, гордо взяв в руки учебник санскрита.

По всему студгородку буйно цвели магнолии. Через неделю цветы осыпались, покрыв землю слоем мертвых лепестков. С мая в аудиториях замелькали легкие светлые шелка. У ступенек спортивного комплекса долгими теплыми вечерами толпились студенты, ветерок доносил оттуда музыку. Виктория, работая за письменным столом, посматривала на студентов. Те неспешно выходили из высоких стеклянных дверей в просторных туниках и тогах, и с каждым вечером все больше обнажались загорелые тела. «...Там у них термы Каракаллы,— писала Виктория,— скоро дело дойдет до набедренных повязок...»

О Брэдли она и думать забыла. Изредка они сталкивались, и тогда он был презрительно-молчалив; впрочем, избегать его труда не составляло. О белых тюльпанах она вспоминала редко. Это было внезапное, загадочное вторжение в среду ее обитания, это был буран в пустыне. Стоицизм и работа — вот отныне ее жизнь. И Виктория отчаянно держалась избранного пути, дабы изгнать из сердца все прочее.

Однажды вечером она готовилась к занятию по древнегреческой метрике; она всегда умела сосредоточиться, но не на сей раз. Давным-давно Виктория усвоила правило самобичующихся — когда тяжело, не облегчать себе существование, а делать еще тяжелее. Она отложила записи и принялась за более изнуряющий труд — учить очередной отрывок из Гомера, ибо твердо решила к тридцатипятилетию знать наизусть «Одиссею». Когда же не помог и Гомер, вынула из сумки газету и начала переводить на древнегреческий первую попавшуюся статью — ей нравились такие чисто тренировочные упражнения.

Она с холодным упорством подыскивала в древнем языке слова для статьи о современной моде (интересно, как эллины сказали бы: «мохер», «комбинезон», «искусственная кожа»?), и вдруг дверь распахнулась и в аудиторию вошел разутый Карл Перрецон.

Мгновение он смотрел на нее; он словно был далеко-далеко, окутанный тихими звуками, которые потянулись следом, хороводом печатных букв, комарами плясавших у нее перед глазами. «Ой, простите...— услышала она; ей почудилось, что движение его губ и звуки не совпадают.— Я тут где-то забыл тапочки». Он пошарил под партой, выпрямился и ухмыльнулся. Она ждала, что он тотчас уйдет, но почувствовала на себе

его пристальный взгляд. Она сидела молча, недвижно. Должно быть, она перенапрягла глаза: в темной аудитории все предметы будто пульсировали. Юноша отражал свет, словно светящееся тело, погруженное в темную воду. Было очень тихо.

— Вам плохо? — услышала Виктория; речь его звучала как на чужом языке. Он подошел к ней с озабоченным видом. Она хотела было спрятать записи, бумаги, но не могла поднять и руки. Карл стоял рядом, смотрел на стол. Лоб у нее похолодел, точно от страха.

— Вы что, переводите «Таймс» на древнегреческий? Зачем?

Виктория не то что ответить — взглянуть на него была не в силах; от стыда она опустила голову. А он вдруг решительно хмыкнул:

— Вам надо переключиться. Пойдемте-ка в спортзал.

Виктория шла по галерее спортзала над гулким — по-церковному — пространством, которое было залито таким ярким светом, что сперва ее ослепило сверкание металла, стекла и полированного дерева. Ей уже не терпелось попасть туда. Поначалу она возражала и отказывалась, но тщетно — он был вежлив, спокоен и настойчив. (Откуда черпает он силу убеждения — в ее слабости? Или из неведомого ей источника?) Она видела спортзал только через окна — изнутри же он предстал совершенно иным. Она вспомнила Нью-Йорк — здесь тот же блеск, тот же размах. В центральной части поочередно сменяют друг друга баскетболисты и теннисисты, в разделенных стеклом кельях истово работают штангисты, фехтовальщики в масках, мечутся от стены к стене подобно мухам в банке игроки в мяч; голубеет огромный бассейн с глифами золотистого света на поверхности, торжественно темнеет звенящий воздух над водой. В раздевалке, где Виктория облачилась в спортивный костюм, взятый напрокат, стоял терпкий, первобытный запах пота. Как странно вновь очутиться там, где тело — мера и судья всему. Со школьных лет она не заглядывала в это царство.

Карла она нашла у разминочных тренажеров.

— Начнем с растяжки, — предложил он.— Повторяйте за мной.

Тут она впервые рассмотрела его как следует. На ляжке — уродливый шрам, цветом похожий на увядшую розу, в остальном же, надо признаться, он сложен идеально. Виктория отважилась окинуть взглядом и других, но те рядом с Карлом — пауки и тюлени. Юноша резко опускался то на одно колено, то на другое, кольчугой струилась по плечам сетчатая майка, под ней гладко перекатывались мускулы.

Виктория попыталась разобраться в своих ощущениях. Восхищена ли она? Удивлена? (Что подумали бы лондонские коллеги, увидь они такую пару здесь?) Возбуждена? Вроде бы ни то, ни другое, ни третье. Но когда он отвернулся от нее и улыбнулся вслед девушке в трико, походя шлепнувшей его полотенцем, Виктории стало не по себе — так холодит внезапный сквозняк.

— Что это у вас на ноге? — услышала она вдруг свой визгливый голос.

Карл повернулся к ней и сказал:

— Винтом задело. Выпал из моторки на гонках у берегов Виргинии.— Он ухмыльнулся.— У меня полно шрамов. Так сказать, сувениры. Вот отметина от гарпуна — в Карибском море, у острова Санта-Крус получил.— Он задрал рукав и показал белую блестящую вмятину на плече, затем тронул бедро: — А здесь — стальная спица. Съехал по крутому склону. Ветер упал, ну и я тоже. Это на севере Испании, в астурийских горах. Мама говорит, когда я путешествую, она до смерти боится телефонных звонков,— добавил он не без гордости.

В этих бесхитростных, доверительных признаниях было что-то трогательное. Ему нравилось демонстрировать свои шрамы. Слушая его, Виктория вдруг представила себе, как он крадется сквозь холодный туман мартовского утра с охапкой белых тюльпанов. Она по-новому взгля-

нула на юношу: он ли это был или нет? И сразу же невольно связала в уме цветы, светлые кудри и тело, блистающее под неоновыми лампами. Так один из богов мог посетить во сне смертного и оставить на память о себе подобные цветы... Она улыбнулась, постаралась отогнать эти мысли — ведь он лет на десять моложе ее.

— А теперь попробуем на тренажерах,— объявил Карл.

Он усадил ее на велосипед, объяснил принципы аэробики. Он стоял рядом, но не в поле ее зрения — одновременно вездесущий и невидимый. Говорил бесстрастно-вежливо, как стюард. Ее превосходство над ним, их прежние отношения, привычные аудиторские рамки —все это исчезло, и вновь перед глазами встали тюльпаны. Здесь приказывал Карл, и Виктория не могла понять — приятно это или же слегка задевает ее самолюбие. Дело осложняли и его работы — аккуратные, красиво отпечатанные на компьютере сочинения по классической литературе: они ложились к ней на стол, как ягнята под нож мясника — настолько невинно-бессодержательны они были. Наверняка придется завалить его в конце семестра. Жаль, если он подумает, что она мстит ему за какой-то проступок. Да, дурацкое положение... И не слишком ли опрометчиво — прийти сюда со студентом? Вокруг, казалось, так и витают тонкие намеки на ее ошибку. Она не знала, что делать. Она не понимала, чего хочет. Ситуация напоминала отполированный со всех сторон шар, вазу, покрытую несколькими слоями глазури разных тонов и оттенков. Выход ей могли бы указать собственные чувства, но и тут оттенки и тени лишь сгущались до полной тайны.

Карл внезапно дотронулся до ее шеи. Он просто считал пульс, а Викторию это прикосновение обожгло. В те секунды, пока он молча прижимал кончиками пальцев ее яремную вену, кровь там бешено стучала, и сама она так отчаянно крутила педали, словно хотела развить скорость, при которой велотренажер стронется с места.

— Вам надо поупражняться еще.— И Карл велел еще десять минут крутить педали, а потом поработать столько же на гребном тренажере.

Виктория сидела на полке́ в парной, отупев от боли и изнеможения. «До скорого!» — сказал на прощание Карл. Что он имел в виду? До вечера? Она по-прежнему ничего не понимала.

Поначалу на велотренажере сильное физическое напряжение ошеломляло, о чем она и сообщила Карлу в своем обычном стиле:

— Сколько мышц в муках пробуждается к жизни! Как в родильной палате. И чем сильнее боль, тем медленнее движется стрелка секундомера. Есть все-таки миг, где сходятся невыносимое страдание и вечность. Наверное, это и есть ад.

Но когда тело ее устало и начало бумажным змеем наматывать на себя разум, он вскоре так плотно окутал члены, что казался лишь смутным их ореолом, едва отличимым от пота и тепла. Мысли исчезли, остались только пылающие легкие, и страшное напряжение, и желание остановиться.

— Больше не могу...— выдохнула Виктория через десять минут.

— Скорее, пока не упал пульс! — И, не обращая внимания на ее жалобы, он увлек ее к тренажеру для гребли, где прикрепил ей ремнями ступни.

— Тяните! Ну же!

Она подчинилась.

Сиденье заскользило по горизонтальному стержню — Виктория тянула утяжеленную цепь, упираясь ногами в доски. Цепь приводила в движение колесо с закрепленными на нем щитками, и те обмахивали вспотевшего спортсмена. Карл снова стоял рядом, чуть позади, и отрывисто приказывал: «Побыстрее! Тяните сильнее! Держите темп!»

Сложилась схема: Виктория доходит до предела, расслабляется, слышит упрек Карла, просит остановиться, затем видит надвигающуюся

тень — Карл наклоняется к ней и дотрагивается до ее шеи. Виктория нашла ту грань, за которой он уступал, и стала полусознательно стремиться навстречу — так вновь и вновь стремятся к тому, что изумляет. Она все еще не могла понять, что вызывало в ней это прикосновение. Точно она в испуге натыкалась на пропущенную было ступеньку, вернее, оступалась на несуществующей ступеньке. Так всегда с телесными ощущениями. Ты чувствуешь себя Эллином в Риме — утонченным существом, теснимым непредсказуемыми, жадными до удовольствий варварами. Не знаешь толком, что с тобою. Вдруг открывается беспредельная обманчивая неизвестность, которая лишает воли. Виктория лишилась воли и потому осталась у тренажеров — она была способна лишь подчиняться. Такое уже с ней случалось три или четыре раза: невесть почему покоряешься, изнываешь от боли и слепо идешь до конца.

— Ладно,— сказал он,— на сегодня хватит.

Она лежала пластом и ждала новых приказов. Но Карл уже уходил.

— До скорого! — улыбнулся он и исчез.

И что же теперь? Где-то на зыбкой границе между реальностью и вымыслом начало разворачиваться абсурдное действо. Интересно, что последует дальше? Он ей признается в лунном свете, под магнолиями? Молча обнимет в запертой аудитории? Исход ее нисколько не волновал, до того поглотила неопределенность. Кожа словно таяла от пара, который клубился и набухал внутри нее. Перед ней плавно двигались неясные розовые фигуры.

Одна, побледнее, вошла и села напротив. Та самая девушка, что шлепнула Карла полотенцем. Кожа — белый фарфоровый изразец, что оттеняет все другие цвета. Она отбросила назад пышные влажные рыжеватые кудри, зевнула, наморщила нос и с довольным видом уставилась в никуда.

Но прежде поймала на секунду взгляд Виктории, и в тот же миг у старшей рассеялись грезы, точно по воде пробежала рябь. Один беглый взгляд — и все исчезло! Виктория подивилась — угораздило же ее не увидеть очевидного! Ну как ей могло прийти в голову, что она нужна Карлу, когда у него под боком этакое создание! Виктория даже и не желала, чтобы сбылось то, о чем мечталось; ей польстило бы, если бы желали ее — только и всего. Теперь же она чувствовала лишь облегчение — сколького удалось избежать!

До чего знакомая цепочка: мечты — разочарование — облегчение. Иначе у нее и не бывало. Даже если воображение рисовало ей схватку с одним из пауков или тюленей, неизбежно наступал момент, когда на пути любого удовольствия словно бы вставала некая скала, и именно с этого момента всегда начиналось освобождение. То же самое — если оглянуться назад — произошло после их с Брэдли поездки в Нью-Йорк. Поначалу двойное унижение затмило разум, зато позже, когда все схлынуло, она с явным облегчением вздохнула.

Виктория смотрела на девушку и чувствовала, как распутывается мудреный узел — Карл, тюльпаны, бесконечная работа — и как одновременно расслабляется ее тело.

Мало-помалу на нее снизошло кроткое спокойствие. Она горестно улыбнулась, вообразив Карла с этой девицей: два тела — загорелое и белое. Виктория преисполнилась снисходительности, чуть ли не великодушия, точно она — пожилая жрица, вершащая обряд их бракосочетания. От пара капилляры покалывало. Наверное, смутно подумалось ей, в парной нельзя столько сидеть, но уходить не хотелось. Ей редко случалось так нежиться: плывешь себе в умиротворяющих клубах пара... Виктория перевела на девушку глаза, подернутые поволокой удовольствия. Не часто ей удавалось по-доброму смотреть на людей. А может, и ее душа наконец-то заиграла красками «американской» палитры — теплотой и открытостью. Виктория так и излучала нежность.

Девушка поймала на себе ее взгляд и отвела сердито полыхнувшие глаза. Кожа у нее пошла розовыми пятнами. Вздернулись уголки темно-красных губ, словно бы очерченных рукой талантливого мастера. Как она, должно быть, хороша, когда улыбается! Виктория с удивлением обнаружила, до чего ей по душе и девушка, и все вокруг. И как было бы замечательно, если бы Карл и эта девушка оказались любовниками. Она улыбнулась, представив их вместе... Струи пара извивались питонами, укладывались пышными подушками и разлетались сверкающими сонмами пухлых херувимов. Девушка опять перехватила ее взгляд, и снова — всплеск зеленой морской воды у иллюминаторов тонущего корабля. Как приятно вот так тонуть, погружаться в водоворот мягких очертаний, голубоватых полутонов, потемневших от пара медных ручек... Виктория всегда считала, что восхищаться телом примитивно. Она отказывалась читать некоторые романы, поясняя: «Я не пуританка, просто мне скучно. Все равно что листать путеводитель, где вместо достопримечательностей описываются одни автостоянки». Вот даже сейчас она подумала: а стоит ли себе потакать? Но... что ж тут дурного? Его рука заскользит по целому полю веснушек, рассыпанных от загорелых плеч до полусфер, покрытых, как она разглядела, крошечными отметинками — такие следы мог бы оставить лев размером с наперсток. Вот его рука ложится на грудь... Кровь ее взликовала — и вдруг ее хлестнула еще одна зеленая волна.

— Черт! — выругалась девица, вскочила и прикрылась руками. Выбегая из парной, она что-то прошипела. Виктория съежилась — слово впилось в нее, пронзив матовые завесы, сквозь которые она углядела источник своего ликования... Картина эта потускнела, когда раны подзажили, однако кое-что Виктория поняла, ибо шквал осквернения вызвал в ее памяти нечто яркое, шелковистое, и она изумилась, припомнив вазу с белыми невиданными тюльпанами там, на кафедре, в самом начале семестра, и чей-то голос: «...да, цветы красивые, мне их сосед дает, он селекционер...» Голос женский, с акцентом; слова сопровождались чавканьем...

Слепящий свет открытия притух только через несколько дней. Жестокий и одновременно неистовый поступок Иты поразил Викторию. Но в конце концов она сумела загнать и сам случай, и мысли о нем назад, в темноту, откуда те появились. От встречи в спортзале осталось лишь чувство, будто ее одурачили. За это и за прочие унижения, пережитые в течение семестра, Виктория еще больше невзлюбила Брандерхейвен.

Яркий солнечный день; испещренный тенями колледж опустел — ежегодно в конце семестра проводился турнир между старшекурсниками и выпускниками; с футбольного поля, из-за спортивного корпуса, доносятся крики... Виктория разбирала бумаги на столе в аудитории, радуясь, что выпала спокойная минута. Неожиданно в открытую дверь постучали, и вошла женщина. Сняла темные очки. Красивая, широкоскулая, светлые волосы подернуты сединой, синие глаза светятся изнутри лиловым. Она улыбнулась Виктории, подала руку:

— Здравствуйте! Я — Софи Перрецон. Вы, наверное, знаете моего сына.

Все, что за этим последовало, даже тогда показалось Виктории невероятным, как во сне. Женщина стояла перед ней и просила за сына, хотя «просила» — не совсем верно, ибо в успехе она не сомневалась, надо лишь совершить замысловатый обряд (бессознательная тяга к старомодной учтивости). Говорила она непринужденно, почти игриво, помахивая очками и по-приятельски взяв Викторию за локоток. Рассуждала она так: Карл попадет в школу бизнесменов — которую, кстати, окончил его отец,— если в принципе успешно сдаст экзамены по всем предметам здесь, в колледже. В школу принимают и с минимальным

проходным баллом, но неудовлетворительные оценки их не устраивают: «...правила не слишком строгие, если учесть, что сейчас в принципе вообще не заваливают. Да и «удовлетворительно» теперь почти не ставят. Брэдли Крейн сказал, что Карл — первый на его памяти студент, которого в принципе завалили...» Она многозначительно взглянула на Викторию, обдав лилово-синим светом распахнутых глаз — мол, о чем тут говорить. Сквозь милую улыбку матери проступало по-мальчишечьи открытое лицо Карла...

Виктория объяснила миссис Перрецон, что Карл получил «неудовлетворительно», поскольку в пяти сочинениях не привел ни единого верного факта или хоть сколько-нибудь разумного суждения. Но и после этого она пережила несколько неловких минут, убеждая женщину, что оценки ставит только в зависимости от учебных успехов и обсуждать ее простое, объективное решение нет смысла.

Она еще не опомнилась от разговора, когда в аудиторию без стука быстро вошел Брэд. В руках у него был журнал успеваемости. Таким мрачным Виктория видела Брэда впервые.

— Я хочу, чтобы вы это пересмотрели! — Он раскрыл журнал и ткнул пальцем в «неудовлетворительно», выведенное аккуратным, мелким почерком Виктории.

Та постаралась ответить ровным голосом:

— Только что об этом просила его мать.

— Да, а теперь прошу я! — Рука ее зависла над журналом, и он сунул ей авторучку. Лицо его потемнело от гнева. Он ждал.

— Боюсь, ни о каком пересмотре не может быть и речи.— Брэд наклонился к ней, и Виктория сжалась, точно ожидая удара.

— Ну вот что, милая! Вас пригласили преподавать ребятам азы древней мифологии, а она здесь не самый главный предмет — успели, вероятно, заметить? Я не вмешивался, когда мне докладывали, что вы заставляете их сочинять труды по древнегреческой метрике и еще черте чему. Но если из-за такой ерунды вы собираетесь изгадить карьеру ни в чем не повинному студенту, то предупреждаю — этак вы далеко зайдете!

Не это ли эллины определяли емким словом «ананке» — «неизбежное», сила, устремляющая все к конечной цели, сколько ни ропщи, учитывающая даже неповиновение ее законам.

Виктория сидела в холодной темной комнате и смотрела на пустой экран, где, споткнувшись в воздухе, судорожно завращался и упал спортсмен. На миг ей захотелось вновь включить телевизор, хотя, скорее всего, передача уже закончилась. Но если... если это был действительно ее Карл Перрецон и если, предположим, с ним что-то стряслось, даже если все так, это не имеет к ней отношения. Ей нечего стыдиться, она следовала высоким, твердым принципам, как и сейчас, когда рецензировала книгу своего бывшего профессора об Эпихарме. В конце концов, можно лишь пожать плечами и отмахнуться от этого случая — если таковой вообще был — как от странного совпадения, какие иногда подбрасывает жизнь в подражание менее изобретательным авторам трагедий. Глупо искать в этом особый смысл. Виктория зажгла свет и вернулась к работе.

Но она была взбудоражена. Вновь привиделась пустота, белые тюльпаны, обманчивый пар и дрожащее белое пятно горного склона с распростертым на нем телом. Вновь привиделась мать Карла и скрытое в ее чертах лицо сына. Виктория содрогнулась. К ней прикоснулось холодное Небытие. Смерть сделала ее душу своим послушным инструментом и — виртуозно нажимала на клавиши!

...Виктория колебалась — со всех сторон ее словно бы что-то подталкивало сделать требуемый росчерк. Она уже занесла над журналом авторучку и — остановилась. Она не столько *не хотела,* сколько *не могла.*

Точно внутри нее была крепость, откуда пришел жесткий приказ, запрет, встав холодным ветром между авторучкой и страницей.

Виктория взглянула на Брэдли и почувствовала, как возвращается к ней уверенность. С легкой улыбкой она протянула ему авторучку.

— Исправляйте сами! — с вызовом сказала она, откинув голову.— Ну, давайте! Я никому не скажу.

Сейчас он, конечно, заявит, что и собирался исправить сам, что плевать ему, скажет она кому-нибудь или нет. Ну и пусть. Она поступила правильно; пусть делают с оценками мальчишки что хотят — ей все равно.

Но Брэд выхватил у нее авторучку и резко захлопнул журнал.

— Очень остроумно! — сказал он и вышел. Виктория поняла, что победила, но, как это ни странно, победа казалась ненужной.

Перевод А. ВОЛКОВА

ДЖОАН СМИТ

Медовый месяц

— Карту взяла? Не потеряешься?

Гарриет подняла глаза к потолку, застенчиво улыбнулась.

— Саймон, нужно же мне иногда выходить в город одной.

Саймон поднялся с постели, подошел и поцеловал ее, нежно, потом более чувственно.

— В самом деле нужно? Ведь у нас медовый месяц.

— Ну, конечно.— Гарриет вспыхнула и шутливо оттолкнула его.— Но мы здесь три дня, а я еще ничего не посмотрела! Не о чем даже в открытках написать. Ты — другое дело, ты здесь уже бывал. Не могу же я дома признаться, что не видела ни одной картины. Какая же я туристка, если даже не взобралась на эту... как ее?

— На колокольню, что ли? Ну да, Торре дель Манджа.

— Жаль, я не говорю по-итальянски! Если бы я знала, что встречу тебя, выйду замуж и приеду в Сиену...

— Ну и что бы ты сделала? — Саймон завел ей руки за спину.

Гарриет засмеялась и опустила глаза.

— Я... записалась бы на вечерние курсы и так выучила итальянский, что ты бы ахнул.

— Спорим, что нет.

Она выскользнула из его объятий, взяла со столика у окна фотоаппарат и перекинула через плечо сумку.

— Саймон, ты просто хочешь меня удержать... Так ты не пойдешь? — спросила она без всякой надежды.

Саймон бросился на кровать и сцепил руки на затылке.

— Ни за что! Я не так вынослив, как вы, мисс Мун. Я лучше посплю, самое время для сиесты. Чао! — И Саймон устроился поудобнее.

Гарриет помедлила у двери, жадно вглядываясь в дорогие черты. Наконец, она открыла дверь и вышла в коридор.

Часа два спустя Гарриет забрела на большую площадь в центре Сиены — Пьяцца дель... Как Саймон называл ее? Вылетело из головы. Ноги гудят, зато сколько впечатлений! Полотна Лоренцетти в картинной галерее, темный силуэт Сивиллы на плитах собора. Жалко, нет с собою альбома! Накануне отъезда Саймон выкинул альбом из чемо-

© 1988 by Joan Smith.

дана. «Да как ты можешь думать о работе! — поразился он.— В кои-то веки собралась отдохнуть! В Италии ты не притронешься к карандашу!»

Она пыталась протестовать, говорила, что бессмысленно запрещать ей работать, она всегда работает, так уж она устроена. Саймон ничего не хотел слушать. Жаль, что не настояла на своем, но ведь Саймон — ее муж. Гарриет обвела взглядом многолюдные кафе вокруг площади: пить хочется, уж лимонад-то она закажет, объяснится как-нибудь. Она выбрала кафе, села. Подошел официант — вроде бы понял, что она хочет лимонад. Гарриет с облегчением вздохнула.

Ее муж... Неужели она, Гарриет Мун, замужем? Не верится. Поменяй она фамилию, она бы скорей привыкла к своему новому положению. С другой стороны, Саймон, разумеется, прав: она известная художница, вот уже несколько лет выставляется. Начни она подписывать картины «миссис Саймон Барроуз», получится путаница. Вернулся официант и небрежно поставил перед ней чашечку кофе и стакан холодной воды.

— Синьор! — окликнула было его Гарриет, но он уже исчез в темных недрах кафе. Значит, официант все-таки не понимает по-английски: Гарриет показала, что хочет пить, вот он и принес воды. Ладно, вздохнула она, ничего не поделаешь. Кофе так кофе, вода так вода, по крайней мере она холодная. Гарриет выпила кофе и воду и почувствовала себя лучше. Прямо напротив высилась знаменитая колокольня. Гарриет прикинула: хватит ли у нее сил подняться. Саймон говорил, что с колокольни открывается неповторимый вид на старый город, но он больше туда не полезет, даже ради нее. Интересно, с кем это он раньше приезжал в Италию? От этих мыслей ей стало не по себе. Она вытащила кошелек и поискала мелочь. Угораздило же ее смешать фунты с лирами! В конце концов она нашла нужные монеты, убрала кошелек и направилась к колокольне.

Колокольня примыкала к зданию мэрии. Через распахнутую деревянную дверь Гарриет попала в крытый дворик. Слева на постаменте застыл источенный временем каменный бородач. Это неинтересно, решила Гарриет. Пройдя вперед, она повернула налево, за угол, и обнаружила вход в башню; табличка уведомляла, что музей закрывается в пять пятнадцать. Гарриет взглянула на часы: без десяти пять. Она вошла, осмотрелась — входную плату, две тысячи лир, отдать некому — и стала подниматься по каменной винтообразной лестнице. У нее опять начали гудеть ноги. Но вот наконец и зал, где продают билеты. Гарриет купила у служительницы билет, а в придачу две открытки — ничем не выдав, что не говорит по-итальянски — и продолжила восхождение.

Почти сразу она попала на открытую площадку — не на самом верху, а на полпути. Она взглянула вниз на площадь: как красиво смотрится отсюда необычная мостовая, как симметрично, веером уложены булыжники, как плавно взбираются они на горку и уходят к средневековым зданиям поодаль. Вон кафе, где она только что сидела, вон фонтан, чудесная мраморная чаша, возле фонтана — стайка голубей и отдыхающих.

Супружеская чета, американцы средних лет, оба в шортах, протиснулись на площадку; Гарриет облокотилась о перила. Стоило ей наклониться, как у нее закружилась голова. Едва она пришла в себя, ноги сами понесли ее за американцами, на лестницу. Лестница становилась все уже, напоминая каменный мешок; выбравшись наружу, Гарриет перевела дух.

Она стояла на смотровой площадке, обнесенной массивным каменным парапетом. Через равные промежутки парапет понижался: отсюда посетители и смотрели на город. На площадке гулял ветер, и Гарриет не сразу рискнула подойти к парапету. А когда подошла, ахнула: величественный, черного и белого мрамора собор высился на холме, парил над морем лепившихся друг к другу коричневых крыш. Однако радость

ее была недолгой: один взгляд вниз — и снова вернулся страх высоты, и голова закружилась. Поспешно отступив, Гарриет глубоко вздохнула; налетел ветер, ее широкая юбка взвилась и хлестнула по лицу. Пока Гарриет поправляла юбку, фотоаппарат соскользнул с плеча и, качнувшись, стукнулся о стенку. «И что меня сюда понесло?» — подумала она, дергая за ремень фотоаппарата, который, судя по всему, накрепко переплелся с ремнем сумки. Кое-как их распутав, она устремилась к лестнице, но ей пришлось пропустить шумное семейство бесстрашных итальянцев, которые тотчас ринулись к парапету осматривать окрестности.

Гарриет спускалась быстро — каменные своды стали вдруг давить. Но вот уже промежуточная площадка, можно передохнуть. Она невольно посмотрела вниз — и обмерла: по площади размашисто шагал светловолосый мужчина в желтой рубашке, рядом с ним — темноволосая женщина в облегающем костюме. Саймон! Да это же Саймон! Но ведь он в гостинице, никуда не собирался уходить — и вдруг она видит его в городе с какой-то женщиной! Как это понимать? Гарриет бросилась вниз по лестнице, в зал, где продавали билеты; по залу кружили английские школьники, человек двенадцать, а их учитель громко и внятно доказывал по-английски, что его группе совсем не поздно подняться наверх.

Гарриет выбралась на нижнюю лестницу, сбежала во дворик, свернула направо — и вот она на площади. Но где же Саймон? Его и след простыл, исчез вместе с незнакомкой. А ведь она отчетливо видела с башни его желтую рубашку.

Гарриет тяжело вздохнула, понурилась. Нет, ошибки быть не могло. Саймон заметен в толпе, она и влюбилась в него прежде всего потому, что он красив. Да и желтую рубашку его трудно не узнать. Но с другой стороны, Саймон никого не знает в Сиене, во всяком случае ей он ни о ком не говорил, да и мало ли на свете желтых рубашек. Может, она делает из мухи слона? Самое разумное — пойти в гостиницу и спросить его самого, на ее месте так поступила бы всякая жена. Вполне вероятно, он проснулся, решил прогуляться и встретил старинную лондонскую приятельницу — ведь не у одних же итальянок темные волосы. В Тоскане полно английских туристов.

Гарриет побрела через площадь, рассеянно подтягивая ремни сумки и фотоаппарата — они то и дело сползали с плеча. Какая же она дура, и что за глупые страхи! Она доверяет мужу и вполне может задать ему такой простой вопрос. Гарриет поднялась по широкой лестнице, которая уводила с площади, и остановилась. Куда ей теперь идти? Наугад повернула налево и пошла вверх по улице, мимо магазинов и высокого палаццо. Место, кажется, знакомое, но на дорогу к гостинице непохоже. Она сверилась с картой: так и есть, ей совсем в противоположную сторону. Вечно она плутает! Она повернула обратно и через двадцать минут добралась до гостиницы, чувствуя себя вконец измученной и несчастной.

Гарриет попросила ключ от триста двенадцатой комнаты. Слава богу, ключа нет. Значит, Саймон дома... возможно, она все-таки обозналась. Она поднялась на лифте, торопливо прошла по коридору и требовательно постучала. Никакого ответа. Она постучала еще. Тишина. Дернула ручку — заперто, собралась было постучать в третий раз, но тут дверь распахнулась. Перед ней, потягиваясь и протирая глаза, стоял Саймон. Желтая рубашка измята, будто он в ней спал.

— Здравствуй, родная! Уже вернулась? Который час? Вот это да! Сколько же я проспал! Хорошо погуляла? — Он обнял ее за плечи и притянул к себе.

— Ты никуда... ты все время был дома? — в растерянности спросила Гарриет; очутившись теперь рядом с Саймоном, она уже нисколько не сомневалась, что на площади видела именно его. А между тем он притворялся, что спал, пока ее не было.

— Спал как убитый,— сказал он, увлекая ее к постели.— Садись, рассказывай. Что делала моя маленькая образцовая туристка? — Он ут-

кнулся Гарриет в шею, вынуждая лечь.— Как хорошо, что ты вернулась.

Помимо воли тело ее ответило на ласку. Гарриет попыталась сесть, но он легонько потянул ее обратно.

— Саймон...

— Потом. Расскажешь потом.— Его рука уже скользнула ей под блузку.

Потом, все еще лежа в постели, Саймон закурил сигарету (в день он выкуривал три) и снова спросил, как Гарриет провела день.

— Так что же ты посмотрела? Собор?

— Да.— Гарриет повернулась на бок и подперла щеку рукой.

— Великолепный пол, правда?

— Замечательный. А еще я была в картинной галерее.

— А, в Пинакотеке. Я там ни разу не был. Родная, ты вышла замуж за обывателя. Эй, да что с тобой? Я же пошутил. Твои картины мне очень нравятся, сама знаешь. То, что я работаю в Сити, еще не значит...

— Ты все говоришь: «Я работаю в Сити», но никогда не рассказываешь, чем ты там занимаешься.

— Родная, не смотри на меня так... подозрительно. Расскажу с удовольствием. Просто ты сама уверяла, что деньги тебя не интересуют. А деньги и есть моя работа. Боюсь наскучить, но если ты настаиваешь, я посвящу тебя во все тонкости: фонды пенсионного обеспечения, заокеанские капиталовложения, ну и так далее.

— Ты прав, не надо.— Гарриет сдалась. Дела Саймона в Сити и впрямь не слишком ее занимали.— По правде говоря, мне хочется пить. Закажи что-нибудь. Очень жарко, и... знаешь, мне стало нехорошо на колокольне.— Увидев по лицу Саймона, что тот встревожился, Гарриет принужденно улыбнулась.

Саймон потушил сигарету и снял трубку. Гарриет задумалась. Что это на нее нашло? Вбила себе в голову, будто видела, как муж разгуливает по Сиене с какой-то женщиной, и напридумывала бог знает что.

— Скоро пройдет, честное слово,— сказала она, почувствовав, что Саймон пристально на нее смотрит. Нет, конечно, он ничего от нее не скрывает.— Мне... лимонад, пожалуйста, со льдом.

Она подождала, пока он закажет лимонад и стаканчик виски для себя, а когда Саймон положил трубку, весело спросила:

— Куда пойдем вечером?

На следующее утро Гарриет нежилась в постели, натянув простыню до подбородка; Саймон принимал душ. Было поздно, они заспались — накануне вечером ходили на концерт. Гарриет блаженно и чуточку смущенно потянулась под простыней. Какое послушное, чуткое у нее тело! Оно всегда оживает после близости с Саймоном. Она улыбнулась: из ванной сквозь шум воды долетали обрывки песни. Зазвонил телефон. Гарриет подождала, не выйдет ли Саймон, но тот не появлялся, и Гарриет нехотя ответила:

— Алло? — Если это служащий гостиницы, он скорей всего говорит по-английски.— Алло?

На другом конце провода вздохнули и повесили трубку. Гарриет с минуту смотрела на телефон, потом набрала номер коммутатора. Да, ответил ей телефонист на ломаном английском, он только что соединял с номером триста двенадцать. Звонила женщина, итальянка.

— Вы уверены? — допытывалась Гарриет.— Она назвала именно эту комнату? Спрашивала кого-нибудь?

Телефонист не помнил. Если синьора не возражает, он вернется к своим обязанностям.

Гарриет положила трубку.

— Кто звонил? — Саймон вышел из ванной с полотенцем вокруг пояса.

— Позвонили... и молчат. Саймон, у тебя ведь нет знакомых в Сиене?

— Откуда? — сказал он и отвернулся.— Наверное, ошиблись,— добавил он равнодушно.

— Но, Саймон, я справлялась на коммутаторе. И мне сказали, что просили соединить с нашим номером.

— Родная моя, сама подумай, кого мы знаем в Сиене? Разве что ты потихоньку завела себе любовника. Шутка. Прости. Душ свободен.

Гарриет поднялась с постели. Она почувствовала дурноту. А может, это он потихоньку завел себе любовницу?

— Саймон!

Стоя у гардероба, он снимал с вешалки голубые летние брюки, но тотчас обернулся на ее оклик:

— Что, родная?

Он до того простодушно улыбался, что Гарриет запнулась.

— Ничего. Я... просто хотела спросить, ты всерьез предлагаешь взять напрокат машину? — Лишь бы отвлечь его внимание.

— Конечно. Я покатаю тебя, покажу Сан-Джиминьяно, Монтепульчано, свожу во Флоренцию. Пойдем до завтрака и выберем машину, хотя нет, скорее уже до обеда. Поторопись-ка с душем.

Они сели в нанятую машину, маленький «фиат». Поскольку выехали они поздно и все равно не успели бы осмотреть все, что задумали, Саймон повез Гарриет на виноградники Кьянти. Ей бы любоваться холмами в цветущих лозах, пыльными проселками, но не отпускала тревога, преследовали мысли о телефонном звонке. Заметив ее молчаливость, Саймон стал заботливо расспрашивать: не жарко ли ей или, может быть, укачало? Расспросы о здоровье, предположения о том, что она переутомилась накануне, начали раздражать. Впервые за два месяца знакомства Гарриет отчаянно захотелось хоть ненадолго остаться одной. В конце концов она уговорила Саймона отвезти ее в гостиницу — ей надо часок отдохнуть, спрятаться от солнца.

Когда они проходили по вестибюлю, женщина за конторкой окликнула Саймона:

— Синьор Барроуз!

Они удивленно оглянулись, и Саймон сказал:

— Подожди у лифта.

Он подошел к конторке. Кажется, женщина что-то ему протянула. Спина у Саймона широкая, не разглядишь, но женщина определенно передала ему что-то. Саймон обернулся, одна рука в кармане брюк, в другой — ключ от их комнаты.

— Забыл,— показал он на ключ.

Когда он пропускал ее в лифт, Гарриет повернула голову и посмотрела на его правую руку; он явно положил что-то в карман. Саймон вытащил руку — пусто,— но это ничего не значит; скорее всего, он получил записку, скомкал и сунул в карман. Они вышли из лифта. Саймон опередил ее и, повозившись с ключом, открыл дверь.

— Я сейчас, только пописаю.— Он направился в ванную и закрыл за собой дверь.

Гарриет была уверена, что он читает записку, и едва сдерживалась, чтобы не распахнуть дверь и не уличить его. Услышав, как он спустил воду, она снова засомневалась. Что, если она ошибается, что, если он просто забыл взять ключ? Дверь ванной открылась.

— Эй, ты почему не ложишься? Тебе сразу полегчает. Заказать что-нибудь? Воды, чаю?

— Нет, спасибо.— Ей хотелось одного — чтобы он оставил ее в покое и дал сосредоточиться. Удивительно — он как будто прочел ее мысли.

— Пойду погуляю полчасика, ладно? Открыток куплю, сувениров.

Значит, он все-таки получил записку. Мог бы найти предлог и поубедительнее. И куда же он хочет улизнуть? Пойдет звонить? На свидание? Дурой он ее считает, что ли?

— Ладно,— выдавила она. Во рту пересохло.

— Что с тобой, родная? Ты что так побледнела? Голова болит, да? Может, примешь аспирин?

— Нет, не беспокойся, просто мне нужно отдохнуть.

Гарриет прикрыла глаза рукой. План выстраивался. Когда же он наконец уйдет?

— Как хочешь. Послушай, как ты думаешь, ты сможешь пойти в ресторан сегодня вечером?

— Вечером? — Такого вопроса она сейчас не ожидала.— Почему же нет... Ну, иди.— Скорей бы его выпроводить.

— Вот и славно. Чао, родная.

Гарриет прикинула — вот сейчас он добрался до первого этажа,— потом спрыгнула с кровати, вытащила из сумки кошелек и выскочила из комнаты. Еле-еле дождалась лифта, который все не ехал, и спустилась вниз.

— Простите, мой муж кое-что забыл, вы не видели, в какую сторону он пошел?

Интуиция не подвела ее: Саймон красив, женщина за конторкой, конечно же, посмотрела в окно, когда он выходил из гостиницы. Он повернул налево. Гарриет поблагодарила и вышла на улицу. Теперь быстрее к главной площади; лишь бы Саймон ее не заметил. Но вот и он — впереди. Задача усложняется: надо держаться поблизости, чтобы не упустить Саймона из виду, но и ему на глаза не попасться. Несколько минут они шли по узким, как ущелья, улочкам, потом Саймон остановился, взглянул на дом слева, подумал-подумал и нырнул в парадное.

Гарриет повременила минуту-другую — а вдруг он тут же выйдет? — и крадучись пошла вперед, сердце у нее бешено стучало. Парадное — сразу за магазином; в витрине столько вкусных пирожных, но сейчас не до них. Гарриет с опаской заглянула в темное парадное: да, это жилой дом, но к кому пошел Саймон? На стене список жильцов, длиннющий — не угадаешь. Гарриет отошла от парадного. Что же делать? Прислушалась: на другой стороне улицы, кажется, открывают магазин. Обернулась: так и есть, открылся книжный. Скорее туда! Стала возле полки с путеводителями. Парадное напротив просматривается хорошо. А вот и Саймон, не заставил долго ждать. Задержался у порога: с кем-то разговаривает. Смеется, пиджак перекинут через плечо. Доволен, будто заключил выгодную сделку.

— Чао,— произнес он и пошел обратно к гостинице.

С порога вслед ему смотрела яркая брюнетка, которую Гарриет видела накануне. Сегодня на ней был не костюм, а элегантное черное платье и много драгоценностей, но Гарриет ее ни с кем не спутает. Гарриет стало трудно дышать, все поплыло перед глазами.

— Синьора! — Старик хозяин поддерживал ее за локоть; вид у нее, наверное, ужасный. Гарриет посмотрела в его доброе лицо, и ей нестерпимо захотелось выговориться, рассказать обо всем, что с ней произошло: как она влюбилась в человека, которого совсем не знала — познакомилась на вечеринке и выскочила замуж,— и теперь она вдали от дома, и муж ей изменяет. В висках стучало, Гарриет боялась, что она вот-вот упадет, мысли ее путались. Наверняка это еще не все. Саймон не потащил бы ее за тридевять земель для того лишь, чтобы променять на бывшую любовницу.

Старик обратился к ней по-итальянски; Гарриет стало ясно, что и на родном языке всего не объяснишь, а по-итальянски она двух слов связать не сможет. Она попятилась к выходу, бормоча извинения. По до-

роге в гостиницу завернула в бар — ей надо было прийти в себя. С трудом, на пальцах, она объяснила, что хочет коньяку, взяла бокал и подошла к свободному столику. Села, грея бокал в ладонях. Нужно все обдумать. Что же ее ждет?

Для своих двадцати семи лет она довольно богата. Ее работы имеют успех, ей даже подражают. Акварели ее и успокаивают, и будоражат; они отображают реальность и одновременно передают ее собственное видение мира. Несмотря на это, живет она, так говорит тетка Клоди, замкнуто. Неудивительно, что весть о ее предстоящем замужестве тетку ошеломила. С незнакомыми людьми Гарриет чувствует себя скованно, она давно свыклась с мыслью, что непривлекательна: курносая, каштановые волосы беспощадно острижены. И вдруг — Саймон. Принц из сказки. Она встретила его на вечеринке; владелец галереи — Гарриет у него выставляется — тогда еле уговорил ее пойти. И что теперь? Она в чужой стране, где и по английски-то почти никто не говорит. Надо же было поверить, что Саймон влюбился в нее по-настоящему! Почему уверенный в себе, красивый мужчина выбрал ее? Так не бывает. Практичностью Гарриет не отличается, но одно знает твердо: подписав в понедельник утром в мэрии брачный контракт, она тем самым аннулировала завещание, в котором поделила свое имущество поровну между теткой Клоди и различными благотворительными учреждениями; теперь ее наследником стал Саймон.

Элегантная брюнетка, которую Гарриет только что видела,— сообщница Саймона, и они замыслили... страшно даже подумать... избавиться от богатой жены. И не просто сообщница, а любовница. Нет, это невыносимо! Стоило Гарриет представить, как светловолосая голова Саймона склоняется к темной... и ее замутило, лучше об этом не думать. Что они затевают, зачем заманили ее сюда? Ведь Италия, что ни говори,— родина мафии. Ну хватит, пофантазировала! Мафия хозяйничает на юге, а не здесь, это даже ей известно. Значит, похищение? К похищениям в Италии привыкли. Скорее всего, они именно так все и обставят. И Саймон сыграет роль убитого горем мужа. Вот почему он так внимателен к ней, так нежен на людях; служащие гостиницы наверняка подтвердят, что синьор Барроуз обожал свою несчастную жену. Чтобы заглушить мерзкий привкус во рту, она залпом выпила коньяк. И тут ей пришло в голову: что, если Саймон вернется и не застанет ее в номере? Только не выдавать себя, выиграть время, обдумать, как ей быть. Она порылась в кошельке, бросила на стол несколько монет и торопливо вышла на улицу.

Женщина за конторкой сообщила, что синьор Барроуз еще не вернулся. Гарриет поднялась в номер, села и попыталась сосредоточиться. Что делать? Бежать. Но как? Домой они летят только через десять дней, значит, надо заказать билет втайне от Саймона. А деньги? Впервые в жизни она пожалела, что у нее нет кредитной карточки. Вдруг ее осенило: несомненно, во Флоренции есть британский консул! Он поможет ей. Да, так она и сделает: поедет во Флоренцию и обратится за помощью в британское консульство. Но как добраться до Флоренции? Она не имеет права водить взятую напрокат машину, ведь страховка — на имя Саймона. Значит — поезд. Вокзал она найдет, проходила днем мимо. Но ехать сегодня... Неизвестно, сколько до Флоренции. Ночью. Одной. Значит... этот вечер она как-нибудь продержится, а утром под каким-нибудь предлогом выйдет, возьмет такси — и на вокзал.

Дверь открылась, и вошел Саймон.

— Ну как ты, родная? — Он бросил на стол стопку открыток.— Полегчало? То-то щечки порозовели.

Хорошо, что она выпила коньяку, мысленно похвалила себя Гарриет; от спиртного у нее всегда появляется румянец. Саймон присел рядом и легонько поцеловал ее.

— Вот и замечательно. Сегодня особенный вечер, я приготовил тебе сюрприз. Но я побаивался, что все сорвется, если ты расхвораешься.

— Сюрприз? — Гарриет похолодела. К чему он клонит?

— Я пока не скажу какой, ладно? А то будет неинтересно. Тебе обязательно понравится, вот увидишь.— Он обнял ее и притянул к себе. Гарриет едва не отпрянула, удержалась усилием воли. Вот он, результат его тайных встреч. Значит, сегодня вечером. Так скоро она не ожидала.

— Знаешь, дорогой, мне, наверное, лучше никуда не ходить. Мне как-то... не по себе.

— Как скажешь, родная.— Он посмотрел на нее с участием.— Я все отменю, куда нам спешить? Твое здоровье для меня важнее. Зачем тащиться куда-то через силу, если не получишь удовольствия? Я сейчас все улажу.— Он уже было поднялся.

— Нет! — Гарриет испугалась. Уж слишком он легко уступил. Не попасться бы на крючок. Что, если на самом деле он хочет, чтоб она осталась? Не безопаснее ли быть на людях? Гарриет обернулась к нему и вымученно улыбнулась: — Нет, пожалуйста, ничего не отменяй. Я сгораю от любопытства. В котором часу нам выходить?

Вышли из гостиницы в восемь и отправились пешком. Темнело, но на улицах было полно народу. Гарриет избегала переулков и неосвещенных мест; всякий раз, когда Саймон дотрагивался до нее, она слегка отстранялась. Конечно же, он заметил ее отчужденность, но Гарриет ничего не могла с собой поделать. Она не хотела, чтобы эти лживые руки касались ее.

Наконец Саймон остановился возле небольшого полутемного ресторанчика — здесь они еще не бывали. Саймон заранее заказал столик в глубине зала; официант проводил их; они сели друг против друга, как обычно. Гарриет чуть не расплакалась: они с Саймоном ужинали в последний раз, в последний! Чтобы отвлечься, Гарриет огляделась. Зал полон наполовину, между столиками снуют официанты. Здесь по крайней мере не страшно. Ну а потом, по дороге в гостиницу? Прохожих на улицах поубавится, и, если Саймон со своей смуглой сообщницей подстроили похищение, это им на руку.

— Гарриет, очнись! Я предлагаю тебе попробовать морской язык.

Саймон знал толк в еде и блюда для нее всегда выбирал сам. Но сейчас она ему не позволит.

— Нет, мне... вот это,— Гарриет наобум ткнула пальцем в меню.

Ели в напряженном молчании. Гарриет поковырялась в тарелке с макаронами, когда же подали следующее блюдо, оказалось, что это омар, а она терпеть не могла омаров. Разговор не клеился, Гарриет думала только о том, как будет возвращаться в гостиницу. Она заметила, что средних лет итальянка в другом конце зала не сводит с Саймона глаз. Нет, Саймон никогда по-настоящему ее не любил!

Официант унес тарелку с омарами — сейчас он вернется с меню. Тут Саймон повел себя очень странно: стал поглядывать через ее левое плечо в сторону кухни, будто ожидал чего-то. И вновь нахлынули страхи, и она обернулась: из-за двери выглядывала та самая брюнетка!

— Синьор! — Гарриет вскочила, с грохотом опрокинув стул, и метнулась к соседнему столу, за которым сидела пожилая пара.— Помогите! — выпалила она; господи, да понимают ли они по-английски? — Мне нужен консул! Отведите меня к британскому консулу! Этот человек, мой муж, хочет меня убить... а вон та, она с ним заодно!

— Гарриет! — в полной тишине оторопело проговорил Саймон. Но Гарриет как будто и не слышала. Резко развернувшись, она указала на кухню, полная решимости не дать сообщнице мужа уйти.

И тут брюнетка вышла в зал, Гарриет опустила руку, подалась назад и наткнулась на стол.

— Что... что это у нее? — пробормотала она. Женщина несла какое-то блюдо.— Я... я не понимаю.

— Ты не понимаешь, а я тем более! — возмутился Саймон, шагнув к ней.— Какая муха тебя укусила? Ты в своем уме?

Все в зале замолчали — ждали, что она ответит.

— Я... я думала... Что это у нее в руках? — Гарриет показала на женщину, которая в растерянности застыла посреди зала.

— Пирог,— сухо ответил Саймон.— А женщина эта — синьора Лелли. Семейство Лелли — лучшие кондитеры в городе, так мне сказали в гостинице. Я разыскал ее вчера, пока ты гуляла. Мы с тобой поженились так поспешно, у нас и свадьбы-то толком не было, вот я и решил здесь отпраздновать. Синьора Лелли — большая мастерица, это пирог с медом, миндалем. Медовый пирог, в медовый месяц. Я думал удивить вас, мисс Мун, но вы удивили меня много больше.

Гарриет в ужасе перевела взгляд с Саймона на синьору Лелли и на блюдо, где возлежала чудовищных размеров приторная Сласть. К горлу подкатила дурнота; пошатываясь, Гарриет вышла на улицу.

Перевод Е. СЕЛЕЦКОЙ

ГЕРТРУД ФОН ЛЕ ФОРТ

Вступление и перевод с немецкого С. АВЕРИНЦЕВА

Прожившая долгую жизнь (1876—1971) Гертруд фон Ле Форт — из тех самых Лефортов, имя которых привычно русскому слуху благодаря известному сподвижнику Петра Великого. Это старый гугенотский род, в свое время проделавший путь из Савойи через Женеву в Германию. Отец писательницы — образованный прусский офицер-аристократ старого склада; родовое «дворянское гнездо» — в Мекленбурге. В молодости Гертруд изучала лютеранскую теологию, историю и философию в университетских городах Хайдельберге, Марбурге и Берлине, входила в круг учеников Эрнста Трёльча — видного представителя тогдашнего «культур-протестантизма», теолога и социолога религии; впоследствии именно ей выпало на долю издавать после смерти Трёльча рукопись его «Учения о вере». Итак, отметим: начало жизненного пути — скорее академическое, нежели артистическое; укорененность в почтенной многовековой традиции — в обоих ее аспектах, бытовом и умственном; наконец, чисто протестантский характер этой традиции. Ничто, казалось бы, не готовило Ле Форт к роли протагонистки католической поэзии Германии. Впрочем, так уж повелось в нашем столетии, все сдвинувшем со своих мест,— среди самого цвета мыслителей и певцов католицизма выходцы из иноконфессиональной среды составляют не исключение, а скорее правило (вспомним, чтобы ограничиться самыми известными, ведущего неотомиста Жака Маритена — тоже потомка гугенотского рода, и Честертона — потомка пуритан).

Стремление придать своему традиционализму не локально немецкий, а всеевропейский или всечеловеческий характер, тоска по истокам западного христианства, по «вечному» Риму привела Гертруд фон Ле Форт на пятидесятом году ее жизни к вратам католической церкви, отнюдь не побуждая ее, впрочем, на манер неофитов отрекаться от своего протестантского наследия; то, чего она искала,— не «ультрамонтанский» конфессионализм, не «папизм», а воссоединение разошедшихся линий традиции, примирение у старого очага. Это — в плане идейном; а в плане психологическом, личном — выход за пределы с молоком матери всосанных общих мест секулярно-либерального сознания, выход болезненный, не без насилия над собой. Не то чтобы она была склонна в порыве псевдодуховного самомучительства новообращенной утрировать мрачные краски своей веры, строя ее по противоположности к принципу гуманизма; просто с привычной респектабельностью «культур-протестантских» навыков приходилось расстаться. Связанные с этим острые переживания заставили ее голос так поздно зазвучать впервые в полную силу: возникают ее «Гимны к Церкви» (1924), витийственного верлибра которых, пожалуй, не постыдился бы самый сильный из современных Ле Форт поэтических славословов католицизма — француз Поль Клодель.

Через испытания гитлеровского времени Гертруд фон Ле Форт пронесла очень достойную нравственную позицию, отвечая на варварство твердым неприятием. Это дало престарелой писательнице никем не оспаривавшийся авторитет в послевоенной Германии. Но ее творчество для новых поколений читателей чересчур старомодно; оно далеко от восприятия, привыкшего к резкому снижению тона, к намеренной сухости, к «провокациям» и «профанациям», и принадлежит еще к доэлиотовскому со-

стоянию европейской поэзии. Да, без архаизмов и восклицательных знаков стихов Гертруд фон Ле Форт себе не представить; но они слишком точны в передаче мысли, чтобы быть эпигонскими в полном смысле слова. Интерес к ним оправдан, и можно предсказать, что немецкий читатель еще вернется к ним.

Из «Гимнов к Церкви»

* * *

Я упала на закон твоей веры, как на меч обнаженный!
Его лезвие пронизало мой разум, пронизало светоч моего знания!
Не блуждать мне больше под звездою очей моих, подпираясь посохом силы моей!
Ты снесла потоком берега мои, земле под ногами моими ты причинила насилие!
Корабли мои — в открытом море; все якоря мои подняла ты!
Цепи мыслей моих разбиты; одичало свисают они в пустоту.
Я кружусь, как птица, и бьюсь о стены: где щель, что впускает твой странный свет?
Но нет ее, нет на земле, кроме раны в духе моем —
Я упала на закон твоей веры, как на меч обнаженный!

* * *

Но еще исходит сила от твоих терний, из бездн твоих еще звучит песнь.
Тени твои на сердце моем как благоухание, и ночи твои как вино уповающее.
Я хочу любить тебя за пределом моей любви к тебе,
Я хочу хотеть тебя и там, где уже не хочу тебя.
Где начинаюсь я сама, я хочу положить конец себе, и там, где меня уже нет, я хочу пребыть вовеки.
Где ноги мои не согласны продолжить путь, я хочу преклонить колена,
Где руки мои не послушны мне, я хочу сложить их в молитве.
Я хочу стать ветром в осени гордости, я хочу стать снегом в зиме сомнения;
Так, всякий страх да уснет во мне, как в снежной могиле.
Я хочу стать прахом пред скалой твоего учения и пеплом пред огнем твоей заповеди —
Я хочу разбить мои руки, но их тенью обнять тебя!

* * *

Кто избавит душу мою от слов людских?
Издали они звучат, словно трубы, но вблизи звук их — звук черепков.
Они возносятся, словно знамена и штандарты, но первый же вихрь развеет их славу.
Услышьте, о, шумные и многоречивые, услышьте, о, флюгера умствования, услышьте, о, чада его своеволия:
Мы умираем от жажды у ваших источников, и за вашим пиром нас терзает голод.
Мы слепнем от вашего света!

Вы — как дорога, что никогда не приходит к цели, как вечное странствие вокруг самих себя!
Вы — как мутные воды, что не слышат ничего, кроме своего же шума!
Сегодня вы отмериваете вашу истину, завтра несете ее к могиле!
Горе вам, что руки ваши тянутся уловить нас; душа уловима для одного лишь Бога!
Горе вам, что вы пьете нас, как вино; душе должна быть дарована вечность!
Горе вам, что вас учит суета вашего сердца!
Священник у алтаря не имеет лица, и руки, возносящие Господа, бедны и просты,
Ибо тот, кому повелевает говорить Бог, должен много безмолвствовать,
И тот, кто зажжен духом Божьим, не горит своим пламенем.

Страстная Пятница

Слава в вышних Богу! Голоса колоколен моих зовут:
Хвали Господа, вся скорбь земли!
Хвалите Его, бедность и скудость, хвалите Его, упоенные горечью, хвалите Его, неутоленные! Хвалите Его, светлая боль духа и темная боль естества!
Хвали Его, святая боль любви! Хвали Его, покинутость души, хвали Его, плененность души! Хвали Его, мука вины, хвали Его, мука утраты, хвали Его и ты, горчайшая мука смерти!
Вот, я уношу убранство моих алтарей! Цветению покровов должно отцвесть, как усладе лугов!
У святых изваяний завешены лики!
Я хочу угасить последнюю мою радость: я сокрою Тело Господне, чтобы душа моя всецело обратилась в ночь!
Ибо скорбь земли стала блаженной, став любимой:
Се, древо креста, на котором висело спасение мира! [1]

Страстная Пятница

Церковь говорит:
Не страшись моих золотых риз, не пугайся блистания моих свечей,
Ибо они — лишь покров над моей любовью, лишь щадящие руки над моей тайной.
Я выросла у древа позора, я упоена крепким вином слез.
Я — жизнь из муки, я — сила из муки, я — слава из муки.
Приди к моей душе и знай, что ты пришел к себе.

Воскресение

И я услышала голос в ночи, великий, как дыхание всего мира, и он вопрошал:
«Кто понесет венец Спасителя?»
И моя любовь ответила: «Господи, я хочу нести его».
И я несла венец в руках моих,
и кровь моя заструилась из пальцев моих по черному терну.

[1] Слова из католического богослужения на Страстную Пятницу. Перед этим описывается ритуал устранения всего, что украшает костел, завешивания изображений черной тканью, переноса Св. Даров. *(Прим. перев.)*

И снова был слышен голос: «Ты должна нести венец на главе!»
И моя любовь ответила: «Да, я хочу нести его».
И я подняла венец на мое чело, и тогда из него излился свет,
белый, как воды в горах.
И голос был слышен: «Смотри, черный терн процвел!»
И свет лился от темени моего, и расширялся, как поток,
и доходил до стоп моих.
И в страхе я возопила: «Господи, куда велишь Ты мне нести венец?»
И голос ответил: «Ты должна нести его в жизнь вечную».
И я сказала: «Господи, это венец скорби, дай мне умереть от него!»
Но голос сказал: «Разве ты не знаешь, что скорбь бессмертна?
Все бездны осиянны: Христос воскрес!»
И дух мой был восхищен светом —

Литания о мире мира нашего

Помолимся о мире мира нашего, ибо он недужен, и недуг его —
к смерти.
О, вселюбящая Дева Мария, научи нас вымолвить:
Мир миру бедного мира нашего!

Окликнутая свыше вестью примирения,
испроси нам мир —
Носившая во чреве Слово примирения,
испроси нам мир —
Родившая нам Дитя примирения,
испроси нам мир —
О, таинница Примирителя,
о, причастница Всепрощающего,
О, предавшая себя в неволю милости,
испроси нам мир.

О, кроткий свет в бурной ночи народов,
мы взываем о мире —
О, голубица меж коршунами народов,
мы стенаем о мире —
О, процветшая ветвь оливы в пустоши сердец народов.
мы сгораем в тоске о мире —
Чтобы наконец вышли на волю плененные,
Чтобы наконец вернулись домой изгнанники,
Чтобы наконец, о, наконец все раны закрылись,
испроси нам мир.

Ради приветной красоты земли
испроси нам мир —
Ради неистощимого величия морей
испроси нам мир —
Ради чистоты снежных высей
испроси, о, испроси нам мир —
О, избранница нашего Создателя,
о, предстательница за Его создание,
О, печальница о Его создании,
испроси нам мир —

Ради смертного страха немощной плоти
мы молим тебя о мире —
Ради старых людей, чтоб хотели бы умереть в своих домах,
мы молим тебя о мире —

О, заступница беззащитных,
о, противоборница бессердечных,
О, звезда меж бурными тучами смуты,
мы молим тебя о мире.
Ты, что была с умиравшим на поле битвы,
смилуйся над миром нашего мира —
Ты, что сошла под бомбы, в подземелья наши,
смилуйся над миром нашего мира —
Ты, что приняла женщин, осквернённых насилием,
смилуйся над миром нашего мира —
О, Матерь, что вместе с нами рыдала,
о, Матерь, что вместе с нами скорбела,
О, Матерь, что вместе с нами безутешна,
смилуйся над миром нашего мира —
Ради христиан, что готовы отчаяться в братстве нашем,
спаси, о, Матерь, спаси мир мира нашего —
Ради язычников, что готовы глумиться над братством нашим,
спаси мир мира нашего —
Ради рода людей, что теряют подобие Божье,
спаси, о, матерь, спаси мир мира нашего —
Спаси его ради Сына твоего, чтобы не стала напрасною жертва
Голгофы —
Матерь, Матерь, обильная скорбью превыше всей твари,
на руки твои прими погибший наш мир!
Ужас окрест нас, неслыханный ужас,
человекоубийство без меры умыслил мрак!
Матерь, Матерь, мир мира нашего мертв,
мир остался лишь в мире ином —
Ты, что пребываешь с нами и тогда, когда тебя отвергают,
ты, что пребываешь вселюбящей и тогда, когда тебя презирают,
Ты, что пребываешь могущей и тогда, когда престол любви твоей
на земле низвержен,
моли Бога о воскресении мира в мире нашем.
Тот, Кто розами гроб твой пустой наполнил,
да подаст тебе пасху мира в мире нашем —
Тот, Кто вознес тебя в небесную славу,
да подаст тебе пасху мира в мире нашем.
Тот, Кто увенчал тебя венцом грядущих блаженств наших,
да подаст тебе пасху мира в мире нашем —
О, невеста Бога Живого,
о, Матерь Бога воскресшего,
О, царица во царствии Бога вечного.
Аминь. Аминь. Ей, буди!
Буди пасха святая умерщвленного мира,
буди мир миру бедного мира нашего.

■

ПЕТЕР КАРВАШ
Об умении слушать

РАССКАЗ

Перевод со словацкого Ю. ПРЕСНЯКОВА

Один мой приятель искренне, всей душой презирает произведения литературы и искусства, доступные его пониманию. В самом деле, за что ему уважать автора, который не настолько сложен, образован, оригинален, чтобы стать хотя бы непонятным для нормального человека?

Если я не понимаю, значит, я в чем-то не дорос, и тогда — шляпу долой. Если я не понимаю, это очевидный симптом глубины, иносказания, тайны или хотя бы непостижимого для меня масштаба. Я мог бы просто признаться, что ни хрена не понял, и мог бы, пожалуй, сделать это оригинально, остроумно, с вызовом, но ведь это опасно: что, если остальные вдруг понимают или хотя бы делают вид, что понимают? Поэтому лучше уж восхищаться: так я ничем не рискую. Король бывает гол только в сказке, да и то крайне редко и всегда задним числом.

Такой вот у меня есть приятель.

А я, может быть, примитив и трус: бог весть почему, но я страшно радуюсь, когда понимаю книгу, фильм, балет. В нежной юности я восторгался людьми, которые умели высказываться так, что я их понимал. Это было как озарение. Возможно, с моей стороны это ограниченность и консерватизм, но полная непонятность чужого произведения никогда не была в моих глазах абсолютной гарантией высокого уровня оригинальности и гения — кстати, не была и доказательством того, что я дурак.

Подумать только, бесчисленному множеству людей — куда большему, чем мы себе представляем,— есть что сказать своим ближним. Значительное (правда, уже сравнительно небольшое) число из них даже способно это сделать. Я восхищаюсь ими и бесконечно им благодарен, но в то же время они пробуждают во мне что-то вроде ностальгической печали.

Увы, с годами я обнаружил, что это не так уж важно, точнее, этого совершенно недостаточно. Если вам есть что сказать и вы можете внятно об этом высказаться — этого недостаточно. Здесь отсутствует еще нечто очень существенное: нужно, чтобы те, другие, хотели тебя услышать. Почему-то я убежден, что, если бы все искренне хотели этого, тогда жить на свете было бы хорошо или хотя бы получше.

Но не хотят.

Недавно я был свидетелем, как один человек — на этот раз вовсе не мой приятель — в разгар важного телефонного разговора вдруг взял и положил трубку. Не хотел слушать дальше своего собеседника. Заткнул глотку человеку на том конце провода. Воспрепятствовал, да, безапелляционно запретил ему продолжать.

Выключил его напрочь.

Изобретение телефона — и многие другие изобретения — позволяют нам выключать собеседника без спроса, вопреки его воле, хотя у него что-то есть на языке и даже на душе. Возможно, это даже не изо-

бретение, а просто символ. Кладу трубку, и баста. Я глухой, ты немой. Тебя вообще нет, во всяком случае для меня.

Не слишком ли часто мы выключаем других, без всяких там изобретений, не заставляем ли мы их умолкнуть, не вычеркиваем ли мы их двумя жирными линиями, крест-накрест, иногда как-то бессознательно, без всякого мотива — уже одним лишь тем, что не выслушиваем их, хотя должны были, хотя могли бы?..

Итак, когда-то я восхищался только теми, кто умел высказываться правдиво, с достоинством, четко и, главное, понятно,— выходит, я восхищался не теми, кем следовало бы. Подлинного восхищения достойны те, кто умеют их выслушать. Умение и добродетель внимательно выслушивать ближнего своего относятся к числу редчайших.

А неумение и безнравственность в этом деле порой бывают простыми, как рычаг, и жестокими, как топор.

Я вошел к человеку, которому хотел рассказать, нет, выложить и вверить свое дело, свои мучения. Для начала он сказал мне:

— У меня есть для вас четыре с половиной минуты.

Думаю, заурядное мое дело можно было бы разъяснить за четыре с половиной минуты. Теперь я знаю почти наверняка. Но тогда у меня вдруг не стало и четырех с половиной минут. Собственно, в моем распоряжении не стало даже сотой доли секунды. Этот человек со всей очевидностью не хотел меня слушать.

Возможно, через четыре с половиной минуты его ждали какие-то неотложные обязанности перед человечеством — или хотя бы перед обожаемым, обворожительным существом в соседней комнате. Но если б он хотел меня выслушать, он бы утаил это от меня. И слушал бы меня двести семьдесят секунд. Клянусь, этого было бы достаточно. Но он меня выключил. Перечеркнул одной жирной чертой. Перечеркнул через глаз, через подбородок, через пупок. Я чувствовал, что онемел. И так оно и было. Я превратился в соляной столп — пожалуйста, можете лизнуть.

Иногда эта жестокость упакована в серебристую фольгу, словно карамелька или орех для рождественской елки.

— Давай говори,— бодро сказал мне другой мой знакомый,— я тебя слушаю.

При этом он подписывал фантастическое множество бумаг, которые подсовывала ему бойкая секретарша. То и дело он поощрительно, приветливо, даже дружелюбно поглядывал на меня: итак?

Есть люди, способные одновременно и добросовестно справляться с двумя-тремя делами. Вероятно, он бы действительно меня выслушал. Я твердо в это верю. Но язык у меня тогда стал свинцовым. Бог его знает почему — ведь этот человек был так любезен со мной. А бумаги подписывать тоже, наверное, нужно. И вне всякого сомнения, ваты в ушах у него не было. Он был ко мне, как говорится, благорасположен.

Третий вел себя совершенно иначе — даже сравнивать нельзя. Он отодвинул работу, лежавшую перед ним на столе, повернулся ко мне всем телом вместе с креслом, уютно откинулся, переплел пальцы, внимательно уставился мне в глаза и застыл в этой ублажающей меня неподвижности.

Воодушевленный и счастливый, я изложил ему свои мысли: кратко, деловито и даже, по-моему, вполне внятно. И тут он, напряженно следя за моим изложением (так мне казалось), вдруг заметил:

— Господи, уже без четверти три, а в полтретьего я должен был позвонить Горняку.

Он и не подумал звонить, даже не шелохнулся и снова с готовностью впился взглядом в мое лицо, сосредоточенный, увлеченный моим делом — мой единомышленник. Но у меня перехватило горло, как будто на нем был ошейник.

Очень немногие люди ходят с ошейником; но и очень немногие после подобных ситуаций сохраняют надежду или даже уверенность, что

их выслушают. Даже когда их слушают. Да, тебя слушают, но, господи, слышат ли тебя?

С моим шефом все совсем наоборот — этот всегда слышит намного больше, чем я ему говорю, хотите верьте, хотите нет. Разговор с ним выглядит примерно так:

— Значит, встречаю я вчера этого Хвалковского...

— Ага, знаю, того, что сидел за изнасилование.

— Нет, не того. Того, у которого был когда-то цветочный магазин. Он был...

— Пьян как сапожник, а как же иначе. Этот никогда не просыхает. Но у него был не цветочный магазин, а, по-моему, писчебумажный.

— Значит, это другой. Тот, о котором я говорю, вообще непьющий. Даниэль его зовут. Он хотел...

— Стрельнуть у вас денег. Но будьте начеку! Даниэль никогда не отдает долги. Слушайте, так его фамилия вовсе не Хвалковский. Он случайно не Хвалковец?

— Нет, извините: Даниэль Хвалковский. Он нездоров. Что-то с сердцем.

— Черта лысого, это он симулирует. Хочет, чтобы его жалели. А у самого баб целый гарем.

— В его-то годы?! И потом, он был в трауре. У него умер...

— Дядя. Старая песня! Этот дядя у него умирает в среднем раз пять в году. Каждый раз, когда ему нужно смыться, чтобы не голосовать ни «за», ни «против». Ну и пройдоха!

— Брат. Брат у него умер, которого он очень любил. Он хотел...

— Брат? Мишо? Да я его совсем недавно видел, выглядит как огурчик. Тоже хорош гусь. Это тот самый, который разбил служебную машину и чуть не убил секретаршу, с которой ездил на дачу, я все знаю. Но его фамилия Хвальчик.

И так без конца. Никогда, ни разу не удалось мне досказать то, о чем мне поведал Хвалковский, Струнова, доктор Кропанчик, депутат Боровой и Мари Франсуа Аруэ Вольтер, причем не все они и не всегда говорили какую-то чепуху. Мой шеф давно уже все знал. Это было не так, точнее, все было совершенно иначе, но он знал. Он знал, что он это знает,— и я это знал.

Итак, великое искусство высказаться, изречь мысль, даже оригинальную и необходимую, в конечном счете оказывается не таким уж и важным. В безвоздушном пространстве звук не распространяется. Общественное воздействие мысли начинается только тогда, когда ее выслушают. Нередко ее оценивают в зависимости от того, сколькими людьми она была услышана. Но давайте спустимся на землю, вернемся на кухню.

Моя двоюродная бабушка совершенно одинока, вся ее родня вымерла, а я, внучатый племянник, в ее глазах — несусветный шалопай. Так вот, эта старушка — подлинная рекордсменка по части слушания. Из-за скудости собственной жизни она живет жизнями других людей. Она распоряжается ими, как сотрудник загса, гибридизированный с частным детективом и компьютером.

Она слушает жадно и с пониманием; она впитывает вас вместе с вашими заботами, прегрешениями и наслаждениями. Но делает это как знаток, как собиратель ценностей, который намерен выгодно их перепродать; тетушка вооружается, запасается; для нее это способ приобрести вес, значение, уважение; способ узнать многое о многих и посвятить в него других согласно хитроумному стратегическому плану. И уж конечно, не за просто так.

Мой сосед — искушенный профессионал по части выслушивания своих ближних. Он работает в отделе жалоб, и главным компонентом слухового центра в его мозгу является штора. Он принимает посетителя и делает заметки, но при этом штора в его мозгу спущена. За нею,

в полутьме, в тишине, он проводит время со своими детьми, пчелами, своей «шкодой», воспоминаниями, грешными увлечениями.

Не то чтобы он не решал дела, он этих дел решает немыслимое множество, но за штору, за свой персональный железный занавес он их не допускает. Он разработал безотказную технику, как выслушать каждого и вообще ничего не слышать. Он утверждает, что в противном случае он бы немедленно спятил, и ему можно верить, и нужно помнить, что он далеко не единственный.

Напротив, многие приклоняют к нам ухо свое, но отнюдь не слух. Выражение «в одно ухо вошло, в другое вышло» — сущая нелепица. Не только, как мы знаем, ничего не может выйти из второго уха, но — в нашем случае — ничто не может войти в первое. Нас не слушают ни «вполуха», ни даже «в четверть уха». Не случайно в разговоре то и дело повторяются словечки вроде «послушай», «слышишь» — люди испытывают панический страх, что обращаются к тугоухому.

Не будучи влиятельными деятелями или миллионерами из американских фильмов, они не скажут: «У меня есть для тебя семь и три четверти минуты»; не будучи записными лицемерами, они не улыбаются поощрительно коллеге, предлагая ему говорить и в то же время любезничая с милой по телефону; не будучи патентованными профессионалами, они не владеют искусством исповеди или техникой использования чувствонепроницаемой шторы — одним словом, надежными способами слушать и не слышать.

Итак, они слушают как бог на душу положит и время от времени вставляют: «очень любопытно!», «неужели?», «чрезвычайно интересно!», давая понять, что им это совершенно неинтересно. Они также говорят в открытую: «и не говорите!» — что в данном случае означает именно то, что оно означает.

Немудрено, что персонажи сказок и легенд вверяли свои тайны ямкам в песке или дуплистым вербам. Те по крайней мере молчали. Они не владели разговорными стереотипами и унизительными штампами.

Не удивительно, что мы приписываем алкоголю непостижимую способность развязывать языки; это правда, но не вся. Если мы обращаемся к помощи спиртного, то прежде всего потому, что в опьянении блаженно игнорируем, слушают ли нас остальные или нет. Мы не только изливаем (наконец-то!), что у нас на душе, но нам и не больно, что мы говорим впустую.

Таким образом, уважение к людям, обладающим даром речи, преувеличено. Нам бы следовало почитать редкостный талант выслушивать, приклонять слух. Нет без него дружбы, любви, подлинных связей между людьми. По-моему, люди, так или иначе ответственные за судьбы других людей,— господи, да разве бывает иначе? — должны бы сдавать строжайший государственный экзамен на умение выслушивать.

Это искусство многотрудное и ответственное, как и большинство прочих. По крайней мере, не менее трудное, чем искусство проповедовать. Впрочем, я согласен пойти навстречу: пусть какой-нибудь форум из самых-самых ответственных лиц постановит, чтобы очень влиятельные люди выслушивали слова ближних хотя бы с таким же вниманием, как свои собственные. Пожалуй, этого было бы совершенно достаточно.

А между тем по свету ходит определенное — опять же небольшое — число индивидуумов, владеющих этим искусством. Точнее, для них это не искусство, а наслаждение, забава, просто естественное состояние. Когда они вас слушают, они вас слышат. Когда вы изливаете им свои радости и горести, они забывают о своих собственных. Они присваивают себе ваши тайны и судьбы не для того, чтобы с выгодой использовать их,— они ими интересуются, видят в них нечто важное, ведь это и их жизнь тоже.

Пожалуйста, ставьте им памятники. Или, по крайней мере, не лгите им в глаза.

■

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ

Русский отдел

РОМАН

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ и Е. РОЖДЕСТВЕНСКОЙ

5

Мы все перешли в библиотеку, где Нед и Барли начинали вдвоем. Брок повесил экран и установил проектор. Расставил стулья подковой, мысленно прикинув, кто где захочет сесть,— как часто бывает с людьми агрессивного склада, он обожал лакейские обязанности. Он слушал беседу по ретранслятору, и, несмотря на мрачные предчувствия относительно Барли, в его блеклых балтийских глазах тлело радостное возбуждение. А Барли, целиком поглощенный своими мыслями, непринужденно расположился в первом ряду между Бобом и Клайвом — привилегированный, но и рассеянный гость на частном просмотре. Я глядел на его профиль, когда Брок включил проектор: сначала его голова была задумчиво опущена, но едва возник первый кадр, как он ее вскинул. Нед сидел рядом со мной. Ни одного слова, но я чувствовал умело сдерживаемое волнение. Перед нашими глазами промелькнуло двадцать мужских лиц — в основном советские ученые, отобранные в результате первых поспешных поисков в архивах Лондона и Лэнгли, которые предположительно могли иметь доступ к информации, фигурировавшей в тетрадях Дрозда. Некоторых показали не единожды: сначала с бородой, потом с заретушированной бородой. Другие были представлены такими, какими их сняли двадцать лет назад, поскольку это было все, чем располагали архивы.

— Среди этих нет,— объявил Барли, когда опознание закончилось, и вдруг прижал руку к голове, словно его ужалили.

Боб никак не мог этому поверить. Но его недоверие было столь же обаятельно, как и доверие.

— И даже ни «кажется», ни «возможно», а, Барли? Что-то вы слишком уверены, если вспомнить, сколько вы уже выпили до того, как увидели объект. Черт, мне приходилось бывать на таких вечеринках, что я и имени своего вспомнить не мог.

— Абсолютно уверен, старина,— сказал Барли и вновь погрузился в свои мысли.

Наступила Катина очередь, хотя Барли, разумеется, об этом не знал. Боб подбирался к ней осторожно — профессионал из Лэнгли, демонстрирующий нам, как он работает.

— Барли, вот кое-какие мальчики и девочки, связанные с московскими издательскими кругами,— сказал он излишне небрежно, когда начал показывать фотографии.— Люди, с которыми вы могли сталкиваться во время ваших русских странствий — на приемах, на книжных ярмарках, в редакциях. Если вы увидите кого-то знакомого, свистните.

— Господи, это же Леонора! — радостно перебил Барли, не дав Бобу договорить. На экране роскошная дюжая женщина с задницей в целое футбольное поле переходила улицу.— Нора — главная движущая сила СК,— добавил Барли.

— СК? — эхом отозвался Клайв, будто раскопал секретное общество.

— «Союзкнига». СК заказывает и распространяет иностранные книги в Советском Союзе. А доходят ли книги до назначения, вопрос другой. Ну, а с Норой не соскучишься.

— Вы знаете ее фамилию?

Продолжение. Начало см. в № 5.

— Зиновьева.

Правильно, сообщила посвященным улыбка Боба.

Барли показывали других, и он называл тех, кого он, по их сведениям, знал. Но когда на экране вспыхнула фотография Кати, та, которую показывали Ландау — Катя с зачесанными вверх волосами спускается в пальто по лестнице с пластиковой сумкой в руке,— Барли буркнул «пас», как и в остальных случаях, когда люди на экране были ему неизвестны.

Боб восхитительно огорчился. Он сказал: «Пожалуйста, задержите ее» таким расстроенным голосом, что даже младенец догадался бы, что фотография эта имеет какое-то тайное значение.

И Брок задержал ее, а мы все задержали дыхание.

— Барли, эта малютка с темными волосами и большими глазами работает в московском издательстве «Октябрь». Прекрасно говорит по-английски, так же литературно, как вы и Гёте. По нашим сведениям, она редактор, заказывает и сверяет переводы советских авторов на английский. Вам это ничего не говорит?

— Увы, нет,— сказал Барли.

После чего Клайв вручил его мне. Легким кивком. Берите его, Палфри. Передаю его вам. Напугайте его.

Для подобных внушений у меня есть особый голос. Ему положено внушить ужас, точно при произнесении брачной клятвы перед алтарем, и я ненавижу его, потому что его ненавидит Ханна. Если бы люди моей профессии носили белые халаты, именно в такой момент я бы делал смертоносную инъекцию. Но в тот вечер, едва оставшись с ним наедине, я избрал более сочувственный тон и стал иным и, пожалуй, помолодевшим Палфри, который, как клялась Ханна, мог победить. Я обратился к Барли не так, как к обыкновенному стажеру, а как к другу, которого хочу предостеречь.

Вот какова подоплека, сказал я, прибегнув к самым неюридическим выражениям, какие только мог подыскать. Вот петля, которую мы затягиваем на вашей шее. Берегитесь. Взвесьте все.

Других я вынуждаю сесть. Но Барли позволил бродить по комнате, так как успел заметить, что ему легче, когда он может расхаживать взад и вперед, передергивать плечами, вскидывать руки, блаженно потягиваясь. Симпатия — это проклятие, даже когда она недолговечна, и все скверные английские законы, взятые вместе, не способны меня от нее оградить.

И, временно проникшись к нему сочувствием, я обнаружил в нем много такого, чего не уловил в присутствии остальных. Я заметил, как он отстраняется от меня, словно борясь с присущей ему склонностью дарить себя первому же, кто его востребует. Заметил, как его руки, вопреки стремлению к самодисциплине, остаются непокорными, особенно локти, которые, казалось, стремятся высвободиться из любой форменной одежды, на них натянутой.

И я заметил собственную досаду, что мне не удается наблюдать его вблизи, что я вынужден ловить его отражение в обрамленных позолотой зеркалах, мимо которых он ходил. И даже теперь он представляется мне в недостижимой дали.

И я заметил его задумчивость, когда он погружался в мои наставления и выныривал, что-то ухватив, и отворачивался, чтобы это переварить. И передо мной вдруг возникала могучая спина, которую никак нельзя было примирить с его непримиримым фасадом.

И я заметил, что в его глазах, когда он поворачивался ко мне, не было и тени угодливости, которая так часто отталкивала меня в других, внимавших моим мудрым речам. Он не испугался. Ничто в них его не затронуло. И тем не менее его глаза вызывали во мне тревогу — с той минуты, когда в первый раз оценили меня. Слишком правдивыми, слишком ясными, слишком беззащитными они были. Ни один из его беспорядочных жестов не мог оберечь их. Мне померещилось, что я — да и любой другой — могу окунуться в них и завладеть им, и чувство это внушило мне страх. Я испугался за свою безопасность.

И я вспомнил его досье. Столько безрассудств, поступков, равносильных самоуничтожению, и так мало благоразумия! Ужасная школьная биография. Попытки снискать хоть какие-то лавры с помощью бокса, в результате чего он попал в школьную больницу со сломанной челюстью. Исключение из школы за то, что был пьян, когда

читал из Евангелия перед таинством святого причастия. «Так я ж не протрезвел со вчерашнего, сэр. Я не нарочно». Подвергнут телесному наказанию и исключен.

Как удобно было бы и для него, и для меня, пришло мне в голову, если бы я мог указать на какое-нибудь страшное преступление, мучающее его, на поступок, рожденный трусостью или нежеланием вмешаться. Нед показал мне всю его жизнь, все тайные ее закоулки, все-все: болезни, финансы, женщин, жен, детей. Но в конечном счете ничего, кроме мелочей. Ни большого взрыва, ни большого преступления. Вообще ничего большого — возможно, тут и крылось объяснение. Что, если он постоянно разбивался о мелкие рифы житейских неурядиц, оттого лишь, что морские просторы оставались для него недоступны, и бросал вызов своему Творцу — либо ниспослать ему что-нибудь более достойное, либо перестать допекать его. Был бы он столь опрометчив, если бы столкнулся с несравненно большим риском?

Затем внезапно, прежде чем я осознаю это, наши роли меняются. Он, прищурившись, наклоняется надо мной. Команда все еще ждет в библиотеке, и я различаю звуки, свидетельствующие, что там начинают терять терпение. Передо мной на столе лежит документ. Но читает он не его, а меня.

— У вас есть какие-нибудь вопросы? — спрашиваю я, глядя на него снизу вверх и ощущая, какой он высокий.— Может, вы хотите что-нибудь узнать, прежде чем подпишете? — говорю я, все-таки из самозащиты применяя мой особый голос.

Сначала он недоумевает, затем находит мои слова забавными.

— Зачем? Или у вас есть для меня еще какие-то ответы?

— Это же нечестно,— предупреждаю я его сурово.— Вам навязали важную секретную информацию. Не по вашей воле. Но вычеркнуть ее из памяти вы не можете. Вам известно достаточно, чтобы обречь на гибель мужчину, а может быть, и женщину. Это причисляет вас к определенной категории. И накладывает на вас обязательства, от которых вам никуда не уйти.

И, помилуй меня господи, я снова думаю о Ханне. Он разбередил во мне всю связанную с нею боль, словно рана была совсем свежей.

Он пожимает плечами, сбрасывая с себя это бремя.

— Я ведь не знаю, что, собственно, я знаю,— говорит он.

В дверь стучат.

— Дело в том, что они, возможно, захотят сообщить вам еще что-то,— говорю я, вновь смягчаясь, стараясь, чтобы он понял, как близко к сердцу я принимаю его судьбу.— То, что вы уже знаете, возможно, лишь начало того, что вы, как им хотелось бы, должны для них выяснить.

Он подписывает. Не читая. Не клиент, а просто кошмар. Так он мог бы подмахнуть собственный смертный приговор — даже не поинтересовавшись, с полнейшим равнодушием. Они стучатся, а мне еще надо засвидетельствовать его подпись.

— Спасибо,— говорит он.

— За что?

Я убираю ручку. Попался, думаю я с ледяным торжеством, а Клайв и прочие строем входят в комнату. Скользкий субъект, но я добился, чтобы он подписал.

Но другой части моей души стыдно и почему-то тревожно. Словно я запалил костер в нашем лагере и неизвестно, куда пойдет огонь и кто его погасит.

Единственное достоинство следующего действия — краткость. Мне стало жаль Боба. Он не был двоедушным, ни тем более ханжой. Его было видно насквозь, но это еще не преступление, даже в мире секретных служб. Он был скроен скорее по мерке Неда, чем Клайва, и методы Службы были ему ближе, чем методы Лэнгли. Когда-то Лэнгли насчитывало много таких, как Боб, и от этого только выигрывало.

— Барли, а вы хоть как-то представляете себе суть материала, полученного от источника, которого вы называете Гёте? Так сказать, общий его смысл? — неловко спросил Боб, пуская в ход свою широкую улыбку.

Я вспомнил, что Джонни уже задал похожий вопрос Ландау. И обжег пальцы.

— Откуда? — ответил Барли.— Я ведь этого материала вообще не видел. Вы же сами мне не дали.

— А вы совершенно уверены в том, что Гёте никак заранее вам не намекнул? Он ничего вам не шепнул, как автор — издателю, о том, что́ именно он, возможно, когда-нибудь вам передаст, если оба вы сдержите слово? Кое-что сверх того, о чем вы, по

вашим словам, беседовали в Переделкино в общих чертах? То есть, об оружии и несуществующих врагах?

— Я рассказал вам все, что помню,— сказал Барли, растерянно покачав головой.

Как и Джонни до него, Боб начал заглядывать в папку у себя на коленях. Но только чтобы скрыть собственную неловкость.

— Барли, во время своих шести поездок в Советский Союз за последние семь лет вы установили какие-нибудь контакты, пусть и мимолетные, с противниками войны, диссидентами или другими неформальными группами того же рода?

— А что, это преступление?

Вмешался Клайв:

— Будьте добры, отвечайте на вопрос.

Как ни странно, Барли послушался. Порой Клайв был так мелок, что задеть Барли не мог.

— Встречаешься с разными людьми, Боб. С джазистами, с редакторами, интеллектуалами, журналистами, художниками — так что вопрос бессмысленный. Извините.

— Тогда я сформулирую его по-другому: знакомы ли вы с какими-нибудь борцами за мир здесь, в Англии?

— Понятия не имею.

— Барли, знали ли вы, что два члена блюз-оркестра, в котором вы играли между семьдесят седьмым и восьмидесятым годами, активно участвовали в кампании за ядерное разоружение и других в том же духе?

Барли, казалось, был озадачен, но и чуть-чуть обрадован.

— Неужели? И как же их фамилии?

— А вас очень поразит, если я отвечу: Макси Бернс и Берт Уандерли?

Ко всеобщему удовольствию (если не считать Клайва), Барли разразился веселым смехом.

— О, господи! Боб, да при чем тут борьба за мир? Макси был ярым коммунистом. Будь у него бомба, он бы взорвал парламент с обеими палатами. А Берт нежно держал бы его за руку.

— Насколько я понимаю, они гомосексуалисты? — сказал Боб с улыбкой бывалого человека.

— И еще какие! — благодушно согласился Барли.

Тут Боб с явным облегчением закрыл свою папку и взглядом дал понять Клайву, что он кончил, и Нед предложил Барли выйти подышать воздухом. Уолтер направился к двери и приглашающе распахнул ее. Видимо, он требовался Неду для контраста. По собственной инициативе он ни на что подобное не решился бы. Барли поколебался, затем схватил бутылку виски и сунул ее в один карман куртки, а стопку — в другой. (Подозреваю, он хотел нас шокировать.) Экипировавшись таким образом, он неторопливо последовал за ними, покинув нас троих в полном молчании.

— Вы ему задавали вопросы Рассела Шеритона? — спросил я Боба достаточно дружеским тоном.

— Рассел слишком большой умник и теперь такими мелочами не занимается, Гарри,— ответил Боб с явной неприязнью.— До Рассела теперь рукой не достать.

Борьба за власть в Лэнгли оставалась тайной даже для тех, кто принимал в ней участие, и, уж конечно (как мы ни притворялись, будто это совсем наоборот), для наших баронов на двенадцатом этаже. Но в этом бурлении и перетасовках имя Шеритона часто мелькало как имя того, кому, вероятнее всего, удастся взобраться на вершину кучи.

— А кто их завизировал? — поинтересовался я, все еще размышляя о вопросах.— Кто их набросал, Боб?

— Возможно, Рассел.

— Вы же только что сказали, что Рассел для этого слишком большой умник.

— Ну, может, ему приходится затыкать рот своим боярам,— с некоторым смущением сказал Боб, раскуривая трубку, и резким движением погасил спичку.

Мы расположились поудобнее и стали ждать Неда.

Раскидистое дерево в сквере на берегу. Мне довелось и стоять под ним, и сидеть, и смотреть, как над гаванью разгорается утренняя заря, а мой серый плащ покрывают слезинки росы. Я слушал, не понимая, старого мистика с лицом святого, которому нра-

вится встречаться со своими учениками на этом месте, но при свете дня. Они разного возраста и называют его Профессор. Ствол дерева опоясан скамейкой, которую железные подлокотники разделяют на отдельные сиденья. Барли сел в центре, а Нед и Уолтер по бокам. Сначала они беседовали в сонной матросской таверне, затем на холме, сказал Барли, но Нед по какой-то причине о разговоре на холме не желает вспоминать. И теперь они спустились в долину, где и остались. Брок неусыпно следил за ними из взятой напрокат машины — через газон. Со складов по ту сторону улицы доносилось лязгание кранов, тарахтение моторов и крики рыбаков. Было пять часов утра, но порт просыпается в три. Облака вырисовывались на фоне занимающейся зари, будто свет отделялся от тьмы в Первый день Творения.

— Выберите кого-нибудь другого,— сказал Барли. Он уже несколько раз говорил это, хотя и другими словами.— Я вам не подхожу.

— Вас выбрали не мы,— сказал Нед,— а Гёте. Знай мы, как добраться до него без вашей помощи, то ухватились бы за такую возможность. Он на вас заклинился. Может быть, лет десять ждал кого-нибудь вроде вас.

— Он выбрал меня потому, что я не был шпионом,— сказал Барли.— Потому, что я пропел всю идиотскую арию.

— А вы и теперь не будете шпионом,— сказал Нед.— Вы будете издателем. Его издателем. Вы всего лишь будете сотрудничать одновременно и с вашим автором, и с нами. Что в этом плохого?

— У вас есть энергия, у вас есть ум,— сказал Уолтер.— Неудивительно, что вы пьете. Двадцать лет вы не находили применения своим силам. И вот теперь у вас есть шанс заблистать. Вам повезло.

— Я блистал в Переделкино. И всякий раз, стоит мне заблистать, как гаснет свет.

— Вы можете даже поправить свои финансовые дела,— сказал Нед.— Три недели подготовки в Лондоне, пока вы будете ждать визы, веселая неделька в Москве — и больше никаких денежных забот.

С врожденной осторожностью Нед не употребил слова «обучение».

Вновь вступает Уолтер: немножко кнута, немножко лести. Чуть-чуть перебарщивает, но Нед ему не препятствует.

— При чем здесь деньги? Барли по-настоящему благороден. У вас есть шанс помочь своей стране, а многим ли он выпадает? Люди мечтают о нем, добиваются его, но он им так и не представляется. А когда вы внесете свою лепту, вы сможете расслабиться и наслаждаться всеми преимуществами того, что вы англичанин, зная, что вы их заслужили, хотя и презираете,— на что, впрочем, имеете полное право, а за него, кстати, необходимо бороться, как и за все остальное.

И расчет Неда оказался верным. Барли засмеялся и сказал Уолтеру «ну да ладно» или что-то в том же духе.

— А кроме того, выручите вашего автора,— перебил Нед тоном человека прямолинейного и практичного.— Вы его попросту спасете. Уж если он намерен выдавать государственные тайны, то самое малое, что вы можете для него сделать, это связать его с компетентными людьми. Вы же учились в Харроу, не так ли? — добавил он, словно только что вспомнил об этом.— Кажется, где-то упоминалось, что вы получили образование в Харроу.

— Да, я там числился,— сказал Барли, и Уолтер испустил короткое ржание, к которому Барли из вежливости присоединился.

— А почему вы много лет назад хотели поступить к нам? Не помните, что вас побудило? — спросил Нед.— Что-то вроде чувства долга, верно?

— Мне хотелось увернуться от отцовской фирмы. Один мой преподаватель рекомендовал пойти учителем в начальную школу. Мой двоюродный брат Лайонел сказал: иди в шпионы. Но вы дали мне от ворот поворот.

— Что ж, боюсь, второй раз оказать вам такую услугу мы не сможем,— сказал Нед.

Все трое, как старые друзья, молча смотрели на море. Строй военных кораблей перегораживал выход из бухты. Их снасти вычерчивались цепочками огней.

— Знаете, я всегда мечтал, чтобы нашелся один такой,— неожиданно пронзнес нараспев Уолтер, обращаясь к морю.— В сердце своем я человек верующий, даже наверное так. Или же неудавшийся марксист. Я всегда был убежден, что их история рано или поздно обязательно породит именно такого. Вы разбираетесь в точных науках? Ничуть? Ну да, естественно. Вы же то поколение — последние девственные поклонники

искусства. Спроси я вас о точке горения, вы, конечно, подумали бы, что я говорю о том, как испечь пирог.

— Вполне вероятно,— согласился Барли, снова засмеявшись вопреки себе.

— КВО — столбит?

— Боюсь, с инициалами я не в ладу.

— Ну, пусть круговое вероятное отклонение. Это как?

— Я неграмотный,— огрызнулся Барли. Очередная из его непредсказуемых вспышек раздражения.

— А повторно калибровать? Что или кого я повторно калибрую и чем?

Барли даже не потрудился ответить.

— Ну, хорошо. А что такое Макроблядь, сокращенно МБ? Ваш слух это не оскорбляет? Безыскусная простота такого наименования?

Барли пожал плечами.

— МБ — советская межконтинентальная баллистическая ракета СС-9,— объяснил Уолтер.— В мрачные годы холодной войны ее вывезли на майский парад. От ее размеров дух захватывало, а потом ей приписывали пресловутые эллипсы рассеивания. Тоже вам ничего не говорит? Эллипс рассеивания? Не важно, узнаете. Эллипсом рассеивания в данном случае были три громадные воронки в русской пустыне, и расположены они были точь-в-точь как шахты ракет «минитмен» плюс центр Управления. Спор шел о том, оставлены ли они ракетами, снабженными разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением, и, следовательно, могут ли советские ракеты накрыть три американские пусковые шахты зараз? Те, кому в это верить не хотелось, утверждали, что это чистая игра случая. Те, кто поверил, пошли дальше и заявили, что боеголовки предназначены для поражения не пусковых шахт, а городов. Победа осталась за верующими, и они получили зеленый свет на противоракетную программу. Не важно, что три года спустя их теория была дискредитирована. Они своего добились... Но я вас как будто теряю.

— Вы меня даже не находили.

— Зато он быстро все схватывает, сразу видно,— радостно заверил Уолтер Неда, перегнувшись через Барли.— Издатели очень сообразительны.

— Что дурного в том, чтобы в ы я с н и т ь? — пожаловался Нед тоном простого человека, которого сбили с толку умные разговоры.— Вот чего я никак не пойму. Мы же не просим вас конструировать эти чертовы ракеты или нажать на кнопку. Мы просим вас помочь нам расширить сведения о противнике. Если вы против ядерного оружия, тем лучше. А если противник окажется другом, какой от этого вред?

— Мне казалось, что холодная война уже кончилась,— сказал Барли.

— Господи боже ты мой! — вполголоса простонал Нед с тревогой в голосе, которая могла показаться неподдельной.

Но Уолтер такой сдержанности не проявил. Уолтер притворился возмущенным, хотя, может, так оно и было. Он в любой момент мог быть и таким, и сяким, и пятым, и десятым.

— Дешевые политические спектакли и притворная дружба,— фыркнул он.— Мы схватились в крупнейшей в истории идеологической конфронтации, а вы говорите мне, что все позади, потому что горстке государственных мужей выгодно пожимать друг другу руки на публике и отправлять на свалку кое-какие устаревшие игрушки. Империя зла поставлена на колени, как же! Их экономика на грани катастрофы, их идеология трещит по швам, а их тылы вот-вот полетят ко всем чертям. Только не уверяйте меня, что это причина для того, чтобы повесить наши пушки на стену, потому что я ни одному слову вашему не поверю. Это причина для того, чтобы шпионить за ними без передышки двадцать пять часов в сутки и пинать их в яйца всякий раз, чуть они попробуют приподняться с пола. Одному богу известно, кем они себя вообразят через десять лет.

— Полагаю, вы поняли, что, подведя Гёте, преподнесете его американцам? — сообщил Нед. Просто для сведения.— Боб его не упустит, да и с какой стати? Пусть вас не вводят в заблуждение его манеры выпускника Йела. Как вы тогда сможете жить с самим собой?

— Я не хочу жить с собой,— сказал Барли.— Ничего хуже такого сожителя и вообразить не могу.

Сероватое облако скользнуло поперек красной солнечной дорожки и распалось на клочки.

— В конце концов, все сводится к следующему,— сказал Нед.— Это грубо и не

по-английски, но тем не менее скажу: в обороне вашей страны вы хотите быть пассивным или активным игроком?

Барли все еще искал ответ, когда Уолтер ответил за него с исчерпывающей категоричностью.

— Вы член свободного общества. У вас нет выбора,— сказал он.

Заря разгоралась все больше, и шум в порту становился все сильнее. Барли медленно поднялся и потер спину. Казалось, что у него здесь, чуть выше пояса, постоянно болело. Возможно, этим и объяснялся изгиб его спины.

— Любая уважающая себя церковь уже давно бы вас, подлецов, сожгла на костре,— устало заметил он и, повернувшись к Неду, прищурился на него сверху вниз сквозь очки, слишком для него маленькие.— Я не тот, кто вам требуется,— предостерег он.— И использовать меня — большая глупость с вашей стороны.

— Мы все не те,— сказал Нед.— И занимаемся мы не тем.

Барли пошел прямо по траве, похлопывая себя по карманам в поисках ключей. Он свернул в переулок и исчез из их поля зрения в тот момент, когда Брок осторожно пошел за ним. Дом напоминал клин — острием к улице, широкой стороной во двор. Барли отпер входную дверь и закрыл ее за собой. Он включил свет и стал подниматься по лестнице ровным шагом, потому что идти ему предстояло долго.

Она была хорошей женщиной и ни в чем не виноватой. Они все были хорошие. Женщины, которые чувствовали себя призванными спасти его, как Ханна — меня, направить на путь истинный, направить все его бесчисленные таланты в одно русло, помочь ему перевернуть новую страницу, чтобы все старые новые страницы сразу же забылись. И Барли всячески подыгрывал ей, как, впрочем, и всем им. Он стоял рядом, возле больничной койки, словно был не больным, а одним из врачей: «Чем бы нам помочь этому бедняге, как бы поднять его на ноги и привести в порядок?»

Единственная разница состояла в том, что в лекарство он верил не больше, чем я.

Она лежала измученная, ничком и, возможно, спала. Квартиру она убрала. Как заключенные убирают свои камеры, как люди ухаживают за могилами близких — так выскребала она поверхность мира, который не могла изменить. Другие могли сказать Барли, что он слишком требователен к себе. Женщины часто говорили ему об этом. Что он не должен возлагать на себя ответственность за обе стороны рухнувших отношений. Но Барли знал, что это не так. Он знал дистанцию, отделяющую его от всего и вся. В те дни он все еще был непревзойденным специалистом по своей собственной неизлечимой болезни.

Он тронул ее за плечо, но она не шевельнулась, и он понял, что она не спит.

— Мне пришлось съездить в посольство,— сказал он.— Кое-кто в Лондоне требует моей головы. Я должен вернуться и со всем разобраться, не то они отберут у меня паспорт.

Он выудил из-под кровати чемодан и начал складывать туда рубашки, которые она ему выгладила.

— Ты же говорил, что на этот раз больше не вернешься,— сказала она.— Ты говорил, что свой срок в Англии ты уже отбыл. Навсегда.

— Для меня взят билет на утренний рейс. И сделать я ничего не могу. За мной вот-вот придет машина.— Он пошел в ванную за зубной щеткой и бритвенным прибором.— Меня взяли за горло,— крикнул он оттуда.— И я ничего не могу сделать.

— А мне, значит, вернуться к мужу,— сказала она.

— Зачем же? Живи здесь. Поступи как тебе лучше. Речь идет лишь о двух-трех неделях. И кончено.

— Если бы ты не наобещал всего этого, мы бы отлично устроились. У нас был бы просто роман. Вспомни свои письма. Вспомни, что ты говорил!

Барли не смотрел на нее. Он нагнулся над чемоданом.

— Только никогда уж ни с кем так не поступай,— сказала она.

На большее ее спокойствия не хватило. Она зарыдала и рыдала, когда он ушел, и даже рыдала на следующее утро, когда я наплел ей что-то и положил перед ней подписку о неразглашении, спрашивая, что, собственно, он ей сказал. Ничего. Она выболтала все, но защищала его до последнего. Ханна поступила бы точно так же. Как и поступает — преданность, льющаяся через край, хотя иллюзии давно рассеялись.

У Неда и его сотрудников было лишь три недели, чтобы привести Барли в нужную форму. Шесть выходных и пятнадцать будних дней, которые начинались не раньше пяти, когда Барли мог ускользнуть из издательства.

Но Нед повел дело так, как это мог сделать только один Нед. Инструкторы работали всю ночь, сам он — всю ночь и весь день. Барли же с присущей ему изменчивостью маялся и метался, пока наконец не вошел в колею и его лицо не обрело спокойное выражение, а с приближением отъезда еще и серьезное. Часто казалось, что он без колебания принимает всю этику нашего ремесла. В конце-то концов, заявил он Уолтеру, разве казаться — не единственная форма бытия? «Ну, конечно! — вскричал восхищенный Уолтер.— И не только в нашем ремесле!» И разве сама личность человека — не маска? — настаивал Барли. И единственный мир, в котором стоит жить,— не тайный мир? Уолтер заверил, что это так и есть, и посоветовал поселиться там навсегда, пока цены не поднялись.

Барли полюбил Уолтера с первого же дня, полюбил за хрупкость и, как я теперь понимаю, за недолговечность. Он словно бы с самого начала знал, что держит руку человека, которого вот-вот отвезут на свалку.

А иногда лицо Барли становилось пустым, как зияющая могила. Однако он не был бы Барли, если бы не качался из стороны в сторону.

Но больше всего ему нравилась семейная атмосфера, которую Нед с его чутьем на неприкаянных джо усердно поддерживал — непринужденные ужины, причастность ко всему, положение любимца семьи, партии в шахматы со стариком Палфри, которого Нед ловко припряг к повозке Барли, чтобы компенсировать опасно эфемерное влияние Уолтера.

— Заходите почаще, если есть настроение,— сказал мне Нед, дружески похлопав по плечу.

Так я стал для Барли стариком Гарри.

Гарри, старик, давайте-ка, черт возьми, сыграем партию в шахматы! Гарри, старик, отчего вы не поужинаете с нами? Гарри, старик, где же ваш чертов бокал?

Боба Нед приглашал редко, а Клайва вообще не звал. Это была операция Неда, и это был джо Неда. И он внимательно высматривал блестки в характере Барли.

Конспиративный дом, который выбрал Нед, был очаровательным особнячком начала века в Найтсбридже — в районе Лондона, где у Барли не было никаких знакомых. Клайв содрогнулся от суммы, но платили американцы, и его щепетильность была не к месту. Особнячок стоял в тупике, менее чем в пяти минутах ходьбы от магазина «Хэрродз», и я снял его для «Общества этических исследований и поступков», благотворительной организации, которую я зарегистрировал много лет назад и припрятал на черный день. Хозяйством ведала заботливая экономка, сотрудница Службы, которую звали мисс Коуд, и я, как положено, взял с нее соответствующую подписку и внес ее в список лиц, причастных к операции «Дрозд». Детскую на верхнем этаже переделали в скромную аудиторию, которая, как и другие такие же уютные и со вкусом обставленные комнаты, была нашпигована микрофонами.

— Вот тут пока и поживите,— сказал Нед Барли, когда мы показывали ему дом.— Вот ваша спальня, вот ключ. Звоните по телефону сколько угодно, но, боюсь, мы будем подслушивать, и когда вам понадобится поговорить о чем-то личном, звоните из автомата через дорогу.

Но для полноты картины я включил в ордер министерства внутренних дел и телефон-автомат напротив. Крайняя американская заинтересованность.

Поскольку и я и Барли ложились поздно, то, когда другие уже отправлялись спать, мы садились за шахматы. Он оказался очень импульсивным противником, нередко блестящим, но я умею рассчитывать, чего Барли вообще не умел, и я лучше чувствовал его слабости, чем он — мои. Как-никак я читал его досье. Но я все еще помню партии, когда он мгновенно оценивал положение на доске и через три-четыре хода с радостным воплем заставлял меня сдаться.

— Попались, Гарри! Просите прощения! Склоните голову!

Но когда мы снова расставляли фигуры, я чувствовал, как терпение покидает его. Он начинал бродить по комнате, махать руками, и его мысли вновь уносились в одно из своих путешествий.

— Женаты, Гарри?

— Не очень явно,— ответил я.

— Что это, черт возьми, значит?

— Моя жена живет за городом. А я живу в городе.

— И давно вы с ней?

— Да пару жизней,— неосторожно сказал я, жалея уже, что не ответил по-другому.

— Любите ее?

— Дорогой мой! — Но он глядел мне прямо в глаза и хотел знать ответ.— На расстоянии, как мне кажется. Да,— неохотно добавил я.

— И она вас любит?

— Полагаю. Я довольно давно ее об этом не спрашивал.

— Детишки?

— Мальчик. Вернее, мужчина.

— Видитесь с ним?

— Открытка на Рождество. Похороны и свадьбы. По-своему мы очень хорошие друзья.

— Чем он занимается?

— Побаловался с юриспруденцией. Теперь делает деньги.

— И счастлив?

Я рассердился, что теперь мне несвойственно. Не его дело было определять, что такое любовь и счастье. Он был джо. Право сблизиться с ним принадлежало мне, а не наоборот. Еще более необычным было то, что я дал заметить свою злость. А дал-таки, иначе почему я уловил в его глазах тревогу: несомненно, он решил, что случайно коснулся какой-то семейной трагедии. Он покраснел и резко отвернулся в поисках чего-то, что могло бы смягчить ситуацию.

— Если можно так выразиться, сэр, он не сопротивляется,— сказал Неду некий мистер Кэндимен, специалист по новейшим нательным микрофонам.— Не природный талант, но он слушает и, видит бог, запоминает.

— Он джентльмен, мистер Нед, и это мне нравится,— сказала специалистка по слежке, которой доверили обучение Барли основам ее искусства.— Он соображает, и у него есть чувство юмора, а это, как я всегда говорю, уже полдела в нашей работе.— Позже она призналась, что в согласии с правилами Службы отклонила его ухаживания, но что ему удалось приобщить ее к творчеству Скотта Фицджеральда.

— Все это набор всяких фокусов,— хрипло произнес Барли в конце утомительных занятий по технике тайнописи. Но тем не менее было ясно, что он получает большое удовольствие.

С приближением дня расплаты его покорность стала абсолютной. Даже когда я подключил бухгалтера Службы, скучного педанта по имени Кристофер, и он пять дней ошеломленно изучал документацию «Аберкромби и Блейр», Барли, против моего ожидания, не взбунтовался.

— Крис, старина, да среди издателей каждая последняя свинья разорена! — заявил он, держа стопку с виски и меряя шагами изящную гостиную в такт мотиву, который напевал.— Крупные шишки вроде Джумбо питаются листьями, а мы глодаем кору.— И с немецким акцентом: — У фас сфои методы, у нас — сфои.

Но нам с Недом плевать было на каждую последнюю свинью. И Крису тоже. Нас заботила операция и преследовала кошмарная мысль, что в самом ее разгаре Барли обанкротится.

— На кой черт мне редактор! — кричал Барли, размахивая перед нами многострадальными очками.— У меня нет денег платить редактору! У моих святых тетушек в Эли подвязки лопнут, если я найму редактора!

Но святых тетушек я уже уломал. За обедом в «Рулсе» я обхаживал и покорил леди Пандору Уэйр-Скотт, которую Барли чаще именовал Священной Коровой из-за ее прилежания к догматам высокой церкви. Выдав себя за бонзу из министерства иностранных дел, я под строгим секретом сообщил ей, что фирма «Аберкромби и Блейр» вот-вот конфиденциально получит от Рокфеллеровского фонда субсидию для развития англо-советских культурных связей. Но никому ни гугу, иначе деньги будут предложены другой достойной фирме.

— Я, черт возьми, более достойна, чем кто-либо,— гордо заявила леди Пандора, широко расставив локти, чтобы выковырять последний кусочек омара.— Попытайтесь-ка сами содержать Эммерфорд на тридцать тысяч в год.

Я злокозненно спросил ее, можно ли, не рискуя, переговорить об этом с ее племянником.

— Да ни в коем случае. Предоставьте его мне. Ему что деньги, что дерьмо, а уж врать он и вовсе не умеет.

Внезапно выяснилось, что Барли безотлагательно необходим помощник.

— Вы уже дали объявление,— сообщил Нед, размахивая перед носом Барли небольшим объявлением из недавнего номера газеты, посвященной вопросам культуры. «Старой солидной английской издательской фирме требуется на должность редактора квалифицированный специалист, знающий русский, 25—45 лет, художественная и техническая литература, curriculum vitae»[1].

И на следующий же день в заложенное и перезаложенное здание фирмы «Аберкромби и Блейр», Норфолк-стрит, Стрэнд, явился предложить свои услуги Леонард Карл Уиклоу.

— Вас тут спрашивает ангел, мистер Барли,— пророкотал по древнему селектору пропитанный джином голос миссис Данбар.— Можно ему влететь?

Ангел с велосипедными зажимами на штанинах, с холщовой сумкой, перекинутой через грудь. Чистый ангельский лоб, ничем не омраченный, золотистые ангельские кудри. Ангельские голубые глаза, которым неведомо зло. Ангельский нос, но таинственно свернутый на сторону, так что при первом знакомстве сразу же хочется взять и водворить его в исходное положение. Нед предостерег Барли, что говорить с ангелом надо так же, как с любым кандидатом, явившимся по объявлению. Леонард Карл Уиклоу, родился в Брайтоне в 1964 году, окончил с отличием факультет славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета.

— Ах да, это вы. Замечательно. Садитесь,— проворчал Барли.— Какого черта вас потянуло в издательство? Паршивое занятие.— Он только что завтракал с одной из самых настырных своих романисток и все еще переваривал эту встречу.

— По правде говоря, сэр, это моя давняя мечта,— ответил Уиклоу с улыбкой, полной ангельского энтузиазма.— Продвинуться на этом поприще.

— Ну, если вы начнете у нас, то вряд ли куда-нибудь продвинетесь,— предупредил Барли.— Вы можете продолжить. Вы можете удержаться. Вы можете даже показать себя. Но продвинуться вам никак не удастся, пока за рулем я.

— Не разобрал, лает этот тип или мурлыкает,— в тот же вечер, вернувшись в Найтсбридж, пожаловался он Неду в ту минуту, когда мы втроем быстро поднимались по узкой лестнице на вечернее свидание с Уолтером.

— Вообще-то у него и то и другое получается очень неплохо,— сказал Нед.

Беседы с Уолтером завораживали Барли, с каждым разом покоряли все больше и больше. Барли любил всех, кто не был приспособлен к жизни, а Уолтер выглядел так, словно стоит ему сейчас встать со стула, и для него наступит конец света. Они говорили о тонкостях нашего ремесла, они говорили о ядерной технологии, они говорили о полной ужасов истории советской науки, к которой Дрозд, кем бы он ни был, в любом случае причастен. Уолтер был слишком хорошим наставником, чтобы можно было догадаться, что́, собственно, он преподает, а Барли не спрашивал — мешал владевший им интерес.

— К о н т р о л ь? — возмущенно закричал на него Уолтер, ястреб из ястребов.— Неужели вы искренне не видите, олух, разницы между к о н т р о л е м и р а з о р у ж е н и е м? Предотвратить всемирный кризис — я не ослышался? Что это еще за чушь в духе «Гардиан»? Наши лидеры о б о ж а ю т кризисы. Наши лидеры п и т а ю т с я кризисами. Наши лидеры жизнь тратят на то, чтобы кромсать земной шар в поисках кризиса, лишь бы воскресить свою угасающую потенцию!

А Барли не только не обижался, а наклонялся к нему вместе со стулом, стонал, хлопал в ладоши и требовал еще. Он подначивал Уолтера, вскакивал, мерил комнату шагами и кричал: «Но!.. Так в чем же оно, ваше «но», черт подери!» Он обладал памятью и способностью схватывать на лету, как и предсказывал Уолтер. Его научная девственность уступила первому же натиску, едва Уолтер прочел вступительную лекцию о балансе террора, которую ухитрился превратить в перечень всех человеческих безумств.

— Выхода нет,— объявил он удовлетворенно,— и никакие благие пожелания тут не помогут. Джинн в бутылку не воротится, конфронтация — навечно, объятия становятся все крепче, а игрушки — все изощреннее с каждым поколением, полная же безо-

---

[1] Здесь: биографические сведения (*лат.*).

пасность равно недостижима для обеих сторон. Ни для главных игроков, ни для мерзопакостных новичков, которые каждый год вступают в клуб, состряпав себе портативную бомбочку. Мы устали во все это верить, потому что мы люди. Мы даже можем внушить себе, будто угроза исчезла бесследно. А этого не будет. Никогда, никогда, никогда.

— Так кто же, Уолт, нас спасет? — спросил Барли.— Вы и Недский?

— Если что-нибудь и спасет, в чем я сильно сомневаюсь, то тщеславие,— отрезал Уолтер.— Нет лидера, который хотел бы войти в историю в качестве осла, уничтожившего свою страну за считанные часы. Ну, и страх, конечно. Слава богу, большинство наших доблестных политиков отвергают самоубийство из чистого нарциссизма.

— А на что же тогда надеяться?

— Во всяком случае, не на человека,— с удовлетворением сказал Уолтер, который не раз серьезно подумывал, не сменить ли ему дисциплину Службы на монастырскую.

— И чего же Гёте хочет добиться? — в другой раз чуть раздраженно спросил Барли.

— Спасти мир, конечно. Как мы все.

— Каким образом? В чем его идея?

— Это вы и должны выяснить, не так ли?

— Но что он нам уже сообщил? Почему мне нельзя это узнать?

— Дорогой мой, вы прямо как ребенок,— досадливо воскликнул Уолтер, но тут вмешался Нед.

— Вы знаете все, что вам необходимо знать,— сказал он убеждающе-спокойно.— Вы связной. Вот для чего вас подготовили и кем он хочет вас видеть. Он сообщил нам, что у них там очень многое не действует. Он нарисовал картину полных неудач на каждом уровне: неточность, некомпетентность, путаница и в довершение всего — подтасованные результаты испытаний, отправляемые в Москву. Может быть, это правда, может быть, он это сочинил. А может быть, кто-то сочинил это за него. История заманчивая, как ни поверни.

— А мы считаем, что все правда? — упрямо настаивал Барли.

— Вам этого знать нельзя.

— Почему?

— Потому что на допросе любой заговорит. Героев больше нет. Вы заговорите, я заговорю, Уолтер заговорит, Гёте заговорит, она заговорит. Поэтому, если мы вам скажем, что́ нам о них известно, то рискуем поставить под угрозу нашу возможность за ними шпионить. Известен ли нам какой-то конкретный их секрет? Если ответ отрицательный, они поймут, что у нас не имеется программного обеспечения, или прибора, или формулы, или сверхсекретной наземной станции, которые обеспечили бы нам необходимые сведения. Но если ответ положительный, они примут необходимые меры, чтобы мы больше не могли продолжать наблюдать или подслушивать этим способом.

Мы с Барли играли в шахматы.

— Так вы считаете, что брак сохраняется только на расстоянии? — спросил он меня, возвращаясь к нашему недавнему разговору, словно мы его и не прерывали.

— Любовь, как мне кажется,— да,— ответил я, театрально содрогнувшись, и быстро перевел разговор на менее интимную тему.

Для его последнего вечера мисс Коуд вычистила серебро и приготовила лососину. Пригласили Боба, и он принес редкое солодовое виски и две бутылки «сансерра». Но наш маленький праздник не вывел Барли из обычного самосозерцания, и только горячая заключительная проповедь Уолтера вырвала его из объятий хандры.

— Вопрос в том, п о ч е м у,— внезапно прозвенел Уолтер, и его нелепый голос наполнил комнату, а сам он отхлебнул «сансерра» из моей рюмки.— Вот что нам нужно узнать. Не суть, а побуждение. П о ч е м у? Если мы поверим в побуждение, то мы поверим и человеку. И следовательно, его материалам. В начале было не слово, не дело, не дурацкий змей. В начале было «п о ч е м у?». Почему она сорвала яблоко? От скуки? Из любопытства? Ее подкупили? Ее подстрекнул Адам? Если не он, то кто? Дьявол — это любимое оправдание любой девицы. Забудьте о нем! Кого она прикрывала? Недостаточно сказать: «Потому что вот оно — яблоко». Этого объяснения достаточно для восхождения на Эверест. И даже для рая оно сойдет. Но для Гёте этого объяснения мало. Его мало для нас и, уж конечно же, мало для наших доблестных американских союзников, не правда ли, Боб?

А когда все мы расхохотались, он зажмурил глаза и его голос стал еще пронзительнее:

— А взять очаровательную Катю! Почему Гёте выбирает именно ее? Почему он рискует ее жизнью? И почему она это допускает? Мы не знаем. Но должны узнать. Мы должны узнать о ней все, что можем, поскольку в нашей профессии связные — уже материал. Если Гёте тот, за кого себя выдает, голова девочки уже лежит на плахе. Это само собой разумеется. Если он не тот, какова ее роль? Она все это выдумала? Действительно ли она с ним связана? Связана ли она с кем-нибудь другим, и если да, то с кем? — Он ткнул бескостным указательным пальцем в лицо Барли.— А теперь, сэр, вы. Считает ли Гёте вас шпионом или нет? Может, кто-нибудь сказал ему, что вы шпион? Берите пример с хомяка. Собирайте все зернышки, какие сможете. Да благословит Господь вас и всех, кто на вас ставит.

Я незаметно наполнил свою рюмку, и мы выпили. И я помню, что в полной тишине мы отчетливо услышали бой Биг Бена, плывущий вверх по реке от Вестминстера.

И только на следующее утро, когда до отъезда Барли оставалось несколько часов, мы позволили ему взглянуть на документы, которые он так настойчиво требовал в Лиссабоне,— на точную копию тетрадей Гёте, сделанную в Лэнгли под жестким грифом абсолютной секретности — вплоть до русской картонной обложки с рисунком, изображающим веселых советских школьников.

Молча взяв тетради обеими руками, Барли превратился в издателя, и все мы наблюдали за его преображением. Он раскрыл первую тетрадь, сощурился на корешковое поле, взвесил на руке и заглянул на последнюю страницу, видимо прикидывая, сколько времени ему понадобится, чтобы все это прочитать. Потом взял вторую тетрадь, открыл наугад и, увидев тесные строчки, состроил физиономию: текст написан от руки, да еще через один интервал,— кто же сдает работу в таком виде?

Потом он пролистал все три тетради подряд, с удивлением переходя от иллюстрации к тексту и от текста к литературным всплескам. Голову он чуть откинул и наклонил набок, словно твердо решил своего мнения не высказывать.

Но когда он поднял глаза, я заметил, что они утратили чувство места и были устремлены на далекую вершину, видимую только ему, и никому больше.

Обязательный обыск квартиры Барли в Хампстеде, произведенный Недом и Броком после его отъезда, не дал ничего, что могло бы раскрыть его душевное состояние. В завале на письменном столе был найден старый блокнот, в котором он привык делать записи. Последние были как будто свежими. Пожалуй, наиболее выразительным было двустишие, которое он выискал в одном из поздних произведений Стиви Смита:

> Я не так боюсь темной ночи,
> Как друзей, которых не знаю...

Нед добросовестно включил его в досье, но отказался делать какие-либо выводы. Назовите хоть одного джо, у которого накануне его первой операции не бегали бы по спине мурашки.

А из корзины для мусора Брок выудил старый счет с цитатой на обороте, которую он в конце концов проследил до Рётке, о чем по каким-то своим темным соображениям упомянул только через несколько недель:

> Учусь, идя туда, куда идти я должен.

6

Катя проснулась будто от толчка и, как она убеждала себя потом, мгновенно осознав, что День настал. Она была эмансипированной советской женщиной, что не мешало ей быть суеверной.

— Это было предопределено,— позже сказала она себе.

Сквозь ветхие занавески просвечивало белое солнце, восходящее над бетонной чащобой северной окраины Москвы. Башни из кирпича с яркими пятнами сохнущего белья устремлялись в пустое небо, точно розовые гиганты в лохмотьях.

Сегодня понедельник, подумала она. Я в своей постели. А вовсе не на той улице! Ей вспомнился ее сон.

Проснувшись, она минуту лежала неподвижно, обозревая свой тайный мир и стараясь освободиться от неприятных мыслей. А когда ей это не удалось, спрыгнула с кровати и импульсивно (как было ей свойственно) нырнула с привычной ловкостью между висящей одеждой и еле держащейся полочкой и встала под душ.

Красивая женщина, как и говорил Ландау,— высокая, хорошо сложенная, но не полная, с тонкой талией и сильными ногами. Пышные черные волосы, когда она была не в настроении ими заниматься, становились совсем буйными. Насмешливо-лукавое, но умное лицо, казалось, оживляло все вокруг. Была ли она одета или обнажена, в каждом ее движении чувствовалась грация.

Приняв душ, она закрутила, насколько они поддались, краны и стукнула по ним деревянным молотком: вот вам! Напевая, взяла зеркальце и вернулась в спальню, чтобы одеться. Опять эта улица! Но где? В Ленинграде или в Москве? Душ не смыл ее сна.

Спальня была крохотной — самой тесной из трех комнатушек, которые составляли ее квартиру,— ниша со встроенным шкафом и кроватью. Но Катя привыкла к тесноте, и ее быстрые движения — она расчесывала волосы, закручивала их в пучок и закалывала, готовясь к тому, чтобы идти на работу,— были полны чувственного, неосознанного изящества. Квартира, собственно говоря, могла быть куда меньше, если бы Кате по роду ее работы не полагались лишние двадцать квадратных метров. Еще девять метров полагались дяде Матвею, а остальными они были обязаны близнецам и ее собственной изобретательности. Нет, квартира ее устраивала.

А может, это была улица в Киеве, подумала она, вспоминая свою недавнюю поездку туда. Но в Киеве улицы широкие, а эта узкая.

Пока она одевалась, начал просыпаться весь дом, и Катя с облегчением прислушивалась к привычным звукам. Сначала за стеной прозвенел будильник Гоглидзе, поставленный на шесть тридцать, и сразу же завыла их сумасшедшая борзая, требуя, чтобы ее вывели на прогулку. Бедные Гоглидзе, надо что-нибудь им подарить. Месяц назад у Наташи умерла мать, а в пятницу отца Отара увезли в больницу с опухолью мозга. Отнесу им меда, подумала она и тут же криво улыбнулась, словно бы здороваясь с бывшим любовником — художником-отказником, который вопреки всем законам природы умудрился установить нелегальный улей на крыше в одном из арбатских переулков. Он обошелся с ней на редкость подло, утверждали ее друзья. Но в мыслях Катя всегда его защищала. В конце концов, он художник, а может, даже и гений. Любовником он был чудесным и между приступами ярости умел ее смешить. А главное, она любила его за то, что он добился невозможного.

Следом за будильником Гоглидзе захныкала дочка Волковых, у которой резались зубки, а через секунду пол завибрировал в ритме новейшего американского рока — они включили свою новую японскую стереосистему. Откуда у них деньги на такие вещи? Катя сочувственно поставила себя на их место: Елизавета постоянно беременна, а Саша получает сто шестьдесят в месяц. За Волковыми дали о себе знать неулыбчивые Карповы — их приемник как будто не брал никаких передач, кроме «Маяка». Неделю назад обрушился карповский балкон, убив милиционера и собаку. Остряки в их доме предлагали собрать деньги на похороны собаки.

Теперь она стала Катей — Кормильцем семьи. По понедельникам можно было купить свежих кур и овощи, которые в выходные тайно привозили частники: двоюродный брат ее подруги Тани подрабатывал как перекупщик. Позвонить Тане.

Думая об этом, она вспомнила про билеты на концерт. Решено! Как только она приедет на работу, возьмет те два билета в консерваторию, которые ей обещал редактор Барзин, чтобы загладить свое пьяное поведение на первомайском вечере, когда он приставал к ней. Она, собственно, его приставаний не заметила, но Барзин всегда себя чем-то терзал — и какое она имеет право препятствовать его раскаянию, особенно если оно приняло форму билетов на концерт?

В обеденный перерыв, побегав по магазинам, она обменяет эти билеты у вахтера Морозова на обещанные двадцать четыре куска импортного мыла в красочной обертке. Это экзотическое мыло обеспечит ей тот отрез чистошерстяной шотландки в зеленую клетку, который директор магазина «Ткани» припрятал для нее на складе. Катя решительно не желала гадать почему. Днем, после приема у венгров, она передаст отрез Ольге Станиславской, которая в обмен на будущие одолжения сошьет близнецам по ковбойке ко дню рождения на гедеэровской швейной машинке, которую она недавно выменяла на зингеровскую, унаследованную еще от бабушки. И материи еще останется, чтобы показать близнецов зубному врачу в спецполиклинике.

Так что прощай, концерт. Решено!

Телефон (польская драгоценность красного цвета с длинным шнуром) стоял в гостиной, где спал дядя Матвей. Володя сумел вынести его с комбината и великодушно оставил ей, когда ушел окончательно. Пройдя на цыпочках мимо спящего Матвея —

и нежно на него посмотрев, потому что он был любимым братом ее отца,— она унесла аппарат через коридор к себе, села на кровать и начала набирать номер, еще не решив, с кем поговорить в первую очередь.

Двадцать минут она обзванивала знакомых, обмениваясь в основном сведениями, где чего достать, но два-три разговора были более дружескими. Дважды, едва она вешала трубку, звонили ей. Вчера вечером у Зои был очередной кинорежиссер из Чехословакии. Александра сказала, что он сногсшибателен и сегодня она все поставит на карту и позвонит ему — только вот под каким предлогом? Катя пораскинула мозгами и нашла. Три скульптора-авангардиста, которым раньше не давали ходу, собирались устроить свою выставку в Доме железнодорожников. Почему бы не пригласить его и вместе не пойти на эту выставку? Александра пришла в восторг. Катя всегда придумает идеальный вариант.

Говядину по ценам черного рынка можно покупать по четвергам вечером прямо из рефрижератора на шоссе в Шереметьево, сообщила Люба: спросить татарина Джана, но держать его на расстоянии! В магазине на Кропоткинской с черного хода продают кубинские ананасы, сообщила Ольга: скажешь, что от Дмитрия, и заплати вдвое больше, чем попросят.

Положив трубку, Катя обнаружила, что у нее из головы не идет американская книга о разоружении, которую ей дал Назьян, новый редактор отдела документальной литературы в «Октябре». Он никому не нравился, и никто не понимал, как он получил такую должность. Однако вскоре выяснилось, что он хранит ключ от единственной копировальной машины, и это сразу поместило его в самые темные ряды чиновничьей рати. Набитые битком от пола до потолка книжные полки стояли в коридоре. Ей пришлось порядком порыться. Эта книга была троянским конем. Она хотела поскорее избавиться от нее, а заодно и от Назьяна.

«Кто-то собирается ее переводить? — сурово спросила она, а Назьян бродил по ее кабинету, заглядывал в ее письма, рылся в кипе непрочитанных рукописей.— Вы поэтому хотите, чтобы я ее прочитала?»

«Я подумал, что вам может быть интересно,— ответил он.— Вы же мать. С либеральными взглядами, что бы это ни означало. Вы всегда так горячо говорите о Чернобыле, загрязнении рек и армянах. Если вам она ни к чему, так не берите».

Обнаружив злосчастную книжку между Хью Уолполом и Томасом Харди, она завернула ее в газету, сунула в пластиковую сумку, а сумку повесила на ручку входной двери, потому что теперь она помнила решительно все и так же решительно все забывала.

Дверная ручка, которую мы вместе купили на толкучке, подумала она с мимолетным сожалением. Володя, мой бедный, дорогой, невыносимый муж, вынужденный лелеять свою историческую ностальгию в коммунальной квартире с пятью такими же, как ты, дурно попахивающими соломенными вдовцами.

Закончив все телефонные разговоры, она быстро полила цветы и пошла будить близнецов. Они спали, лежа в кровати по диагонали. Наклонившись, Катя глядела на них с благоговейным страхом, не находя в себе смелости до них дотронуться. Потом улыбнулась, чтобы, проснувшись, они сразу увидели ее улыбку.

И следующий час она целиком посвятила им, как старалась делать каждый день. Сварила кашу, очистила им по апельсину и пела с ними всякие дурацкие песни, а в завершение их самую любимую, «Марш энтузиастов», которую они прорычали хором, прижав подбородки к груди, как герои революции,— не зная, правда (в отличие от Кати, которую это каждый раз очень забавляло), что они заодно поют мотив нацистского марша. Пока они пили чай, она завернула им завтрак — котлеты с белым хлебом для Сергея и с черным — для Анны. Потом пристегнула Сергею воротничок и поправила на Анне красный галстук, после чего причесала обоих: директором школы был шовинист, который проповедовал, что опрятность — дань уважения государству.

Проделав все это, она нагнулась и притянула близнецов к себе — такая последний месяц у нее завелась привычка по понедельникам.

— Ну-ка, что вы сделаете, если однажды вечером мама не придет домой? Если ей придется умчаться на какую-нибудь конференцию или навестить больного? — спросила она весело.

— Позвоним папе и попросим его прийти и посидеть с нами,— сказал Сергей, высвобождаясь из ее рук.

— А я пригляжу за дядей Матвеем,— сказала Анна.

— Но если и папы не будет, что вы тогда сделаете?

Они захихикали: Сергей — потому, что такое предположение его смутило, Анна — от сладкого испуга перед возможной бедой.

— Пойдем к тете Оле! — закричала Анна.— Заведем игрушечную канарейку тети Оли! Заставим ее петь!

— А какой у тети Оли телефон? Его вы спеть можете?

Они пропели номер, хохоча все втроем. Близнецы продолжали смеяться, шумно сбегая впереди нее по вонючей лестнице, которая подросткам служила любовным гнездышком, а алкоголикам — распивочной и, видимо, почти всем, кроме них троих,— уборной. Выйдя на солнечный свет, они, держась за руки, пошли через парк к школе, Катя — посередине.

— Товарищ, какая сегодня главная цель вашей жизни? — спросила Катя Сергея с притворной свирепостью, поправив ему воротничок.

— Всеми своими силами служить народу и партии.

— И?

— И не дать Виталию Карпову слямзить мой завтрак!

Под новый взрыв смеха близнецы побежали от нее вверх по каменным ступенькам. Катя махала им вслед, пока они не скрылись за дверью.

В метро она видела все слишком четко и как бы на расстоянии. Ей бросилась в глаза угрюмость пассажиров, словно сама она не принадлежала к их числу. И все они читали московские газеты — картина, которая была бы немыслима год назад, когда газетами можно было пользоваться разве что как туалетной бумагой или для оклейки окон. В любой другой день Катя, может быть, тоже почитала бы если не газету, так книгу или рукопись. Но нынче, несмотря на все попытки избавиться от воспоминаний о своем идиотском сне, она жила многими жизнями одновременно. Она варит рыбный суп для своего отца, чтобы загладить какую-то свою проказу. Она, изнывая, сидит за пианино, а старенькая Татьяна Сергеевна выговаривает ей за легкомыслие. Она бежит по улице и не может проснуться. Или улица бежит за ней. Наверное, поэтому она чуть не забыла сделать пересадку.

Подходя к зданию, где помещалась ее редакция, она в который раз подумала, что этот робкий модернизм потрескавшегося дерева и слезящегося бетона больше годился бы для общественного бассейна, чем для государственного издательства. В вестибюле она с удивлением увидела рабочих, которые пилили и стучали молотками, и на секунду ее посетила отвратительная мысль, что они строят эшафот для ее казни.

— Средства были выделены нам шесть лет назад,— прохрипел старик Морозов, который всегда перекидывался с ней словечком.— И вот теперь какой-то чин соблаговолил подписать приказ.

Лифт, как обычно, был на ремонте. Лифты и церкви в России, подумала она, всегда на ремонте. Она начала быстро подниматься по лестнице, сама не понимая, почему торопится, во весь голос весело здороваясь с теми, кто в этом нуждался. Позже, вспомнив об этой спешке, она подумала, не подгонял ли ее подсознательно трезвон телефона у нее в комнате: ведь когда она вошла, он просто надрывался, требуя избавить его от невыносимых страданий.

Она схватила трубку и, не переведя дыхания, сказала «да», но, очевидно, поторопилась, потому что услышала мужской голос, который по-английски просил к телефону мадам Орлову.

— Мадам Орлова слушает,— ответила она по-английски.

— Мадам Екатерина Орлова?

— А кто это? — спросила она улыбаясь.— Лорд Питер Уимси? [1] Кто говорит?

Кто-то из моих глупых друзей меня разыгрывает. Муж Любы, опять надеется на свидание. Но тут во рту у нее пересохло.

— Боюсь, вы меня не знаете. Меня зовут Скотт Блейр. Барли Скотт Блейр из лондонского издательства «Аберкромби и Блейр». Я здесь по делу. По-моему, у нас есть общий друг. Ники Ландау. Ники категорически потребовал, чтобы я вам позвонил. Ну так здравствуйте!

— Здравствуйте! — услышала Катя свой ответ и почувствовала, как ее захлесты-

[1] Сыщик, сквозной персонаж детективных романов английской писательницы Дороти Сэйерс.

вает горячая волна и под ложечкой возникает щемящая боль. В эту секунду в комнату вошел Назьян, руки в карманах и небритый — в доказательство своей интеллектуальности. Увидев, что она разговаривает, он ссутулился и обиженно надул губы, придвинул к ней свое уродливое лицо, давая понять, чтобы она повесила трубку.

— Бонжур вам, Катя Борисовна,— саркастически сказал он.

Но в трубке снова раздался голос, подчиняя ее себе. Голос был энергичным, и она предположила, что его обладатель высокого роста. Голос был уверенным, и она решила, что этот человек самонадеян — англичанин, который носит дорогие костюмы, некультурен и ходит, заложив руки за спину.

— Послушайте, звоню я вам вот почему,— говорил он.— Ники же обещал найти для вас одно из первых иллюстрированных изданий Джейн Остин, так? — Он не дал ей времени ответить, так или не так.— И я привез с собой пару томиков, очень недурных, по правде говоря, и — не могли бы мы договориться, где я могу вам их передать? Так, чтобы было удобно нам обоим.

Устав пялиться на нее, Назьян, как обычно, стал перебирать бумаги у нее на столе.

— Вы очень любезны,— сказала она в трубку скучнейшим голосом, а свое лицо сделала безжизненным и официальным. Ради Назьяна. И заперла свои мысли. Ради себя.

— Ники еще прислал вам тонну джексоновского чая,— продолжал голос.

— Тонну? — сказала Катя.— О чем вы говорите?

— А я даже не знал, что фирма «Джексон» еще существует. У них был чудесный магазин на Пиккадилли, в нескольких шагах от «Хэтчарда». Короче говоря, передо мной сейчас лежат три разных сорта их чая...

Он вдруг пропал.

Его арестовали, подумала она. Он и не звонил вовсе. Я опять сплю. Господи, что же мне теперь делать?

— ... Ассамский. Дарджилингский. Оранж пекоэ. А что значит «пекоэ»? По-моему, звучит как название тропической птички.

— Не знаю. Но вероятно, это растение.

— Вероятно, вы правы. В любом случае вопрос в том, как мне вам все это передать? Доставить вам? Или, может быть, вы заехали бы в гостиницу, где мы могли бы официально представиться друг другу и выпить по рюмочке?

Ей начинало нравиться его многословие. Он давал ей время обрести равновесие. Катя провела пальцами по волосам, обнаружив, к своему удивлению, что они совсем не растрепались.

— Вы мне не сказали, в какой гостинице остановились,— строго возразила она.

Назьян неодобрительно дернул головой.

— А ведь правда! Как глупо с моей стороны. Я в «Одессе». Знаете «Одессу»? Напротив старых бань. Она мне очень нравится. Я всегда прошу, чтобы меня поселили там, хотя не всегда получается. Днем у меня полно всяких встреч — как обычно, когда приезжаешь ненадолго,— но вечера относительно свободны; конечно, если вам удобно. Я хотел спросить: может быть, сегодня же? Зачем откладывать? Сегодня вечером вам удобно?

Назьян поднес зажигалку к очередной вонючей сигарете, хотя вся редакция знала, что она ненавидит сигаретный дым. Закурив, он откинул голову и затянулся, вытянув трубочкой почти женские губы. Она нахмурилась, но он не обратил внимания.

— Пожалуй, это меня устраивает,— сказала она воинственно.— Вечером мне надо быть на официальном приеме неподалеку оттуда. Прием в честь важной венгерской делегации,— добавила она, не зная толком, кого хочет поразить.— Мы его давно ждали.

— Замечательно. Чудесно. А время? Шесть? Восемь? Что вам больше подходит?

— Прием назначен на шесть. Я приду примерно четверть девятого.

— Договорились: примерно-четверть-девятого. Как меня зовут, вы запомнили? Скотт Блейр. Скотт — помните, в Антарктиде? Я высокий, очень дряхлый, мне около двухсот лет. Ношу очки, сквозь которые ничего не вижу. Но Ники сказал, что вы советский вариант Венеры Милосской, так что вас я, конечно, в любом случае узнаю.

— Нелепость какая! — воскликнула она, засмеявшись помимо собственной воли.

— Я буду околачиваться в вестибюле в ожидании вас, но почему бы на всякий случай мне не оставить вам мой телефон. У вас есть карандаш?

Повесив трубку, она, сверкая глазами, повернулась к Назьяну и выплеснула на него переполнявшие ее противоречивые чувства:

— Григорий Тигранович! Какое положение вы здесь ни занимаете, но права вламываться в мою комнату, рыться в моих бумагах и слушать мои телефонные разговоры у вас нет! Вот ваша книга. Если вы хотите мне что-нибудь сказать, оставьте на потом.

Тут она схватила папку с переводом книги о достижениях кубинских сельскохозяйственных кооперативов и ледяными пальцами принялась листать страницы, делая вид, будто считает их. Прошел целый час, прежде чем она позвонила Назьяну.

— Вы должны простить мою раздражительность,— сказала она.— На днях умер мой близкий друг. Я сама не своя.

К обеду она изменила свои планы. Морозов не умрет без своих билетов, директор магазина — без экзотического мыла, Ольга Станиславская — без отреза. Она пошла пешком, потом поехала на автобусе, а не на такси. И снова пошла пешком, проходными дворами, пока не вышла к обветшалому складу в узком проулке. «Так ты можешь со мной связаться, когда понадобится,— сказал он.— Сторож — мой друг. Он даже не будет знать, кто подает сигнал».

Надо верить в то, что делаешь, напомнила она себе.

Я верю. Абсолютно.

В руке она держала открытку с репродукцией картины Рембрандта из собрания ленинградского Эрмитажа. «Привет всем» было написано на обороте. Подпись «Алина» и нарисованное сердце.

Вот эта улица! Она стоит на ней. Улица из ее кошмарного сна. Она нажала на кнопку звонка, позвонила три раза и подсунула открытку под дверь.

Прекрасное московское утро, сияющее и манящее, горный воздух — день для отпущения всех грехов. Разделавшись с телефонным звонком, Барли вышел из гостиницы, и, стоя на теплом тротуаре, расслабил руки и плечи, и покрутил головой, отключая все лишние мысли, и позволил городу заглушить все страхи смешением запахов и голосов. Вонь русского бензина, табака, дешевых духов и речной воды — привет! Еще два дня здесь, и я перестану замечать, что дышу вами. Кавалерийские наскоки легковушек — привет! Грязные грузовики грохочут в погоне по рытвинам. А между ними — жутковатая пустота. Лимузины с затемненными стеклами, дома без вывесок, в преждевременных трещинах — что вы прячете? Учреждения, казармы или школы? Мальчики с одутловатыми лицами курят в подъездах и ждут. Шоферы читают газеты в машинах, стоящих у тротуаров, и ждут. Безмолвная группа важных мужчин в шляпах уставилась на закрытую дверь и ждет.

«Отчего это всегда привлекало меня? — задал он себе вопрос, рассматривая свою жизнь в прошедшем времени, как с недавних пор вошло у него в привычку.— Отчего я все время сюда возвращался?» Он испытывал пьянящую приподнятость и ничего не мог с собой поделать. Он не привык к страху.

Из-за того, что они обходятся тем, что у них есть, решил он. Из-за того, что они легче переносят лишения и неудобства, чем мы. Из-за их любви к анархии, и ужаса перед хаосом, и напряжения между тем и другим.

Из-за того, что Бог всегда находил предлоги не сходить сюда.

Из-за их всеобъемлющего невежества и блеска, который сквозь него прорывается. Из-за их чувства юмора, не хуже нашего, и даже лучше.

Из-за того, что они — последнее великое белое пятно в открытом и переоткрытом мире. Из-за того, что они так стараются быть как мы, но начинают так издалека.

Из-за огромного сердца, бьющегося среди огромных развалин. Из-за того, что развалины эти — я сам.

Я приду примерно-четверть-девятого, сказала она. Что услышал он в ее голосе? Опасение? Опасение за кого? За себя? За него? За меня? В нашей профессии связные — уже материал.

Смотри наружу, приказал себе Барли. Существовать можно только снаружи.

Из метро вышла группа девочек в ситцевых платьях и мальчиков в хлопчатобумажных куртках, торопясь то ли на работу, то ли на занятия. Их угрюмые лица озарялись смехом от одного слова. Заметив иностранца, они хладнокровно его рассмотрели — круглые выпуклые очки, поношенные, сделанные на заказ ботинки, старый костюм типичного империалиста. Только в Москве Барли Блейр соблюдал буржуазные требования к одежде.

Нырнув в людской поток, он отдался его течению: ему было все равно, куда он

идет. По контрасту с его нарочито хорошим настроением очереди, уже выстроившиеся у продовольственных магазинов, казались беспокойными и полными тревоги. Среди прохожих брели герои труда и ветераны войны в унылых костюмах и в кирасах из побрякивающих медалей, и вид у них был такой, словно они уже опоздали туда, куда направляются. В самой их медлительности таился протест. В новых условиях не делать ничего — уже означает принадлежность к оппозиции. Потому что, ничего не делая, мы ничего не изменяем. А ничего не изменяя, мы цепляемся за то, что нам понятно, пусть это даже решетка нашей собственной тюрьмы.

Я приду примерно-четверть-девятого.

Оказавшись на набережной широкой реки, Барли опять замедлил шаг. Вдали в безоблачные небеса уходили сказочные купола Кремля. Иерусалим с вырванным языком, подумал он. Столько колоколен — и нигде не услышишь колокола. Столько церквей — и нигде не услышишь молитвы.

Позади него раздался голос, он обернулся — слишком резко — и увидел пожилую празднично одетую пару. Они явно спрашивали у него, как пройти куда-то. Но Барли, при всей своей изумительной памяти, знал по-русски только несколько слов. Это была музыка, которую он слушал часто, но так и не собрался с духом, чтобы проникнуть в ее тайны.

Он засмеялся и состроил извиняющуюся мину.

— Я не говорю по-русски, старина. Я империалистическая гиена. Англичанин.

Старик дружески сжал его кисть.

Во всех чужеземных городах, где ему довелось побывать, иностранцы спрашивали у него дорогу в неизвестные ему места на непонятных ему языках. Но только в Москве его благословляли за это неведение.

Он пошел назад, останавливаясь перед немытыми витринами, притворяясь, будто внимательно изучает то, что было в них выставлено. Раскрашенные деревянные куклы. Для кого? Запыленные консервные банки с компотом или, может, рыбой? Подвешенные на красных лентах неряшливые пакеты, а в них тайна — может быть, даже пекоэ. Банки с чем-то маринованным, может быть экспонатами анатомического музея, в свете десятиваттных лампочек. Он приближался к своей гостинице. Крестьянка с пьяными глазами ткнула в него букетом увядших тюльпанов, завернутых в газету.

— Очень любезно с вашей стороны,— воскликнул он и, порывшись в карманах, нашел среди других бумажек рубль.

У подъезда гостиницы стояла зеленая «лада» с помятым радиатором. На карточке у ветрового стекла было выведено «ВААП». Перегнувшись через капот, шофер снимал дворники, чтобы их не украли.

— Скотт Блейр? — спросил его Барли.— Вы не ко мне?

Шофер, не обращая на него ни малейшего внимания, продолжал возиться с дворниками.

— Блейр? — сказал Барли.— Скотт?

— Тюльпанчики для меня, дусик? — спросил Уиклоу, возникая сзади.— Все в порядке,— добавил он тихо.— Хвоста нет.

Уиклоу подстрахует вас с тыла, сказал Нед. Уж кто-кто, а Уиклоу узнает, следят за вами или нет. Уиклоу — и кто еще? Вчера вечером, как только они зарегистрировались в гостинице, Уиклоу исчез до поздней ночи, и, ложась спать, Барли увидел из окна, что он стоит на улице и разговаривает с двумя молодыми людьми в джинсах.

Они сели в машину. Барли бросил тюльпаны к заднему стеклу. Уиклоу сел впереди, весело болтая с шофером на прекрасном русском. Водитель громко захохотал. Уиклоу тоже засмеялся.

— Поделитесь? — спросил Барли.

Но Уиклоу уже рассказывал:

— Я спросил его, хотел бы он возить нашу королеву, когда она приедет с официальным визитом. У них есть такая поговорка: если украсть, то миллион. Если трахнуть, то королеву.

Барли опустил стекло и стал отбивать ритм по обивке дверцы. Жизнь была сплошным удовольствием до примерно-четверть-девятого.

— Барли! Дорогой мой, добро пожаловать в страну варваров. Бога ради, не жмите мне руку через порог, у нас и без этого неприятностей хватает! Вы прекрасно выгля-

дите! — с обидой в голосе пожаловался Алик Западний, когда они рассмотрели друг друга.— Можно ли поинтересоваться, почему я не вижу никаких признаков похмелья? Вы влюблены, Барли? Или снова развелись? Что этакое вы натворили, раз уж решили передо мной исповедоваться?

Изнеможенное лицо Западнего было повернуто к Барли, глаза отчаянно вглядывались на него; на впалых щеках навсегда отпечатались тени тюремного заключения. Когда Барли впервые с ним познакомился, Западний был вроде бы переводчиком в немилости, работал под другими фамилиями и вопрос о нем оставался открытым. Теперь он был вроде бы героем перестройки, в белом воротничке не по размеру и черном костюме.

— Я услышал Глас, Алик,— объяснил Барли, ощущая прилив былой нежности и потихоньку передавая ему связку старых номеров «Таймс», завернутых в серую бумагу.— В кровати с умной книжкой каждый вечер в десять. Познакомься с Леном Уиклоу, нашим знатоком русского. Знает о вас больше, чем вы сами, не так ли, Леонард Карл?

— Слава богу, хоть кто-то знает!— воскликнул Западний, тщательно игнорируя подарок.— Теперь, когда наша великая русская тайна открыта всем взорам, нас охватила неуверенность. Кстати, мистер Уиклоу, а что вы знаете о вашем новом шефе? Слышали ли вы, например, что он в одиночку решил принести свет нового образования в Советский Союз? Правда-правда! У него очаровательное представление о ста миллионах необразованных советских рабочих, которые на досуге стремятся к самоусовершенствованию. Он собирался продать им целые серии книг о том, как самому постигнуть греческий, тригонометрию и основы домоводства. Нам пришлось объяснить ему, что рядовой советский человек считает себя конечным продуктом и на досуге напивается. А знаете ли вы, что́ мы купили у него взамен, чтобы он не очень огорчался? Книгу о гольфе! Вы себе и не представляете, сколько наших почтенных граждан просто заворожены вашим капиталистическим гольфом.— И торопливо (все же довольно опасная шутка): — Не то чтобы у нас здесь были капиталисты. Да ни в коем случае!

Они сидели вдесятером за желтым столом под образом Ленина, сложенным из разных кусочков полированного дерева. Говорил Западний, другие слушали и курили. Насколько знал Барли, ни у кого из них не было полномочий подписать контракт или одобрить сделку.

— А теперь, Барли, что это за чепуху вы городите, будто приехали сюда покупать советские книги? — любезно начал Западний, вздернув полумесяцы бровей и сложив кончики пальцев на манер Шерлока Холмса.— Вы, англичане, наших книг не покупаете, а, наоборот, заставляете нас покупать ваши. А к тому же, вы разорены — во всяком случае, так нам сообщили наши лондонские друзья. По их словам, «А. и Б.» питается воздухом господним и шотландским виски. Лично я считаю, что это отличная диета. Но зачем вы приехали? По-моему, вам просто нужен был предлог для того, чтобы снова у нас побывать.

Время шло. Желтый стол заливали солнечные лучи. А над ним плавали облака сигаретного дыма. В мозгу Барли возникали и исчезали фотографические, черно-белые образы Кати. Дьявол — любимое оправдание любой девицы. Они пили чай из красивых ленинградских чашек. Выбрав Уиклоу в качестве своего слушателя, Западний произнес свое стандартное предостережение против заключения сделок напрямую с советскими издателями: круглосуточная война между ВААПом и остальным миром, видимо, бушевала вовсю. Вошли два бледных человека, послушали и опять вышли. Уиклоу завоевывал всеобщее расположение, щедро угощая присутствующих французскими сигаретами «голуаз».

— Алик, нам впрыснули новые капиталы! — Собственное объяснение доносилось до Барли откуда-то издалека.— Времена изменились. Сегодня Россия — последний крик. Стоит мне сказать денежным мальчикам, что я разрабатываю русский список, и они помчатся за мной с такой скоростью, на какую способны их короткие жирные ножки.

— Но, Барли, эти м а л ь ч и к и, как вы их называете, могут очень быстро превратиться в мужчин.— Западний, человек искушенный, обеспечил новый взрыв послушного смеха.— Особенно если они возжаждут, чтобы им заплатили сполна.

— Алик, именно так я изложил все в телексе. Может быть, у вас не было времени его прочесть,— сказал Барли, показав когти.— Если дела пойдут, как мы планируем, «А. и Б.» еще до конца года начнет выпускать новую серию, исключительно русскую. Художественная литература, документалистика, поэзия, книги для детей, научная лите-

ратура. Мы задумали дешевую серию по популярной медицине. Темы самые разные, как и авторы. И нам хотелось бы, чтобы в ней приняли участие настоящие советские врачи и ученые. Нас не интересует овцеводство в монгольских степях или рыбоводство за Полярным кругом, но если вы можете предложить стоящие темы, мы здесь затем, чтобы слушать и покупать. Свой список мы объявим на следующей московской книжной ярмарке, и если дела пойдут хорошо, то выпустим первые шесть книг будущей весной.

— Простите, Барли, но у вас есть рынок сбыта или вы, как прежде, уповаете на вмешательство свыше? — спросил Западний со своей вычурной деликатностью.

Преодолев искушение одернуть Западнего, Барли продолжал:

— Мы ведем переговоры о сбыте с несколькими крупными издательствами и скоро сделаем официальное заявление. Исключая художественную литературу. Для художественной литературы мы используем нашу собственную пополненную команду,— сказал он, абсолютно позабыв, почему они сочинили такую странную комбинацию, да и сочинили ли вообще.

— Художественная литература — все еще флагман «А. и Б.», сэр,— истово объяснил Уиклоу, выручая Барли.

— Художественная литература всегда должна быть флагманом,— поправил его Западний.— Я бы сказал, что роман — величайший марафон. Разумеется, это мое личное мнение. Во всяком случае, роман — высочайший вид искусства. Выше поэзии, выше рассказа. Только, пожалуйста, не цитируйте меня.

— Так сказать, сверхдержава в литературе, сэр,— поддакнул Уиклоу.

Западний с довольным видом повернулся к Барли.

— Что касается художественной литературы, то нам бы хотелось в данном случае использовать собственного переводчика и получить за перевод дополнительные пять процентов,— сказал он.

— Пожалуйста,— благодушно сказал Барли, словно бы все еще во сне.— Нынче для «А. и Б.» такие деньги — мелочь.

Но, к удивлению Барли, Уиклоу поспешил вмешаться:

— Извините, сэр, но это двойные выплаты. Мне кажется, мы, пойдя на это, не выживем. Наверное, вы не так поняли господина Западнего.

— Он прав,— произнес Барли, резко выпрямляясь.— Каким образом, черт возьми, мы можем позволить себе лишние пять процентов?

Чувствуя себя иллюзионистом, который приступает к следующему фокусу, Барли извлек из дипломата папку и высыпал оттуда полдюжины заблестевших на солнце проспектов.

— О нашем американском партнере можете прочитать на второй странице,— объявил он.— «Потомак — Бостон». «А. и Б.» приобретает исключительные права на издание в Англии советских произведений и передает их в Северную Америку «Потомаку». У них есть филиал в Торонто, поэтому мы выйдем и в Канаду. Так, Уиклоу?

— Совершенно верно, сэр.

И как только Уиклоу успел выучить всю эту белиберду?

Западний все еще изучал проспект, переворачивая одну за другой плотные безукоризненные страницы.

— Барли, это дерьмо отпечатали вы? — вежливо поинтересовался он.

— «Потомак»,— сказал Барли.

— Но река Потомак находится далеко от города Бостона,— возразил Западний, демонстрируя свои познания в географии Америки тем немногим, кто ее знал.— Если только ее недавно не повернули, то она течет через Вашингтон. Чем же они столь привлекательны друг для друга — город Бостон и эта река? Барли, речь идет о старой компании или о новой?

— Новой в нашей сфере. Старой по времени возникновения. Торговое предприятие, сменившее Вашингтон на Бостон. Новые капиталовложения. Разнообразная деятельность. Кинопроизводство, автостоянки, игровые автоматы, проститутки и кокаин. Обычный набор. Книги для них — побочное поле деятельности.

Раздался смех, а ему слышался голос Неда: «Поздравляю, Барли. У Боба отыскался в Бостоне богатый приятель, который готов взять вас в партнеры. Вам останется только тратить его деньги».

Боб в твидовом пиджаке, с подметками, как утюги, улыбался улыбкой покупателя.

Одиннадцать тридцать. До примерно-четверть-девятого — восемь часов сорок пять минут.

— Шофер спрашивает, чего ему ждать, когда он познакомится с королевой,— радостно завопил Уиклоу через спинку сиденья.— Он просто загорелся. Берет ли она взятки? Рубит ли людям головы за мелкие нарушения? И вообще, как живется в стране, которой управляют две свирепые бабы?

— Скажите ему, что это утомительно, но мы справляемся,— ответил Барли, широко зевая.

Освежив себя глотком из фляжки, он откинулся на сиденье и очнулся, когда уже шел за Уиклоу по тюремному коридору. Только вместо криков заключенных он услышал, как в сумраке свистит чайник и стучат костяшки счетов. А мгновение спустя Уиклоу и Барли уже стоят в конторе английской железнодорожной компании середины тридцатых годов. С чугунных балок свисают засиженные мухами лампочки и парализованные электрические вентиляторы. За огромными, как печки, допотопными пишущими машинками с русским шрифтом восседают амазонки в косынках. Пыльные полки забиты гроссбухами. От пола до подоконников громоздятся груды коробок из-под обуви, набитых коричневыми папками.

— Барли! Черт! Добро пожаловать в объятия Освобожденного Прометея. По слухам, вы наконец разжились деньгами. А кто их вам дал? — Из пыльных джунглей на них прыгает человек средних лет в военной форме, как у Фиделя Кастро.— Будем иметь дело напрямую, идет? К черту вааповских засранцев!

— Юрий, рад вас видеть! Знакомьтесь! Это Лен Уиклоу, наш редактор, который говорит по-русски.

— Вы шпион?

— Только в свободное время, сэр.

— Черт! Милый мальчик! Ну, прямо мой младший брат!

Они на Мэдисон авеню. Жалюзи, карты по стенам, кресла. Юрий — толстый, жизнерадостный еврей. Барли привез ему бутылку виски «Блэк лейбл» и колготки для его новой красавицы жены. Отвинтив крышку, Юрий, не слушая возражений, наливает виски в чайные чашки. Они погружаются в русский эфир. Разговоры о Булгакове, Платонове, Ахматовой. Разрешат ли Солженицына? А Бродского? Обсуждается пестрый список современных английских писателей, которые неизвестно почему снискали расположение официальных властей, а с ним и славу в России. Об одних Барли даже не слышал, к другим испытывает отвращение. Взрывы хохота, тосты, последние сведения об английских друзьях, смерть вааповским засранцам! Россия меняется с каждым часом, Барли слышал об этом? Видел ли Барли в прошлый четверг статью в «Московских новостях» о неофашистских дуботолах из «Памяти» с их самоновейшим национализмом, с их антисемитизмом и антивсем кому возможно, кроме них самих? А статья в «Огоньке» о Зигмунде Фрейде? А позиция «Нового мира» по отношению к Набокову? Редакторы, художники, переводчики стекаются в обычном поразительном количестве, но ни единой Кати среди них нет. Все пьяны, даже те, кто отказался пить. Их знакомят с великим писателем по имени Миша, которого усаживают так, чтобы поклонники могли его лицезреть.

— Миша еще в тюрьме не сидел,— виновато объясняет Юрий под всеобщий хохот.— Но если ему повезет, может, его и посадят, пока еще не поздно, и так, чтобы его опубликовали на Западе!

Они говорят о последних шедеврах советской художественной литературы. Юрий из своего списка выбрал всего только восемь, но каждый, Барли,— заведомый бестселлер. Опубликуйте их и вы сможете открыть для меня счет в швейцарском банке. Лихорадочные поиски пластиковых сумок, и Уиклоу вручаются восемь машинописных копий неизданных рукописей, бледных и смазанных: ведь это мир, где ксероксы — все еще запретные орудия крамолы.

Они говорят о театре и об Афганистане.

— Скоро все мы встретимся в Лондоне! — кричит Юрий, как безумный игрок, поставивший на карту все.— Я пришлю к вам своего сына, хорошо? А вы ко мне своего пришлете? Слушайте, мы обменяемся заложниками и уж не сбросим бомбы друг на друга.

Барли открывает рот, и все замолкают, и продолжают молчать, когда вступает великий писатель Миша. Уиклоу переводит, а Юрий и трое других придираются к его переводу. Миша придирается к придиркам. Начинается спад.

Кто-то желает знать, почему в Великобритании еще правит фашистская консервативная партия. Почему пролетариат не скинет этих сволочей? Барли выдвигает нечто малооригинальное: демократия — худшая из систем, исключая все прочие. Никто не смеется. Может, они это уже слышали, может, им это не нравится. Когда виски выпито, уйти следует, пока еще улыбки не совсем увяли. Как англичане могут проповедовать что-то о правах человека, угрюмо спрашивает кто-то, если сами они поработили ирландцев и шотландцев? Почему вы поддерживаете это мерзкое правительство в Южной Африке? — визжит девяностолетняя блондинка в бальном платье. Я не поддерживаю, говорит Барли. Честное слово, нет.

— Послушайте,— говорит Юрий у двери.— Держитесь подальше от этой сволочи Западнего, хорошо? Я не утверждаю, что он из КГБ, я лишь хочу сказать, что только чертовски верные друзья могли вернуть его в колоду. Понимаете, что я имею в виду?

Они обнялись уже много раз.

— Юрий,— говорит Барли.— Моя старая мама воспитала меня в вере, что вы все из КГБ.

— И я тоже?

— А вы особенно. Она говорила, что вы самый заядлый.

— Я вас люблю. Слышите? Присылайте ко мне вашего сына. Как его зовут?

Тринадцать тридцать — и они опаздывают на час к следующей ступеньке по трудной дороге к примерно-четверть-девятого.

Темные деревянные панели, чудесная еда, услужливые официанты, атмосфера баронского охотничьего домика. Они сидят в ресторане Союза писателей за длинным столом под балконом, во главе стола — снова Алик Западний. Несколько молодых многообещающих писателей лет шестидесяти подходят, слушают и удаляются, унося с собой свои великие мысли. Западний указывает на тех, кто недавно вышел из тюрьмы, и тех, кто, как он надеется, скоро их там заменит. Бюрократы от литературы пододвигают стулья и практикуются в разговорной английской речи. Уиклоу переводит, Барли блещет, все пьют фруктовый сок и остатки «Блэк лейбл». Мир скоро станет неплохим местом, уверяет Барли Западнего так, будто он большой специалист по судьбам мира.

И необдуманно цитирует Зиновьева:

— Когда все это кончится? Когда люди перестанут выстраиваться в очередь перед гробницей? — Намек на мавзолей Ленина.

На этот раз аплодисменты не столь оглушительны.

В четырнадцать часов — в соответствии с новыми законами против пьянства и с точностью до минуты — официант приносит графин с вином, а Западний в честь Барли вытаскивает из своего древнего портфеля бутылку перцовки.

— Юрий сказал вам, что я из КГБ? — скорбно спрашивает он.

— Вовсе нет,— решительно отвечает Барли.

— Да бросьте, вы же не исключение. Он говорит это всем иностранцам. Собственно говоря, он меня немножко тревожит. Очень милый человек, но все знают, что он отвратительный работник, так как же мог еврей получить такую должность? А на прошлой неделе его маленького сына крестили в Загорске. Как вы это можете объяснить?

— Алик, меня это не касается. Живи сам и давай жить другим. Финито.— И в сторону: — Уиклоу, заберите меня отсюда, я трезвею.

К шести часам, после еще двух многословнейших встреч и чудом отвертевшись от десятка приглашений на вечер, Барли возвращается в гостиницу, чтобы сразиться с душем и протрезветь, а Уиклоу в это время бодро выкрикивает за дверью всякие издательские соображения для микрофонов. Ибо Уиклоу следует инструкциям Неда оставаться с Барли до последнего момента на случай, если тот впадет в мандраж или перепутает реплики.

7

В тот третий год Великой Советской Перестройки гостиница «Одесса» отнюдь не считалась драгоценнейшей жемчужиной в спартанском венце московского туристического бизнеса, но не принадлежала и к самым худшим. Она была обшарпанной, ветхой и услуги оказывала очень избирательно, тяготела скорее к рублю, нежели к доллару, а потому и таких прелестей, как валютные бары или группа утомленных дорогой миннесотцев, слезно требующих свой утерянный багаж, она не знала. В неизменно тусклом

освещении латунные лампы, арапы и двусветный обеденный зал с галереей приводили на ум скорее мрачное прошлое в момент его краха, чем феникса социализма, восстающего из пепла. Когда же вы выходили из вибрирующего лифта и храбро встречали хмурый взгляд дежурной по этажу, скорчившейся в своем загончике в окружении почерневших ключей и замшелых телефонных аппаратов, вам, вполне возможно, чудилось, что вас вернули в наиболее гнусные заведения вашей молодости.

Но с другой стороны, перестройка еще не обрела зримости. Она находилась на стадии слышимости, и только.

Тем не менее для тех, кто искал этого, «Одесса» в те дни обладала душой и, может быть, не лишилась ее и теперь. Милые дамы в регистратуре за стальными взглядами прячут доброе сердце; швейцары порой, подмигнув, пропускают вас к лифту, не спросив в пятый раз за день ваш гостиничный пропуск. Метрдотель, если его поощрить надлежащим образом, любезно проводит вас до вашего столика, надеясь взамен увидеть улыбку. А между шестью и девятью вечера вестибюль становится местом импровизированного парада бесчисленных наций Империи. Щегольски одетые администраторы из Ташкента, эстонские учительницы с льняными волосами, партийные функционеры с пламенными глазами из Туркмении и Грузии, директора заводов из Киева, флотские инженеры из Архангельска (не говоря уж о кубинцах, афганцах, поляках, румынах и взводе надменных, но потертых восточных немцев) вываливаются из аэропортовских автобусов, чтобы войти с улицы, залитой солнечным светом, в усмиряющую тьму вестибюля и повыть с волками по-волчьи, продвигая к стойке свой багаж не на дюймы, а на сантиметры.

И Барли, посланник не по своей воле, хотя и другой империи, в этот вечер занял свое место среди них.

Сначала он сел, но только для того, чтобы какая-то старушка, хлопнув его по плечу, потребовала, чтобы он уступил ей кресло. Потом он маялся в нише у лифта, где его чуть было не замуровали в стену из хлипких чемоданов и свертков. В конце концов он удалился под сень центральной колонны и остался там, извиняясь перед всеми, наблюдая, как открывается и закрывается стеклянная дверь; одной рукой он демонстративно прижимал к груди «Эмму» Джейн Остин, а в другой — держал фирменный огненно-красный полиэтиленовый пакет из аэропорта Хитроу.

Как хорошо, что Катя пришла его спасти.

Их встречу не окружала тайна, и в их поведении не было никакой маскировки. Их взгляды встретились, когда Катя еще протискивалась в дверь. Барли поднял руку, размахивая романом Джейн Остин.

— Привет, это я, Блейр! Отлично! — закричал он.

Катя исчезла и вновь возникла с победным видом. Слышала ли она его? Во всяком случае, она улыбнулась и возвела глаза к небу, безмолвно извиняясь за опоздание. Потом откинула со лба черную прядь, и Барли увидел два кольца, о которых упоминал Ландау.

«Видели бы вы, чего мне стоило сбежать оттуда»,— показывала она жестами над головами толпы. Или же: «Не смогла поймать такси ни за какие деньги».

«Ничего страшного»,— просигналил в ответ Барли.

Тут она перестала его замечать, нахмурилась и порылась в сумочке, ища удостоверение, чтобы предъявить его молодцу в штатском, чьей приятной обязанностью в тот вечер было останавливать при входе в гостиницу всех привлекательных женщин и спрашивать у них удостоверение личности. Она вынула красную книжечку — «Союз писателей», решил Барли.

Потом Барли самого отвлекли: на своем сносном, но спотыкающемся французском он попытался объяснить высокому палестинцу, что нет, старина, он не из группы борцов за мир, а также, к сожалению, не управляющий гостиницы и сильно сомневается, что здесь таковой имеется.

Уиклоу, который наблюдал за этими перипетиями с середины лестницы, позже доложил, что ему еще не приходилось видеть столь непринужденно разыгранной открытой встречи.

Как актеры, Барли и Катя были одеты для разных спектаклей. Катя — для мелодрамы: голубое платье со старинным кружевным воротничком, которое так поразило воображение Ландау; Барли — для английского фарса: отцовский костюм в тонкую полоску — рукава слишком коротки — и сильно поношенные оксфордские, от Дакера,

ботинки из оленьей кожи, которые могли бы показаться великолепными только коллекционеру былых наимоднейших вещей.

Встретившись, они почувствовали недоумение. Ведь знакомы они ие были и оставались ближе тем силам, которые их свели, чем друг другу. Подавив желание официально чмокнуть ее в щеку, Барли обнаружил, что пытается разгадать тайну ее глаз, не только очень темных и полных огня, но и с густой бахромой ресниц, наводивших на подозрение, уж не приклеила ли она сразу два комплекта искусственных? А поскольку лицо Барли приняло то неуловимо глуповатое выражение, которое появляется у английских мужчин определенного типа в присутствии красивых женщин, Катя заподозрила, что ее первое впечатление от их телефонного разговора было верным и он действительно высокомерен.

При этом они стояли так близко, что улавливали исходящую друг от друга теплоту, а Барли — даже аромат ее пудры. А вокруг по-прежнему слышались фразы на всевозможных языках.

— Вы ведь мистер Барли? — быстро сказала она и, словно задохнувшись, положила руку ему на локоть, потому что у нее была привычка дотрагиваться до людей — как бы в стремлении убедиться, что они настоящие.

— Да, безусловно, он самый, а вы Катя Орлова, знакомая Ники. Чудесно, что вы сумели прийти. И с такой пунктуальностью. Здравствуйте.

Фотографии не лгут, но и правды не говорят, думал Барли, глядя, как вздымается ее грудь в такт дыханию. Они не способны передать внутреннее сияние женщины, которая словно бы только узрела чудо, а вы — тот, кому она решила рассказать о нем раньше всех.

Кружение толпы в вестибюле заставило его опомниться. В такой суматохе два человека, с какой бы целью они ни встретились, не могли долго обмениваться любезностями — их неминуемо развело бы в разные стороны.

— А знаете что,— сказал он, будто только сию минуту ему в голову пришла такая блестящая мысль,— почему бы мне не угостить вас булочкой? Ники во что бы то ни стало хотел, чтобы я вас опекал. Он сказал, вы познакомились на той ярмарке. Забавная личность. И золотое сердце,— весело продолжал он, ведя ее к лестнице и табличке с надписью: «Буфет».— Соль земли. Хотя, конечно, в больших дозах и непереносим. Но о ком из нас этого не скажут?

— Да, мистер Ландау о ч е н ь добрый человек,— согласилась она, говоря, как и Барли, для невидимых слушателей, но тем не менее с полной естественностью.

— И на него можно положиться,— одобрительно сказал Барли, когда они поднялись на площадку второго этажа. Теперь и Барли в свою очередь почему-то словно задохнулся.— О чем Ники ни попросить, он все сделает. Правда, на свой лад. Но сделает, а свои мысли оставит при себе. По-моему, это примета настоящего друга, как вам кажется?

— Я бы сказала, что без осмотрительности дружбы быть не может,— ответила она, словно цитируя руководство для новобрачных.— Настоящая дружба должна основываться на взаимодоверии.

И Барли, хотя и горячо отозвался на такую глубокую мудрость, не мог не заметить, насколько похожи были ее интонации на интонации Гёте.

В помещении, отгороженном занавесом, на длинной стойке стоял единственный поднос с сахарным печеньем. Позади стойки три объемистые дамы в белых халатах и прозрачных пластиковых колпаках, споря о чем-то, несли караул у полкового самовара.

— Старина Ники и в книгах разбирается, на свой лад, конечно,— заметил Барли, все еще растягивая эту тему, когда они сели возле веревочного ограждения,— Bête intellectuelle [1], как говорят французы. Дамы, чай, пожалуйста. Чудесно.

Дамы продолжали оживленно беседовать. Катя смотрела на них без всякого выражения. Внезапно, к удивлению Барли, она вынула свое красное удостоверение и рявкнула (иное слово не подошло бы), и одна из них оторвалась от подруг, чтобы сдернуть с полки две чашки, и со злобой брякнула их на блюдца, будто вгоняя пулю в дуло старинного ружья. Все еще горя от злости, она наполнила водой огромный чайник. И прежде, чем вернуться к своим собеседницам, с нарастающей яростью извлекла откуда-то коробок спичек, включила газ и грохнула чайник на горелку.

---

[1] Здесь: разумное животное.

— Хотите печенья? — спросил Барли.— Foie gras? [1]

— Спасибо. Я уже ела пирожное на приеме.

— О, господи. Вкусное?

— Так себе.

— Но венгры приятные?

— Речи были какие-то несущественные. Я бы сказала — банальные. Но в этом я виню советскую сторону. Мы очень зажаты в общении с иностранцами даже из социалистических стран.

Запас реплик вдруг исчерпался. Барли вспоминал девушку, с которой был знаком в университете, дочь генерала, с кожей нежной, как лепестки роз, она жила ради того, чтобы отстаивать права животных, пока вдруг поспешно не вышла замуж за конюха, служившего в местном охотничьем обществе. Катя угрюмо вглядывалась в дальний конец комнаты, где тянулись правильные ряды высоких столиков. У одного стоял Леонард Уиклоу, смеясь над анекдотом вместе с молодым человеком его возраста. У другого — пожилой Rittmeister [2] в сапогах для верховой езды пил лимонад с девицей в джинсах и разводил руками, будто показывая размеры своих бывших имений.

— Не понимаю, почему я не пригласил вас поужинать,— сказал Барли и, встретившись с ней глазами, снова почувствовал, что падает прямо в них.— Наверное, не хочется быть слишком уж навязчивым. Во всяком случае, когда не уверен, что это сойдет тебе с рук.

— Это было бы неудобно,— ответила она, хмурясь.

Чайник запыхтел, но закаленные в борьбе буфетчицы даже не взглянули на него.

— По телефону как-то трудно разговаривать, верно? — сказал Барли, чтобы поддержать разговор.— То есть, беседуешь с искусственным цветком, а не с живым человеком. И вообще, я не терплю эту мерзость, а вы?

— Простите, чего вы не терпите?

— Телефон. Разговоры на расстоянии.— Чайник начал поплевывать на огонь.— Когда не видишь человека, о нем возникают самые дурацкие представления.

Пора, сказал он себе. Давай!

— Только на днях это же самое я говорил одному моему другу, тоже издателю,— продолжал он непринужденным тоном.— Мы обсуждали новый роман, который мне кто-то прислал. Я дал ему прочесть, строго под секретом, и он был совершенно ошеломлен. Сказал, что это лучшая вещь, которую он читал за последние годы. Настоящий динамит.

Ее глаза смотрели прямо на него и были пугающе правдивы.

— Но все-таки странно совсем не представлять себе автора,— добавил он весело.— Мне даже неизвестно, как его зовут. Не говоря уж об источниках его творчества или о том, как он научился своему ремеслу и так далее. Вы понимаете, о чем я? Примерно то же, что услышать несколько тактов и сомневаться, Брамс это или Коул Портер.

Она хмурилась. Она закусила губы и, казалось, облизывала их изнутри, чтобы увлажнить.

— По-моему, со столь личными вопросами обращаться к художнику нельзя. Некоторые писатели способны работать только в безвестности. Талант — это талант. Он не требует объяснений.

— Видите ли, я говорил не столько об объяснениях, сколько о достоверности,— объяснил Барли. (На ее щеке виден был пушок, но золотистый, в отличие от цвета ее волос.) — Вы ведь знаете издательское дело. Если, например, книга написана о горных племенах Северной Бирмы, то вполне можно поинтересоваться, а бывал ли автор где-нибудь южнее Минска. И уж тем более, если речь идет о таком значительном произведении, как это. Потенциальный покоритель всего мира, если верить моему приятелю. В данном случае, по-моему, мы вправе требовать, чтобы автор встал и объявил, насколько он компетентен.

Старшая дама, похрабрее остальных, лила кипяток в самовар. Вторая отпирала полковую кассу. Третья отсыпала чай в мерный стаканчик. Порывшись в карманах, Барли нашел трехрублевку. Увидев ее, кассирша разразилась отчаянной тирадой

— Насколько я понимаю, ей нужна мелочь,— растерянно сказал Барли.— Как и всем нам.

---

[1] Гусиный паштет (*франц.*).

[2] Ротмистр (*нем.*).

Потом он увидел, что Катя положила на стойку тридцать копеек и что, когда она улыбается, на щеках у нее появляются две ямочки. Он взял сумку и книги. Она взяла поднос с чашками. Едва они дошли до своего столика, она сказала с вызовом:

— Если автор обязан доказать, что говорит правду, то же относится и к его издателю.

— О, я за честность обеих сторон. Чем больше людей положат свои карты на стол, тем лучше будет для нас для всех.

— Мне говорили, что автора вдохновлял один русский поэт.

— Печерин,— ответил Барли.— Я навел о нем справки. Родился в тысяча восемьсот седьмом году в Киевской губернии.

Губы ее были у края чашки, глаза опущены. И хотя у него хватало других забот, Барли заметил, что в бьющих в окно лучах заходящего солнца ее не прикрытое волосами правое ухо стало совсем прозрачным.

— А кроме того, автора вдохновили некоторые мысли одного английского сторонника мира,— сказала она чрезвычайно строго.

— Как вы думаете, он хотел бы еще раз встретиться с этим англичанином?

— Это неизвестно. Но можно выяснить.

— Англичанин хотел бы с ним встретиться,— сказал Барли.— Им нужно сказать друг другу очень много. Где вы живете?

— С моими детьми.

— А где ваши дети?

Пауза — и у Барли вновь возникло неуютное чувство, что он нарушил какие-то неизвестные ему правила поведения.

— Мы живем недалеко от станции метро «Аэропорт». Теперь там уже нет никакого аэропорта. Просто жилые дома. Простите, мистер Барли, а сколько вы еще пробудете в Москве?

— Неделю. Можно узнать ваш адрес?

— Это неудобно. И все это время вы будете жить здесь, в «Одессе»?

— Если меня не вышвырнут вон. Чем занимается ваш муж?

— Не имеет значения.

— Он тоже работает в издательстве?

— Нет.

— Писатель?

— Нет.

— Так кто же он? Композитор? Пограничник? Повар? Как он обеспечивает вам тот образ жизни, к которому вы привыкли?

Он снова вынудил ее рассмеяться, что, казалось, доставило ей не меньшее удовольствие, чем ему.

— Он был директором деревообрабатывающего комбината,— сказала она.

— А директор чего он сейчас?

— Завода, изготовляющего сборные дома для сельской местности. Мы в разводе, как и все в Москве.

— Ну, а дети? Мальчики? Девочки? Сколько им лет?

Это оборвало смех. На мгновение ему показалось, что она сейчас встанет и уйдет, не попрощавшись. Ее голова гордо откинулась, лицо замкнулось, а глаза вспыхнули гневным огнем.

— Мальчик и девочка. Близнецы, им восемь лет. Но это к делу не относится.

— Вы прекрасно говорите по-английски. Лучше меня. Ваша речь точно родниковая вода.

— Благодарю вас. У меня врожденная способность к иностранным языкам.

— Не просто врожденная. Сверхъестественная. Будто английский язык остановился на Джейн Остин. Где вы его изучали?

— В Ленинграде. Я там ходила в школу. Английский — это моя страсть.

— А в каком университете вы учились?

— Тоже в Ленинградском.

— Когда вы переехали в Москву?

— Когда вышла замуж.

— А как вы познакомились?

— Мы с мужем знали друг друга с детства. А в школьные годы вместе ездили в летний лагерь.

— Ловили рыбу?

— И кроликов,— сказала она, и снова ее улыбка осветила все вокруг.— Володя — сибиряк. Он умеет спать в снегу, свежевать кролика и ловить рыбу подо льдом. Когда я выходила за него замуж, я не думала об интеллектуальных ценностях. И считала, что в мужчине главное — умение освежевать кролика.

— Мне было бы очень интересно узнать, как вы познакомились с автором,— объяснил Барли.

Он наблюдал, как она борется со своей нерешительностью, и заметил, с какой откровенностью ее глаза отражают смену настроений, то стремясь навстречу ему, то отступая. Но тут она низко наклонилась, взяла свою сумку и отбросила упавшие на лицо волосы. И ниточка между ними порвалась.

— Поблагодарите, пожалуйста, мистера Ландау за книги и чай,— сказала она.— А когда он в следующий раз приедет в Москву, я поблагодарю его сама.

— Не уходите. Пожалуйста. Мне нужен ваш совет.— Он понизил голос, который вдруг стал абсолютно серьезным.— Скажите, что мне делать с этой сумасшедшей рукописью. Я не могу это решить один. Кто ее написал? Кто такой Гёте?

— К сожалению, мне пора — дети ждут.

— Разве за ними никто не присматривает?

— Присматривает, конечно.

— Позвоните. Скажите, что задерживаетесь. Скажите, что встретили обаятельного мужчину, который хочет до утра разговаривать с вами о литературе. Мы ведь даже толком не познакомились. Мне нужно время. У меня к вам куча вопросов.

Взяв томики Джейн Остин, она пошла к выходу. Барли, как назойливый коммивояжер, поплелся рядом с ней.

— Пожалуйста,— сказал он.— Ну, послушайте. Мне, паршивому английскому издателю, необходимо обсудить с русской красавицей десять тысяч чрезвычайно серьезных вещей. Я не кусаюсь, честное слово. Давайте поужинаем вместе.

— Это неудобно.

— А в другой раз будет удобнее? Что мне делать? Воскурить благовония богам? Поставить на окне свечку? Я приехал сюда ради вас. Помогите мне помочь вам.

Его мольбы смутили ее.

— Вы дадите мне номер вашего телефона? — настаивал он.

— Это неудобно,— пробормотала она.

Они уже спускались по широкой лестнице. Взглянув на море голов, Барли заметил Уиклоу и его приятеля. Он сжал руку Кати. Не очень крепко, но все-таки вынуждая ее остановиться.

— Когда? — спросил он.

Он сжимал ее руку чуть выше локтя, ощущая под пальцами округлость крепкого бицепса.

— Может быть, я позвоню вам сегодня поздно вечером,— ответила она, смягчаясь.

— Без «может быть»!

— Я позвоню вам.

Оставшись на лестнице, он наблюдал, как она приблизилась к толпе, как словно бы перевела дух, прежде чем расставила локти и начала пробираться к двери. Его прошиб пот. Спину и плечи точно окутала влажная шаль. Ему необходимо было выпить. А больше всего ему хотелось избавиться от сбруи с микрофонами. Вот бы разбить их на мелкие кусочки, растоптать и отправить заказной бандеролью лично Неду!

Кривоносый Уиклоу несся вверх по ступенькам, ухмыляясь по-воровски, и порол какую-то чушь о биографии Бернарда Шоу, написанной советским автором.

Она высматривала такси, но почти бежала, ища разрядки в быстром движении. Небо затянуло тучами, звезд не было видно, лишь широкие улицы и отблеск фонарей на Петровке. Ей хотелось уйти подальше от него и от самой себя. Она чувствовала, что ее вот-вот охватит паника, рожденная не страхом, а непреодолимым отвращением. Он не имел права говорить о ее детях. Он не имел права сметать бумажные стены, отделявшие одну жизнь от другой. Он не должен был мучить ее бюрократическими вопросами. Она ему доверилась — почему он не доверяет ей?

Она повернула за угол. Типичный империалист: лживый, навязчивый, недоверчивый. Проехало, не остановившись, такси. Другой водитель притормозил ровно настолько,

чтобы услышать, куда ей надо, и тут же рванул вперед в поисках более выгодных пассажиров — подбросить шлюшек, доставить мебель, обслужить какого-нибудь спекулянта с его овощами, мясом или водкой, отвезти наивного туриста в злачное, но опасное местечко. Начали падать первые капли дождя — крупные, хорошо нацеленные.

И юмор его так не к месту. И его допрос, такой наглый. Да я в жизни больше к нему не подойду. Она могла бы поехать на метро, но сейчас ей не хотелось спускаться под землю. Бесспорно, он кажется привлекательным, как большинство англичан. Этакая изящная неуклюжесть. Он остроумен и, видимо, чуток. Она не собиралась подпускать его так близко. Или же она сама пошла ему навстречу?

Она продолжала идти, стараясь взять себя в руки, высматривая такси. Дождь припустил сильнее. Она вынула из сумки складной зонтик и открыла его. Из ГДР, подарок ее мимолетного любовника, которым она отнюдь не гордилась. Дойдя до перекрестка, она уже было ступила на мостовую, когда рядом с ней затормозил мальчик в синей «Ладе». Она ему не махала.

— Как дела, сестренка?

Таксист это или вольный стрелок? Она прыгнула в машину и назвала адрес. Мальчик уперся. По крыше машины барабанил дождь.

— Я тороплюсь,— сказала она и протянула ему две трехрублевки.— Очень тороплюсь,— повторила она, взглянув на часы, и подумала, что люди, торопясь в больницу, наверное, обязательно поглядывают на часы.

Мальчик, казалось, проникся к ней сочувствием. Он гнал машину с сумасшедшей скоростью и болтал без умолку, а в его приспущенное стекло хлестал дождь. У него в Новгороде больная мать, она потеряла сознание, когда, стоя на лестнице, рвала яблоки, а очнулась и обнаружила, что обе ноги у нее в гипсе. Ветровое стекло заливали стремительные потоки воды — он не остановился, чтобы надеть дворники.

— И как она теперь? — спросила Катя, повязывая волосы шарфом. Женщина, которая торопится в больницу, не вступает в разговоры о чужих бедах, подумала она.

Мальчик резко затормозил. Она увидела ворота. Небо очистилось, ночь была теплой и душистой. Да и был ли дождь?

— Возьми,— сказал мальчик, протягивая ее трехрублевки.— В следующий раз, ладно? Как тебя зовут? Фрукты, кофе, водку любишь?

— Оставьте себе,— оборвала она его и оттолкнула руку с деньгами.

Ворота стояли открытыми. За ними виднелось что-то вроде административного здания, где тускло светились несколько окон. Полуутопающие в грязи и мусоре каменные ступеньки вели на пешеходный мостик. Взглянув вниз, Катя увидела машины «скорой помощи» с лениво вращающимися синими мигалками. Собравшись вместе, шоферы с санитарами покуривали. У их ног на носилках лежала женщина. Ее разбитое лицо было повернуто, словно она пыталась избежать второго удара.

Он оберегал меня, подумала она, на секунду возвращаясь мыслями к Барли.

Она ускорила шаги, торопясь добраться до серого корпуса впереди. Клиника, спроектированная Данте и выстроенная Францем Кафкой, вспомнила она. Персонал поступает сюда, чтобы красть лекарства и сбывать их на черном рынке; врачи работают по совместительству, чтобы прокормить свои семьи. Приют для плебеев и подонков нашей империи, для злополучных пролетариев, у которых нет ни влияния, ни связей, как у немногих избранников судьбы. Голос звучал в ее ушах в такт шагам, когда она уверенно прошла через двойные двери. На нее закричала дежурная, и Катя вместо того, чтобы показать свое удостоверение, сунула ей рубль. По вестибюлю раскатывалось эхо, точно под крышей бассейна. Женщины за мраморным барьером игнорировали все и вся, кроме своего тесного кружка. Старик в синей форме дремал на стуле, его открытые глаза смотрели на усопший телевизор. Она твердым шагом прошла мимо него и свернула в коридор, где стояли больничные койки. В прошлый раз коек в коридоре не было. Может быть, их выставили сюда, чтобы освободить палату для какой-то шишки. Замученный практикант делал вливание крови старухе, ему помогала медсестра в распахнутом халате и джинсах. Никто не стонал, никто не жаловался. Никто не спрашивал, почему должен умирать в коридоре. На плохо освещенной табличке с трудом читались первые буквы надписи «Неотложная помощь». Она прошла туда. В первый раз он посоветовал ей вести себя так, будто она тут хозяйка. И это сработало. Как и теперь.

Приемная, бывшая когда-то лекторием, освещалась, как палаты ночью. Во главе длинной, будто отступающая армия, очереди страждущих восседала на возвышении внушительная дама с лицом праведницы. В потемках зала проклятьем заклейменные

жаловались, шептались, кормили младенцев. На скамьях лежали недоперевязанные люди. Сидели, развалясь и ругаясь, пьяные. Воняло карболкой, винным перегаром и запекшейся кровью.

Ждать десять минут. И вновь она поймала себя на том, что думает о Барли. Честные, такие знакомые глаза, лицо, исполненное обреченного мужества. Почему я не дала ему свой телефон? Его пальцы на ее руке, словно так было всегда. «Я приехал сюда ради вас». Выбрав колченогую скамью в глубине приемной возле двери с надписью «Туалет», она села и, прищурившись, огляделась. «Там можно умереть, и никто не спросит твоего имени»,— сказал он. Вот дверь. Вот гардероб, упрятанный в нише, как она затвердила. Уборные. Телефон в гардеробе, но им никогда не пользуются, потому что никто не знает, что он там есть. Дозвониться в больницу невозможно, и этот телефон поставили специально для влиятельного врача, которому нужно было держать связь со своими частными пациентами и любовницей. А потом врача перевели куда-то еще. Идиоты повесили аппарат на задней стороне колонны, где его не видно. Так он там и остался.

«Откуда тебе известны такие места? — спросила она его.— Этот вход, это крыло, этот телефон, садись и жди. Откуда ты это знаешь?»

«Я гуляю»,— ответил он, и ей представилось, как он шагает по московским улицам без сна, без еды, без нее, гуляя. «Я Вечный Гой, приговоренный идти и идти,— сказал он.— Я иду, чтобы составить компанию своему разуму, а пью — чтобы спрятаться от него. Когда я иду, ты рядом со мной; я вижу твое лицо у моего плеча».

Он будет идти, пока не упадет, подумала она. А я последую за ним.

На скамье рядом с ней крестьянка в оранжевом платке принялась молиться по-украински. Обеими руками она держала маленькую икону, кланяясь ей каждый раз все ниже и ниже, пока, наконец, не начала биться лбом по жестяному окладу. Глаза ее заблестели, закрылись, и Катя увидела, что между сомкнутыми веками сочатся слезы. Звезда не успеет мигнуть, как я буду похожа на тебя, подумала она.

Ей вспомнился его рассказ о сибирском морге, фабрике мертвецов одного из городов-призраков, где он работал. Трупы скатывались по желобу на транспортер, мертвые мужчины и женщины вперемешку двигались по кругу, пока старухи, порождение ночи, обмывали их из шланга, прикрепляли бирку на ногу и обдирали с них золото. Смерть — это такая же тайна, как и любая другая, сказал он ей, а тайна — это то, что открывается человеку в его час, и только ему одному.

«Почему ты всегда стараешься научить меня смыслу смерти?» — спросила она его расстроенно. «Потому, что ты научила меня, как жить»,— ответил он.

«Это самый безопасный телефон в России,— сказал он.— Даже нашим психам в органах безопасности ни за что не придет в голову прослушивать неиспользуемый телефон в приемном покое больницы».

Она вспомнила их последнюю встречу в Москве. Глубокой зимой. Он сел в почтовый поезд на тихой станции без названия в самом центре ничего. Билета он не купил и поехал в жестком вагоне, сунув, как и все, проводнику десятку. Наши доблестные компетентные органы так обуржуазились, сказал он, что уже разучились общаться с рабочими. Она представляла себе, как он лежит в полумраке на третьей, багажной, полке, неприкаянный, в толстом нижнем белье, слушает кашель курильщиков и ворчание пьяниц, задыхается от людского смрада и пара из прохудившегося титана, а сам смотрит на те ужасы, о которых он знал, но никогда не говорил. Что это за ад, думала она, когда тебя терзает сотворенное тобой же? Когда ты знаешь, что твой наивысший успех означает наихудшее для человечества?

Она видела, как ждет его среди тысяч таких же обездоленно ждущих под отвратительными лампами дневного света на Казанском вокзале. Поезд опаздывает, его отменили, он сошел с рельсов, говорят вокруг. Сильные снегопады на протяжении всего пути к Москве. Поезд прибывает, он даже и не отправлялся, я могла бы и не лгать столько. Вокзальные уборщицы залили уборные формальдегидом, и все вокруг им провоняло. На ней была меховая шапка Володи, потому что она скрывала почти все лицо. Мохеровый шарф маскировал подбородок, а дубленка прятала все остальное. Еще никого в своей жизни она так страстно не желала. Жар и голод одновременно внутри меховой оболочки.

Когда он вышел из вагона и направился к ней по слякоти, ее тело было парализовано, обожжено стыдом, как у подростка. Стоя рядом с ним в переполненном вагоне метро, она беззвучно кричала, когда его прижимало к ней. Она воспользовалась квар-

тирой Александры. Александра уехала на Украину с мужем. Открыв входную дверь, она пропустила его вперед. Иногда казалось, что он не понимает, где находится, или после всех ее хлопот совершенно к этому равнодушен. Иногда ей было страшно до него дотронуться, таким хрупким он казался. Но не сегодня. Сегодня она набросилась на него, обняла изо всех сил, притянула к себе без нежности и изощренности, карая за месяцы и ночи бесплодной страсти.

А он? Он обнял ее, как когда-то обнимал отец, чуть отстранившись, не сгибая плеч. И, оторвавшись от него, она поняла, что время, когда он мог похоронить свою боль в ее теле, прошло безвозвратно. «Ты моя единственная религия,— шептал он, целуя ее в лоб сомкнутыми губами.— Слушай, Катя, я расскажу тебе, что решил сделать».

Крестьянка стояла на коленях, молясь на свою икону, прижимая ее к груди и губам. Кате пришлось перешагнуть через нее, чтобы выбраться в проход. На краю скамьи пристроился бледный молодой человек в кожаном пиджаке. Одна рука у него была спрятана под рубашкой — сломано запястье, решила она. Голова его была опущена на грудь; протискиваясь мимо, она заметила, что ему когда-то перебили нос.

В нише было темно. Бесполезно висела перегоревшая лампочка. Путь туда перегораживал массивный деревянный барьер. Она попыталась поднять откидную перекладину, но та оказалась непосильно тяжелой, и пришлось поднырнуть под нее. Катя стояла среди пустых вешалок и забытых шапок. Колонна была в метре от нее. Написанный от руки плакатик «Размен монет не производится» она прочла, когда на него упал свет из открывающейся двери. Телефон действительно висел на колонне сзади, но когда она встала перед ним, то в темноте почти его не видела.

Она глядела на аппарат, мысленно требуя, чтобы он зазвонил. Паника прошла. Она снова была сильной. Где же ты? — думала она. В одном из твоих почтовых ящиков? В одной из твоих точек на карте? В Казахстане? На Средней Волге? На Урале? Он бывал и там, и там, и там. Прежде она по цвету его лица могла определить, когда он работал на воздухе. Или же он выглядел так, словно месяцами оставался под землей. Где ты со своей страшной виной? — думала она.— Где ты со своим вселяющим ужас решением? В таком же темном месте? В маленьком городке на телеграфе, который открыт круглосуточно? Она представила его арестованным, каким он ей иногда снился: в тюремной камере, бледный, скрученный по рукам и ногам, привязанный к деревянным козлам, уже почти не дергающийся под ударами, которые все сыплются и сыплются. Телефон зазвонил. Она подняла трубку и услышала ровный голос.

— Это Петр,— произнес он. (Их код, который они придумали, чтобы защитить друг друга: если я у них в руках и они заставят меня позвонить тебе, я назовусь другим именем, чтобы ты успела скрыться.)

— А это Алина,— ответила она, удивляясь, что вообще сумела вымолвить хоть слово. И тут ей стало легко. Он жив. Его не арестовали. Его не избивают. Его не привязали к деревянным козлам. Ее охватили лень и скука. Он жив, он говорит с ней. Факты, никаких эмоций, его голос, сперва далекий и полузнакомый. Он — ей, она — ему: только факты. Сделай это. Он сказал то. Я сказала это. Передай ему спасибо за то, что приехал в Москву. Скажи ему, что он ведет себя как разумный человек. Я здоров. А как ты?

Она повесила трубку, слишком ослабев, чтобы продолжать разговор. Вернулась в бывший лекционный зал и села на скамью рядом с другими, чтобы перевести дыхание, зная, что никому нет до нее дела.

Парень в кожаном пиджаке по-прежнему сидел, понурившись. Она снова заметила его перебитый нос, сросшийся словно бы правильно, но как-то не так. И снова она вспомнила Барли с благодарностью за то, что он существует.

Он лежал на кровати без пиджака. Его номер был душной коробкой, выкроенной из парадной спальни, где, как и в каждой русской гостинице, играл водяной оркестр: фыркали краны, журчал спускной бачок в крохотной ванной, булька́ла внушительная батарея, подвывал холодильник, схваченный очередным приступом конвульсий. Он потягивал виски из стакана для полоскания зубов и делал вид, будто читает при свете еле горящей лампочки у кровати. Телефон стоял у его локтя, рядом с телефоном лежал блокнот для записи текущих дел и великих дум. Нед предупредил, что телефон может прослушиваться, когда трубка лежит на рычаге. Только не этот, подумал Барли. Этот будет мертвым, как бревно, пока она не позвонит. Он читал несравненного Гарсиа Мар-

кеса, но печатные строчки были заграждениями из колючей проволоки: он все время спотыкался и должен был возвращаться назад.

По улице проехала машина, затем кто-то прошел. Потом наступила очередь дождя, который стучал по стеклу, как пули на излете. Без вопля, смеха или гневного крика Москва вернулась в тишину и безлюдие.

Он думал о ее глазах. Что они увидели во мне? Осколок былого, решил он. Одетый в отцовский костюм. Паршивый актеришка, который прячется за собственной игрой, а под гримом — ничего. Она искала во мне убеждений, а увидела моральное банкротство моего английского класса и времени. Она искала надежду на будущее, а нашла остатки завершившейся истории. Она искала общности, а увидела табличку с надписью «Занято». И, взглянув на меня разок, убежала.

Занято для кого? Для какого великого дня или страсти объявил я себя занятым?

Он попытался вообразить ее тело. Но когда есть такое лицо, то кому нужно тело?

Он выпил. Она — смелость. Она — опасность. Он выпил еще. Катя, если ты такая, то я занят для тебя.

Если.

Он подумал, что́ еще можно было бы узнать о ней. Ничего, кроме правды. В давно забытое время он принимал красоту за ум, но Катя настолько и несомненно умна, что на этот раз спутать два этих качества невозможно. Было́ время, да простит его Бог, когда он красоту принимал за добродетель. Но в Кате он почувствовал такую светлую добродетель, что просунь она сейчас голову в дверь и скажи, что сию секунду убила своих детей, он мгновенно нашел бы шесть способов доказать ей, что она не виновата.

Если.

Он сделал еще глоток виски и вздрогнул, вспомнив Энди.

Энди Макреди, трубача, лежащего в больнице с отрезанной головой. Щитовидка, туманно объяснила его жена. Когда болезнь только обнаружили, Энди отказался от операции. Он сказал, что предпочтет заплыть далеко-далеко и не вернуться на берег. Они напились вместе и решили, что поедут на Капри, закатят себе напоследок пир, выпьют галлон красного вина и поплывут в никуда по загрязненному Средиземному морю. Но когда щитовидка разгулялась по-настоящему, Энди обнаружил, что предпочитает жизнь смерти, и выбрал операцию. И они отделили ему голову от тела, не тронув только позвоночник, и подсоединили всякими трубочками к разным аппаратам. Так что Энди все еще был жив, хотя жить было не для чего, а умирать не от чего, и клял себя, что не уплыл вовремя, и старался найти такой смысл своего существования, который смерть не перечеркнула бы.

Позвонить жене Энди, подумал он. Спросить, как ее старик. Он прищурился на часы, подсчитывая, который час в реальном или нереальном мире миссис Макреди. Его рука потянулась к телефону, но трубку не подняла: а вдруг телефон зазвонит?

Он вспомнил свою дочь Антею. Милая старушка Ант.

Он вспомнил своего сына Хэла в Сити. Извини, что я подложил тебе свинью, Хэл, но у тебя еще есть время все поправить.

Он вспомнил свою квартиру в Лиссабоне и горько рыдающую женщину и с содроганием спросил себя, что же с ней стало. Он вспомнил других своих женщин и с неудоумением не почувствовал себя виноватым так сильно, как обычно. Он снова вспомнил о Кате и осознал, что все это время думал о ней.

В дверь постучали. Она пришла ко мне. На ней простой халат, а под ним — ничего. Барли, милый, шепчет она. А потом ты меня не разлюбишь?

Только все это к ней не относится. Она единственная, ни на кого не похожая, а не очередной замусоленный выпуск романа с продолжением.

Но стучал Уиклоу, его ангел-хранитель, проверяющий своего подопечного.

— Заходите, Уикерс. Хотите глоточек?

Уиклоу поднял брови, спрашивая, звонила ли она. На нем был кожаный пиджак, а на пиджаке — капли дождя. Барли мотнул головой, и Уиклоу налил себе в стакан минеральной воды.

— Я просмотрел кое-какие из тех книг, которые они нам сегодня всучили, сэр,— сказал он особым тоном, которым они оба говорили для микрофонов.— И подумал: может, вы хотите ознакомиться с последними новинками нехудожественной литературы?

— Ознакомьте меня, Уикерс,— радушно сказал Барли, снова растягиваясь на кровати, пока Уиклоу придвигал к себе стул.

— Ну, одной, сэр, мне, во всяком случае, не терпится с вами поделиться. Реко-

мендации, как сохранить здоровье с помощью диет и физических упражнений. По-моему, вполне годится для совместного издания. Может быть, нам удалось бы подписать контракт с кем-нибудь из их лучших иллюстраторов, чтобы усилить чисто русские особенности.

— Усиливайте! Деньги — не проблема.

— Ну, сначала я должен спросить Юрия.

— Спросите.

Зияющая пауза. Ну-ка, проиграем пластинку снова, подумал Барли.

— Кстати, сэр. Вы интересовались, почему русские так часто употребляют слово «удобный».

— Ах, да, конечно,— сказал Барли, который ничего подобного не спрашивал.

— Видите ли, в русском соответствующее слово многозначно и означает еще и «прилично», что в переводе на английский иногда приводит к путанице. Ведь для нас «удобно» не синоним «прилично».

— Еще бы! — после долгого размышления согласился Барли, потягивая виски.

Видимо, он задремал, потому что вдруг обнаружил, что сидит на кровати, прижав трубку к уху, а к нему нагибается Уиклоу. Они были в России, и она не назвалась.

— Слушаю,— сказал он.

— Извините, что я так поздно вас беспокою.

— Беспокойте меня хоть каждую минуту. Чай был просто замечательный. Жаль, что мы выпили его так быстро. Где вы?

— Вы ведь пригласили меня завтра поужинать вместе.

Он потянулся за блокнотом, который Уиклоу уже держал наготове.

— Пообедать, выпить чаю, поужинать — все вместе,— сказал он.— Куда мне посылать хрустальную карету? — Он записал адрес.— Кстати, какой у вас номер телефона? А то вдруг я потеряюсь или вы?

Она продиктовала и его — без большой охоты, поскольку отступила от принципа,— но продиктовала. Уиклоу посмотрел, как он все это записал, и тихо вышел из комнаты, пока они еще разговаривали.

И ведь не угадать, подумал Барли, повесив трубку и упорядочивая свои мысли большим глотком виски. Если женщина красива, умна и добродетельна, никогда не угадать, что у нее на уме. Чахнет она по мне или я для нее просто лицо в толпе?

И вдруг страх перед Москвой захлестнул его с ураганной силой. Налетел нежданно, после того как он весь день успешно с ним боролся. Приглушенные ужасы этого города загремели у него в ушах, а потом произительный голос Уолтера произнес:

— Она действительно с ним связана? Или сама все это выдумала? Если она связана с кем-то другим, тогда с кем же?

8

В оперативном кабинете в подвале русского отдела атмосфера была напряженная, как во время воздушного налета, длящегося всю ночь. Нед сидел у пульта управления перед батареей телефонов. Иногда лампочка на одном из них мигала, и Нед говорил сжато и коротко. Две помощницы бесшумно вносили телеграммы и забирали исходящие бумаги. На дальней стене, как две луны, светились циферблаты часов; одни показывали лондонское время, другие — московское. В Москве была полночь. В Лондоне — девять вечера. Нед даже не повернул головы, когда старший вахтер отпер мне дверь.

Раньше я просто не мог выбраться. Утро я провел с юристами министерства финансов, а день — с челтнемскими адвокатами. После — ужин с делегацией шведских шпионократов, которых затем спровадили на непременный мюзикл.

Уолтер и Боб склонялись над картой московских улиц. Брок сидел на внутреннем телефоне, держа связь с шифровальной. Нед был поглощен чтением чего-то вроде длинной инвентарной описи. Он махнул мне на стул и придвинул пачку дешифровок — кратких донесений с переднего края.

9 час. 54 мин.— Барли дозвонился Кате в редакцию «Октября». Они договариваются о встрече в 20 час. 15 мин. в «Одессе». Продолжение.

13 час. 20 мин.— внештатники следовали за Катей до дома № 14 на такой-то улице. Она оставила письмо в доме, который выглядит нежилым. Фотографии высылаются с первой же диппочтой. Продолжение.

20 час. 18 мин.— Катя явилась в гостиницу «Одесса». Барли и Катя разговаривают в буфете. Уиклоу и внештатник ведут наблюдение. Продолжение.

21 час. 05 мин.— Катя покидает «Одессу». Краткое содержание разговора прилагается. Пленки высылаются с первой же диппочтой. Продолжение.

22 час. 00 мин.— Катя пообещала Барли позвонить в ближайшие часы. Продолжение.

22 час. 50 мин.— Катю проследили до такой-то больницы. Уиклоу и внештатник ведут наблюдение. Продолжение.

23 час. 25 мин.— Кате звонят в больницу по неиспользуемому телефону. Разговаривает три минуты двадцать секунд. Продолжение.

И вдруг — продолжения нет.

Шпионаж — это нормальность, доведенная до крайности. Шпионаж — это ожидание.

— Клайв Безиндийский сегодня принимает? [1] — спросил Нед так, словно мое присутствие ему о чем-то напомнило.

Я ответил, что Клайв весь вечер проводит в своих апартаментах. День он проторчал в американском посольстве и сообщил мне, что собирается сидеть у телефона.

У меня была машина, поэтому мы вместе поехали в Управление.

— Вы этот чертов документ видели? — спросил меня Нед, постукивая по папке, лежащей у него на коленях.

— Какой чертов документ?

— Допуск к Дрозду. Список лиц, читающих материалы Дрозда, и их сатрапов.

Я осторожно не высказал никакого мнения. О том, до чего зол бывает Нед в ходе операции, ходили легенды. Над дверью кабинета Клайва горела зеленая лампочка, что означало: входи, если посмеешь. Буквы на медной дощечке с надписью «Заместитель» сверкали ярче продукции Королевского монетного двора.

— Черт возьми, Клайв, что произошло с допуском? — спросил его, размахивая списком, Нед, едва мы вошли.— Мы даем Лэнгли уйму сверхсекретных непроверенных материалов, и они за одну ночь навербовали столько нянек, что ни у одного дитяти глаз не хватит. Это что — Голливуд? У нас там всего один джо. И еще перебежчик, о котором нам ничего неизвестно.

Клайв разгуливал по золотистому ковру. Когда он спорил с Недом, у него была манера поворачивать к нему все тело, как игральную карту. Так он сделал и теперь.

— Значит, вы считаете, что допуск к Дрозду слишком велик? — спросил он прокурорским тоном.

— Да, как и вам бы следовало. И Расселу Шеритону. Что это еще, черт возьми, за отдел Пентагона по научным связям? А что такое «Группа научных советников» при Белом доме?

— А по-вашему, я должен бы потребовать, чтобы Дроздом занимался только их внутриведомственный комитет? И одни руководители, без сотрудников и помощников? Я вас правильно понял?

— Если вы считаете, что зубную пасту можно втянуть обратно в тюбик, то да.

Клайв сделал вид, будто рассматривает вопрос по существу. Но я, как и Нед, знал, что Клайв ничего по существу не рассматривает. Он рассматривал, кто за то или иное, а кто против. Потом рассматривал, кого выгоднее иметь союзником.

— Во-первых, ни единый из высокопоставленных джентльменов, которых я упомянул, не в состоянии разобраться в материалах Дрозда без квалифицированной помощи,— продолжал Клайв своим безжизненным голосом.— Либо мы предоставим им бродить в потемках, либо примем и их щупальца со всеми вытекающими из этого последствиями. То же относится и к их контрразведке, и к экспертам флота, армии, ВВС и Белого дома.

— Это говорит Рассел Шеритон или вы? — осведомился Нед.

— Как мы можем требовать, чтобы они не привлекали специалистов, одновременно предлагая столь невероятно сложный материал? — не отступал Клайв, ловко обойдя вопрос Неда.— Если Дрозд действительно то, чем кажется, им потребуется вся помощь, которую они только могут получить.

— Е с л и,— повторил Нед, вспыхивая.— Е с л и он действительно то! Господи,

[1] Здесь проводится параллель с политическим и военным деятелем Робертом Клайвом (1725—1774), прозванным «Клайв Индийский» за то, что он активно содействовал закреплению английского господства над Индией. Будучи весьма неразборчив в средствах для достижения своих целей, он в конце жизни привлекался к суду за злоупотребление служебным положением.

Клайв, да вы хуже, чем все они. В списке двести сорок человек, и у каждого жена, любовница и пятнадцать лучших друзей.

— А в о - в т о р ы х,— продолжил Клайв, когда мы уже забыли, что было какое-то «во-первых»,— здесь распоряжается не наша разведка. А Лэнгли.— Он повернулся ко мне прежде, чем Нед успел открыть рот.— Палфри! Подтвердите. Согласно нашему договору с американцами об обмене материалами мы предоставляем Лэнгли приоритет в вопросах стратегии, верно?

— В стратегических вопросах мы полностью зависим от Лэнгли,— признал я.— Они сообщают то, что считают нужным. Взамен мы обязаны передавать им все, что добываем. Обычно это немного, но таковы условия договора.

Клайв внимательно меня выслушал и одобрил. В его холодности была непривычная свирепость, и я гадал — почему? Если бы он имел совесть, то я сказал бы, что она его мучит. Что он весь день делал в посольстве? Что он отдал? Кому? И в обмен на что?

— Обычное заблуждение Службы,— продолжал Клайв, обращаясь на сей раз прямо к Неду,— что мы с американцами на равных. Это не так. Во всяком случае, когда речь идет о стратегии. У нас в стране не найдется ни единого оборонного аналитика, который в вопросах стратегии в подметки бы годился своему американскому коллеге. Что касается стратегии, то мы — крохотная, мелкоплавающая лодчонка, а они — океанский лайнер. И не нам учить их, как управлять кораблем.

Мы не успели прийти в себя от решительности его заявления, как зазвонил телефон спецсвязи, и Клайв жадно ринулся к нему — он обожает говорить по этому телефону в присутствии подчиненных. На этот раз ему не повезло: это был Брок в поисках Неда.

Катя только что позвонила Барли в «Одессу», и они договорились встретиться на другой день вечером, сообщил Брок. Московский пункт требует, чтобы Нед срочно одобрил их оперативные предложения в связи с этой встречей. Нед тут же уехал.

— Что вы затеяли с американцами? — спросил я Клайва, но он не счел нужным ответить.

Весь следующий день я провел в разговорах со своими шведами. В русском отделе тоже ничего существенного не происходило. Шпионаж — это ожидание. Около четырех я ускользнул в свой кабинет и позвонил Ханне. Иногда я ей звоню. К четырем она возвращается из Онкологического института, где занята лишь полдня, а ее муж никогда не возвращается домой раньше семи. Она рассказала мне, как прошел ее день. Я едва слушал. И принялся рассказывать ей про своего сына Алана, который в Бирмингеме совсем запутался с медсестричкой, вполне милой девочкой, но по уровню ему не подходящей.

— Возможно, я позвоню тебе попозже,— сказала она.

Порой она это говорила, но не звонила никогда.

Барли шел рядом с Катей и слышал ее шаги, как тугое эхо собственных. Облупившиеся московские особняки середины прошлого века были окутаны затхлыми сумерками. Первый двор прятала полутьма, второй был погружен во мрак. Из мусорных бачков на них глядели кошки. Двое длинноволосых юношей, по всей вероятности студенты, играли в теннис, поставив картонные коробки вместо сетки. Третий стоял, прислонясь к стене. Перед ними была дверь, разукрашенная заборными надписями и красным полумесяцем. «Высматривайте красные знаки»,— предупредил Уиклоу. Катя была бледна — как, наверное, и он: было бы чудом, если бы он не побледнел. Иные люди никогда не станут героями, иные герои никогда не станут людьми, подумал он, мысленно возблагодарив Джозефа Конрада. А уж Барли Блейру никогда не быть ни тем ни другим. Он схватил ручку и дернул дверь. Катя остановилась в стороне. На ней были косынка и плащ. Ручка повернулась, но дверь не поддалась. Он толкнул ее обеими руками, потом сильнее. Теннисисты что-то крикнули по-русски. Он замер, чувствуя, как спину обдало огнем.

— Они советуют пнуть ее ногой,— сказала Катя, и, к своему удивлению, он увидел, что она улыбается.

— Если вы можете улыбаться сейчас,— сказал он,— то как же вы выглядите, когда счастливы?

Но видимо, сказано это было про себя, потому что она не ответила. Он пнул дверь, она открылась, заскрипев по песку. Ребята засмеялись и вернулись к игре. Он шагнул

в темноту, она последовала за ним. Он щелкнул выключателем, но свет не зажегся. Дверь захлопнулась за ними, и когда он попытался нащупать ручку, то не нашел ее. Они стояли в кромешной тьме, где пахло кошками, луком и растительным маслом, слышались музыка и перебранка — рядом шла чужая жизнь. Он чиркнул спичкой. Высветились три ступеньки, полвелосипеда, проход к грязному лифту. Тут ему обожгло пальцы.

На четвертом этаже, сказал Уиклоу. Высматривайте красные знаки. Черт возьми, как я могу в такой темноте высматривать красные знаки? Бог ответил ему бледным светом, сочащимся с верхнего этажа.

— Скажите, пожалуйста, где мы? — вежливо спросила она.

— У моего друга,— ответил он.— Он художник.

Он открыл железную дверь шахты, затем — дверцы кабины и сказал: «Прошу вас!», но она уже вошла и стояла, глядя вверх, словно подгоняя кабину.

— Он уехал на несколько дней. Тут можно поговорить спокойно,— сказал Барли.

И снова увидел ее ресницы, влажность ее глаз. Ему хотелось ее утешить, но для этого она была недостаточно печальна.

— Он художник,— повторил он, как будто это подтверждало их дружбу.

— Официальный?

— Нет. По-моему, нет. Не знаю.

Почему Уиклоу не объяснил, в какой манере пишет этот чертов художник?

Он уже хотел нажать на кнопку, но тут в лифт к ним вскочила девчушка в роговых очках, крепко обнимая пластмассового мишку. Она поздоровалась, и Катя ответила, вдруг просияв. Лифт завибрировал и пополз вверх, и кнопки на каждом этаже хлопали, как пистоны игрушечного пистолета. На третьем девочка вежливо сказала «до свидания», а Барли и Катя ответили хором. На четвертом лифт остановился толчком, будто ударившись о потолок, а может, и в самом деле ударился. Барли вытолкнул Катю и выскочил за ней. Перед ними открылся коридор, провонявший запахом младенца и, может быть, не одного. В конце коридора красная стрелка на глухой стене указывала налево. Они вышли к узкой деревянной лестнице. На нижней ступеньке Уиклоу, скорчившись, как домовой, читал в тусклом свете лампочки увесистую книгу. Он не поднял головы, когда они протискивались мимо, но Барли заметил, что Катя тем не менее уставилась на него.

— Что случилось? Увидели привидение? — спросил он.

Расслышала ли она его? Расслышал ли он себя? И вообще говорил ли он вслух? Они оказались на длинном чердаке. В щелях виднелись клочки неба, а балки были в помете летучих мышей. На балки была положена дорожка из досок. Барли взял ее за руку. Ее ладонь была широкой, сильной и сухой. Прикосновение было точно подарок всего ее тела.

Он осторожно двинулся вперед, ощущая запах скипидара и льняного семени и слушая удары неожиданно налетевшего ветра. Потом пролез между двух железных баков и увидел летящую бумажную чайку в натуральную величину,— она поворачивалась на нитке, привязанной к стропилам. Он потянул Катю за собой. Позади чайки с водопроводной трубы свисала полосатая занавеска. Если не будет чайки, предупредил Унклоу, встреча отменяется. Если чайки нет, исчезните. Моя эпитафия, подумал Барли. «Чайки не было, и он исчез». Он отдернул занавеску и вошел в студию художника, снова потянув за собой Катю. Посреди студии стоял мольберт и обтянутый материей постамент для натурщика или натурщицы. Диван без ножек щеголял вылезшей набивкой. На одну встречу, сказал Уиклоу. Как и я сам, Уикерс, как и я сам. В скат крыши был врезан самодельный световой люк. На его раме было пятно красной краски. Русские не доверяют стенам, объяснил Уиклоу, ей будет легче разговориться под открытым небом.

К неудовольствию голубей и воробьев люк открылся. Барли жестом пропустил ее вперед и восхитился плавностью линии ее высокой фигуры, когда она изогнулась. Потом пролез за ней, задев спиной край люка, чего, собственно, ожидал, и чертыхнулся. Они стояли в узком пространстве между двумя крутыми крышами, где едва поместились их ступни. Снизу, с невидимых улиц, доносился шум машин. Катя стояла лицом к нему, почти вплотную. Давайте поселимся здесь, подумал он. Ваши глаза, я, небо. Он тер себе спину, морщась от боли.

— Вы сильно ушиблись?

— Трещина в позвоночнике.

— Кто этот человек на лестнице? — спросила она.

— Он работает у меня. Мой редактор. Он посторожит, пока мы тут беседуем.

— Вчера вечером он был в больнице.

— В какой больнице?

— Вчера вечером после встречи с вами мне нужно было съездить в больницу.

— Вы больны? Зачем вы поехали в больницу? — спросил Барли, перестав тереть спину.

— Не важно. Но он был там. Притворялся, что у него сломана рука.

— Он не мог там быть,— ответил Барли, не веря себе.— Весь вечер, после того как вы ушли, он был у меня. Мы обсуждали русские книги.

Он увидел, как подозрение медленно покидает ее глаза.

— Я устала. Вы должны меня извинить.

— Давайте я расскажу вам, что я придумал, а после вы можете все забраковать. Мы поговорим, а потом я приглашаю вас поужинать. Если Стражи Народа нас вчера подслушивали, то в любом случае ждали чего-то такого. Мастерская принадлежит моему другу-художнику, помешанному на джазе не меньше меня. Я не назвал вам его фамилии, потому что забыл ее, а может, и вообще не знал. Я подумал, мы принесем ему выпить и поглядим его картины, но он так и не появился. Тогда мы отправились ужинать и говорили о литературе и о мире во всем мире. Вопреки моей репутации, я к вам не приставал. Ваша красота внушает мне благоговейный страх. Ну, как?

— Это удобно.

Полуприсев, он достал бутылку виски и отвинтил колпачок.

— Вы пьете эту дрянь?

— Нет.

— Я тоже.— Он надеялся, что она пристроится рядом с ним, но она осталась стоять. Он налил колпачок доверху и поставил бутылку у ног.

— Как его зовут? — спросил он.— Автора. Гёте? Кто он?

— Это не важно.

— Место его работы? Фирма? Номер почтового ящика? Министерство? Лаборатория? Где он работает? У нас нет времени на лишние разговоры.

— Не знаю.

— Где он теперь? Вы и это мне не скажете, правда?

— Он может быть в разных местах. Это зависит от того, где он работает.

— Как вы с ним познакомились?

— Не знаю. Я не знаю, что можно вам говорить.

— А что он разрешил говорить мне?

Она запнулась, словно он поймал ее на лжи, и нахмурилась.

— Все, что сочту нужным. Я должна вам доверять. Он благороден. Такова его натура.

— Что же вам мешает? (Молчание). Как по-вашему, почему я здесь? (Молчание). По-вашему, мне очень нравится играть в прятки по всей Москве?

— Не знаю.

— Почему вы послали мне книгу, если не доверяете?

— По его поручению. Я вас не выбирала. Он вас выбрал,— мрачно ответила она.

— Где он теперь? В больнице? Как вы держите с ним связь? — Он смотрел на нее в ожидании ответа, а потом предложил: — Попробуйте! Начните говорить и поглядите, как пойдет дело. Кто он, кто вы? Чем он зарабатывает на жизнь?

— Не знаю.

— Кто находился в дровяном сарае в три часа ночи, когда было совершено преступление? (Снова молчание). Скажите, зачем вы меня втянули в это? Начали вы. Не я. Катя? Это я. Барли Блейр. Я рассказываю анекдоты, подражаю птичьим голосам, пью. Я друг.

Он был очарован серьезностью, с какой она молчала, глядя на него. Он был очарован тем, как слушали ее глаза, и ощущением возвращаемой дружбы всякий раз, когда она прерывала молчание.

— Преступления совершено не было,— сказала она.— Он мой друг. А как его фамилия и чем он занимается, значения не имеет.

Раздумывая над этим, Барли отпил виски.

— Значит, вы обычно оказываете друзьям вот такие услуги? Переправляете на Запад их запрещенные рукописи? (Она и думает глазами, решил он). А он хоть упомянул вам о ее содержании?

— Естественно. Он не стал бы подвергать меня опасности без моего согласия.

Он уловил в ее голосе желание защитить Гёте и возмутился.

— Так о чем она, по его словам? — спросил он.

— Об участии моей страны в многолетней разработке антигуманного оружия массового уничтожения. В ней дается картина коррупции и некомпетентности во всех областях оборонно-промышленного комплекса. А также преступной халатности и всяческих нарушений профессиональной и иной этики.

— М-да! А кроме этого какие-либо подробности вам известны?

— Я не знакома с военными секретами.

— А, так он солдат!

— Нет.

— Так кто же?

Молчание.

— Но вы одобряете это? Передачу рукописи на Запад?

— Он не передает ее на Запад или какому-нибудь блоку. Он уважает англичан, но суть не в этом. Его поступок обеспечит подлинную открытость в отношениях между учеными всех стран. И поможет прекратить гонку вооружений. (Нет, она все еще не верит ему. Говорила она без интонаций, словно выучила свою речь наизусть.) Он считает, что времени уже не осталось. Мы должны покончить со злоупотреблением наукой и с политическими системами, которые несут за это ответственность. На философские темы он говорит по-английски,— добавила она.

А вы слушаете, подумал Барли. Глазами. По-аиглийски. Пока взвешиваете, можно ли мне доверять.

— Он ученый? — спросил он.

— Да. Он ученый.

— Я их всех ненавижу. А в какой области? Он физик?

— Может быть. Не знаю.

— Его информация охватывает весьма широкий спектр вопросов. Точность, наведение, управление, контроль, ракетные двигатели. Он один человек? Кто дает ему материал? Откуда он знает так много?

— Не знаю. Он один человек. Это же очевидно. У меня не так много друзей. Это не группа. Возможно, он, кроме того, контролирует работу других. Я не знаю.

— У него высокая должность? Он большая шишка? Работает здесь, в Москве? Руководитель? Что он такое?

После каждого вопроса она качала головой.

— Он работает не в Москве. О другом я его не спрашивала, а сам он мне не говорит.

— Он принимает участие в испытаниях?

— Не знаю. Он много ездит. По всему Советскому Союзу. Иногда он подолгу живет под жгучим солнцем, иногда подолгу мерзнет, иногда и то и другое. Я не знаю.

— Он хоть раз упоминал организацию, в которой работает?

— Нет.

— А номер ящика? Фамилии начальников? Фамилию коллеги или подчиненного?

— Ему неинтересно говорить со мной про это.

И он поверил ей. Пока он был с ней, он поверил бы, что север — это юг, а детей находят в капусте.

Она смотрела на него в ожидании следующего вопроса.

— А он понимает, какими будут последствия публикации этого материала? — спросил он.— Для него, я имею в виду? Он понимает, с чем играет?

— Он говорит, что бывают времена, когда сначала нужно действовать, а о последствиях думать, когда с ними столкнешься.— Она, казалось, ждала, что он что-то скажет, но он уже научился не спешить.— Если мы ясно видим одну цель, то можем приблизиться к ней на шаг. Если же мы погрузимся в созерцание всех целей одновременно, то не продвинемся ни на йоту.

— Ну, а вы? Он подумал о последствиях для вас, если что-нибудь выйдет наружу?

— Он примирился с этой мыслью.

— А вы?

— Естественно. Это было и мое решение. Иначе почему бы я стала ему помогать?

— А дети? — спросил он.

— Это ради них, ради всего их поколения,— ответила она с почти гневной решимостью.

— А последствия для матушки-России?

— Мы считаем, что гибель России предпочтительнее гибели всего человечества. Прошлое — это тяжелейшее бремя. Для всех стран, не только для России. Мы считаем себя палачами прошлого. Он говорит, если мы не можем казнить наше прошлое, как же тогда мы построим будущее? И пока мы не избавимся от старого мышления, нового мира не построим. И чтобы провозгласить правду, мы должны готовиться к тому, чтобы стать апостолами отрицания. Он цитирует Тургенева. Нигилист — это человек, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип.

— А вы?

— А я меньше всего нигилистка. Я гуманистка. Если нам дано помочь будущему, мы обязаны это сделать.

Он искал в ее голосе хоть тень сомнения. Но не нашел. Ни одной фальшивой ноты.

— Давно ли он высказывает подобные мысли? Так было всегда? Или началось с недавних пор?

— Он всегда был идеалистом. Такова его натура. Он всегда был настроен чрезвычайно критически. Но его критичность конструктивна. Было время, когда он сумел убедить себя, что оружие всеобщего уничтожения настолько ужасно, что его создание положит конец всем войнам, что сам образ военного мышления претерпит изменения. Он согласился с парадоксальным выводом: чем мощнее оружие, тем больше возможность сохранить мир. В этом смысле он был поклонником американской стратегической доктрины.

Она внутренне устремлялась к нему. Он чувствовал это, чувствовал, что становится ей нужен. Она пробуждалась и шла к нему. Под московским небом она после долгих лет одиночества и тоски избавлялась от своего недоверия.

— Что же изменило его взгляды?

— Он много лет испытывал на себе некомпетентность и высокомерие наших военных и бюрократических учреждений. Он видел, какими кандалами на ногах прогресса они стали — это его собственное выражение. Его вдохновила перестройка и перспектива всеобщего мира. Но он не утопист, он не пассивен. Он знает, что само собой ничего не придет. Он знает, что наш народ обманут и лишен коллективной силы. Новая революция должна быть сделана сверху. Интеллектуалами. Художниками. Теми, кто правит. Учеными. Он хочет внести собственный необратимый вклад в согласии с призывами нашего руководства. Он твердит пословицу: по тонкому льду гони скорее. Он говорит, что мы слишком долго живем в эпохе, в которой больше не нуждаемся. Прогресса можно достигнуть только тогда, когда этой эпохе придет конец.

— И вы согласны?

— Да. И вы тоже! — Пылко. В глазах вспыхивает огонь. Слишком уж безупречный английский, выученный в монастыре по дозволенным классическим произведениям прошлого.— Он говорит, что слышал, как вы критиковали вашу страну точно в таких же выражениях!

— А думает ли он о чем-то более земном? — спросил Барли.— Ну, например, любит ли он кино? Какая у него машина?

Она отвернулась от него, и теперь он смотрел на ее профиль, вырезанный в пустоте неба. Барли глотнул виски.

— Вы сказали, что он, возможно, физик,— напомнил он.

— Он учился на физика. Кажется, на инженера тоже. По-моему, в той области, где он работает, разграничения между профессиями соблюдаются не так уж строго.

— Где он учился?

— Его еще в школе считали на редкость одаренным. В четырнадцать лет он занял первое место на математической олимпиаде. Об этом напечатали в ленинградских газетах. Он кончил ЛИТМО, а потом — аспирантуру, уже в университете. Он необыкновенно талантлив.

— В школе я таких ненавидел,— сказал Барли и испугался, увидев, что она нахмурилась.

— Но ведь Гёте вы не возненавидели. Вы его вдохновили. Он часто цитирует своего друга Скотта Блейра: «Если мы хотим иметь надежду, все мы должны предать свои страны». Вы правда так сказали?

— Что такое ЛИТМО?

— ЛИТМО — это Ленинградский институт точной механики и оптики. Из универ-

ситета его перевели в Академгородок под Новосибирском. Он стал кандидатом наук, доктором наук. И всем прочим.

Он хотел было расспросить, что стояло за «всем прочим», но побоялся спугнуть ее и дал ей рассказать о себе.

— Так когда же вы с ним познакомились?

— Когда я была совсем девочкой.

— Сколько вам было лет?

Он ощутил, как в ней снова вспыхивает недоверие и опять угасает при мысли, что она в безопасном обществе или же, наоборот, настолько опасном, что дальнейшая откровенность ничего уже изменить не может.

— Я была большой интеллектуалкой шестнадцати лет,— сказала она с печальной улыбкой.

— А сколько лет было дарованию?

— Тридцать.

— О каком годе мы говорим?

— О шестьдесят восьмом. Он все еще был идеалистом, верующим в мир. Он сказал, что они ни за что не пошлют танки. «Чехи наши друзья,— сказал он.— Как сербы и болгары. Если бы речь шла о Варшаве, то, может быть, они послали бы танки. Но против наших чехов — никогда, никогда».

Она совсем повернулась к нему спиной. В ней было много женщин сразу. Она стояла к нему спиной и говорила с небом, но тем не менее втягивала его в свою жизнь и отводила ему роль наперсника.

Это было в Ленинграде, в августе, рассказывала она. Ей шестнадцать, и она учит французский и немецкий в последнем классе школы. Лучшая ученица, грезящая о мире во всем мире, революционерка самого романтического толка. Детство осталось позади, и она считает себя зрелой женщиной, говорила она с иронией. Уже прочитаны и Эрих Фромм, и Ортега-и-Гасет, и Кафка. Она видела «Доктора Стрейнджлава» [1]. По ее мнению, Сахаров правильно мыслит, но неверно действует. Ее беспокоит судьба русских евреев, но она разделяет точку зрения отца, что в своих бедах они виноваты сами. Ее отец был профессором-гуманитарием в университете, а училась она в школе для сыновей и дочерей ленинградской номенклатуры. Шел август шестьдесят восьмого, но Катя и ее друзья все еще умудрялись жить политическими надеждами. Барли попытался вспомнить, жил ли он когда-либо политическими надеждами, и решил, что вряд ли. Она говорила так, будто ничто никогда больше не остановит ее. А ему хотелось опять держать ее руку в своих, как тогда, на лестнице. Ему хотелось завладеть хоть чем-то, но лучше всего — лицом, и целовать его, а не слушать ее любовную историю.

— Мы верили, что Восток и Запад сближаются,— говорила она.— Когда американские студенты проводили демонстрации протеста против войны во Вьетнаме, мы гордились ими и считали их своими товарищами. Когда бунтовали парижские студенты, мы жалели, что не стоим рядом с ними на баррикадах, одетые в такую же модную французскую одежду.

Она поглядела через плечо и снова улыбнулась ему. Слева от нее над звездами выплыл рогатый месяц, и Барли смутно припомнилась вычитанная в каком-то романе примета, что это не к добру. На противоположную крышу опустилась стая чаек. Я никогда тебя не покину, подумал он.

— В нашем дворе жил человек, который отсутствовал девять лет,— говорила она.— Однажды утром он вернулся, сделав вид, будто не исчезал. Отец пригласил его на обед, а потом весь вечер ставил для него пластинки. Мне тогда еще не доводилось встречать жертв недавних репрессий, и, естественно, я надеялась, что он расскажет об ужасах лагерей. Но он хотел только одного: слушать Шостаковича. В те дни я не понимала, что бывают страдания, которые нельзя описать. Из Чехословакии приходили известия о потрясающих реформах. Мы верили, что вскоре в Советском Союзе начнутся такие же реформы, что у нас будет гвердая валюта и возможность свободно путешествовать.

— А где была ваша мать?

— Она умерла.

— От чего?

---

[1] «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил бомбу» — антивоенная киносатира, поставленная в 1963 г. Стэнли Кубриком.

— От туберкулеза. Я родилась, когда она уже была больна. Двадцатого августа в Доме ученых состоялся закрытый просмотр фильма Годара.— В ее голосе снова проскользнуло самоосуждение.— Приглашение было на два лица. Мой отец, наведя справки о нравственном содержании этого фильма, не горел желанием взять меня с собой, но я настояла. В конце концов он решил, что это будет полезно для моего французского. Вы знаете ленинградский Дом ученых?

— Вроде бы нет,— сказал он, выгибая спину.

— Вы видели «A Bout de Souffle» [1]?

— Я играл в нем главную роль!

Она рассмеялась, а он отхлебнул виски.

— Ну, так вы помните, какой это сильный фильм. Да?

— Да.

— Такого сильного фильма я еще не видела. Он на всех произвел огромное впечатление, но для меня он был как гром с ясного неба. Дом ученых находится на набережной Невы. Обломок былого великолепия — мраморные лестницы и низкие диваны, на которые непросто сесть в узкой юбке.— Теперь она опять стояла к нему боком, чуть наклонив голову.— Прекрасный зимний сад и зал с тяжелыми занавесями и богатыми коврами, словно в мечети. Отец очень любил меня, но боялся за меня и держал в строгости. Когда фильм кончился, мы пошли в ресторан, отделанный деревянными панелями. Очень красивый. Мы сидели за длинными столами, и вот там я встретила Якова. Отец познакомил нас. «Вот новый гений мира физики»,— сказал он. Мой отец часто позволял себе сарказмы по адресу молодых людей. К тому же Яков был красив. Я кое-что слышала о нем, но никто не сказал мне, насколько он раним — скорее, как художник, чем ученый. Я спросила его, чем он занимается, а он ответил, что вернулся в Ленинград вновь обрести невинность. Я засмеялась, чего он не ожидал от шестнадцатилетней девочки. Мне, сказала я, кажется странным, что ученый вдруг ищет невинность. Он объяснил, что в Академгородке слишком уж блистал в некоторых разделах науки, и в результате им слишком уж заинтересовались военные. Оказалось, что в физике различие между исследованиями в мирных и военных целях нередко крайне мало. Теперь они предлагают ему все — привилегии, деньги для исследований,— но он отказывается, поскольку хочет сохранить свою энергию для мирных целей. Это их разозлило, потому что обычно они вербуют цвет нашей науки и не привыкли к отказам. Вот он и вернулся в свой старый университет, чтобы вновь обрести невинность. Сначала он собирался заняться теоретической физикой и искал поддержки у влиятельных людей, но они уклонялись из-за его позиции. Ленинградской прописки у него нет. Он говорил очень свободно, как иногда случается с нашими учеными. И еще он был энтузиастом Академгородка. Рассказывал об иностранцах, которые приезжали в те дни, о молодых блестящих американцах из Станфорда и Массачусетского технологического института и об англичанах. Он рассказал о художниках, которые были запрещены в Москве, но могли выставляться в Городке. Семинары, бурный темп жизни, свободный обмен идеями и — как я была уверена — любовью. «В какой другой стране, кроме России, Рихтер и Ростропович поехали бы специально играть для ученых? А Окуджава бы пел? А Вознесенский читал свои стихи? Вот мир, который мы, ученые, должны построить для других!» Он шутил, а я смеялась, как зрелая женщина. В те дни он был очень остроумным, но и ранимым, как сегодня. В нем живет ребенок, который отказывается взрослеть. Он сочетает в себе художника и педанта. Уже в то время он откровенно критиковал некомпетентность властей. Он сказал, что в универсаме Городка столько яиц и колбасы, что туда приезжают на автобусах жители Новосибирска и к десяти часам утра все полки уже пусты. Почему должны ездить люди, а не колбаса? Наоборот было бы много лучше! Никто не убирает мусор, сказал он, и часто выключают электричество. Иногда мусора на улицах бывало по колено. И они называют это научным раем! И я сделала еще одно не по годам зрелое замечание. «Обычная беда любого рая,— сказала я.— Там некому убирать мусор». Все засмеялись. Я имела огромный успех. Он описывал, как старая гвардия пытается постигнуть идеи молодых и как они отступают, покачивая головами, словно крестьяне, которые впервые увидели трактор. Ничего, сказал он, победа останется за прогрессом. Он сказал, что бронепоезд Революции, который Сталин пустил под откос, наконец-то вновь катит по рельсам и следующей остановкой будет Марс. Вот тут мой отец вставил свой очередной сарказм. На его вкус Яков слишком уж раз-

[1] «На последнем дыхании» — первый полнометражный фильм Жана Люка Годара.

глагольствовал. «Но, Яков Ефремович,— сказал он,— ведь Марс, кажется, бог войны?» И Яков сразу задумался. Мне в голову не приходило, что человек способен так быстро измениться: только что бесконечно смелый, а миг спустя — одинокий и расстроенный. И повинен в этом был мой отец! Я безумно на него рассердилась. Яков искал точку опоры, а отец вверг его в отчаяние. Яков рассказывал вам о своем отце?

Она сидела, откинувшись на скат крыши, вытянув длинные ноги, туго обтянутая платьем. Небо позади нее темнело, звезды и месяц набирали яркость.

— Он сказал мне, что его отец умер от переизбытка интеллектуальности,— ответил Барли.

— Совсем отчаявшись, он принял участие в лагерном восстании. Много лет Яков не знал о его смерти. Однажды к нему домой пришел старик и сказал, что застрелил его отца. Он был лагерным охранником и по приказу расстреливал восставших. Расстреливали их из автоматов, десятками, в Воркуте, недалеко от железнодорожной станции. Охранник плакал. В то время Якову было всего четырнадцать, но он простил старика и угостил его водкой.

Я бы не смог, подумал Барли. Я не того масштаба.

— В каком году расстреляли его отца? — спросил он. Будь хомяком. Ни на что другое ты не годишься.

— По-моему, весной пятьдесят второго. Тут за столом принялись горячо обсуждать события в Чехословакии,— продолжила она на своем безупречном антикварнейшем английском.— Кто-то сказал, что правящая банда непременно пошлет танки. Мой отец был в этом уверен. Кто-то заметил: «И правильно сделают». Отец сказал, что сделают независимо от того, правильно это или нет. Красные цари, сказал он, делают что хотят, как в свое время белые цари. Система победит, потому что система побеждает всегда и система — наше проклятие. Мой отец был непоколебимо убежден в этом — как впоследствии и Яков. Но в то время Яков все еще твердо верил в Революцию. Он хотел, чтобы смерть его отца была не напрасной. Он внимательно выслушал моего отца, но потом перешел в наступление. «Они никогда не пошлют танки,— сказал он.— Революция выживет!» Он ударил кулаком по столу. Вы обратили внимание на его руки? Как у пианиста, белые, тонкие. Он порядочно выпил. Пил и мой отец и тоже рассердился. Он хотел, чтобы его оставили в покое с его пессимизмом. Именитый гуманитарий, он не желал, чтобы ему противоречил молодой технарь, которого он считал выскочкой. Может, отец и ревновал, потому что, пока они ссорились, я по уши влюбилась в Якова.

Барли еще глотнул виски.

— И вас это не шокирует? — негодующе спросила она и улыбнулась.— Шестнадцатилетняя девочка и — опытный тридцатилетний мужчина?

Барли не находил, что сказать, но ей, видимо, была нужна его поддержка.

— У меня нет слов, но в целом им обоим, по-моему, очень посчастливилось,— сказал он.

— Когда вечер кончился, я попросила у отца три рубля, чтобы пойти с друзьями в кафе «Север» съесть мороженого. На ужине было несколько дочек академиков, моих соучениц. Мы собрались, и я пригласила Якова с нами. По дороге я спросила, где он живет, и он ответил: на улице Профессора Попова. А потом спросил меня: «Кто такой Попов?» Я рассмеялась. Каждый знает, кто такой Попов, сказала я. Попов был великим русским изобретателем радио, который передал сигнал даже раньше Маркони, ответила я ему. Яков не разделял моей уверенности. «Возможно, Попова и вовсе не было,— сказал он.— Возможно, его придумала партия, поддерживая нашу русскую навязчивую идею, будто мы все изобрели первыми». Из этого я поняла, что он еще борется с сомнениями относительно того, что будет в Чехословакии.

Чувствуя себя полным дураком, Барли кивнул с умным видом.

— Я спросила его, в какой квартире он живет — в коммунальной или отдельной. Он сказал, что это комната его старого друга еще по ЛИТМО, но тот работает в особой ночной лаборатории, и видятся они редко. Я сказала: «Покажите мне, как вы живете. Мне хочется убедиться, что вам там удобно». Он стал моим первым любовником,— сказала она просто.— Он был очень нежным, как я и ожидала, но и очень страстным.

— Браво,— сказал Барли так тихо, что, возможно, она и не расслышала.

— Я провела с ним три часа и уехала домой на последнем поезде метро. Отец ждал меня, а я говорила с ним как чужая, будто пришла в гости. Я так и не заснула.

На следующий день я слушала последние известия на английском по Би-би-си. Танки вошли в Прагу. Отец, который это предсказывал, был в отчаянии. Но беспокоилась я не из-за отца. Вместо школы я пошла к Якову. Его товарищ сказал, что я найду его в «Сайгоне», как неофициально назывался кафетерий на Невском проспекте, самое подходящее место для поэтов, торговцев наркотиками и спекулянтов, но никак не для профессорских дочек. Он пил кофе, но был пьян. С тех пор как он услышал это известие, он пил водку. «Твой отец прав,— сказал он.— Победа всегда остается за системой. Мы говорим о свободе, но мы угнетатели». Через три месяца он вернулся в Новосибирск. Он был зол на себя, но все равно поехал. «Это выбор между тем, чтобы умереть от безвестности, и тем, чтобы умереть от компромисса,— сказал он.— И поскольку это выбор между смертью и смертью, почему бы не предпочесть ту, что сулит больше удобств».

— А вы как отнеслись к этому? — спросил Барли.

— Мне было за него стыдно. Я сказала ему, что он был для меня идеалом и что я в нем обманулась. Я начиталась Стендаля и обращалась к нему как благородная героиня французского романа. Но я, правда, считала, что он принял безнравственное решение. Он утверждал одно, а поступил наоборот. В Советском Союзе, сказала я ему, так поступают очень многие. Я сказала, что не буду с ним разговаривать до тех пор, пока он не откажется от своего безнравственного выбора. Я напомнила ему о Э. М. Форстере [1], которым мы оба восхищались. Я сказала ему, что он должен согласовывать то, что думает, с тем, что делает. Вскоре, естественно, я смягчилась, и мы возобновили наши отношения, но они утратили романтичность, и когда он занялся своей новой работой, то переписывались мы уже довольно холодно. Мне было за него стыдно. Может быть, и за себя тоже.

— И вы вышли замуж за Володю,— сказал Барли.

— Совершенно верно.

— А Якова сохранили на стороне,— предположил он, будто это было самой нормальной вещью на свете.

Она смутилась и рассердилась одновременно.

— Да, некоторое время мы с Яковом тайно встречались. Не часто, но иногда. Он говорил, что мы роман, который еще не дописан. Каждый из нас ждал, что другой решит его судьбу. Яков был прав, но я не осознала тогда силы его влияния на меня и моего влияния на него. Мне казалось: встречайся мы чаще, мы могли бы освободиться друг от друга. Когда я поняла, что это не так, то перестала видеться с ним. Я любила его, но отказалась с ним видеться. И потом — я была беременна от Володи.

— Когда вы снова встретились?

— После прошлой Московской книжной ярмарки. Вы сыграли роль катализатора. Он был в отпуске и очень сильно пил. Он написал много докладных для внутреннего пользования и подал много официальных жалоб. Но на систему ни одна никакого действия не оказала, хотя, по-моему, у властей он начал вызывать раздражение. Все, что вы говорили, запало ему в душу. В критический момент его жизни вы выразили его мысли в словах, а слова связали с конкретными действиями, что Якову дается не просто. На следующий день он нашел предлог позвонить мне на работу. Он попросил у друга ключ от квартиры. Наши отношения с Володей к тому времени распались, хотя мы жили под одной крышей, потому что Володя еще ждал ордера. Пока мы сидели в комнате его друга, Яков очень много о вас говорил. Вы все прояснили для него. Он так и сказал. «Этот англичанин указал мне решение. С этих пор должно быть только действие, только самопожертвование,— сказал он.— Слова — проклятие русского общества. Они подменяют дело». Яков знал, что я соприкасаюсь с западными издательствами, и попросил следить, не появится ли ваша фамилия в списках наших иностранных гостей. А сам сразу сел работать над рукописью, которую мне предстояло передать вам. Он очень много пил. Я боялась за него. «Как ты можешь писать, когда пьян?» Он ответил, что пьет, чтобы выжить.

Барли снова глотнул виски.

— А вы рассказали Володе о Якове?

— Нет.

— Но Володя узнал?

— Нет.

---

[1] Эдуард Морган Форстер (1879—1970) — английский писатель, автор психологических романов на семейно-бытовые и моральные темы.

— Так кто же об этом знает?

Видимо, она уже задавала себе этот вопрос, поскольку ответила очень быстро:

— Яков ничего не говорит своим друзьям. Это я знаю. Если квартиру для свидания подыскиваю я, то говорю только, что она нужна мне, а зачем — не объясняю.

— А ваши подруги? Им ни намека?

— Мы не ангелы. Если я прошу их кое о каких услугах, они делают соответствующие выводы. Иногда услуги оказываю я. Вот и все.

— И никто не помогал Якову работать над рукописью?

— Нет.

— Никто из его пьющих друзей?

— Нет.

— Почему вы так уверены?

— Потому что я уверена, что в своих мыслях он абсолютно одинок.

— Вы с ним счастливы?

— Простите?

— Вы его не просто любите, но он вам и нравится? Он умеет вас смешить?

— Я считаю, что Яков — великий и беззащитный человек, которому без меня не выжить. Быть человеком, взыскующим истины,— значит быть ребенком. Еще это значит быть непрактичным. Я думаю, что без меня он сломается.

— Вы не считаете, что он уже сломался?

— А кто нормален? — сказал бы Яков.— Тот, кто строит планы уничтожения человечества, или тот, кто пытается этому воспрепятствовать?

— А тот, кто делает и то и другое?

Она не ответила. Он ее провоцировал, и она это знала. Он ревновал и пытался подточить ее веру.

— Он женат?

Она сердито вспыхнула:

— По-моему, он не женат, но это не важно.

— У него есть дети?

— Эти вопросы нелепы.

— Но и ситуация достаточно нелепая.

— Он говорит, что люди — единственные существа, которые из своих детей делают жертвы. И он твердо решил не иметь детей.

А воспользоваться вашими, подумал Барли, но ухитрился не произнести это вслух.

— Следовательно, вы с интересом следили за его карьерой,— резко сказал он, возвращаясь к вопросу о служебном положении Гёте.

— На расстоянии и в общих чертах.

— И все это время вы не знали, чем он занимается? Я вас правильно понял?

— Если что-то и знала, то лишь косвенно, из наших разговоров на этические темы. «Какую часть человечества должны мы уничтожить, чтобы сохранить человечество? Как мы можем говорить о борьбе за мир, если планируем только ужасные войны? Как мы можем вести речь об избирательности целей, если не обладаем достаточной точностью?» Когда мы обсуждаем подобные вопросы, я, естественно, понимаю, чем он занимается. Когда он говорит мне, что величайшей опасностью для человечества является не реальное существование советской власти, а ее иллюзорность, я ни о чем его не спрашиваю. Я стараюсь его поддержать. Я убеждаю его быть последовательным и, если потребуется, смелым. Но вопросов я ему не задаю.

— А Рогов? Он никогда не упоминал Рогова? Профессора Аркадия Рогова?

— Я уже вам сказала. Он не говорит о своих коллегах.

— А кто сказал, что Рогов его коллега?

— Я это поняла из вашего вопроса,— возмущенно возразила она, и он снова поверил ей.

— Как вы поддерживаете с ним связь? — спросил он с прежней мягкостью.

— Это не важно. Когда один его друг получает некий сигнал, то сообщает Якову и Яков звонит мне.

— А этот друг знает, от кого поступает некий сигнал?

— А для чего? Он знает, что от женщины. И все.

— Яков боится?

— Поскольку он так много говорит о мужестве, то думаю, что боится. Он цити-

рует Ницше: «Высшая добродетель — не бояться». Он цитирует Пастернака: «Источник красоты...»

— А вы? — прервал он ее.

Она отвела взгляд. В домах напротив начинали светиться окна.

— Я должна думать не о своих детях, а обо всех детях,— сказала она, и он заметил на ее щеках две позабытые слезинки. Он снова глотнул виски и напел несколько тактов Каунта Бейси. Когда он снова взглянул на нее, слезы исчезли.

— Он говорит о великой лжи,— сказала она так, словно только что об этом вспомнила.

— Какой великой лжи?

— Все является частью единой великой лжи, вплоть до мельчайших запчастей наиболее безобидного оружия. Даже результаты, которые посылают в Москву, подчинены этой великой лжи.

— Результаты? Какие результаты? Результаты чего?

— Не знаю.

— Испытаний?

Казалось, она забыла, что раньше отрицала это.

— Думаю, испытаний. Я думаю, он подразумевает, что результаты испытаний искажаются намеренно, подгоняются под заказы генералов и официальные производственные требования бюрократов. Возможно, искажает их он сам. Он очень сложный человек. Иногда он рассказывает о своих многочисленных привилегиях, которых теперь стыдится.

Список покупок — так называл это Уолтер. Тупо подчиняясь долгу, Барли вычеркивал последние пункты.

— Он упоминал о каких-либо конкретных проектах?

— Нет.

— А он не говорил, что как-то связан с системой командного управления? О том, как контролируется командир боевой части?

— Не говорил.

— Он никогда не рассказывал вам, какие принимаются меры для предотвращения ошибочного запуска?

— Нет.

— Из его слов никогда не следовало, что он занимается обработкой данных?

Она устала.

— Нет.

— Его повышали по службе? Ордена? Банкеты в честь повышения?

— О повышениях он упоминает, только говоря о том, как прогнила вся система. Я уже сказала: возможно, он слишком громко критиковал систему. Но не знаю.

Она отдалилась от него. Ее лицо спрятала завеса волос.

— Лучше, если все дальнейшие вопросы вы зададите ему сами,— сказала она так, будто собралась уходить.— Он хочет встретиться с вами в пятницу в Ленинграде. Он принимает участие в какой-то важной конференции, устраиваемой каким-то военным научным учреждением.

Сначала небо колыхнулось, потом Барли почувствовал вечернюю стужу. Она окутала его как ледяное облако, хотя темное небо было ясным, а переставший качаться месяц излучал теплое сияние.

— Он предложил три места, каждое — в определенное время,— продолжала она все тем же безучастным тоном.— Будьте добры, приходите на каждую встречу, пока он не явится. Прийти он придет, если сможет. Он посылает вам привет и благодарность. Он вас любит.

Она продиктовала три адреса и проследила, как он записал их в блокноте, извинившись, что шифрует. Потом она ждала, пока у него не пройдет приступ чихания, наблюдая, как он содрогается всем телом и костерит своего Творца.

Они поужинали, как истомленные любовники, в подвальчике, в обществе старой серой собаки и цыгана, который пел под гитару блюзы. Кому принадлежало это заведение, кто разрешил ему существовать и почему — над этими загадками Барли не стал ломать голову. Он знал только, что в каком-то прошлом своем воплощении, в дни ка-

кой-то забытой книжной ярмарки, он приехал сюда совершенно пьяный с группой чокнутых польских издателей и на чьем-то саксофоне сыграл «Благослови сей дом».

Разговор шел натянуто, и пропасть между ними ширилась, пока (как Барли показалось) не поглотила всю его ничтожность до конца. Он смотрел на Катю и чувствовал, что ему нечего ей предложить, что у нее всего вдесятеро больше. В обычной ситуации он бы страстно признался ей в любви. Чтобы нарушить напряженность новых отношений, ему был необходим рывок в абсолютные величины. Но в Катином присутствии он не мог найти абсолютных величин, чтобы противопоставить ее собственным. Он увидел свою жизнь как ряд бесполезных воскрешений, где одна неудача сменялась другой. Его ужаснула мысль, что он принадлежит к обществу, которое существует только в материальном и оставляет без внимания вечные темы. Но ей ничего этого он сказать не мог. Сказать ей что-нибудь — значило разрушить свой образ в ее глазах, а взамен у него ничего не было.

Они говорили о книгах, и он видел, как она от него ускользает. Лицо ее стало рассеянным, голос — скучным. Он старался нагнать ее, он пел и танцевал, но она ушла. Она произносила те же избитые фразы, которые он выслушивал весь день, пока ждал ее. Еще минута, подумал он, и я начну рассказывать ей про «Потомак — Бостон» и объяснять, что река и город никак между собой не связаны. Помилуй Господи, он уже начал это объяснять.

И только в одиннадцать, когда в ресторане выключили свет и он шел с ней по безжизненной улице к станции метро, ему вдруг пришло в голову, что вопреки всем здравым расчетам и он мог произвести на нее впечатление, пусть и скромнее, чем то, какое она произвела на него. Она взяла его под руку, ее пальцы лежали на сгибе его локтя, и она шла широким шагом, чтобы идти с ним в ногу. Белая пасть эскалатора была открыта, чтобы принять ее. Как перевернутые рождественские елки, над ними мерцали люстры, Барли церемонно, по-русски поцеловал Катю: в левую щеку, в правую, снова в левую. И спокойной ночи.

— Господин Блейр, сэр! Так я и думал, что это вы! Какое совпадение! Садитесь, мы довезем вас!

Барли залез в машину, и Уиклоу с ловкостью акробата перебрался на заднее сиденье и принялся высвобождать магнитофон, покоившийся на пояснице у Барли.

Они довезли его до «Одессы» и высадили. Им еще предстояла работа. Вестибюль напоминал аэровокзал во время густого тумана. На каждом диване или кресле дремали в полумраке нелегальные постояльцы, которые заплатили за сидячие места. Барли, наморщив нос, благожелательно обвел их взглядом. Некоторые были в тренировочных костюмах. Другие одеты более официально.

— Выпьем? — громко сказал он, но ответом было молчание.— Кто-нибудь хочет виски? — спросил он, выуживая из внутреннего кармана плаща бутылку, все еще на две трети полную. Показывая пример, он деловито приложился к бутылке, а потом пустил ее по кругу.

Так Уиклоу и нашел его два часа спустя в вестибюле, где он притулился среди группки благодарных ночных душ, по-товарищески делясь с ними последним глотком перед тем, как пойти спать.

9

— Новые американцы Клайва, это что? — вполголоса осведомился я у Неда, когда мы, точно верующие к заутрене, собрались вокруг броковского магнитофона в оперативном кабинете.

Лондонские часы показывали шесть. Виктория-стрит еще не разразилась утренним рыком. Брок перематывал ленту, и катушка попискивала, как хор птенцов. Ее полчаса назад привез курьер: она прибыла диппочтой в Хельсинки и на специальном самолете была доставлена в Нортхолт. Если бы Нед склонил слух к сладкой песне технических сирен, мы могли бы заметно сэкономить на этой дорогостоящей процедуре, ведь маги и волшебники Лэнгли носились с новой штучкой, гарантировавшей полную безопасность устных сообщений. Но Нед не был бы Недом, если бы не предпочел собственные проверенные способы.

Он сидел за своим столом и расписывался на документе, загораживая его ладонью. Потом сложил его и сунул в конверт, который собственноручно заклеил, прежде чем отдать высокой Эмме, одной из своих помощниц. К этому моменту я уже перестал ждать ответа на свой вопрос и даже растерялся, когда он рявкнул:

— Вонючие мародеры!

— Из Лэнгли?

— Бог ведает. Служба безопасности.

— А чья? — не сдавался я.

Он только злобно мотнул головой. Из-за документа, который сейчас подписал? Или из-за американских прилипал? Их было двое. Под водительством Джонни, из их лондонского пункта. Темно-синие блейзеры, короткая стрижка, чистенькие, как мормоны, даже до противности. Клайв встал между ними, но Боб демонстративно уселся в дальнем углу рядом с зябко нахохлившимся Уолтером (слишком рано пришлось встать, подумал я в тот момент). Их присутствие даже Джонни выбило из колеи — как тотчас же и меня. Эти тусклые непривычные лица, совершенно неуместные в нашей операции, да еще в столь решающий момент. Будто плакальщики заблаговременно явились проводить в последний путь еще не скончавшегося покойника. Но только вот кого? Я вновь посмотрел на Уолтера, и на душе у меня стало еще тревожнее.

Я опять перевел взгляд на новых американцев, таких худощавых, таких аккуратных, таких безликих. Служба безопасности, сказал Нед. Но с какой стати? И почему именно теперь?

Почему они обозрели всех, кроме Уолтера? Почему Уолтер смотрел на всех, но только не на них? И почему Боб сел в стороне от них, а Джонни все рассматривает и рассматривает собственные ладони? Я с облегчением отвлекся от своих мыслей — мы услышали грохот шагов по деревянной лестнице. Это Брок включил воспроизведение. Мы услышали лязг и ругань Барли, задевшего спиной край люка. И снова шарканье их подошв, уже по железу крыши.

Спиритический сеанс, подумал я, когда до нас донеслись их первые слова: Барли и Катя говорили с нами из потусторонности. Застывшие чужаки с лицами палачей были забыты.

Наушники были только у Неда. А они многое добавляли, как я убедился, когда позднее сам их надел. В них было слышно и как московские голуби переступают по гребню крыши, и шелест дыхания в Катином голосе. Было слышно, как бьется сердце твоего джо — в микрофонах на его теле.

Брок проиграл всю сцену на крыше, и только тогда Нед объявил перерыв. Равнодушными остались одни лишь наши новые американцы. Их карие взгляды скользнули по нашим лицам и ни на ком не задержались. Уолтер стыдливо краснел.

Брок проиграл сцену ужина, но никто не шевельнулся: ни вздоха, ни скрипа стула, ни единого хлопка, даже когда он остановил катушку и перемотал ленту.

Нед снял наушники.

— Яков Ефремович, фамилия неизвестна, физик, в шестьдесят восьмом ему было тридцать, следовательно, родился в тридцать восьмом,— объявил он, выхватывая из стопки на столе розовый бланк запроса и начиная писать на нем.— Уолтер, есть предложения?

Уолтер заставил себя собраться. Он выглядел донельзя расстроенным, и его голос утратил обычную кипучесть.

— Ефрем, советский ученый, отчество и фамилия неизвестны, отец Якова Ефремовича, см. выше, расстрелян в Воркуте после восстания весной пятьдесят второго,— отбарабанил он, не заглянув в блокнот.— Вряд ли так уж много ученых Ефремов казнили за переизбыток интеллектуальности даже в дни любимого Сталина,— закончил он как-то жалобно.

Глупо, конечно, но мне у него на глазах померещились слезы. Может быть, кто-то действительно скончался, подумал я, покосившись на наших двух мормонов.

— Джонни? — сказал Нед, продолжая писать.

— Нед, мы берем Бориса, отчество и фамилия неизвестны, вдовец, профессор каких-то гуманитарных наук в Ленинградском университете, около семидесяти лет, единственная дочь Екатерина,— сообщил Джонни своим ладоням.

Нед выхватил другой бланк, заполнил его и, словно щедрую милостыню, бросил на поднос для исходящих бумаг.

— Палфри! Хотите включиться в игру?

— Дайте мне ленинградские газеты, хорошо, Нед? — сказал я со всей легкостью, на какую был способен, учитывая, что мормоны обратили на меня всю силу своего карего взгляда.— Меня интересуют участники и победители математической олимпиады пятьдесят второго года,— сообщил я под общий смех.— А для гарантии — не подброси-

те ли еще и пятьдесят первый, и пятьдесят третий? А может быть, и последующие — на его академические лавры? Она же сказала: «Он стал кандидатом наук, доктором наук. И всем прочим». Так нам можно взять это? Благодарю вас.

Когда все обязанности были поделены, Нед свирепо поискал взглядом Эмму, чтобы она отнесла запросы в архив. Но Уолтера это не устроило, внезапно он решил заявить о себе, вскочил и решительно двинулся к столу Неда — выпрямившись в весь свой крошечный рост, взмахивая ручонками.

— Все розыски я беру на себя,— объявил он слишком уж величественно и прижал розовую пачку к груди.— Эта война столь важна, что ее нельзя оставлять на попечение наших голубоволосых архивных генеральш, как они ни неотразимы.

Я заметил, что наши мормоны следили за ним, пока он не скрылся за дверью, а потом уставились друг на друга, а мы слушали, как его веселые каблучки дробно стучат, удаляясь по коридору. И не думаю, что мне задним числом чудится, как похолодела кровь у меня в жилах от страха за Уолтера, хотя я тогда и не понял почему.

— Подышим деревенским воздухом,— час спустя предложил мне Нед по внутреннему телефону, когда я только-только успел водвориться за свой стол в Управлении.— Скажите Клайву, что вы мне нужны.

— Так поезжайте, в чем, собственно, дело? — спросил Клайв, уединившийся со своими мормонами.

Мы взяли из служебного гаража «форд». Машину вел Нед. Отмахнувшись от моих не слишком рьяных попыток завязать разговор, он вручил мне папку для ознакомления. За стеклами замелькали сельские пейзажи Беркшира, но Нед все так же отмалчивался. А когда ему позвонил Брок и подтвердил что-то, о чем он запрашивал, Нед только буркнул: «Так скажите ему» — и опять погрузился в свои мысли.

Мы находились в сорока милях от Лондона на самой гнусной из планет, открытых человеком. В трущобах современной науки, где трава всегда аккуратно подстригается самым тщательным образом. На старинных воротах возлежали изъеденные климатом львы из песчаника. Дверцу Неда открыл любезный мужчина в коричневой спортивной куртке. Его товарищ пошарил детектором под шасси. С той же любезностью они быстро пробежали ладонями по нашим фигурам.

— Дипломат берете с собой, джентльмены?

— Да,— сказал Нед.

— Не пожелаете ли его открыть?

— Нет.

— А поставить его в ящик можно, джентльмены? Полагаю, неэкспонированных пленок там не имеется, сэр?

— Хорошо, поставьте его в ящик,— сказал я.

Мы смотрели, как они погрузили дипломат в подобие зеленого бункера для угля и вновь его оттуда извлекли.

— Благодарю вас,— сказал я, беря дипломат.

— Не стоит благодарности, сэр. Был рад помочь.

Синий пикап объявил: «Следуй за мной». Сквозь его заднее забранное решеткой стекло на нас хмурилась немецкая овчарка. Створки ворот автоматически открылись — за ними лежали кучки срезанной травы, точно заросшие бурьяном бугры общих могил. Бутылочно-зеленые холмы уходили в закат. Грибовидное облако выглядело бы тут удивительно уместным. Мы въехали в парк. Пара ястребов кружила в безоблачном небе. За высокой проволочной изгородью тянулись луга. В уютных выемках прятались бездымные кирпичные здания. Указатель настойчиво призывал не входить в зоны от «Д» до «К» без защитного костюма. Череп над скрещенными костями провозглашал: «Вы предупреждены!» Пикап двигался перед нами с похоронной скоростью. Мы скорбно выехали за поворот и увидели пустые теннисные корты и алюминиевые башни. По сторонам ползли разноцветные трубы, направляя нас к скоплению зеленых сараев. В центре их на вершине холма виднелся последний обломок доатомного века — беркширский коттедж из камня и кирпича. Калитку украшала надпись: «Администратор». Навстречу нам по выложенной плитками дорожке спешил дюжий мужчина в блейзере, зеленом, как камзол жокея, представляющего Англию на международных скачках. По галстуку рассыпаны золотые теннисные ракетки, за манжету засунут носовой платок.

— Вы из Фирмы. Отлично, отлично. Я О'Мара. Кто из вас кто? Он будет прохлаждаться в лаборатории, пока мы его не свистнем.

— Прекрасно,— сказал Нед.

У О'Мары были светлые с проседью волосы и зычный голос сержанта, но со спиртной надтреснутостью. Опухшая шея и пальцы атлета цвета мореного дуба от никотина. («О'Мара держит долгогривых ученых в узде,— сообщил мне Нед во время одной из редких вспышек разговора по дороге сюда.— Наполовину кадровик, наполовину охранник, а в целом дерьмо»).

Гостиную как будто бы все еще убирали французские пленные эпохи наполеоновских войн. Даже кирпичи в камине были отчищены, а полоски известки между ними любовно прочеркнуты белой краской. Мы сидели в креслах с узорами из роз, пили джин с тоником и большим количеством льда. Медные бляхи конской сбруи подмигивали нам с глянцевых черных балок.

— А я как раз из Штатов,— сообщил О'Мара, словно поясняя, почему мы последнее время не виделись. Он поднял свой бокал, нагибая к нему голову, так что перехватил его на полпути.— Вы, ребята, туда часто ездите?

— Иногда,— ответил Нед.

— Случается,— ответил я.— По зову долга.

— Мы, собственно, отправляем туда немало наших, взаймы. Оклахома, Невада, Юта. Многие только рады. Ну, а кое-кто пугается и сбегает домой.— Он пил медленными и обстоятельными глотками.— Посетили их военную лабораторию в Ливерморе, ну, в Калифорнии. Место приятное. Гостиница вполне приличная. Денег не жалеют. Пригласили нас на семинар по смерти. Если подумать, так жуть берет, но психоложцы постановили, что это всем только на пользу. А вина были — на редкость! Ну да собираясь предать пламени порядочный кус человечества, уясни, по крайней мере, на что это похоже.— Он снова приложился к бокалу. Да и куда было торопиться? Вершина холма в этот час казалась удивительно тихим местом.— Просто поразительно, сколько их ни о чем таком никогда не задумывались. Особенно молодые. Старички, те поконфузливее. Они еще помнят век невинности, если таковой вообще существовал. Если погибнешь сразу, то — мгновенный летальный исход, а если постепенно, то отдаленный. Мне и в голову не приходило. Начинаешь по-новому ценить, что ты, так сказать, в центре событий. Ну, а с другой стороны, уже до четвертого поколения дело дошло. Острота как-то попритупилась. А вы, ребята, в гольф играете?

— Нет,— ответил Нед.

— Боюсь, что нет,— ответил я.— Даже брал уроки, но без толку.

— Хорошее тут поле, но играющие обязаны передвигаться на картах, а я лучше в гроб лягу, чем сяду в эту дрянь.— Он снова отпил все с той же ритуальной обстоятельностью.— Уинтл с приветом,— объяснил он, завершив последний глоток.— Они тут все с приветами, но уж Уинтл каждому сто очков вперед даст. Обсосал социализм, обсосал Христа, а теперь взялся за созерцание и тайцзи[1]. Благодарение Богу, хоть женат. Кончал обычную школу, но выговор приличный. Ему еще три года осталось.

— Что вы ему сказали? — спросил Нед.

— Им всегда мерещится, будто они под подозрением. Я сказал, что его ни в чем не подозревают, и еще сказал, чтобы он потом держал свою идиотскую пасть на запоре.

— И по-вашему, он будет молчать? — спросил я.

О'Мара мотнул головой.

— Этого они не умеют, почти никто, вбивай им в голову, не вбивай.

В дверь постучали, и вошел Уинтл, вечный студент пятидесяти семи лет. Высокий, но ссутуленный, так что курчавая седая голова выдавалась над плечами вперед, и полный почти угасшего интеллектуального блеска. На нем была вязаная безрукавка, широкие брюки по былой оксфордской моде и сандалии. Он сидел, сдвинув колени, а рюмку с хересом держал на отлете, словно реторту, которая неизвестно как себя поведет.

Нед тотчас стал профессионалом. Свой сплин он на время отложил.

— Наша обязанность — следить за советскими учеными,— объяснил он, умудрившись придать этому занятию оттенок зеленой скуки.— Мы следим за передвижением фишек в их оборонном комплексе. Боюсь, ничего пикантного.

— А, так вы разведка! — сказал Уинтл.— Я так и подумал, хотя и промолчал.

Мне почудилось, что он на редкость одинок.

---

[1] Полностью: тайцзицюань — китайская гимнастика.

— На хрена вам знать, кто они,— ласково объяснил ему О'Мара.— Англичане они и занимаются своим делом, как вы — своим.

Нед выудил из папки пару напечатанных на машинке листов и протянул Уинтлу, и тот поставил рюмку, чтобы их взять. Его кисти имели обыкновение повисать, а пальцы скрючивались, как у человека, который умоляет, чтобы его отпустили.

— Нам надо поднять кое-какой старый, убранный на полку материал,— сказал Нед, переходя на профессиональный жаргон, которого обычно избегал.— Это резюме вашего опроса, когда вы вернулись из Академгородка в августе шестьдесят третьего. Вы помните некоего майора Воксхолла? Литературным шедевром это не назовешь, но вы упомянули фамилии двух-трех советских ученых, о которых мы с благодарностью выслушали бы все, что можно, если они еще функционируют и вы их помните.

Словно защищаясь от газовой атаки, Уинтл водрузил на нос удивительно безобразные очки в стальной оправе.

— Если мне не изменяет память, майор Воксхолл дал слово чести, что только от меня зависит, буду ли я говорить, и что беседа наша строго конфиденциальна,— дидактически пробубнил он.— Поэтому я весьма удивлен, обнаружив, что моя фамилия и сказанное мной валяются в открытых министерских архивах двадцать пять лет спустя.

— Другого бессмертия вам, приятель, пожалуй, не дождаться, так что прикусили бы язык да радовались,— посоветовал О'Мара.

Тут вмешался я, точно разводя сцепившихся родственников. Не может ли Уинтл дополнить слишком уж сухие записи его собеседника? Добавить немножко плоти и крови одному-двум советским ученым, чьи фамилии наряду с другими перечислены на последней странице? И пожалуй, заодно пролить некоторый свет на кембриджскую бригаду? Не согласится ли он ответить на один-два вопроса, которые, возможно, перевесят чашу весов?

— Бригада, прошу учесть, отнюдь не тот термин, который употребил бы в такой связи я,— возразил Уинтл, набрасываясь на это слово, как отощалый хищник.— Во всяком случае, если речь идет об англичанах. Бригада подразумевает единую цель. Мы были кембриджской группой, не спорю. Но никак не бригадой. Некоторым просто захотелось проветриться, другим — самовозвеличиться. В первую очередь это относится к профессору Коллоу, который имел весьма преувеличенное мнение о своем подходе к проблеме ускорителей, с тех пор отвергнутом.— Тут бирмингемский выговор Уинтла вырвался наружу.— А горсткой действительно руководили идеологические убеждения. Они верили в науку без границ. В свободный обмен знаниями для блага всего человечества.

— Вонючки,— любезно растолковал нам О'Мара.

— Среди нас были французы, множество американцев, шведы, голландцы и один-два немца,— продолжал Уинтл, не замечая шпильки О'Мары.— У всех у них, по-моему, была надежда, а уж у русских ее было хоть отбавляй. Это мы, британцы, еле волочили ноги. Как и сейчас.

О'Мара застонал и подкрепился джином. Но мягкая улыбка Неда, хотя и чуть поувядшая по краям, подвигла Уинтла на дальнейшие воспоминания.

— Это был расцвет хрущевской эры, как вы, без сомнения, помните. Кеннеди на этой стороне, Хрущев — на той. Впереди — золотой век, пророчествовали некоторые. Люди в те дни говорили о Хрущеве, ну, совсем как теперь — о Горбачеве. Хотя, по-моему, наш энтузиазм тогда был более искренним и непосредственным, чем так называемый энтузиазм теперь.

О'Мара зевнул, и его глаза, к сожалению, уставились из своих мешков на меня.

— Мы сообщали им о том, что открыто нами. А они — что открыто ими,— говорил Уинтл, и голос его набирал уверенность.— Мы читали наши доклады. Они читали свои. Должен сказать, Коллоу сел в лужу. Его они разгромили в один момент. Но у нас был Пэнсои с кибернетикой — он утвердил флаг на вершине, и у нас был я. Моя скромная лекция имела большой успех, хотя не мне об этом упоминать. Честно говоря, таких оваций мне с тех пор вообще слышать не доводилось. Не удивлюсь, если они там все еще об этом вспоминают. Баррикады рушились с такой стремительностью, что в зале буквально слышно было, как они трещат. «Слияние в единый поток!» — таков был наш лозунг. «Поток», впрочем, не то слово. Посмотрели бы вы, сколько водки лилось на вечерних сборищах! Или увидели бы приглашенных девушек! Или послушали бы разговоры! КГБ их, конечно, слушал. Но об этом нам было известно

все. Перед отъездом туда с нами побеседовали, хотя некоторые и возражали. Но не я — я патриот. Только никто тут ничего поделать не мог, ни их КГБ и ни наш.— Видимо, он добрался до любимой темы, потому что выпрямился, готовясь произнести давно затверженную речь.— Мне бы хотелось добавить сейчас и здесь, что, по-моему, об их КГБ судят очень превратно. Мне известно из надежного источника, что советский КГБ очень часто брал под свое крыло некоторые из наиболее терпимых элементов советской интеллигенции.

— О, черт! Только не говорите мне, что наш этого не делал! — сказал О'Мара.

— Далее, я нисколько не сомневаюсь, что советские власти совершенно справедливо указывали, что при любом обмене научными сведениями с Западом Советский Союз приобретает больше, чем теряет! — Выдвинутая вперед голова Уинтла поворачивалась от одного из нас к другому, как железнодорожный семафор, а вывернутая ладонь в муках налегала на бедро.— И у них есть культура. Водораздела наука — культура для них не существует, прошу учесть. В них тогда жила мечта Возрождения о всестороннем человеке и сейчас живет. Сам я культурой особенно не интересуюсь. Нет времени. Но она была к услугам тех, кто интересуется. И за вполне умеренную плату, как мне говорили. А многое предлагали и бесплатно.

Уинтлу потребовалось высморкаться. Но чтобы высморкаться, Уинтлу потребовалось расстелить носовой платок у себя на колене, а затем лихорадочными пальцами собрать его в комок для употребления. Нед поторопился использовать эту естественную паузу.

— Может быть, мы могли бы теперь перейти к кое-кому из тех советских ученых, чьи фамилии вы любезно назвали майору Воксхоллу? — сказал он, беря пачку листов, которые я ему протягивал.

Настала минута, ради которой мы приехали. Из нас четверых не понимал этого, я подозреваю, только Уинтл — подернутые желтизной глаза О'Мары впились в лицо Неда с проницательностью человека, страдающего расстройством пищеварения.

Нед пошел с бросовых карт, как на его месте поступил бы и я. Возле них он для себя поставил зеленые галочки. Двое успели умереть, третий был в немилости. Нед проверял память Уинтла, готовил его к главному.

— Сергей? — повторил Уинтл.— Боже мой, ну конечно! Но как же его фамилия? Попов? Попович? Ах, да, Протопопов! Сергей Протопопов, инженер, специалист по топливу.

Нед терпеливо провел Уинтла через три фамилии и перешел к четвертой, направляя его память, стимулируя ее.

— Попробуйте припомнить, не говорите сразу «нет». И все-таки «нет»? Ну, хорошо. Попробуем Савельева.

— Как вы сказали?

Я заметил, что память Уинтла в чисто английском духе шарахалась от русских фамилий. Она предпочитала имена, которые можно переиначивать на английский лад.

— Савельев,— повторил Нед. И вновь я перехватил устремленный на него взгляд О'Мары. Нед пошарил глазами по листу, быть может, чуть-чуть слишком уж небрежно.— Именно так. С-а-в-е-л-ь-е-в. «Молодой идеалист. Словоохотливый, называл себя гуманистом. Работает с частицами, вырос в Ленинграде». Так, если верить майору Воксхоллу, говорили вы в дни, отделенные от нас чуть ли не всей жизнью. Не смогли бы вы добавить что-нибудь еще? Например, вы не поддерживали с ним связи? С Савельевым?

Уинтл улыбался словно чуду.

Для меня он, видите ли, все еще Яков.

— Прекрасно. Яков Савельев. А отчество его не помните?

Уинтл покачал головой все с той же улыбкой.

— Так это его фамилия? Савельев. Черт меня подери! Ну, что вы хотите? Забыл!

— Что-нибудь добавите к тогдашнему вашему описанию?

Нам пришлось подождать. Чувство времени у Уинтла было иным, чем у нас. Как и чувство юмора, если судить по его ухмылке.

— Очень он был застенчивым, этот Яков. На заседаниях не решался задавать вопросы. А дожидался конца и дергал тебя за рукав. «Извините, сэр. Но что вы думаете о том-то и том-то?» И учтите, вопросы в самую точку. Про него говорили, что он по-своему очень культурный человек. Мне рассказывали, он прямо блистал на вечерах поэзии. И на художественных выставках.

Голос Уинтла иссяк, и я испугался, как бы он не начал сочинять, что часто случается с людьми, когда запас реальных сведений у них исчерпывается, а уходить в тень им не хочется. Но к моему облегчению, он просто извлекал воспоминания из загашника памяти, а вернее, выдаивал их из эфира поднятыми вверх пальцами.

— Яков, он всегда переходил от одной группы к другой,— продолжал Уинтл все с той же улыбочкой невыносимого превосходства.— Задерживался на краешке спора, весь внимание. Примостится на краешке стула и слушает. Его отца окружала какая-то тайна, я так и не узнал, в чем она заключалась. Говорили, что он тоже был ученый и его расстреляли. Так ведь действительно многих ученых расстреливали. Прихлопывали, как мошек, я об этом читал. А если не убивали, то держали в тюрьме. Туполев, Петляков, Королев — немало самых ведущих их авиаконструкторов создали лучшие свои детища в тюрьме. Рамзин изобрел новый паровой котел в тюрьме. Первая группа, занявшаяся у них ракетами, была организована в тюрьме. Ее возглавлял Королев.

— Чертовски здорово, старина,— сказал О'Мара, снова позевывая.

— Подарил мне этот камень,— добавил Уинтл.

И я увидел, что его вновь оторвавшиеся от колена пальцы то сжимаются вокруг воображаемого камня, то разжимаются.

— К а м е н ь? — переспросил Нед.— Драгоценный?.. Нет, видимо, какой-то геологический образчик?

— Когда мы, западные гости, уезжали из Академгородка,— начал Уинтл, изменив тон, словно собирался поведать нам совсем другую историю,— то р а с с т а л и с ь со всем, что у нас было. В б у к в а л ь н о м с м ы с л е с л о в а. Если бы вы увидели нас там в последний день, то глазам своим не поверили бы. Наши русские хозяева льют с л е з ы, обнимают, целуют, автобусы все в цветах, даже Коллоу всплакнул, хотите верьте, хотите нет. А мы, западные гости, раздариваем все, что у нас есть,— книги, газеты, ручки, часы, бритвы, зубную пасту и даже собственные з у б н ы е щ е т к и! Пластинки, кто привез их. Запасное белье, галстуки, обувь, рубашки, носки — ну, все, кроме самого необходимого, чтобы не лететь домой в совсем уж непристойном виде. И мы заранее н е д о г о в а р и в а л и с ь. Ничего н е о б с у ж д а л и. Все получилось с а м о с о б о й. Некоторые зашли еще дальше. Особенно американцы с их импульсивностью. Один, я слышал, предложил фиктивный брак девушке, которая отчаянно хотела выбраться за границу. Но не я. Подобное не для меня. Я патриот.

— И вы подарили кое-что Якову,— подсказал Нед, делая вид, будто деловито пишет в блокноте.

— Да, попробовал. Ощущение такое, словно кормишь птичек в парке. Отдаешь, отдаешь, не можешь удержаться. Выглядываешь такую, которой ничего не достается, и стараешься подкормить ее. К тому же Яков был мне очень симпатичен — такой юный, такой впечатлительный.

Пальцы все еще сжимали невидимый камень, кончики их тщетно пытались сомкнуться. Другая рука поднялась ко лбу, защипнула порядочную складку кожи.

— «А вот это вам, Яков,— сказал я.— Да не стесняйтесь так! Ваша застенчивость вам попросту вредна». Я тогда брился электрической бритвой. И батарейки к ней, и трансформатор — в очень милом футляре. Но он почему-то смущался. Футляр куда-то положил, а сам крутится возле. Тут я сообразил, что он хочет что-то подарить м н е. Тот самый камень. Завернутый в газету — у них, естественно, красивых оберток не имелось. «Это частица моей страны»,— говорит. «В благодарность за вашу лекцию»,— говорит. Он хотел, чтобы я полюбил все лучшее в ней, какой бы плохой она порой ни казалась извне. И все это, учтите, на прекрасном английском, какому и кое-кто из н а с мог бы позавидовать. Мне стало неловко, если хотите знать. Камушек этот я хранил много лет, а потом во время весенней уборки жена его выбросила. Несколько раз я собирался написать ему, но так и не собрался. Он, учтите, был по-своему высокомерен. Ну, да не он один среди них. Как, на с в о й лад, и многие из н а с. Мы все считали, что наука способна управлять миром. Что же, сейчас она им и управляет, да только не так, как ей было предназначено.

— А он вам писал? — спросил Нед.

Уинтл долго размышлял.

— Трудно сказать. Откуда узнаешь, что именно задержала почта? И по чьему распоряжению?

Я достал из дипломата и передал Неду пачку фотографий. Нед вручил их Уинтлу под пристальным взглядом О'Мары. Уинтл начал их перебирать и вдруг вскрикнул:

— Это он! Яков! Тот, кто подарил мне камень.— Он отдал фотографии Неду.— Вот сами посмотрите! Посмотрите на эти глаза! А потом попробуйте убедить меня, что он не идеалист!

Извлеченный из ленинградской вечерней газеты от 5 января 1954 года и воссозданный фотоотделом Яков Ефремович Савельев, гениальный подросток.

Список еще не был исчерпан, и Нед добросовестно обсудил с Уинтлом каждую фамилию, прокладывая ложный след за ложным следом и заметая собственные следы, пока Савельев для Уинтла не остался одним из многих.

— А это умно — держать козырную карту в самой середке,— заметил О'Мара, с бокалом в руке провожая нас к автомобилю.— Когда я в последний раз слышал о Савельеве, он руководил испытательным полигоном в казахстанской глуши, мечтая о способах получать телеметрическую информацию так, чтобы ее не читали через плечо все, кому не лень. А теперь он что — распродает лавочку?

Моя работа редко когда доставляет мне удовольствие, но и эта беседа, и это место подействовали мне на нервы, а О'Мара и вовсе: за локоть я хватаю человека тоже редко, и отшатываюсь, и слегка разжимаю пальцы.

— Полагаю, вы дали подписку о неразглашении государственной тайны? — спросил я достаточно спокойным тоном.

— Так эту хреновину я же чуть не сам составил,— с изумлением ответил О'Мара.

— Следовательно, вы знаете, что любые сведения, полученные вами по службе, и все выводы из этих сведений составляют вечную собственность короны. (Еще одна юридическая передержка. Но пусть. Я отпустил его локоть.) Так если вам нравится ваша работа здесь и вы надеетесь на повышение или если вас устраивает ваша будущая пенсия, то я бы посоветовал вам навсегда забыть об этой беседе и обо всех упомянутых в ней фамилиях. Большое спасибо за джин. Всего хорошего.

На обратном пути, позвонив в русский отдел и кодом сообщив, что личность Дрозда установлена, Нед вновь замкнулся в себе. Однако, когда мы остановились на Виктория-стрит, он вдруг решил, что я ему еще понадоблюсь.

— Останьтесь,— распорядился он, пропуская меня перед собой на лестницу в полуподвал.

В первую секунду сцена в оперативном кабинете могла вызвать только восторг. В фокусе находился Уолтер — стоя, словно художник перед мольбертом, у большой белой доски заметно выше его, он цветными мелками изображал подробности жизни Савельева. Будь на нем широкополая шляпа и блуза, они ничего не добавили бы к его лихой позе. И только на второй секунде я вспомнил мое утреннее жуткое предчувствие.

Вокруг него — то есть позади, так как доску прислонили к стене под часами,— стояли Брок, Боб, Джек, наш шифровальщик, Эмма, помощница Неда, и еще Пэт, одна из опор советского архива. Все держали бокалы с шампанским, и все улыбались — каждый на свой манер. Только улыбка Боба больше походила на гримасу подавляемой боли.

— Одинокий, все для себя решающий сам,— декламировал Уолтер. (На миг он умолк, услышав, как мы вошли, но головы не повернул.) — Пятидесятилетний свершитель, трясущий решетку пожилых лет, взирающий на неизбежность смерти и потраченную зря жизнь. Но разве не все мы такие?

Он отступил на шаг. Потом опять подскочил к доске и вывел какую-то дату. Потом отхлебнул шампанского. И мне почудилось в нем что-то вурдалачье, что-то пугающее, словно румяна на щеках умирающего.

— Провел в секретном центре всю свою взрослую жизнь,— продолжал Уолтер весело.— Но язык держал за зубами. Сам принимал свои решения, совсем один, во мраке, благослови его Господь. А теперь сводит счеты с историей, пусть она его даже прикончит. Что вовсе не исключено. (Еще одна дата на доске и слово «ОЛИМПИАДА».) Родился в особом году. Будь он помоложе, ему бы вправили мозги, а будь постарше, думал бы только о тепленьком местечке, извечной мечте дряхлеющего пердуна.

Он выпил еще, по-прежнему спиной к нам. Я поглядел на Боба в поисках объяснения, но он вперился в пол. Я поглядел на Неда. Он смотрел на Уолтера, но его лицо ничего не выражало. Я снова поглядел на Уолтера и увидел, что он дышит все надсаднее.

— Его изобрел я, вот что! — пыхтел Уолтер, словно не замечая всеобщей подав-

ленности.— Я много лет предсказывал, что он явится. (Крошась, мелок вывел: «ОТЕЦ КАЗНЕН»). Даже когда его мобилизовали, бедняжка так старался быть хорошим! Он не интриговал, он не таил зла. Сомнения у него имелись, но он был хорошим солдатом, во всяком случае, для ученого. Пока в один прекрасный день — бац! Просыпается и видит, что все это чушь и вранье, и он растратил свой гений на кучку бездарных гангстеров, а вдобавок поставил мир на край гибели.— По его вискам ползли капли пота, он яростно писал: «РАБОТАЛ ПОД НАЧАЛОМ РОГОВА НА 109-м ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ В КАЗАХСТАНЕ». Сам того не зная, он стал участником Великой русской мужской климактерической революции восьмидесятых. У него за спиной вся эта ложь, Сталин, хрущевский проблеск, долгая тьма Брежнева. Однако у него еще есть силы на один порыв, у него есть последний климактерический шанс оставить свой след на земле. А в ушах звенят новенькие лозунги: революция сверху, открытость, мир, перемены, мужество, реконструкция. Его даже п о б у ж д а ю т восстать.

Уолтер задыхался, но писал даже еще быстрее: «ТЕЛЕМЕТРИЯ, КОДИРОВАНИЕ, ТОЧНОСТЬ», одновременно задавая между всхрипами риторические вопросы:

— Куда они попадут? Какое число и как близко ляжет к какому числу мишеней и когда? Каковы расширение и температура наружного слоя? Воздействие силы тяжести? Критические вопросы, а Дрозд знает ответы. Знает, потому что его обязанность — заставлять ракеты говорить в полете, и так, чтобы американцы их не расслышали. В этом он мастак. Потому что он создал системы кодирования, на которых американские суперподслушиватели в Турции и Китае все зубы поломают. Он находит все ответы, а братец Рогов пердит их своим господам в Москве. В чем, согласно Дрозду, и заключается специальность профессора Рогова. «Профессор Аркадий Рогов — пресмыкающийся жополиз»,— сообщает он нам в тетради номер два. Заключение абсолютно верное. Аркадий Рогов как раз и есть предсказуемый, высокооплачиваемый, бесхребетный жополиз, который выполняет свою норму и честно отрабатывает свои ордена и привилегии. Кого он нам напоминает? А никого! И уж конечно, не нашего дражайшего Клайва. И Дрозд срывается. Он исповедуется в своих муках Кате, а Катя говорит: «Чем хныкать, сделай что-нибудь!» И он, черт побери, делает! Он преподносит нам все, на что сумел наложить руку. Сокровища «Тысячи и одной ночи», удвоенные и утроенные. Коды раскодированные. Телеметрия en clair [1]. Ретроспективные ключи к кодам, чтобы мы могли перепроверить. Чистую неприкрашенную правду, до того как ее подгримировали для московского потребления. Ну, хорошо, он не в своем уме. А кто в своем из тех, кто чего-то стоит? — Он допил бокал, и я увидел, что его лицо сморщилось в багровый сгусток боли, смущения, гнева.— Жизнь — это черт знает что! — докончил он, всовывая свой бокал мне в руку.

Я еще не сообразил, что происходит, а он проскользнул мимо нас на лестницу, и мы слушали, как одна за другой открывались и захлопывались стальные двери, пока он не выбрался на улицу.

— Уолтер превратился в обузу,— сухо объяснил мне Клайв на следующее утро, когда я в него вцепился.— Ну, хорошо, для нас он был просто эксцентричным чудаком. Но другие...— В первый и последний раз он при мне почти признал наличие половой жизни, и поспешил поправиться.— Я передал Уолтера в отдел подготовки,— продолжал он с самым ледяным своим видом.— На той стороне слишком многие посматривали на него косо.

На той стороне Атлантического океана, естественно.

Вот так исчез Уолтер, чудесный Уолтер, и я не ошибся: мормонов мы больше ни разу не видели, и Клайв ни разу о них не упомянул. Были они просто посланцами Лэнгли или сами вынесли приговор и определили кару? Или они были вовсе не из Лэнгли, а представляли одну из непрерывно множащихся аббревиатур, особенно возмущавших Неда, когда он жаловался Клайву на обилие копий по Дрозду? Или они были излюбленной мишенью ненависти Неда — ведомственными психиатрами?

Но кем бы они ни были, их мимолетный визит сказался на всем русском отделе, и пустота, оставленная Уолтером, зияла, точно воронка, оставленная снарядом наших ближайших союзников. Боб ощущал это, и его помучивал стыд. Даже гранитному Джонни было не по себе.

---

[1] Здесь: в чистом виде (*франц.*).

— Вам придется более активно участвовать в операции,— сказал мне Нед.

Жалкая компенсация за исчезновение Уолтера!

— Тебя опять что-то грызет,— сказала Ханна.

Был обеденный перерыв. Работает она неподалеку от Риджентс-парка, и иногда в теплые дни мы вместе съедаем по бутерброду. Иногда даже заглядываем в зоопарк. А иногда она дает Онкологическому институту передышку, и заканчиваем мы прогулку в постели.

Я справился о ее муже, Дереке. Он — одна из немногих наших общих тем. Дерек опять затеял ссору? Избил ее? В те дни, когда мы были самозабвенными любовниками, мне порой казалось, что связывает нас именно Дерек. Но сегодня она не хотела разговаривать о Дереке. Она хотела знать, что меня грызет.

— Они выбросили вон человека, который был мне симпатичен,— сказал я.— То есть не вон, а в местное мусорное ведро.

— В чем он провинился?

— Ни в чем. Просто они взяли да и взглянули на него под другим углом.

— А почему?

— Потому что им так удобнее. Не сочли возможным долее терпеть его, учитывая определенные требования.

Она обдумала мои слова.

— То есть подчинились условностям, ты это имеешь в виду? — заметила она.

А подразумевала: как ты, как мы с тобой. И почему я продолжаю с ней видеться? Тянет на место былого преступления? В тысячный раз ищу у нее отпущения грехов? Или я прихожу к ней, как мы приходим в школу, где когда-то учились, в попытке понять, куда девалась наша юность?

Ханна все еще красива, хоть это-то утешение у меня есть. Седина и грузность еще впереди. Когда я вижу, как ее лицо вдруг озаряется изнутри, вижу ее храбрую трепетную улыбку, она мне кажется совсем такой, как двадцать лет назад, и я говорю себе, что нисколько ее не погубил. «С ней ничего плохого не произошло. Погляди на нее. Она улыбается, целая и невредимая. Пинает ее Дерек, а вовсе не ты».

Но не знаю. Не знаю...

«Юнион Джек» [1], приводивший в такую ярость диктатора Сталина, когда тот взирал на него с зубчатых стен Кремля, вяло обвис на флагштоке во дворике перед английским посольством. Кремовый дворец за ним напоминал свадебный торт былых времен, готовый к тому, чтобы новобрачная его нарезала; река покорно подставляла масляно поблескивающую спину утреннему проливному дождю. У чугунных ворот двое русских полицейских изучали паспорт Барли, а чернила расплывались в дождевых каплях. Младший списал его фамилию. Старший все еще недоверчиво сравнивал его заострившиеся черты с лицом на фотографии. Коричневый плащ Барли промок насквозь, волосы прилипли к голове. Он, казалось, стал чуть ниже ростом.

— Нет, ну и погодка! — воскликнула благовоспитанная девица в плиссированной клетчатой юбке, перехватывая его в вестибюле.— Здравствуйте, я Фелисити. А вы тот, за кого я вас принимаю, ведь так? Совсем вымокший Скотт Блейр? Советник по экономическим вопросам ждет вас.

— Но экономисты вроде бы помещаются в другом здании?

— Нет, там по вопросам торговли. Это совсем другое.

Барли последовал за ее виляющим задиком вверх по парадной лестнице. У него всегда, когда он попадал в стены английских представительств за границей, возникало ощущение сдвига в пространстве — но в это утро оно было абсолютным. Фальшиво насвистывал мальчишка-почтальон, доставлявший ему газеты в Хампстеде. Полотер урчал и порыкивал, как кооперативный молочный фургон. Было только восемь утра, и официальная Британия еще официально не пробудилась. Советник по экономическим вопросам оказался коренастым шотландцем с серебряными волосами. Фамилия его была Крейг.

---

[1] Государственный английский флаг.

— Мистер Блейр! Сэр! Как поживаете? Прошу, садитесь! Чай или кофе? На вкус, боюсь, они неразличимы, однако мы над этим работаем. Мало-помалу, но мы добьемся результатов.

Схватив плащ Блейра, он распял его на вешалке министерства общественных работ. С фотографии в рамке над письменным столом на них смотрела королева в амазонке. Карточка рядом с ней предупреждала: устная речь в этой комнате требует осторожности. Фелисити принесла чай и печенье. Крейг энергично сыпал словами, точно ему не терпелось поскорее выложить все свои новости. Его красное лицо глянцевато поблескивало после бритья.

— А, да! Я слышал, эти бандиты в ВААПе устроили вам хорошенькую карусель! Но хоть что-нибудь вам понять удалось? Вы чего-то добились, или дело ограничивается сладкими московскими речами? Видите ли, тут все — только имитация деятельности. Редко, ах, как редко удается действительно заключить сделку. Мысль о прибылях чужда им, как и усердие. Сплошной подхалимаж и взаимное почесывание, сами понимаете, чего. Как я не устаю повторять: что может быть немыслимее неизлечимой лени в сочетании с недостижимыми видениями? Совсем недавно посол воспользовался в депеше этим моим выражением и «спасибо» не сказал. Чего, впрочем, и не требовалось. Нет, вы объясните, как они выйдут из положения при экономике, построенной на безделье, трайбализме и скрытой безработице? Ответ: и не выйдут. Когда они освободятся от всего этого? Что произойдет, если освободятся? Ответ: одному Богу известно. Здешний книжный мир представляется мне миниатюрным воплощением всей стоящей перед ними дилеммы. Вам ясна моя мысль?

Он гремел, пока, видимо, не решил, что Барли и микрофонам на сегодня достаточно.

— Ну, наша маленькая беседа доставила мне большое удовольствие. Не скрою: вы дали мне много пищи для размышления. Главная опасность в нашем деле — оказаться отрезанным от источников. А теперь не разрешите ли познакомить вас кое с кем? Иначе сотрудники канцелярии мне этого никогда не простят.

Властно кивнув, он пошел впереди по коридору к металлической двери со зловещим глазком. Дверь открылась перед ними и закрылась, едва Барли переступил порог.

Крейг ваш связной, предупредил его Нед. Сущий черт, но доставит вас к вашему поводырю.

В первый момент Барли показалось, что он очутился в затемненной больничной палате, а во второй — что в сауне, так как единственный свет исходил от пола в углу и пахло сосновой смолой. Затем он решил, что сауна подвешена, так как пол чуть покачивался.

Осторожно присев на стул, он различил за столом две фигуры. Над первой висел завернувшийся внизу плакат с изображением лейб-гвардейца, обороняющего Лондонский мост. Над второй — озеро Уиндермир томно нежилось в лучах заката, иждивением «Бритиш рейлуэйз».

— Браво, Барли! — воскликнул из-под лейб-гвардейца английский голос, чем-то сходный с голосом Неда.— Меня зовут Падди, уменьшительное от Патрика, а это Сай. Он американец.

— Привет, Барли,— сказал Сай.

— Мы здесь просто на посылках,— пояснил Падди.— И, естественно, довольно стеснены в своих возможностях. Главная наша обязанность — обеспечивать верблюдов и горячее питание. Нед просил передать его теплейший привет. И Клайв тоже. Не будь они такими мечеными, то сами приехали бы сюда грызть ногти вместе с нами. Что поделаешь, профессиональный риск. Рано или поздно нас всех это ждет.

Пока Падди говорил, скудный свет мало-помалу извлек его из мглы. Он был крепко сбит, но гибок, с косматыми бровями и глядящими в неведомую даль глазами открывателя новых земель. Сай был выутюжен, элегантен и на десяток лет моложе. Их четыре руки лежали на плане Ленинграда. Манжеты Падди были обтрепаны, а у Сая — накрахмалены.

— Да, кстати, мне поручено спросить, хотите ли вы продолжать? — сказал Падди, словно это была остроумная шутка.— Если предпочтете устраниться, ваше право, и никаких претензий. Так как же?

— Западний убьет меня,— буркнул Барли.

— За что?

— Я его гость. Он оплачивает мои счета, занимается моей программой.— Барли потер ладонью лоб, словно стараясь восстановить связь с мозгом.— Что я ему скажу? Не могу же я просто сорваться с места: пока-пока, мне пора в Ленинград. Он подумает, что я свихнулся.

— Но ведь вы говорите — Ленинград, а не Лондон,— сказал Падди настойчиво и ласково.

— У меня нет визы. Есть только для Москвы. Не для Ленинграда.

— Ну, а если?

Опять долгая пауза.

— Мне надо поговорить с ним,— сказал Барли, точно это было исчерпывающее объяснение.

— С Западним?

— С Гёте. Я должен с ним поговорить.

Привычным жестом проведя тыльной стороной ладони по губам, Барли поглядел на нее, словно ожидая увидеть кровь.

— Лгать ему я не буду,— буркнул он.

— Об этом и речи нет. Неду нужно честное сотрудничество. Без обмана.

— И нам тоже,— добавил Сай.

— Хитрить я с ним не стану. Буду говорить либо прямо, либо никак.

— Нед ничего другого и не предполагает,— сказал Падди.— Мы хотим дать ему все, в чем он нуждается.

— Мы тоже,— добавил Сай.

— «Потомак — Бостон, инкорпорейтед», Барли. Ваш новый американский торговый партнер,— произнес Падди другим голосом, заглядывая в лежащую перед ним бумагу.— Глава издательства — некий мистер Хензигер, верно?

— Дж. П.,— сказал Барли.

— Знакомы с ним?

Барли мотнул головой и поморщился.

— С фамилией в контракте,— сказал он.

— И больше вы с ним никак не соприкасались?

— Раза два мы говорили по телефону. Нед решил: пусть нас послушают по трансатлантическому кабелю. Крыша.

— Но никакого воображаемого портрета его вы не составили? — не отступал Падди, который всегда старался добиваться четких ответов, что превращало его в педанта.— Он для вас не конкретная личность?

— Он — фамилия с деньгами и конторой в Бостоне, он — голос в телефонной трубке. И ничего больше.

— А в ваших разговорах с местными третьими лицами, например с Западним, Дж. П. Хензигер в качестве пугала не фигурировал? Вы не снабдили его наклеенной бородой, деревянной ногой или ужасающей сексуальностью? Ничего такого, что необходимо было бы учесть, облекая его, так сказать, в живую плоть?

Барли задумался над вопросом, а затем словно забыл о нем.

— Так нет? — спросил Падди.

— Нет,— сказал Барли и снова некстати мотнул головой.

— В таком случае может произойти следующее,— сказал Падди.— Мистер Дж. П. Хензигер, «Потомак — Бостон», молодой, энергичный, напористый, в настоящее время отдыхает в Европе с супругой. Самый туристический сезон. В данный момент, скажем, они находятся в Хельсинки, в отеле «Марски». Бывали в «Марски»?

— Как-то заглянул туда выпить,— ответил Барли, словно признаваясь в постыдной тайне.

— И, со свойственной американцам импульсивиостью, Хензигеры внезапно решают поглядеть Ленинград. Мне кажется, ваш черед, Сай.

Сай отомкнул улыбку и принял эстафету. Лицо у него, когда оживлялось, было острым, а говорил он внятно, хотя и отрывисто.

— Хензигеры отправятся в трехдневную автобусную экскурсию. Барли. Визы на финской границе, гид, автобус, ну, словом, вся музыка. Обыкновенные порядочные люди. Первый раз в России. Гласность — богатая тема для разговоров по возвращении в Бостон. Он вложил в вас деньги. Зная, что вы сейчас транжирите их в Москве, он просит

вас бросить все и поспешить в Ленинград, чтобы носить за ним чемоданы и доложить об успехах. Обычная манера молодых магнатов. Очень типичная. Вас что-то смущает? Что-то не звучит?

В голове Барли прояснялось, он начинал соображать.

— Нет. Звучит. Я сумею, если вы сумеете.

— Сегодня рано утром по лондонскому времени Дж. П. звонит из «Марски» в вашу лондонскую контору и слышит голос вашего автоответчика. С автоматами Дж. П. не разговаривает. И через час, считая от этой минуты, он шлет вам телекс на ВААП Западнему, копия Крейгу сюда в посольство, с настоятельной просьбой встретить его в пятницу в Ленинграде в гостинице «Европейская», она же «Европа», где забронированы номера для их группы. Западний заерзает, возможно, испустит душераздирающий вопль, но поскольку тратите вы деньги Дж. П., Западний по нашему прогнозу будет вынужден склониться перед силами рынка. Звучит?

— Да,— сказал Барли.

Эстафету перехватил Падди:

— Если он не совсем идиот, то сам поможет вам с визой. А если надуется, Уиклоу съездит в ОВИР, и они все сделают при нем. На наш взгляд, с Западним вам лучше ничего особенно не подчеркивать. Не расшаркиваться перед ним, не извиняться. Превратите необходимость в добродетель. Скажите ему, что такова в наши дни жизнь на скоростных автострадах.

— Дж. П. Хензигер — свой,— сказал Сай.— Прекрасный работник. Как и его жена.

Он внезапно умолк.

Точно судья на ринге, заметивший нарушение, Барли вскинул руку и уставил палец в грудь Падди.

— Да погодите! Перекройте кран. Минуточку. Что толку от них обоих при всей распрекрасности, если их весь день будут таскать по Ленинграду в туристском автобусе?

Падди потребовалась лишь секунда, чтобы оправиться от этого внезапного выпада:

— Скажите ему вы, Сай.

— Барли, едва они приедут вечером в четверг в гостиницу «Европа», как у миссис Хензигер начнется сильнейшее ленинградское расстройство желудка. Дж. П. не пожелает любоваться достопримечательностями, пока его прекрасная супруга страдает животом. И затворится с ней в гостинице. Никаких проблем.

Падди поставил лампу и блок питания возле карты Ленинграда. Три адреса, полученные от Кати, были обведены красными кружками.

День уже клонился к вечеру, когда Барли позвонил ей, рассчитав, что она как раз будет запирать свои скрепки. Он вздремнул и выпил две рюмки шотландского виски, чтобы привести себя в форму. Но когда он начал говорить, голос его зазвучал как-то пронзительно, и он понизил его.

— А! Привет. Значит, добрались благополучно? — Ему почудилось, что за него говорит кто-то совершенно незнакомый.— Поезд в тыкву не превратился?

— Благодарю вас, все было нормально.

— Отлично. Собственно, я позвонил, чтобы узнать. Да. И сказать вам «спасибо» за чудесный вечер. Гм-м. И на время попрощаться.

— И вам спасибо. Он мне много дал.

— Видите ли, я надеялся, что мы еще раз увидимся. Беда в том, что мне надо в Ленинград. На меня вдруг свалилось дурацкое дело и переменило все мои планы.

Долгое молчание.

— Тогда присядьте,— сказала она.

«Кто из нас сошел с ума?» — подумал Барли, а вслух сказал:

— Зачем?

— У нас есть обычай: перед дальней дорогой немного посидеть. Так вы сидите?

Он уловил в ее голосе счастливую ноту и почувствовал, что счастлив.

— Я даже лежу. Годится?

— Не имею ни малейшего представления. Полагается сесть на чемодан или на скамью, повздыхать и осенить себя крестным знамением. Но наверное, с тем же результатом это можно сделать и лежа.

— Совершенно с тем же.

— А из Ленинграда вы вернетесь в Москву?

— Вряд ли. Во всяком случае, не в этот раз. Скорее всего, мы оттуда улетим прямо в школу.

— В школу?

— То есть в Англию. Мое дурацкое словечко.

— И что оно означает?

— Обязательства. Незрелость. Невежество. Обычные английские пороки.

— У вас много обязательств?

— Полные чемоданы. Но я учусь сортировать их. Вчера я даже сказал «нет» и поразил всех.

— А зачем вам надо было говорить «нет»? Почему не сказать «да»? Может быть, они изумились бы еще больше.

— Пожалуй. В том-то и пробел вчерашнего вечера, правда? Я так и не успел поговорить о себе. Мы говорили о вас, о великих поэтах всех времен, о мистере Горбачеве, об издательском деле. Но главной темы так и не коснулись. Меня. Придется мне приехать еще раз, специально, чтобы надоесть вам.

— Я уверена, что мне вы надоесть не способны.

— Не могу ли я вам что-нибудь привезти?

— Простите?

— Когда опять приеду. Какие-нибудь пожелания? Электрическая зубная щетка? Папильотки? Еще что-нибудь Джейн Остин?

Долгая чудесная пауза.

— Желаю вам доброго пути, Барли,— сказала она.

Последний обед с Западним был поминками без покойника. Они сидели — четырнадцать мужчин и ни единой женщины — в огромном и (помимо них) совершенно пустом зале верхнего ресторана еще не достроенной гостиницы. Официанты принесли закуски и исчезли в неизвестном направлении. Западнему пришлось послать лазутчиков на их поиски. Ни алкогольных напитков, ни разговоров, не считая попыток Барли и Западнего поддерживать подобие беседы. Из проигрывателя лилась музыка пятидесятых годов, где-то что-то прибивали.

— А мы такой вечер договорились устроить для вас, Барли! — соблазнял Западний.— Василий принесет барабаны, Виктор одолжит вам саксофон, один мой приятель обещал шесть бутылок самогона собственного изготовления. Придут сумасшедшие художники и писатели. Все слагаемые беспутнейшего вечера, и в вашем распоряжении суббота и воскресенье, чтобы прийти в себя. Да пошлите вы своего потомакского сукина сына ко всем чертям! Мы вас развеселим.

— Наши денежные мешки — как ваши бюрократы, Алик. Непослушание нам дорого обходится. Как и вам.

В улыбке Западнего не было ни теплоты, ни прощения.

— А мы-то думали, что одна из наших московских прославленных красавиц не оставила вас равнодушным! Неужели даже обворожительная Катя не уговорит вас остаться?

— Какая Катя? — услышал Барли свой голос, все еще не понимая, почему не рухнул потолок.

Раздались веселые смешки.

— Это же Москва, Барли! — напомнил ему Западний, очень довольный собой.— Тут ничего не происходит без того, чтобы что-нибудь не произошло. Круг интеллигенции тесен, все мы без гроша, а болтать по городскому телефону можно бесплатно. И поужинать с Катей Орловой в уютном, не слишком-то чопорном подвальчике без того, чтобы наутро хотя бы пятнадцать из нас про это не узнали, вам не удастся!

— Чисто деловой ужин,— сказал Барли.

— А тогда почему вы не взяли с собой мистера Уиклоу?

— Слишком молод,— ответил Барли и был вознагражден новым взрывом русского смеха.

Ночной экспресс в Ленинград уходит из Москвы за несколько минут до полуночи, чтобы бесчисленные русские бюрократы могли по традиции потребовать командировочные за лишний день. Купе было четырехместное, и Уиклоу с Барли расположились было на нижних полках, но дородная блондинка потребовала, чтобы Барли уступил ей свое место. Четвертую полку занимал тихий мужчина, видимо, со средствами, который объяснялся с ними на изящном английском языке и лелеял какую-то тайную печаль. Он был облачен в темный строгий костюм, но не замедлил сменить его на полосатую пижаму бешеной расцветки, не посрамившую бы и клоуна, хотя лицо его не стало веселее. Затем блондинка заявила, что и шляпы не снимет, пока мужчины не выйдут из купе. Впрочем, гармония восстановилась, когда она пригласила их обратно и в розовом халате с помпончиками на плечах принялась вознаграждать их за галантность домашними пирожками. А когда Барли достал бутылку виски, это произвело на нее такое впечатление, что она угостила их еще и колбасой и раз за разом настаивала, чтобы они выпили за здоровье миссис Тэтчер.

— Вы откуда? — спросил у Барли грустный мужчина через провал между ними, когда они улеглись на своих верхних полках.

— Из Лондона,— сказал Барли.

— Лондон в Англии. Не с луны, не со звезд, а из Лондона в Англии,— объявил грустный мужчина и, в отличие от Барли, вроде бы тут же уснул.

Однако часа через два, когда они остановились на какой-то станции, он продолжил разговор.

— Вы знаете, где мы сейчас? — спросил он, даже не побеспокоившись проверить, не спит ли Барли.

— Нет.

— Если бы с нами ехала Анна Каренина и у нее прояснилось бы в голове, она именно тут дала бы отставку никчемному Вронскому.

— Великолепно,— ответил Барли в полном недоумении. Виски у него больше не было, но у грустного мужчины нашелся грузинский коньяк.

— Было болото, болото и осталось,— сказал грустный мужчина.— Если вы изучаете русскую болезнь, то должны пожить в русском болоте.

Он подразумевал Ленинград.

10

Ваточное небо низко нависало над импортными дворцами и придавало им унылый вид даже в их изысканных нарядах. В парках звучала летняя музыка, но лето пряталось за облаками, а над венецианскими каналами колебалась и обманывала зрение белесая нордическая дымка. Барли, как всегда, когда он ходил по Ленинграду пешком, охватывало ощущение, будто он все время попадает в разные города — то в Прагу, то в Вену, а вот это кусочек Парижа или уголок Риджентс-парка. Но он не знавал другого города, который вот так прятал бы свой стыд за столькими прелестными фасадами или с улыбкой задавал бы столько страшных вопросов. Кто молился в этих запертых ирреальных церквах? И чьему Богу? Сколько трупов запруживало эти красивые каналы, сколько их, замерзших, уплывало в море? Где еще на земле такой разгул варварства воздвигал себе такие изящные памятники? Даже прохожие с их медлительной речью, вежливостью, сдержанностью, казалось, были скованы друг с другом чудовищным притворством. И Барли, неторопливо гуляя по улицам, с любопытством озираясь, как всякий турист (и отсчитывая про себя минуты, как всякий шпион),— Барли чувствовал себя участником этого обмана.

Он пожал руку американскому магнату, который не был магнатом, и вместе с ним посетовал на злополучное недомогание его жены, которая была совсем здорова, но вот женой его скорее всего не была.

Он поручил своему подчиненному, который не был его подчиненным, оказывать всяческую помощь в беде, которая не произошла.

Он шел на встречу с автором, который не был автором, а искал мученичества в городе, где мученичество можно было обрести бесплатно, даже не обязательно выстояв очередь.

Он совсем окостенел от страха и четвертый день подряд мучился похмельем.

Наконец-то он стал жителем Ленинграда.

Внезапно очутившись на Невском, он обнаружил напротив кафетерий под неофициальным названием «Сайгон», самое подходящее место для поэтов, торговцев нарко-

тиками и спекулянтов, но никак не профессорских дочек. «Твой отец прав,— услышал он ее голос.— Победа всегда остается за системой».

У него — благодаря Падди — была своя карта Ленинграда, изданная в ФРГ на нескольких языках. А Сай вручил ему потрепанную книжку в мягкой обложке, выпущенную издательством «Пенгвин»,— «Преступление и наказание» — в переводе, от которого он сатанел. Карта и роман покоились в полиэтиленовом пакете. По требованию Уиклоу. И не в каком-нибудь, а именно в этом, с рекламой мерзостных американских сигарет, узнаваемом за тысячу шагов. Теперь заветной целью его жизни было проследить путь Раскольникова в роковой день убийства старухи — потому-то он и разыскивал двор, выходивший на канал Грибоедова. Чугунные ворота, раскидистое дерево за ними. Он медленно вошел, справляясь с книжкой, а потом осторожно перевел взгляд на запыленные окна, словно ожидая увидеть сочащуюся по желтой штукатурке кровь старой процентщицы. Лишь иногда он разрешал своему взгляду устремиться в никуда (привилегия английских высших классов), включавшее такие объекты, как людей, проходящих мимо (или не проходящих и ничем не занятых), или калитку, ведущую на улицу Плеханова и известную, по словам Падди, только старожилам города, например ученым, в юности своей студентам ЛИТМО за углом, которые, однако, насколько мог судить Барли после каждого своего экскурса в никуда, вовсе не собирались сюда возвращаться.

Он глотнул воздуха. Под ложечкой вздувался пузырь тошноты. Толкнул калитку, вошел в дверь. Поднялся по нескольким ступенькам к парадному входу. Поглядел по сторонам и снова притворился, будто проверяет что-то по роману, а в спину ему врезалась проклятая сбруя с микрофонами. Он повернулся, небрежным шагом прошел назад через двор под раскидистым деревом и вновь оказался на набережной канала. Сел на скамью и развернул карту. Десять минут, сказал Падди, вручая ему поцарапанный спортивный хронометр взамен ненадежной семейной реликвии. Пять — до, пять — после, затем — отбой.

— Вы с дороги сбились? — спросил бледный мужчина, слишком пожилой для фарцовщика. Очки нтальянского гонщика и кроссовки. Акцент русский, выговор — американский.

— Давно уже сбился, старина,— ответил Барли.— Такая уж у меня привычка.

— Хотите мне что-нибудь продать? Сигареты? Виски? Авторучку? Или наркотики? Валюту? Еще что-нибудь?

— Спасибо, но мне и так хорошо,— ответил Барли, радуясь нормальному звучанию своего голоса.— А если б вы не загораживали солнца, то было бы еще лучше.

— Хотите познакомиться с интернациональной компанией, включая девочек? Могу показать вам подлинную Россию, которую так просто не увидеть.

— Старина, откровенно говоря, не думаю, чтобы вы узнали подлинную Россию, даже если бы она взяла и укусила вас за яйца,— ответил Барли, вновь разворачивая карту. Непрошеный собеседник неторопливо отошел.

По пятницам, сказал Падди, даже великие ученые делают то же, что и все прочие. Закрывают лавочку до понедельника и напиваются. Три дня гуляют, хвастают друг перед другом своими свершениями, с выгодой обмениваются результатами. Ленинградские устроители кормят их обильными обедами, но оставляют им время пошляться по магазинам, прежде чем они вернутся в свои почтовые ящики. Это и даст вашему приятелю возможность ускользнуть от своей группы, если у него есть такое намерение.

М о е м у приятелю. М о е м у приятелю Раскольникову. Не е г о приятелю. Моему. На случай, если я провалюсь.

Одно рандеву — зеро, остаются еще два.

Барли встал, потер спину и, располагая временем в избытке, продолжил литературную прогулку по Ленинграду. Снова перейдя Невский проспект и глядя на выдубленные лица людей, обходящих магазины, он в приливе родственного чувства внутренне взмолился, чтобы они приняли его в свои ряды: «Я же один из вас! Я разделяю вашу растерянность! Примите меня! Спрячьте! Не замечайте!» Он взял себя в руки. Глазей по сторонам. Выгляди идиотом. Пяться на все и вся.

За спиной у него высился Казанский собор. Перед ним вставал Дом книги, и, как добросовестный издатель, Барли замедлил шаги, косясь на окна, посматривая вверх на башенку-коротышку с омерзительным глобусом. Но потом ускорил шаги из опасения, что его увидят из редакций на верхних этажах и узнают. Он свернул на улицу Желябова и направился к большому универмагу, где в витринах красовались манекены, оде-

тые по английским модам времен войны и меховые шапки не по сезону. Он остановился перед входом, открытый всем взглядам, подвесил пакет на указательный палец и развернул карту, чтобы спрятаться в ней.

Только не здесь! Бога ради, не здесь. Где-нибудь в пристойном уединении, Гёте! Пожалуйста! Не здесь.

«Если он предпочтет магазин, значит, его устроит шумная встреча на людях,— сказал Падди.— Всплеснет руками и возопит: «Скотт Блейр! Да неужели вы!»

Следующие десять минут Барли не думал ни о чем. Он смотрел на карту, поднимал голову и смотрел на здания. Смотрел на девушек, и девушки в этот летний день в Ленинграде смотрели на него. Но их отзывчивость его не успокоила, и он снова спрятался в карту. Пот сползал по его грудной клетке градинами. Воображение подсказывало ему, что микрофоны вот-вот устроят короткое замыкание. Дважды он прокашливался, опасаясь, что не сможет говорить. А когда попытался облизать губы, то обнаружил, что язык у него иссох.

Десять минут кончились, но он выждал еще две — ради себя, ради Кати, ради Гёте. Сложил карту — не по тем сгибам, но, впрочем, это у него никогда толком не получалось. Сунул ее в кричащий пакет. Смешался с толпой пешеходов и обнаружил, что все-таки способен ходить, как все, не спотыкаясь, не растягиваясь во всю длину на тротуаре под треск костей.

Он неторопливо побрел назад по Невскому к Аничкову мосту, высматривая остановку седьмого троллейбуса до Смольного для своего третьего и заключительного выступления перед собранием ленинградских шпионов.

В очереди впереди него стояли два парня в джинсах. Позади него стояли три бабушки. Подошел троллейбус, парни вскочили в дверь, Барли тоже вошел. Парни громко переговаривались. Пожилой мужчина встал, уступая место одной из бабушек. «Мы тут все хорошие ребята»,— думал Барли, вновь испытывая потребность найти опору в тех, кого он обманывал. Мальчишка, хмуро заглядывая ему в лицо, о чем-то спрашивал. Со внезапным озарением Барли оттянул рукав и показал ему стальные часы Падди. Мальчишка вгляделся и с шипящим свистом втянул воздух. Троллейбус, заскрежетав, остановился.

«Струсил!» — с облегчением думал Барли, входя в сад. Солнце вырвалось из облаков. Не хватило духу, и можно ли его винить?

Но тут он его увидел. Гёте, как и было обещано. Гёте, великий любовник и мыслитель, сидел на третьей скамье слева от вас, когда свернете на песчаную аллейку. Нигилист, не принимающий на веру ни одного принципа.

Гёте. Углубленный в газету. Трезвый и вдвое меньше жившего у него в памяти: в черном костюме, да, но похожий на собственного, более щуплого и куда более старшего брата. Сердце Барли провалилось в пустоту и тут же взыграло при виде этой полнейшей заурядности. Тень великого поэта исчезла. Когда-то гладкое лицо бороздили морщины. В этом русском бородатом мелком служащем, зашедшем в общественный сад посидеть на скамейке и подышать свежим воздухом, не было ни взрывчатости, ни стремительности.

И все-таки — Гёте. Сидит под сенью русских воюющих между собой храмов, менее чем на пистолетный выстрел от огневых статуй Маркса, Энгельса, Ленина, которые сурово и бронзово смотрят на него со своих странно разделенных постаментов; менее чем на мушкетный выстрел от священной комнаты № 67, где Ленин устроил свой штаб в институте благородных девиц; ближе, чем на похоронный марш от голубого барочного собора, построенного Растрелли для утешения стареющей императрицы, на расстоянии, которое легко пройдет человек с завязанными глазами, от Ленинградского обкома и могучего полицейского у его врат, грозно взирающего на освобожденные массы.

В этот нескончаемый момент чудовищной иормальности Барли вдруг тупо вспомнил: «Смольный» происходит от слова «смола» — тут Петр Великий хранил смолу, которой смолились корабли первого русского военного флота.

Люди вокруг Гёте выглядели столь же естественными, как и он сам. Пасмурное небо прояснилось, и солнечные лучи творили чудеса: добропорядочные граждане, словно охваченные единым порывом, принялись раздеваться. Голые по пояс юноши, девушки, точно брошенные букеты, объемистые женщины в атласных бюстгальтерах раскинулись на траве у ног Гёте, крутя транзисторы, жуя бутерброды, говоря о чем-то, что заставляло их то морщиться, то задумываться, то хохотать.

Мимо скамьи вела усыпанная щебнем дорожка. Барли свернул на нее, вчитываясь в пояснения на обороте карты. В поле, объяснил Нед, в моменты, отведенные соблюдению жутковато-гротескного этикета их ремесла, инициатива принадлежит источнику, он — звезда, и звезда решает, состоится ли встреча или отменить ее.

Пятьдесят шагов отделяли Барли от его звезды, но дорожка соединяла их, как прямая, прочерченная по линейке. Он идет слишком быстро? Или слишком медленно? То он почти наступал на пятки идущей впереди парочки, то на него наталкивались сзади. Если он проигнорирует вас, инструктировал Падди, выждите пять минут и попробуйте еще раз. Поглядывая из-за карты, Барли увидел, как Гёте поднял голову, словно почуяв его приближение. Увидел меловую белизну его щек и темные провалы глаз, а потом — меловую белизну газеты, складываемой, точно одеяло после ночи в палатке. Он увидел угловатость и несогласованность движений, и в его лихорадочном мозгу возникла фигура, аккуратно появляющаяся из дверец курантов в каком-нибудь швейцарском городке: вот я поднимаю белое лицо, вот я отбиваю двенадцать взмахами белого флажка, вот я опускаю руку и удаляюсь. Сложив газету, Гёте сунул ее в карман и педантично посмотрел на свои часы. Затем, все с той же механичностью, он занял свое место в армии пешеходов и вместе с ними зашагал к реке.

Теперь темп походки Барли определился: он шагал с той же быстротой, что и Гёте. А тот свернул на дорожку, уводившую к цепочке припаркованных автомобилей. Барли шел следом за ним, глаза и мысли его были ясны. Обогнув автомобили, он увидел, что Гёте стоит у парапета стремительной Невы, и речной ветер надувает его пиджак. Мимо проходил прогулочный катер, но пассажиры на палубе словно бы совсем не радовались своей прогулке. Проплыл угольщик, весь в сургучных разводах сурика — клубы его смрадного дыма в танцующих отблесках реки казались прекрасными. Гёте перегнулся через парапет и вглядывался в бегущую воду, словно стараясь вычислить скорость течения. Барли направился к нему, шаркая подошвами и с утроенным вниманием штудируя карту. Даже когда он услышал безукоризненный английский, который разбудил его на террасе в Переделкино, он отозвался не сразу.

— Сэр... Извините, сэр, но, если не ошибаюсь, мы знакомы.

Однако Барли не пожелал услышать: голос был слишком нервным, слишком искательным. Он свел брови, вперяясь в столбцы пояснений. Просто еще один фарцовщик, твердил он себе. Еще один торговец наркотиками или сводник.

— Сэр...— повторил Гёте, словно он вдруг утратил уверенность.

Только теперь, уступая настойчивости незнакомца, Барли с неохотой поднял голову.

— Вы ведь мистер Скотт Блейр, сэр, известный английский издатель?

Тут Барли, наконец, вынудил себя узнать окликнувшего его человека — сначала с сомнением, а потом с непритворным, хотя и приглушенным удовольствием, и протянул ему руку.

— Черт подери! — сказал он негромко.— Господи боже! Провалиться мне на этом месте — великий Гёте! Мы познакомились на том литературном сборище, где трезвы были только мы двое. Как вы себя чувствуете?

— Я? О ч е н ь хорошо,— ответил Гёте голосом еще напряженным, но набирающим уверенность. И все-таки рука, которую пожал Барли, была скользкой от пота.— В эту минуту даже не представляю, что можно чувствовать себя лучше. Добро пожаловать в Ленинград, мистер Барли. Как жаль, что у меня почти не осталось свободного времени. Но, может быть, пройдемся немного? Обменяемся мыслями? — Его голос только чуть понизился.— Так безопаснее,— объяснил он.

И, ухватив Барли за локоть, быстро повел его по набережной. Эта нервная настойчивость заставила Барли забыть все тактические соображения. Он смотрел на подскакивающую фигуру рядом с собой, на бледность щек, рассеченных морщинами боли, или страха, или тревоги. Увидел затравленный взгляд, испуганно вскидываемый на лица всех встречных. И у него осталось одно желание — защитить Гёте ради него самого, ради Кати.

— Если бы мы шли так полчаса, то увидели бы «Аврору», крейсер, холостым выстрелом возвестивший начало революции. Но следующая революция начнется несколькими мягкими тактами Баха. Уже пора. Вы согласны?

— И без дирижера,— сказал Барли с улыбкой.

— А может быть, одним из тех джазовых мотивов, которые вы так блестяще играете. Да-да! Вы возвестите нашу революцию, сыграв на саксофоне Лестера Янга,

Вы читали новый роман Рыбакова? Двадцать лет под запретом, а потому великий русский шедевр? На мой взгляд, это насилие над временем.

— Он еще не вышел на английском.

— А мой вы прочли? — Худые пальцы больно стиснули его локоть. Загнанный голос перешел в бормотание.

— То, что был способен понять в нем.

— И ваше мнение?

— Очень смело.

— Только и всего?

— Он сенсационен. Насколько я способен понять. Просто велик.

— В ту ночь мы нашли друг друга. Это было чудо. Вы знаете нашу русскую поговорку: «Рыбак рыбака видит издалека»? Мы с вами — рыбаки. И нашей правдой насытим тысячи.

— Может быть...— сказал Барли с сомнением и почувствовал, что изможденное лицо повернулось к нему.— Мне надо бы обсудить это с вами, Гёте. Есть кое-какие трудности.

— Для этого вы и здесь. Как и я. Спасибо, что приехали в Ленинград. Когда вы его опубликуете? Надо как можно быстрее. Наши писатели ждут три года, если не все пять. Даже Рыбаковы. Мне это не подходит. У России нет времени. Нет его и у меня.

Вверх по реке поднималась вереница буксиров, к ним в кильватер нахально пристроился двухвесельный ялик. Влюбленная парочка обнималась на парапете. В тени собора юная мать одной рукой покачивала коляску, а другой держала перед глазами раскрытую книгу.

— На московскую аудиоярмарку я не приехал, и Катя отдала вашу рукопись одному моему коллеге,— осторожно объяснил Барли.

— Я знаю. Ей пришлось рискнуть.

— Но вы не знаете, что, вернувшись в Англию, он меня там не нашел. И передал ее в официальные руки. Надежным людям. Экспертам.

Гёте резко и испуганно повернулся к Барли, его измученное лицо потемнело от отчаяния.

— Не т е р п л ю экспертов,— сказал он.— Они наши тюремщики. Никого в мире я не презираю так, как экспертов.

— Но вы же и сам эксперт, верно?

— Значит, я знаю, о чем говорю! Эксперты — наркоманы. Они ничего не решают! Они слуги любой нанявшей их системы. Они продлевают ее существование. Когда нас будут пытать, то пытать нас будут эксперты. Когда нас будут вешать, то вешать нас будут эксперты. Или вы не читали мою рукопись? Когда мир будет уничтожен, то уничтожат его не сумасшедшие, а здравый смысл экспертов и суперневежество бюрократов. Вы меня предали!

— Вас никто не предавал,— резко сказал Барли.— Рукопись волей случая попала не по адресу, только и всего. Наши бюрократы — не ваши бюрократы. Они ее прочли. Пришли в восхищение, но им нужно знать о вас больше. Они могут поверить содержанию, только если поверят источнику.

— Но опубликовать ее они не хотят?

— В первую очередь они хотят убедиться, что вы не обманщик, а для этого им лучше всего было бы поговорить с вами.

Гёте шагал стремительно, увлекая за собой Барли. Он глядел прямо перед собой, по его вискам ползли капли пота.

— Гёте, я гуманитарий,— пропыхтел Барли, смотря на обращенный к нему затылок.— Мои познания в физике исчерпываются «Беовульфом» [1], девочками и теплым пивом. Это не моего ума дело. И не Катиного. Если вы хотите идти по такой дороге, то идите с экспертами, а нас не втягивайте. Я приехал, чтобы сказать вам именно это.

Они пересекли аллейку и зашагали по газону. Компания школьников расступилась, давая им дорогу.

— Вы приехали сказать, что отказываетесь опубликовать мою рукопись?

— Да как я могу ее опубликовать? — возразил Барли, заражаясь отчаянием Гёте.— Даже если бы мы сумели привести ее в порядок, как же Катя? Она ваша связная, или вы забыли? Она передала оборонные секреты Советского Союза иностранной державе. Тут особенно не посмеешься. Если они про вас узнают, ее можно считать

[1] «Беовульф» — древний англосаксонский эпос.

мертвой, едва первый тираж ляжет на прилавок. И какова же роль издателя? По-вашему, я усядусь в Лондоне поудобнее и нажму на кнопку, которая уничтожит вас обоих?

Гёте тяжело дышал, но его глаза перестали шарить по лицам прохожих и обратились на Барли.

— Послушайте меня! — умоляюще сказал Барли.— Погодите минутку. Я понимаю. Я искренне думаю, что понимаю. У вас был талант, а им недостойно злоупотребляли. Вы знаете все гнилые места системы и хотите омыть душу. Но вы не Христос и вы не Печерин. Вы не в зале суда. Если вы хотите убить себя, это ваше дело. Но вы же убьете и ее. А если вам все равно, кого вы убиваете, значит, для вас не имеет значения, кого вы спасаете?

Они приближались к уголку, предназначенному для пикников: столы и сиденья были сделаны из бревен и пней. Они сели рядом, Барли развернул карту, и оба сделали вид, будто что-то вместе в ней ищут. Гёте все еще взвешивал слова Барли, примерял их к своим целям.

— Существует одно только т е п е р ь,— объяснил он наконец еле слышным шепотом.— Нет иных измерений, кроме т е п е р ь. В прошлом мы все делали плохо во имя будущего. Теперь мы должны все делать хорошо во имя настоящего. Терять время — значит потерять все. Наша русская история второго шанса нам не предоставляет. Когда мы прыгаем через пропасть, она не дарит нам возможности сделать в воздухе дополнительный шаг. А когда мы не допрыгиваем, она вознаграждает нас по заслугам — еще одним Сталиным, еще одним Брежневым, еще одной чисткой, еще одним ледниковым периодом пронизанного ужасом однообразия. Если нынешнее поступательное движение не замрет, я буду в авангарде. А если оно прекратится или даст обратный ход, я стану еще одной статистической единицей нашей послереволюционной истории.

— Как и Катя,— сказал Барли.

Рука Гёте ползла и ползла по карте, не в силах остановиться. Он оглянулся по сторонам, потом продолжал:

— Мы в Ленинграде, Барли, колыбели нашей великой революции. Здесь никто не одерживает победы без жертв. Вы сказали, что нам следует провести эксперимент с человеческой природой. Так почему же вас так шокирует моя попытка осуществить ваши слова на практике?

— В тот день вы неправильно меня оценили. Я не тот, кем вы меня сочли. Я никчемный краснобай, и только. Просто вы познакомились со мной, когда ветер дул в нужном направлении.

С пугающим самообладанием Гёте растопырил пальцы и прижал обе ладони к карте.

— Можете не напоминать мне, что человек не тождествен своей риторике,— сказал он.— Наши новые люди говорят об открытости, разоружении, мире. Так пусть они получат свою открытость. И свое разоружение. И свой мир. Поймаем их на слове, дадим им то, чего они просят. И добьемся, чтобы на этот раз они не могли отвести стрелки часов назад.

Он вскочил, вырвался из тесного пространства между скамьей-бревном и столом. Барли тоже встал

— Гёте, ради бога. Взгляните на все проще.

— К дьяволу «проще»! «Проще» — вот что убивает! — Он пошел по дорожке размашистым шагом.— Мы не покончим с проклятием секретности, передавая секреты из рук в руки, точно воры! Моя жизнь обернулась сплошной ложью, а вы хотите, чтобы я держал это в секрете! На чем держится ложь? На секретности. Почему наши великие провидения обернулись этим жутким хаосом? Из-за секретности. Каким образом вы скрываете от своего народа безумие ваших военных планов? С помощью секретности. Прячась от света. Покажите мою рукопись вашим шпионам, если у вас нет иного выхода. Но и опубликуйте ее. Вот что вы обещали, и я буду верить вашему обещанию. Я опустил тетрадь с новыми главами в ваш пакет. Без сомнения, она содержит ответы на многие вопросы, которые эти идиоты хотят мне задать.

Ветер с реки омывал горящие щеки Барли. Еле поспевая за Гёте, он посматривал на его глянцевитое от пота лицо и словно бы видел проблески раненой душевной невинности, источника этого гнева.

— Я хочу, чтобы суперобложка была совсем простой, ничего, кроме букв,— заявил Гёте.— Будьте добры, никаких рисунков, никаких смелых абстракций. Вы меня слышите?

— Но у нас ведь даже заглавия нет,— возразил Барли.

— И будьте так добры дать мою настоящую фамилию. Никаких увертюк, никаких псевдонимов. Взять псевдоним — значит изобрести очередной секрет.

— Но ведь мне ваша фамилия неизвестна.

— Зато им скоро станет известна. После всего, что вам рассказала Катя, и с этими новыми главами вдобавок, они ее сразу установят. Гонорар начисляйте строго по правилам. Каждые полгода, пожалуйста, вносите набравшуюся сумму в какой-нибудь достойный уважения фонд. Никто не сможет сказать, что я поступил так из корысти.

Из-за приближающихся к ним деревьев, соперничая с лязгом невидимых трамваев, доносились звуки военного марша.

— Гёте...— сказал Барли.

— В чем дело? Вы боитесь?

— Уезжайте в Англию. Они сумеют вас отсюда вытащить. Они большие мастаки. Там вы сможете рассказать миру все, что сочтете нужным. Мы снимем для вас Альберт-холл [1]. Будете выступать по телевидению, по радио — ну, все, что захотите. А потом вам обеспечат паспорт и деньги, чтобы вы зажили счастливо в Австралии.

Они снова остановились. Слышал ли Гёте? Понял ли? За его немигающим взглядом не мелькнуло ничего. Его глаза были устремлены на лицо Барли, как на пятнышко у края горизонта.

— Я не перебежчик, Барли. Я русский, и мое будущее здесь, как бы коротко оно ни было. Опубликуете вы мою рукопись или нет? Мне необходимо это знать.

Оттягивая время, Барли извлек из кармана книжку Сая в потрепанной бумажной обложке.

— Мне поручено передать вам это,— сказал он.— На память о нашей встрече. Их вопросы вплетены в текст вместе с адресом в Финляндии, на который вы можете написать, и с московским телефонным номером плюс указания, что вы должны сказать, когда трубку снимут. Если вы перейдете на прямые отношения с ними, они могут снабдить вас массой хитрых игрушек, облегчающих связь.

Он вложил роман в пальцы Гёте. Они почти не сжались.

— Так вы опубликуете? Да или нет?

— Как они могут связаться с вами? Им необходимо это знать.

— Скажите, что со мной можно связаться через моего издателя.

— Исключите из уравнения Катю. Оставайтесь со шпионами, а от нее держитесь подальше.

Взгляд Гёте соскользнул на костюм Барли и задержался на нем словно в тревожном недоумении. Грустная улыбка, тронувшая его губы, была как конченый праздник.

— Сегодня вы в сером, Барли. Моего отца отправили в тюрьму серые люди. Его застрелил старик в серой форме. Именно серые люди погубили мою чудесную профессию. Поберегитесь, а то они погубят и вашу. Так опубликуете? Или я должен вновь начать поиски порядочного человека?

Несколько секунд Барли не мог найти ответа. Запасы уклончивости у него истощились.

— Если я получу материал в полное свое распоряжение и найду способ, как оформить его в книгу, то опубликую,— ответил он.

— Я спросил вас: да или нет.

Обещайте ему все, чего он ни попросит — в пределах разумного, сказал Падди. Но что разумно?

— Ну ладно,— ответил он.— Да!

Гёте вернул ему потрепанную книжку, и Барли растерянно сунул ее в карман. Они обнялись. Барли ощутил запах пота, табачного перегара и вновь почувствовал всю силу отчаяния их прощания в Переделкино. Гёте отпустил его с той же стремительностью, с какой обиял, нервно взглянул по сторонам и быстро зашагал к троллейбусной остановке. И, смотря ему вслед, Барли заметил, что из кафе под открытым небом его провожает взглядом пожилая пара, стоя в тени темно-синих деревьев.

Барли чихнул. Чихнул еще сильнее. И расчихался по-настоящему. Он пошел по дорожке в глубь сада, уткнув лицо в носовой платок: он чихал, и плечи его вздрагивали.

— А-а! Скотт! — с бурным энтузиазмом занятого человека, которого заставили ждать, воскликнул Дж. П. Хензигер, распахнвая дверь самой большой спальни в го-

[1] Большой концертный зал в Лондоне на восемь тысяч мест.

стинице «Европа».— Скотт, нынче один из тех дней, когда мы узнаем своих истинных друзей. Входите, входите! Что вас задержало? Да поздоровайтесь же с Мейзи!

Сорокапятилетний, мускулистый, ловкий, с некрасивым дружелюбным лицом, которое при нормальных обстоятельствах сразу пробудило бы в Барли теплую симпатию. Одно запястье обвивал слоновый волос, а другое — браслет из золотых звеньев. Под мышками его светлого костюма темнели полумесяцы пота. Из-за его спины возник Уиклоу и поспешно захлопнул дверь.

Центр комнаты занимали две кровати под бутылочно-зелеными покрывалами. На одной раскинулась миссис Хензигер, ненакрашенная киска тридцати пяти лет; по веснушчатым плечам трагически рассыпались расчесанные кудри. Над ней неловко нагибался человек в черном костюме и желчно-желтых очках. На кровати лежал открытый докторский чемоданчик. Хензигер продолжал сыпать бисер для микрофонов.

— Скотт, познакомьтесь с доктором Питом Бернсторфом из ленинградского генконсульства США, великолепнейшим врачом. Мы перед ним в неоплатном долгу. Мейзи становится лучше буквально с каждой минутой. Мы весьма обязаны и мистеру Уиклоу. Леонард взял на себя отель, объяснения с гидом экскурсии, аптеку. А как вы провели день?

— Обхохочешься! — выпалил Барли, и на секунду сценарий повис на волоске.

Он бросил полиэтиленовый пакет на кровать, а вместе с ним и отвергнутый роман в бумажной обложке, который выхватил из кармана. Трясущимися руками сдернул пиджак, вытащил из-под рубашки сбрую с микрофонами и швырнул за пакетом и книжкой. Изогнувшись, он засунул руку в брюки у себя за спиной, отмахнулся от Уиклоу, бросившегося помочь, и извлек из-под ягодиц серый диктофон, который тоже полетел на кровать, и Мейзи с приглушенным «мать твою» отдернула ноги. Ринувшись к умывальнику, он вылил виски из карманной фляжки в стакан для зубной щетки, а другую руку закинул за плечо, словно получил пулю в грудь. Затем сделал первый глоток — и пил, пил, не замечая, как вокруг развернулась великолепно отработанная сцена.

Хензигер, при всей своей массивности быстрый, как кошка, схватил пакет, достал тетрадь и перекинул ее Бернсторфу, а тот мгновенно убрал ее в чемоданчик, где она таинственно растворилась среди флаконов и врачебных инструментов. Хензигер протянул ему потрепанную книжку, которая растворилась в свой черед. Уиклоу сложил диктофон и сбрую. Они тоже исчезли в чемоданчике. Бернсторф защелкнул его с прощальными наставлениями своей пациентке: еще двое суток только жидкости, миссис Хензигер. Ну, если вы настаиваете, ломтик ржаного хлеба к чаю. Непременно доведите курс антибиотиков до конца, пусть даже вы будете чувствовать себя совсем здоровой. Он еще не договорил, когда свою лепту внес Хензигер:

— Еще одно, доктор! Если вы когда-нибудь попадете в Бостон и вам что-нибудь потребуется,— ну, что угодно! — вот моя карточка, а с ней мое слово, а с ним...

Сжимая в руке стакан, Барли стоял лицом к раковине и хмуро наблюдал в зеркале, как чемоданчик доброго самаритянина проплыл к двери.

Из всех вечеров в России, да если на то пошло, из всех вечеров где угодно еще, более скверного Барли переживать не приходилось.

Хензигер прослышал, что в Ленинграде как раз открылся кооперативный ресторан — «кооперативный» было кодовым обозначением понятия «частный». Уиклоу узнал адрес и доложил, что мест нет и не ожидается, однако для Хензигера отказ был как красная тряпка для быка. Внушительные телефонные звонки и еще более внушительные чаевые обеспечили им столик, специально накрытый для них в трех шагах от самого скверного и самого шумного цыганского оркестра, какой только может привидеться в кошмаре, решил Барли.

Они сидели за этим столиком, празднуя чудесное исцеление миссис Хензигер. Кошачьи вопли певиц и певцов десятикратно усиливались микрофонами. Передышек между номерами не было.

И повсюду вокруг них сидела та Россия, которую дремлющий в Барли пуританин ненавидел уже давно, хотя никогда прежде не видел: не слишком маскирующиеся царьки подпольной капиталистической экономики, промышленные нувориши и любители красивой жизни, жирные партийные котики и рэкетиры. От их сверкающих драгоценностями женщин разило западными духами и русскими деодорантами; официанты млели у наиболее богатых столиков. Жуткие цыганские завывания набрали громкости, музы-

ка набрала громкости, заглушая их, хор грянул еще громче, но всех их перекрыл зычный голос Хензигера:

— Скотт, я вам кое-что скажу,— взревел он, возбужденно нагибаясь через столик.— Эта малюсенькая страна пришла в движение. Я чую тут надежду, чую перемены, чую расцвет коммерции. И мы, наш «Потомак», покупаем свою долю в нем. Я горд! — Но оркестр все-таки утопил его голос. «Горд» — беззвучно повторили его губы под миллион цыганских децибелов.

И беда была в том, что Хензигер вызывал в нем симпатию, а Мейзи оказалась совсем своей, отчего ему стало только еще хуже. Агония продолжалась, но Барли впал в блаженную глухоту. Какофония обернулась безопасным приютом. Сквозь узкие амбразуры его тайное «я» смотрело в белую ленинградскую ночь. Он спрашивал: куда ты ушел, Гёте? Кто заменяет ее, когда она не с тобой? Кто штопает твои черные носки и варит твой жидкий суп, пока ты волочишь ее за волосы по выбранному тобой благородному, альтруистическому пути к самоуничтожению?

Хотя он не помнил, каким образом, но они, видимо, вернулись в гостиницу, потому что, очнувшись, он узрел, что висит на руке Уиклоу среди финских алкоголиков, пристыженно бредущих через вестибюль.

— Чудесный вечер! — сказал он всем, кто мог его услышать.— Великолепный оркестр. Спасибо, что приехали в Ленинград.

Но когда Уиклоу начал терпеливо втаскивать его наверх к дожидающейся постели, трезвая часть души заставила Барли оглянуться через плечо на широкую лестницу. И он увидел, что в полутьме у входа, скрестив ноги, положив на колени авоську, сидит Катя. На ней был черный узкий жакет. Белый шелковый шарф завязан под подбородком. Лицо устремлено к нему, с ее особой, напряженной улыбкой — печальной и полной надежды, открытой для любви.

Но тут в глазах у него прояснилось, он увидел, как она краешком губ что-то съязвила швейцару, и сообразил, что это просто еще одна ленинградская проститутка, высматривающая клиента.

А на следующий день, под ликующий клич самых беззвучных фанфар в Англии, наш герой вернулся в родную страну.

Нед не хотел никаких официальных торжеств, никаких американцев и, уж конечно, никакого Клайва, но твердо решил внести теплую ноту в процедуру, а потому мы поехали в Гэтуик, поставили Брока у барьера перед входом в зале для прибывших, снабдив его плакатиком «Потомак», а сами устроились в зале ожидания, который наша Служба недружески делит с министерством иностранных дел под нескончаемые свары по поводу того, кто все-таки вылакал казенный джин.

Мы ждали, самолет задерживался. Клайв позвонил с Гроувенор-сквер, чтобы спросить: «Так он прилетел, Палфри?», точно не сомневался, что он останется в России.

Прежде чем Клайв снова позвонил, прошло полчаса, и теперь трубку взял Нед. Едва он бросил ее на рычаг, как дверь отворилась и в нее проскользнул Уиклоу, улыбаясь, будто мальчик из церковного хора, но одновременно умудрившись предостерегающе стрельнуть глазами.

Несколько секунд спустя вошел Барли, очень похожий на свои фотографии, сделанные скрытой камерой, но только белый как мел.

— Эти сволочи вопили «ура!» — выпалил он, прежде чем Брок успел захлопнуть за ними дверь.— Ханжа-пилотишка с его суррейским выговором! Убью подонка!

Под выкрики Барли Уиклоу тактично объяснил причину его горького негодования. Из Ленинграда они летели в самолете, зафрахтованном делегацией молодых английских коммерсантов, которых Барли тут же объявил распоследними подонками и, судя по их манере держаться, не так уж ошибся. Некоторые были уже пьяны, другие принялись быстро их нагонять. Они не пробыли в воздухе и нескольких минут, как командир экипажа, по мнению Барли, отпетый провокатор, объявил, что их самолет покинул воздушное пространство Советского Союза. Под общий рев по проходу забегали стюардессы, разливая шампанское. Затем компания затянула «Правь, Британия».

— Буду летать только «Аэрофлотом»! — выкрикивал Барли, бешено сверкая глазами на лица перед собой.— Я сейчас же напишу в авиакомпанию. Я сейчас же...

— Во всяком случае, не сейчас же,— ласково перебил его Нед.— Сейчас вы позволите, чтобы мы вас встретили на всю катушку. А истерики отложите на потом.

Говоря это, он тряс руку Барли, пока тот не улыбнулся.

— А где Уолт? — спросил он, оглядываясь.

— Боюсь, он занят в другом месте,— ответил Нед, но Барли уже забыл про свой вопрос. Он пил, а руки у него тряслись, и он всплакнул, что, как заверил меня Нед, было вполне нормальным для джо, вернувшегося с поля.

11

Со временем следующие три дня, точно обломки разбившегося самолета, подверглись подробнейшему исследованию в поисках технических погрешностей, однако практически ничего обнаружено не было.

После вспышки в аэропорту Барли перешел в веселую стадию: в машине все время чему-то улыбался и с обычной застенчивой нежностью радовался знакомым улицам. Кроме того, он расчихался.

Едва мы вошли в найтсбриджский дом, где, по решению Неда, Барли предстояло переночевать, (а к себе вернуться только на другой день), он бросил чемоданы в прихожей, облапил мисс Коуд и, с заверениями в неугасающей любви, преподнес ей великолепную шапку из рысьего меха. (Когда и как он ее купил, никто, начиная с Уиклоу, вспомнить не мог.)

Тут я их покинул. Клайв затребовал меня на двенадцатый этаж для — по его выражению — «разговора критической важности», хотя, как выяснилось, просто для допроса. Скотт Блейр в очень нервном состоянии? Слишком перегибает палку? Как он, Палфри? Присутствовал Джонни, но больше молчал и слушал. Сказал только, что Боба вызвали в Лэнгли для консультации. Я рассказал то, что видел, но не больше. Обоих слезы Барли привели в недоумение.

— То есть он сказал, что намерен вернуться? — спросил Клайв.

В тот же вечер Нед поужинал с Барли наедине. Это не был настоящий опрос. Тот еще предстоял. Судя по записям, настроение у Барли было дерганое и говорил он на тон выше, чем обычно. Когда я присоединился к ним за кофе, он рассказывал о Гёте, но с нарочитой отстраненностью:

Гёте постарел, утратил энергию.

Гёте уже за пределом.

Гёте как будто бросил пить и держится на чем-то другом.

— Видели бы вы его руки, Гарри, как они дрожали на карте.

«Видел бы ты свои,— подумал я,— когда пил шампанское в аэропорту!»

Катю в этот вечер он упомянул только один раз, и тоже с нарочитым безразличием. По-моему, он решил доказать нам, что не испытывает никаких чувств, которые не поддавались бы нашему контролю. Нет, двуличием это не было. Если не считать того, чему обучили его мы, на двуличие Барли способен не был. Им двигал страх перед тем, куда могут завести его собственные чувства, если мы перестанем служить для них якорем.

Катя больше боится за своих детей, чем за себя, объяснил он все с той же нарочитой бесстрастностью. Как, вероятно, и любая мать. С другой стороны, ее дети были синонимом мира, который она хочет спасти. Так что в определенном смысле ею руководит своего рода абсолютная материнская любовь, вы согласны, Недский?

Нед согласился. Нет ничего тяжелее экспериментирования над собственными детьми, Барли, сказал он.

Но изумительная женщина, объявил Барли, впадая в покровительственный тон. На его нынешний вкус слишком уж целеустремленная, хотя, если вам нравятся женщины с нравственной закалкой Жанны Д'Арк, то лучше Кати не найти. И она красива. Тут не поспоришь. Несколько небрежна для полноты классического типа, если мы понимаем, о чем он, но поразительна.

Сказать ему, что всю последнюю неделю любовались ее фотографиями, мы не могли, а потому поверили ему на слово.

В одиннадцать, пожаловавшись на разницу во времени, Барли окончательно раскис. Стоя внизу у лестницы, мы следили, как он взбирается по ней, чтобы лечь спать.

— Во всяком случае, она того стоила, верно? — спросил он с ухмылкой, повисая на перилах и весело посверкивая на нас сверху маленькими круглыми очками.— Новая его тетрадь. Вы же в нее заглянули.

— Ученые мужи как раз жгут над ней полуночные свечи,— ответил Нед.

Не мог же он сказать, что они устроили из-за нее собачью свару.

— Эксперты — наркоманы,— сообщил Барли с очередной ухмылкой, но продолжал цепляться за перила, словно подыскивая реплику под занавес.— Пусть-ка кто-нибудь

займется этими микрофончиками, Недский. У меня от них вся спина в ссадинах, как от седла. Следующего подберите с более прочной шкурой. А кстати, где дядя Боб?

— Просил передать привет,— сказал Нед.— Неотложные дела. Но он надеется скоро снова с вами увидеться и все наверстать.

— Охотится вместе с Уолтом?

— Если бы я и знал, так не сказал бы,— ответил Нед, и мы все засмеялись.

А ночью, помнится, позвонила Маргарет, моя жена, по особо нелепому поводу: на автостоянке ей вручили штрафной талон — по ее мнению, без малейших оснований.

— Это было мое место, я уже включила сигнал, а тут этот паршивый коротышка в новеньком белом «ягуаре» с прилизанными черными волосами...

Я неосторожно засмеялся и заметил, что ягуары с прилизанными черными волосами, конечно, никаких привилегий на стоянках не имеют. Но юмор никогда не был сильной стороной Маргарет.

На следующее утро — в воскресенье — Клайв снова затребовал меня к себе. Во-первых, чтобы выспросить меня о прошлом вечере, а во-вторых, послушать, как я буду заниматься с Джонни казуистикой, например: можно ли юридически считать Барли сотрудником нашей Службы, а если так, то, приняв от нас плату, отказался ли он тем самым от некоторых своих прав — скажем, от права на юридическую защиту в случае какого-либо спора с нами? Я был темен, как дельфийский оракул, чем их несколько уел, но по сути ответил «да». Да, от этих прав он отказался. Или, точнее говоря, мы можем внушить ему, что, да, он от них отказался, пусть по закону это и не совсем так.

Джонни, кстати, кончил юридический факультет Гарварда, а потому Лэнгли против обыкновения не пришлось присылать к нам еще и хор юрисконсультов.

Днем мы с Барли поехали в Мейденхед (он не находил себе места, а погода стояла отличная) и прошлись по берегу Темзы. К тому времени, когда мы повернули назад, опрос Барли, пожалуй, можно было считать законченным: наши аналитики никаких вопросов не прислали, а его контакты в ходе операции были полностью зафиксированы с помощью технических средств. То есть, спрашивать его, собственно, было не о чем.

Подействовала ли на Барли наша тревога? Мы подпускали беззаботной веселости сколько могли, но мне казалось, он улавливает угрожающую душную атмосферу. А впрочем, им владело такое смятение, такая усталость после долгого напряжения, что он, вполне возможно, и нас записал на тот же счет.

Вечером в воскресенье мы поужинали в Найтсбридже, и Барли был таким успокоенным и мягким, что Нед принял решение — как и я бы на его месте: нашего джо можно без опасений отпустить домой в Хампстед.

Он жил в викторианском квартале за Ист-Хит-роуд, и постоянный пост наблюдения был помещен в квартире этажом ниже, где поселилась молодая парочка многообещающих сотрудников. Законных жильцов временно устроили где-то еще. Около одиннадцати парочка доложила, что Барли в квартире один, но бродит по комнатам. (Они его слышали, но не видели. На видеоаппаратуре Нед все-таки поставил точку.) Они сообщили, что Барли разговаривает сам с собой, а когда он начал разбирать накопившуюся почту, микрофоны передали ругань и стоны. Нед остался спокоен. С почтой Барли он ознакомился заранее и знал, что никаких ужасов сверх обычных она не содержит.

Около часа ночи Барли позвонил своей дочери Антее в Грантем.

— Что такое «про»?

— Подонок, потерявший хвост. Как было в Москве?

— Что получится, если скрестить змею с ежом?

— Колючая проволока. Как было в Москве?

— Что получится, если скрестить кенгуру с велосипедом?

— Я тебя спросила, как было в Москве?

— Сумка на колесиках. Что поделывает твой занудный муж?

— Спит. То есть пытается. А куда делась пышечка, которую ты увез в Лиссабон?

— Растаяла.

— А я уж решила, что она у тебя постоянная.

— Она-то постоянная, только я — нет.

Затем Барли позвонил двум женщинам: бывшей жене, с которой развелся, сохранив право свиданий, и другой, ранее неустановленной. Ни та, ни эта пойти ему навстречу при столь коротком предупреждении не могла — главным образом потому, что обе уже легли спать со своими мужьями.

В час сорок парочка снизу доложила, что свет в спальне Барли погас. Нед с облегчением лег спать, но я уже вернулся в свою квартирку, и мне было не до сна. У меня из головы не шла Ханна, а потому и Барли в Найтсбридже. Я вспомнил притворную небрежность, с какой он говорил о Кате и ее детях, и принялся сравнивать это с тем, как сам постоянно отрекался от любви к Ханне в дни, когда эта любовь ставила меня в опасное положение. «Что-то у Ханны унылый вид,— повторяли разные невинные души по десять раз на дню.— Муженек устраивает ей веселую жизнь или еще что-нибудь?» А я ухмылялся. «Насколько мне известно, с ним это бывает»,— отвечал я с той же небрежной отстраненностью, какую уловил в Барли, а тайный свирепый огонь внутри меня испепелял мое сердце.

На следующее утро Барли отправился к себе в издательство, и мы договорились, что вечером по пути домой он заглянет в Найтсбридж на случай, если возникнут какие-нибудь вопросы. Но уговор этот только казался таким неопределенным. Ибо Нед уже схватился с двенадцатым этажом и к вечеру, вероятнее всего, должен был либо уступить, либо ввязаться в серьезный бой с бонзами.

Однако к тому времени Барли испарился.

Броковские наблюдатели сообщили, что Барли ушел из издательства на Норфолк-стрит немного раньше, чем предполагалось, а именно в шестнадцать сорок три, держа в руке футляр с саксофоном. Уиклоу, печатавший в задней комнате издательства «Аберкромби и Блейр» отчет о поездке в Москву, не знал, что он ушел. Однако двое броковских молодцов в джинсах пошли следом за Барли по Стрэнду и, когда он передумал, вместе с ним свернули в Сохо. Там он скрылся в норе, где днем имели обыкновение утолять жажду издатели и агенты книжных фирм. Через двадцать минут он вынырнул, по-прежнему держа в руке саксофон и совершенно трезвый на вид. Остановил такси, и один из молодцов оказался так близко, что расслышал, как он назвал адрес конспиративного дома. Он тут же радировал Броку, который позвонил Неду в Найтсбридж, чтобы сообщить: «Будьте готовы — ваш гость едет». Я находился в другом месте, ведя другие войны.

Таким образом, виноватых не было, хотя молодцы ни вместе, ни порознь не сообразили заметить номер такси — оплошность, которая позже им дорого обошлась. Наступил час пик, и от Стрэнда до Найтсбриджа можно было ехать целую вечность. Поэтому Нед только в девятнадцать тридцать решил дольше не ждать и вернулся в русский отдел, обеспокоенный, но пока не очень.

В девять, когда никто ничего разумного предложить не сумел, Нед с большой неохотой объявил в отделе тревогу, которая по своему определению исключала участие американцев. Как обычно, Нед, действуя, сохранял полное хладнокровие. Возможно, он подсознательно вышколил себя для подобного критического случая — так или иначе, как позднее сказал Брок, он двинулся по заранее проложенным рельсам. Клайву он ничего не сообщил; оповестить Клайва в нынешней ядовитой ситуации, объяснил мне Нед потом, или прямо отправить покаянную телеграмму в Лэнгли — разницы никакой.

Нед сел за руль и поехал в Блумзбери, где в цепи подвалов под Рассел-сквер размещались подслушиватели нашей Службы. Он взял одну из служебных машин и, видимо, гнал ее, как черт. Старшей дежурной была Мэри, сорокалетняя любительница поесть, розовощекая, с замашками старой девы. Единственной обнаруженной ее любовью были недостижимые голоса. Нед вручил ей список всех известных контактов Барли, составленный исчезнувшим Уолтером по рапортам подслушивавших и наблюдавших. Не могла бы Мэри немедленно перекрыть их все? Сию же минуту?

Естественно, Мэри ни под каким видом этого не могла.

— Одно дело, Нед, слегка выйти за пределы инструкций. И совсем другое — дюжина несанкционированных подключений. Ну, почему вы не желаете понять?

Нед не захотел доказывать, что дополнительные подключения санкционированы уже имеющимся разрешением министерства внутренних дел, чтобы не тратить времени и сил, но позвонил мне в Пимлико, как раз в тот момент, когда я откупоривал бутылку бургундского, чтобы как-то утешиться после грязного дня. Квартирка моя довольнотаки гнусная, и я открыл окно — выветрить запах кухни. Помню, во время нашего разговора я его закрыл.

Разрешение на подключения к телефонам в теории подписывается министром внутренних дел, а если он отсутствует, то его заместителем. Однако тут есть один нюанс — этим правом обладает и юрисконсульт. Службы при возникновении критических, не терпящих отлагательств ситуаций, но он обязан подать письменное объяснение до исте-

чения суток. Я нацарапал свое разрешение, скрепил его подписью, выключил газ под варившейся брюссельской капустой, схватил такси и двадцать минут спустя вручил разрешение Мэри. Не прошло часу, как все двенадцать контактов Барли были перекрыты. Что я думал, проделывая все это? Барли покончил с собой? Нет и нет. Его терзали опасения за живых. И меньше всего он хотел бросить их на произвол судьбы.

Но я взвешивал возможность, что он покинул строй, и, пожалуй, худшее, что мне вообразилось, был Барли, разразившийся рукоплесканиями, ибо пилот «Аэрофлота» объявил, что их самолет возвратился в воздушное пространство Советского Союза.

Тем временем Брок по распоряжению Неда убедил полицию срочно вызвать по радио водителя такси, который в семнадцать тридцать взял на углу Олд-Комптон-роуд высокого пассажира с саксофоном, назвавшего адрес в Найтсбридже, но, возможно, в пути попросившего отвезти его куда-то еще. Да, теноровый. Баритоновый саксофон примерно вдвое больше. К двадцати двум водитель объявился. Он повез Барли в Найтсбридж, но на Трафальгар-сквер тот действительно передумал и сказал, что ему нужно на Харли-стрит. Счетчик набил три фунта, Барли дал водителю пятифунтовую бумажку и сказал, чтобы сдачу он оставил себе.

Маленькое чудо сообразительности вкупе с записями покойного Уолтера помогло Неду найти связь — Эндрю Джордж Макреди, он же Энди, бывший трубач-джазист, фигурирующий в списке контактов Барли, был три недели назад принят в Приют Сестер Милосердия на Харли-стрит, смотри записку карандашом миссис Макреди в Хампстед, номер 47 А, и лапидарную пометку Уолтера на повестке дня: «Макреди — гуру Барли в вопросах смертности».

Я живо помню, какой мертвой хваткой держался обеими руками за поручень, пока Нед вел машину на Харли-стрит. В Приюте нам объяснили, что Макреди держат на снотворных. Барли просидел с ним около часа, и они даже сумели обменяться десятком слов. Старшая ночная дежурная, только что сменившая дневную, предложила Барли чашку чая — от молока и сахара Барли отказался, зато подлил в чай виски из карманной фляжки. Он предложил капельку дежурной, но она воздержалась. Тогда он попросил позволения «сыграть старине Энди пару его любимых вещей». И тихо играл ровно десять минут, как она разрешила. В коридоре несколько монахинь остановились послушать, и одна узнала «Сентиментальный блюз» Бейси. Он оставил свой телефонный номер, а на латунное блюдо для пожертвований у дверей положил чек на сто фунтов — «для крупье». Старшая дежурная пригласила его приезжать, когда он захочет.

— Вы ведь не полиция? — спросила она меня расстроенно, когда мы уходили.

— Господи, конечно нет. С какой стати?

Она покачала головой и ничего не ответила, но, по-моему, в нем ей почудился беглец, прячущийся от собственных поступков.

Мчась назад в русский отдел, Нед по телефону приказал Броку составить список всех лондонских клубов, концертных залов и кабаков, где в этот вечер играл джаз, и разослать туда столько наблюдателей, сколько он сумеет найти.

Для полноты я внес свой юридический вклад: ни при каких обстоятельствах ни Брок, ни его наблюдатели не должны оказывать на Барли какое бы то ни было физическое воздействие или даже приближаться к нему. От каких бы прав Барли ни отказался, право на самооборону в их число не входит, а он мужчина очень сильный.

Мы приготовились ждать, но тут позвонила Мэри, на этот раз сплошная патока:

— Нед, по-моему, вам надо бы чуточку поспешить сюда. Некоторые ваши цыплятки проклюнулись.

Мы рванули на Рассел-сквер. Нед бросал машину в повороты на скорости в шестьдесят миль.

У себя в подвале Мэри встретила нас ласковой улыбкой, которую приберегала для катастроф. Рядом стояла в зеленом комбинезоне ее любимица Пепси. На столе — включенный магнитофон.

«Какой черт звонит в такое время?» — вопросил басистый голос, и я сразу узнал Пандору, монументальную тетку Барли, Священную Корову, которую угощал завтраком. Пауза, пока автомат глотал монеты. А затем учтивый голос Барли:

«Боюсь, с меня хватит, Пан. Прощаюсь с фирмой, и навсегда».

«Не мели чуши,— приказала тетка Пандора.— Опять какая-то дура запустила в тебя когти?»

«Пан, я серьезно. На этот раз решено твердо. Я обязан тебя предупредить».

«Ты всегда серьезен. Оттого-то ты и выглядишь насквозь фальшивым, когда притворяешься мотыльком».

«Утром я поговорю с Гаем. (Гай Соломонс, семейный поверенный, имеется в списке контактов Барли.) Уиклоу, новенький, вполне может меня заменить. Крепкий мальчуган и все схватывает на лету».

— Вы выяснили, из какого автомата он звонил? — спросил Нед у Мэри, когда Барли повесил трубку.

— Времени не хватило,— ответила она гордо.

На прокручивавшейся ленте снова зазвонил телефон. Снова Барли.

— «Реджи? Я сегодня решил подудеть. Приходи, поиграем».

Мэри протянула нам карточку, на которой написала: «каноник Реджинальд Коуэн, барабанщик и священнослужитель».

«Не могу,— ответил Реджи.— Чертов конфирмационный класс».

«А ты плюнь на них»,— сказал Барли.

«Не могу. Малявочки уже тут».

«Ты нам нужен, Реджи. Старина Энди умирает».

«Как и мы все. Каждую чертову секунду».

Тут по настоящему телефону из русского отдела позвонил Брок, требуя Неда. Его наблюдатели сообщили, что час назад Барли заходил в свой клуб в Сохо, выпил пять рюмок виски, а потом отправился дальше под «Ноеву арку» у Кингз-Кросса.

— Новую арку? Какую еще арку?

— Ноеву. Арка под железнодорожным виадуком. А Ной — восьмифутовый верзила из Вест-Индии. Барли сел в оркестр.

— Один?

— Пока да.

— Что это за место?

— Закуска и выпивка. Шестьдесят столиков, эстрада, кирпичные стены, шлюхи. Обычный набор. (Брок считает шлюхами всех хорошеньких девушек.)

— Народу много?

— Две трети столиков заняты, подходят еще.

— Что он играет?

— «Любовника». Рамирес, Дэвид и Серман.

— Сколько выходов?

— Один.

— Пошлите троих сесть за столик у двери. Если он уйдет, держите в поле зрения, но не трогайте. Позвоните в Обеспечение и скажите, чтобы Бен Лагг немедленно подогнал свое такси к «Арке» и ждал с опущенным флажком. Ну, он знает, что делать. (Лагг был «ручным» таксистом Службы.) В клубе есть телефоны для клиентов?

— Два.

— Займите оба, пока я не подъеду. Он вас видел?

— Нет.

— Пусть и дальше так. Что напротив?

— Прачечная.

— Открыта?

— Нет.

— Ждите меня перед ней.— Он обернулся к Мэри, которая все еще улыбалась.— В «Ноевой арке» у Кингз-Кросса есть два телефона,— сказал он очень медленно.— Перекройте их с е й ч а с ж е. Если у управляющего есть отдельный телефон, перекройте и его. С е й ч а с ж е. Меня не интересует, как мало людей у инженеров, перекройте с е й ч а с ж е. Если снаружи есть телефонные будки, перекройте все. С е й ч а с ж е.

Мы бросили служебную машину и поймали такси. Брок, как и было приказано, ждал в подъезде прачечной. У тротуара стояло такси Бена Лагга. Билеты продавались у входа — шесть фунтов без пяти пенсов. Нед провел меня мимо столика наблюдателей, даже не покосившись на них, и прошел к эстраде.

Никто не танцевал. Первый ряд оркестра отдыхал. Барли стоял в центре эстрады перед раззолоченным стулом и играл под приглушенный аккомпанемент контрабаса и барабанов. Кирпичный свод над ним служил резонатором. На нем все еще был строгий костюм, и он, видимо, забыл снять пиджак. По нему скользили цветные блики, иногда ложась на его лицо, все в струйках пота. Выражение у него было расслабленное и отъединенное. Он держал длительные ноты, и я знал, что это реквием по Энди и по всем тем, кто, может быть, занимал его смятенные мысли. Две девушки, устроившись на освободившихся стульях оркестрантов, не отводили от него немигающего взгляда. Его

внимания ожидал и строй пивных кружек. Рядом с ним стоял великан Ной и слушал, прижимая подбородок к скрещенным на груди рукам. Отзвучала последняя нота. С нежной бережностью, словно обрабатывая рану друга, Барли прочистил саксофон и убрал его в футляр. Аплодисментов Ной не разрешал, но зашаркали подошвы, защелкали пальцы и раздались возгласы «бис!». Однако Барли не обратил на них внимания. Он осушил пару пивных кружек, неопределенно помахал рукой и мягкими движениями пробрался через толпу к выходу. Мы последовали за ним и, когда вышли на улицу, к нему подъехал Бен Лагг с поднятым флажком — такси свободно.

— К Мо! — Барли плюхнулся на заднее сиденье. Откуда-то он извлек новую фляжку виски и уже отвинчивал колпачок.— Привет, Гарри. Ну, как любовь на расстоянии?

— Спасибо. Прекрасно. Искренне рекомендую.

— А где это «Мо»? — спросил Нед, усаживаясь рядом с ним. Я примостился на откидном сиденье.

— Тафнелл-парк. Под «Гербом Фалмута».

— Хорошая акустика? — осведомился Нед.

— Самая лучшая.

Но встревожила меня не притворная веселость Барли, а его отчужденность, мертвенность в его глазах, то, как он замкнулся в цитадели своей английской вежливости.

Мо оказалась пятидесятилетней блондинкой, которая сначала долго целовала Барли и только потом разрешила нам сесть за ее столик. Барли играл блюзы, и Мо, как мне кажется, хотела, чтобы он остался на всю ночь, но Барли не сиделось на месте, и мы поехали в пиццерию с музыкой в Ислингтоне, где он опять играл соло, а Бен Лагг пошел туда с нами, чтобы выпить чашку чая и послушать. Бен в свое время был боксером и все еще любил порассуждать о боксе. Из Ислингтона мы отправились за реку в «Слона» послушать черную группу, игравшую в автобусном гараже. Было четыре пятнадцать утра, но Барли не тянуло спать: он и музыканты уселись пить какао с виски из пинтовых фаянсовых кружек. Когда мы наконец дружески довели его до такси Бена, неведомо откуда возникли две девицы, слушавшие его на эстраде у Ноя, и забрались на заднее сиденье слева и справа от него.

— Эй, девочки! — сказал Бен, а мы с Недом ждали на тротуаре.— Вылезайте-ка.

— Сидите, сидите, я бы на вашем месте не вылез,— рекомендовал им Барли.

— Это не ваше такси, детки, а вон его.— Бен кивнул на Неда.— Выкатывайтесь, будьте умницами.

Барли замахнулся кулаком, целя в голову Бена, прикрытую черной фетровой шляпой. Бен отвел удар, словно смахивая паутину, и тем же движением бережно извлек Барли на тротуар и передал Неду, который столь же бережно взял его в охапку.

Не снимая шляпы, Бен нырнул в заднюю дверцу машины и вынырнул из нее с девицей под каждой мышкой.

— Почему бы нам всем не подышать свежим воздухом? — предложил Нед, а Бен вручил девицам по десятифунтовой бумажке, чтобы их духа здесь больше не было.

— Хорошая мысль! — сказал Барли.

И мы неторопливой процессией перешли мост — наблюдатели Брока замыкали тылы, а такси Бена Лагга еле ползло позади. Над доками занималась буроватая заря.

— Вообще-то приношу извинения,— через некоторое время сказал Барли.— Но ведь никакой беды не произошло? А, Недский?

— Никакой, насколько мне известно,— ответил Нед.

— Будьте на страже,— посоветовал Барли.— Вашей Родине Нужны Настражеи. Верно, Недский? Просто захотелось немного поиграть,— объяснил он мне.— Вы на чем-нибудь играете, Гарри? Один мой приятель играл своей девушке по телефону. На рояле всего лишь, не на саксофоне, учтите, но, по его словам, и рояль свое дело сделал. Вот бы вы попробовали на своей хозяйке.

— Мы завтра уезжаем в Америку,— сказал Нед.

— Рад за вас,— отозвался Барли светским тоном.— Самое подходящее время года. Страна в наиболее выигрышном свете, на мой взгляд.

— Порадуйтесь и за себя,— сказал Нед.— Мы подумали, что приятно будет и вас захватить.

— Неофициальный визит? — спросил Барли.— Или все-таки уложить смокинг?

(Окончание следует)

АНА БЛАНДИАНА

Эссе

Вступление и перевод с румынского
АНАСТАСИИ СТАРОСТИНОЙ

Румынское Сопротивление было — в силу обстоятельств — разрозненным. Личным. Редко — в виде политического протеста. Как правило, это было «сопротивление через культуру». Развился целый пласт утонченной, «фантастической» литературы, и читатель поднаторел в чтении между строк. Но иносказание — метафора — для литературы вещь естественная. При тоталитарном строе она делает свое дело хотя бы в виде шпилек режиму, а может составлять область Высокого Искусства, к которому и принадлежат стихи с вольным дыханием, эссе на вольные темы и прозаические фантасмагории Аны Бландианы, читающиеся не только как истина об инородности социалистической системы всему, что есть человек, но и о том, что ни при какой системе с человека не снимается ответственность за сохранение лица.

В тюрьме, каковой был режим чаушеску (пишу с маленькой буквы, как в румынских газетах), культивировать свободу мысли и духа, состояния безмятежного счастья, гражданство мира и причастность к Богу — позиция сильного, независимого человека, не могущая не раздражать власть. Как и все люди искусства, Ана Бландиана жила под негласным надзором, но последние полтора предреволюционных года режим — агонизирующий, что внешне выражалось в сгущении гнета и усилении репрессивного аппарата до предела,— попытался оказать на нее прямое давление. Предлогом послужила детская книжка стихов, где среди бездомных, нищих и веселых собак и кошек действует смешной котище, зараженный манией величия. Книжка была изъята из продажи, а на Бландиану наложен запрет: рассыпан набор «взрослой» книги, заказан вход во все редакции и на телевидение, закрыта ее постоянная рубрика в газете, исключены заграничные путешествия. Наверное, брезгливость по отношению к подслушивающему уху и подсматривающему глазу определила полное молчание Бландианы: жизнь в деревне, а если в городе, то с отключенным телефоном.

Молчание кончилось в первый же день Революции. Бландиана была вместе со всеми на Дворцовой площади (под пулями тайной полиции легче, чем под ее липким взглядом). Вошла в совет Фронта национального спасения, готовая в самый горячий для страны момент выполнять работу, далекую от литературы. Но вот ворох первых газет из свободной Румынии и — 31 января в «Ромыния либерэ» — «Декларация поэтессы Аны Бландианы», в которой она мотивирует свой выход из совета. Пытаясь издали, по газетам, разобраться, видишь, как за первой волной постреволюционной эйфории и скорби начинается серия публичных обвинений и публичных же оправданий лиц, претендующих на какие бы то ни было посты при новой власти. Это копание в прошлом я воспринимаю как страстное стремление народа к чистоте, как поиск незапятнанных — задача не из легких, поскольку членство в партии было почти поголовным, а сеть «Секуритате» пронизывала все уровни населения, вплоть до детей и старушек. И в многословных объяснениях, почему Фронт национального спасения не должен выступать на выборах как партия, больше, чем логика, виден страх перед повторением диктатуры, перед всякой монополией на власть. Мотивы, может быть, самые благие, но ни во что, напоминающее дрязги, Ана Бландиана не даст втянуть себя никому.

Первый после Революции номер «Ромыния литерарэ» — 28 декабря 1989 года. Каждая статья — праздник души. И — наконец-то — возвращение Аны Бландианы на свою постоянную страницу. Волнение — какие слова раздадутся первыми после отмены цензуры. «Крестовый поход детей» — слова человека ошеломленного, выбитого из литературы в жизнь, слова, осторожно нащупывающие естественную интонацию, старающиеся сдержать пафос — не слова скорее, а муки слова в новом варианте (внешняя свобода), потому что в классическом они знакомы поэту всегда...

Я начну подборку с тех эссе, которые выходили в дореволюционной «Ромыния литерарэ» незадолго до того, как Ана Бландиана попала в черные списки. «Усовершенствуя плоды любимых дум», она многое могла сказать: об атмосфере в стране,

о долготерпении народа, о надежде, которую дает знание истории, о природе и невероятной живучести злодейства, о тоске по сказке, сохраненной для нас щедрым, свободным и великодушным племенем дельфинов...

С нетерпением ждем от румын литературу «из запасников». А пока — живое газетное слово, потому что теперь характерная примета румынского пейзажа — очередь не в булочную, а в газетный киоск.

Мысль о дельфинах

Мысль о дельфинах — это для меня попытка (конечно, трусливая в какой-то мере, но всегда плодотворная) преодолеть хандру, справиться с тоской и разочарованием, мысль о дельфинах — это терапия сказкой, причем сказкой, которая обладает тем неизмеримым преимуществом, что она, вопреки всем вероятностям, есть на самом деле. Одного факта существования дельфинов мне достаточно, чтобы жить дальше, чтобы не отвергать мир, сподобившийся родить их, таких, и позволяющий себе роскошь их сохранять. Умные и добрые, красивые и веселые, они счастливы, но не ценой чужого страдания, и могучи, но без дикого проявления силы, а в спокойном и честном сравнении. У них есть чувство юмора, у них есть грация в мире, признающем только аппетиты и потребности, они играют и радуются посреди всеобщей свары и драки, которая идет в природе; они наивны и отзывчивы там, где над этими свойствами издеваются, где эти достоинства презирают. Они не типичны, они не характерны, но в них — символ, внушающий неистребимую надежду, они — единственные живые существа, которых я представляю входящими в рай без унизительной проработки чистилищем.

Я наблюдала дельфинов во всем великолепии их свободы, когда, собравшись веселой ребячливой ватагой, они играли, заражая избытком и щедростью счастья. Это было как танец, сразу и на море, и в воздухе, бескорыстный и неистощимый на фантазию танец, в котором их сверкающие продолговатые тела, как серебряные ткацкие челноки, сновали между глубокой синевой воды и прозрачностью неба, вышивая на них золотом и кобальтом, ртутью и бирюзой. Мы, люди, смотрели на них с берега, с высокого берега, как с галерки, мы чувствовали себя молодыми и крылатыми, свободными от условностей и открытыми, восхищение побратало нас не только с дивными существами, на которых мы смотрели, но и друг с другом, и — более того — с самими собой. Нас переполняли согласие и добрые чувства, бескорыстие и счастье, мы были польщены приглашением на этот роскошный праздник, на это торжество. Что дельфинам приятно, когда на них смотрят, мы не сомневались ни секунды, и упоение от игры само по себе удваивалось для них нашей радостью, бесценным даром радости, доставляемой другому. Я проверила это впечатление на спектакле в дельфинарии, открыв в том, что для кого-то могло показаться дрессировкой, бесконечно сложные отношения между человеком, который командовал игрой, и исполнительными дельфинами, которые не просто самозабвенно играли, но и сияли отраженной радостью, его и нашей, зрителей,— своего рода игра в игре, как будто они, ребячась, затеяли возню, чтобы развеселить взрослого мальчишку, хозяина, и великовозрастных детей-зрителей — из чистого удовольствия и альтруизма.

У древних греков убийство дельфина приравнивалось к человекоубийству, потому что дельфины считались бывшими людьми, оставившими — чтобы жить в море — свои города, но не свои обычаи, обычаи некоего идеального, осуществившегося человечества. Вот почему мысль о дельфинах — это окно в лучший мир, где больше красоты, где природа милосерднее, это сказки, где добро побеждает зло, это миф об Аполлоне, который мчит к Дельфам на ликующих дельфиньих спинах.

1986

Метеопсихология

Канун марта отмечен обычно состоянием крайности, когда хочется сдвинуть космические границы между временами года, когда мучительно нужен рубеж — и начало нового цикла, когда тяга к весне становится острой до исступления. Канун марта отмечен обычно чувством, что зима исчерпала наше терпение, что вечно мутную пелену неба, грязные сугробы и подмерзшую слякоть выносить больше нельзя, что если, в силу абсурда, зима продлится еще, мы просто не выдержим. Конечно, в таком диктате календаря нет ничего странного, странно то, что сразу за календарной вехой предел терпения спокойно дает отодвигать себя дальше и дальше. Холода часто продолжаются и в марте, и в апреле, бывают годы, когда даже и в мае отвратительная погода, но мы продолжаем как ни в чем не бывало хорохориться, и никакие проволочки не заставят нас признать свое поражение. Скажи нам кто в начале марта, что до тепла терпеть еще два месяца, это бы нас, наверное, сломило — так нужна уверенность, что зиме конец, что вот-вот вылезут на свет подснежники, шафраны, фиалки — нежные имена надежды, своим героическим безрассудством отмечающие путь вперед природы и мира.

И то, что этот обратный счет по флоре упрямствует и застревает в наших мечтах еще на день, на два, на три, еще на неделю; то, что законы поступательного движения, как гармошка, могут растягиваться и сжиматься в зависимости от настроения облаков и капризов ветра, не мешает дню расти, неумолимо и ритмично, и не мешает весне грянуть, пусть поздно, но со всей определенностью. Конечно, чем дольше отсрочка, тем больнее испытывается на разрыв наше терпение, но — замечательно — как только минуют первые дни марта, даже если ничем хорошим не пахнет, наше отчаяние начинает идти на убыль и доводы многократно проверенной на деле мудрости укрепляют нас в смирении. Мы больше не стреляем из лука по облакам и не заклинаем деревья расцвести, потому что за тысячелетия смены природных циклов свыклись с мыслью не только о том, что зиме противиться нельзя, но и что весне никуда в конце концов не деться. Вероятно, будет преувеличением считать это психологическим выводом, но метеорологическим — пожалуй, как раз.

1986

Не подлежащие забвению

Я не припомню случаев другого такого изощренного категорического и бездейственного приговора, как тот, что был вынесен советом города Эфеса безумцу, поджегшему — ради славы — знаменитый храм богини Артемиды: этим приговором запрещалось упоминать, устно или письменно, его имя. Изощренного, поскольку тут уловлен мотив преступления, и высшая мера наказания за него, ни на что не похожая, попадает в точку. За пределами смерти — которая очевидным образом не страшила того, кто шел на явную смерть, уничтожая одно из семи чудес света (чтобы пришпилить себя к вечности),— Герострат боялся только забвения. От этой ужасной угрозы он избавился ценой жизни, купив на нее бессмертие — выгодная сделка! Наказать его забвением, забвением в обязательном порядке, забвением как законом, а не только проклятием,— что еще оставалось предпринять после катастрофы, когда ничего спасти, ничему помешать было уже нельзя, а можно было только порвать противоестественную связь между именем чуда, достойным бессмертия, и именем преступления, заслужившим небытие? Но даже этого не удалось. Остроумнейший приговор древнего города в устье реки Каистрос не достиг цели: Герострат увековечил свое имя через разрушение искусства вернее, чем через любое восхищение им.

Я часто спрашивала себя, что́, вопреки запрету, пустило в ход механизм стойкой народной памяти? Что заставляло людей нарушать закон, из поколения в поколение передавая это имя, про́клятое, но сбереженное и ставшее символом? Нужда в символах? Или сам факт запрета? Или незаурядность (по тем временам) поступка, который пленял воображение не только оригинальностью, но и крайне умозрительным обоснованием жертвы? Так я спрашивала себя в Эфесском музее, разглядывая уцелевшую статую Артемиды, чьи бесчисленные перси были украшены гирляндами из яиц и фигурок диких животных — сложный и граничащий с абсурдом символ плодородия, размножения, материнства и непорочности; так я спрашивала себя на краю болота, глядя, как торчит из камыша и ряски — стариковской костью, искривленной артритом и временем,— колонна, слегка перекошенная, словно бы от боли, которую уже перестала осознавать,— все, что осталось от храма, некогда фигурировавшего среди семи чудес света.

Конечно, ввиду такой очевидной победы разрушителя, на которого само время поработало гнусным и подлым образом, дать ответ было очень трудно, почти невозможно. Разве что взяв понемногу от каждого из условий, сложивших геростратово бессмертие. Но гораздо убедительнее всех его слагаемых, исчезнувших под руинами античной цивилизации, мне кажется то — и я содрогнулась при этой мысли тогда, у болота, в сумерках, наползающих на море, тоже разлученное с былой славой,— что имя Герострата не забылось, а дошло до нас, пойдет и дальше, потому что он был первым в ряду везучих и ушлых честолюбцев, основателем династии, слишком могущественной, чтобы бедные когорты тех, кто творит красоту, хоть и вкупе со множеством тех, кто ею восхищается, могли ее пересилить, могли своей верховной властью заставить забыть ее родоначальника.

1986

Контрасты

На свете бывают, как известно, минуты счастливые и роковые, счастливые и неудачные дни, счастливые и неблагоприятные годы и даже, в исторической перспективе, счастливые и злополучные века. Никто не мог бы сказать, что определяет эту смену вселенских капризов: законы ли вероятности или только ироническая селекция судьбы, пристрастившейся играть в астральную рулетку и норовящей поставить на кон то, что не принадлежит ей так уж безраздельно,— но очевидно, что выпадают дни, когда, к чему ни притронешься, все поет, когда, за что ни возьмешься, все удается и все, на что ни кинешь взгляд, расцветает, точно так же как в иные дни удивляешься, что остался в живых, потому что каждый твой жест провоцирует катастрофу, каждый шаг тянет за собой несчастный случай и каждое слово — недоразумение. По тем же прихотливым и лишенным логики законам выстраиваются годы, и, оглядываясь, видишь, как неровно распределены по ним беды и радости, словно бы испытывая тебя на прочность — то водой, то пламенем,— словно бы вовлекая в сомнительный конкурс, где тебе надо сначала не потерять головы от неизменного, до оскомины, счастья, а потом — не согнуться под градом нескончаемых ударов. То же в истории: с удивлением обнаруживаешь, как за какое-нибудь одно десятилетие родились все гении, которых тот или иной народ ждал веками; видишь со страхом, как в полвека умещаются тирании, войны, преступления, восстания, эпидемии, которые не удосужились разразиться за сотни и сотни лет; открываешь некое редкостное пятилетие, когда все таланты отличаются плодовитостью и их труд находит благодарный отклик, когда слово и его смысл перестают расходиться и осмысленность появляется во всем: вдруг натыкаешься на год, когда выверты и бред оттесняются логикой и здравым смыслом с тем, чтобы в год, непосредственно за ним следую-

щий,— но бог знает какой неприметной ошибке в расчетах — все снова стало с ног на голову.

После таких обобщающих выкладок оставалось бы лишь пожелать человечеству сплошь безоблачных часов, дней, десятилетий и веков, если бы за всеми нашими надеждами и истинами не стояла вера, несравненно более глубокая,— что только через боль можно родить.

1986

Крестовый поход детей

Слова, которые столько лет заменяли собой реальность, сейчас едва-едва в состоянии ее назвать. Сказать г е р о и, но видишь, что поза статуй не передаст бесстрашие и бессонность, решимость выстоять и напряжение всех сил, усталость и несмыкание глаз; сказать м у ч е н и к и, но понимаешь, что даже иконам не объять жертвы и добровольного ухода тех, кто в этом году уже не услышал рождественских коляд; сказать с в о б о д н ы, но в страхе запнешься, чувствуя, что каждую букву, каждый оттенок этого слова, которое они вернули нам, умирая, надо освоить и выучить заново. Реальность — укрытая в гробах из словдеревяшек,— которую мы целыми десятилетиями кропотливо воссоздавали, ловя далекое радио, вещавшее по-румынски, и более близкое иноязычное телевидение, вдруг прорвалась с такой мощью, что наше сознание не поспевает за ней, а наши слова беспомощно буксуют.

И все же этими старыми, затертыми, негнущимися от многолетних рубцов словами я должна выразить бесконечную признательность молодым, сошедшим с берегов отчаяния в стоячие и грязные воды истории — своей чистой и быстротекущей кровью очистить и вспенить их.

Я хочу, чтобы первые слова для этого уголка страницы, куда я возвращаюсь, как возвращаются к самому себе, стали гимном в их честь, в честь мертвых и живых, сотворивших чудо поступка, который в состоянии поднять нас из ледяных подземелий века к его пылающим вершинам.

То, что началось с нами сейчас и продолжится годы и десятилетия, есть и будет дело этих детей, которых матери произвели на свет в отчаянии оттого, что приходится рожать, которых растили в немоте, страхе, в голоде и холоде родители, затерроризированные доносами и замученные стоянием в очередях, которых учили забитые и принуждаемые к двоемыслию учителя, которых научили говорить шепотом, убавлять звук у радио, укутывать телефон, опасаться друг друга, не доверять никому, не верить ни во что. Все, что с нами сейчас происходит.— дело рук этих детей, приговоренных к рождению и одиночеству, детей, которые с безграничным презрением к жизни, данной им насильно, швырнули ее на безжалостные счеты истории, заплатив ею за солидарность и любовь, веру и надежду и дав нам всем родиться в это Рождество, кровавое и великое.

Пусть же крестовый поход детей Румынии сохранит незыблемой свободу, купленную так дорого, сохранит ее на годы столь же чистой и сверкающей — до зрелости демократии, которая необратима.

28 декабря 1989

Вместо вымысла

Я пишу эти строки утром 22 января. Очень усталая, спала мало и плохо, вчера вечером допоздна писала другие вещи, имеющие к литературе отдаленное отношение, но безотлагательные, но — на злобу дня. Свой урок для «Ромыния литерарэ» отложила на утро. Мне случалось на протяжении последних полутора лет видеть сны, как будто я пишу для «Ромыния литерарэ». Мне снилось, что я не успеваю, что Роджер уже теряет терпение, а я все никак не кончу страничку, мне снилось, что я

поддаюсь спешке и пишу небрежно, и я просыпалась в страхе на какой-нибудь упрямой фразе, которая потом преследовала меня целый день. Я и теперь не успеваю, я еще не кончила свою страничку, Роджер уже, наверное, теряет терпение — сон длится, остается только проснуться на упрямой, ускользающей фразе. Но вдруг я отдаю себе отчет, что сегодня 22 января, ровно месяц, как мы все окончательно очнулись ото сна, и ни о чем другом думать я больше не в состоянии.

...Около недели мы жили по большей части на улицах. Точнее, с воскресного вечера, 17 декабря, когда узнали — но это могли быть и слухи,— что в Тимишоаре что-то происходит, и по дороге домой увидели, как здание Радио окружили какие-то инопланетяне со щитами и в масках, в полном, до слезоточивых гранат, вооружении и оснащении, как из научно-фантастического фильма. Но было очевидно, что время фантастики кончилось: в Тимишоаре началась история. Мы жили практически на улицах, потому что больше не могли жить поодиночке, потому что нам было необходимо заглядывать в глаза прохожим — знают ли они, что творится, и признаются ли в том, что знают; мы жили практически на улицах, ища и находя друзей, уверовавших, как и мы, что время стало наконец-то необратимым, ища докторов и фармацевтов, которые дали бы нам рецепты и лекарства, так нужные в Тимишоаре; мы жили на улицах, как будто предчувствуя, что там-то все и произойдет, хотя на самом деле предчувствовали одно: что мы просто-напросто не сможем больше жить, если ничего не произойдет. Вечер 21-го застал нас на улицах, и утром 22-го мы снова были на улицах — с ощущением, что история опустила на нас свою ношу и мы должны быть все вместе, как можно большим числом, чтобы нас не раздавило этой колоссальной тяжестью. По дороге к Дворцовой площади, куда стекался народ, мы узнали, что объявлено военное положение, но при том, что творилось на улице, новость не произвела впечатления, и мы тут же забыли о ней. Около одиннадцати мы влились в колонну манифестантов, которая шла вниз по Штирбей навстречу другой колонне — танков, двигавшейся к казармам,— и мы залезали на танки, и, плача, обнимали плачущих солдат и офицеров, и шли вперед, крича «Идите с нами» тем, кто махал нам руками и бросал цветы из окон, и нас становилось все больше и больше, и мы пели «Оле, оле!» и были так счастливы, как никогда в жизни, мы не подозревали, что такое счастье может быть на земле. Я открыла тогда, месяц назад, на Дворцовой площади, что ощущение своей уникальности по остроте даже приблизительно не напоминает ощущения себя частичкой множества, и я надеюсь не забыть этого открытия. Это был пик радости от растворения «я» в огромной безымянной солидарности, не превзойденный ни тогда, когда, побежав на Радио за мегафонами для ораторов на площади, я вдруг оказалась перед микрофоном, который последние годы был мне запрещен, а теперь, уже несколько минут свободный, давал прямую трансляцию; ни чуть позже, когда меня подняли на подоконник — обратиться к людскому множеству, окружившему здание; счастье, сродни свету, такому сильному, что он застит взгляд, осталось для меня главным следом событий месячной давности, зиянием разделивших эпохи до и после 22 декабря...

Фразы для «Ромыния литерарэ», на которых я в испуге просыпалась в те времена, когда мне снилось, что мой материал ждут, были, наверное, красивее, обкатаннее, чем те, что получились сейчас. Уже месяц мы живем слишком плотно, чтобы посреди поступков нашлось место для литературы. Уже месяц история так решительно заняла место вымысла, что никто, наверное, не возьмется сказать, когда и как они снова поменяются местами.

25 января 1990

Декларация

События последних дней сложились в новую ситуацию, предполагающую конец как сомнениям, так и иллюзиям. В такой ситуации мое присутствие в совете Фронта национального спасения становится несовместимым с правилами писателя, обязавшего себя оставаться вне агрессивности, нетерпимости и ненависти, которые порождаются спорами вокруг власти.

Я бы не хотела, чтобы мое желание выйти из совета Фронта национального спасения было истолковано как дезертирство, как отстранение от борьбы, которую ведет весь румынский народ за выход из катастрофы и возвращение в Европу, а, напротив, как продолжение этой борьбы другими средствами. Теперь, когда споры перешли на улицу, а обмен мнениями норовит соскользнуть в брань и подозрительность, я полагаю, что место писателя может быть только за его письменным столом, который давно напоминает — и будет вынужден еще долго напоминать — баррикаду. Отсюда, как я делала это всегда, я буду выражать свое личное мнение, защищая только те идеи, в которые верю, и отвечая только за свои собственные ошибки. Нет другого места, где бы я была более полезна свободе, которую мы так долго ждали, и демократии, на которую не перестаем надеяться, нет другого места, где бы я в большей степени могла оставаться верной тем, кто погиб ради этой надежды.

31 января 1990

О диалоге

Известно ли от сотворения мира что-либо невыполнимее, чем диалог? Есть ли в человеческой деятельности другая, которая требовала бы большей способности к жертвам, более полного отказа от себя? Что значит построить пирамиду по сравнению с усилием помолчать и прислушаться, с усилием придержать на минуту свой монолог и позволить сказать другому? Сравнимо ли: возвести собор или допустить, что у другого может быть мнение, не совпадающее с твоим или даже ему противоположное, дать себе труд выслушать и попытаться понять? История человечества полна героями и мучениками, но в ней встретишь так мало людей, которые переступили бы через свою правоту и хоть на миг поставили себя на место другого, что их почитают философами или святыми. Ведь для того, чтобы пожертвовать жизнью, достаточно уважать собственную правду, тогда как для диалога надо уважать и правду другого. Демократию (власть народа) так трудно воплотить не потому, что народу трудно взять власть (для этого нужна, в каждом случае, всего лишь революция!), а потому, что эту власть можно сохранить лишь после того, как определено понятие «народ». Определиться же оно может только через диалог. Вот почему в истории человечества революций было гораздо больше, чем демократических обществ, и даже — как ни парадоксально — ни одна революция не повлекла непосредственно за собой установления демократии. Каждый раз нужно было время, измеряемое когда десятилетиями, когда веками, чтобы научиться диалогу и уважению к противоположным мнениям, чтобы отучиться от нетерпимости, рожденной в противовес нетерпимости. Разве мы слишком многого требуем от себя — мы, перешедшие столько рубежей физических и духовных страданий,— когда говорим о рубеже монолога, который столько времени был внутренним, а теперь вдруг выплеснулся наружу в самых агрессивных формах? Разве не под силу нам — нам, втыкавшим в жерла танков цветы,— повторять: «Слушай ближнего своего, как самого себя»? В конце концов, демократия есть не что иное, как диалог, когда большинство слушает, внимательно и с уважением — тем самым, из которого рождается и самоуважение,— критическое мнение меньшинства.

1 февраля 1990

Наше сегодня

Годы и годы я думала, каким будет это наше сегодня, и хотя никогда не могла обозначить в мыслях путь к нему, но в общих чертах представляла. Образ был не из самых красивых — я никогда не позволяла себе слишком много розовой краски в живописании будущего,— скорее я видела его как бы сквозь мутные воды, взметнувшиеся с илистого дна. Оно и естественно: затхлые десятилетия отложили в русле реки столько грязи и гнили, что самое тихое движение, самая мелкая волна не могли не завертеть водоворотами стоячую воду, не всколыхнуть всего, что отложилось на дне. Да, я давно знала, что наше сегодня будет мутным; чего я не знала — это что оно будет таким гнетущим. Потому что я не предвидела между концентрированным мраком наконец-то истекших десятилетий и серой двусмысленностью текущего дня ослепительных минут вокруг Рождества, кратких и таких невероятных, что они дали надежду и на чудо прозрачности. Признаюсь, мне хватило наивности вообразить, что кровь может отфильтровать все нечистоты, и страшно было смотреть, как нечистоты хлынули поверх пролитой крови. Разве мало, чтобы пасть духом?

И все же наше сегодня — то самое, о котором я думала годы и годы, и оно не хуже, чем было в моем воображении, его просто труднее вынести, потому что оно обошлось нам много дороже, чем, по моим понятиям, мы могли заплатить. Нам ничего не остается, как только возвышать его и очищать, пока цена, спрошенная за него судьбой, не покажется соразмерной. А значит, мы не должны знать жалости к нашему прошлому и нашему настоящему, значит, мы должны быть беспощадны к полу- и недо-правдам, из которых состоит наша история, значит, мы должны быть жестоки с самими собой. Надо сказать все без изворотов, чтобы раз навсегда отделить добро от зла, надо признаться во всем самом постыдном, чтобы наконец отличить безобразие от красоты, надо сорвать повязки с ран, шторы с окон, занавесы со сцен, чтобы посмотреть на все открытыми глазами, чтобы переписать все набело. Если даже свечи, зажженные на площадях и бульварах, если даже пожар в университетской библиотеке не смогли своим светом пробить грязный воздух между нами, надо поджечь самих себя, со всем в нас, что цеплялось за жизнь,— может быть, при этом факеле будет видно. Так, как мне снилось десятилетиями во сне, лишенном приятности и иллюзий, все будет бесконечно трудно, потому что все зависит от нас.

8 февраля 1990

ВЕЙККО ХУОВИНЕН

Рассказы

■

Перевод с финского Ю. ВОРОНИНА

Любитель телефонных разговоров

Подумать только, какой прогресс! В прежние времена житель финской глубинки пребывал в полной изоляции. Только ходячая молва сообщала о королевских войнах в Германии или приезде царя в Финляндию. Не многие получали газеты, большинство населения понятия о них не имело. Жили замкнуто в кругу своих домочадцев. Один будничный день следовал за другим, разнообразие вносили лишь Иванов день или кекри [1]. Да еще в какой-нибудь книжке отыщется картинка арапа или китайца. Где-то далеко, очень далеко, находился остальной мир, Юг, Восток.

Затем появилось телевидение. В самых отдаленных углах, в глубинке, вспыхивали голубые экраны в вечернюю пору — обзоры новостей, документальные фильмы, передачи о жизни природы, о неведомых народах и невиданных городах. Хоккей, теннис, бег Лассе Винера или лыжи Кари Хяркенена. Весь этот пестрый мир ворвался туда, где раньше не было развлечений, нарушил унылое однообразие будней.

А еще позже изобрели автоматическую телефонную связь. И можно уже не вздрагивать от резкого голоса барышни в международном телефонном центре. Можно прямо позвонить семье сына в Лулео или сводному брату в Германию (работает на уборке валежника и вырубке леса, погибшего в результате кислотных дождей). И ничего-то другого и не требуется, только набрать нужные номера, и знакомый голос ответит тебе из-за дальних морей. И слышно-то так хорошо, как будто он, твой родственник, сидит возле тебя. И плата, например, за разговор с Германией 4,72 марки в минуту, да разве это много за такое чудо. А важное дело всегда отыщется, например, задать родственнику вопрос: ну, как ты там поживаешь?..

Тойво Ниву был одним из отшельников в нашем просвещенном обществе. Он жил в глушн на своем далеком земельном наделе в Восточной Финляндии. Трудился по хозяйству — возделывал ячмень, заготавливал на зиму сено и вместе со своей старухой ухаживал за рогатым скотом. Нужно же человеку чем-то заниматься, и почему бы этому занятию не быть столь же значительным и почитаемым, как участвовать в эстрадном шоу или писать атональную музыку.

Иногда по вечерам Тойво Ниву охватывала тоска по дальним странам. Такое случалось и летом, но особенно часто зимой, когда, как известно, вечера долгие и темные и метель завывает на дворе, а ветки рябины так и бьются в окно. Тойво Ниву пропускает иногда на ночь рюмочку-другую, ибо нет лучшего средства для нейтрализации холестерина, образующегося в результате систематического употребления картофеля и свинины. И тогда Тойво настраивается на лирический лад и начинает думать о дальних странах и тех удивительных людях, которых он видел по телевизору. Кроме того, бывал он и в развлекательных туристических поездках и познакомился там с «Пино колада» и «Куба либре» [2].

В такие вечера жизнь переставала казаться унылой и пресной. Не хотелось мелочиться, считать телефонные расходы и горевать по ним. Да и жена по вечерам сонная, ее бдительное наблюдение за телефоном притупляется.

© Kustannusosakeyhtiö Otavan Painolaitokset Keuruu, 1987.

[1] Старинный финский праздник, 1 ноября, когда хозяева рассчитывались с работниками.

[2] Популярные спиртные напитки.

Итак, Тойво Ниву с многозначительной ухмылкой на лице берется за телефонный справочник. Ему весело...

— Епитки,— говорит он игриво вслух, хотя прекрасно знает, что это Египет. И может даже правильно написать это слово.

Он накручивает телефонный диск. Сначала заграничный код — 990, вслед за ним номер Египта — 20, затем Каира — 2, а потом любой номер, подсказанный фантазией, ибо откуда ему знать каирские телефонные номера. Телефонный справочник Каира едва ли найдется на отдаленном хуторе в Финляндии!

Если ответа нет, он набирает новый каирский телефон. И вот, как ни удивительно, после нескольких попыток кто-то прокудахтал в трубку непонятные слова.

— Это Хосни[1]? — вкрадчиво спрашивает Тойво Ниву.— Скажите, Хосни дома? Нельзя ли попросить Хосни к телефону.

Тойво, естественно, ничего не понял из ответа. Собственно, он ни на что иное и не рассчитывал. Важно, что шутка удалась. Тойво смог что-то спросить у египтянина. А этого ему было предостаточно. Разговор длился не больше минуты и обошелся в 14.30 марок.

Тойво Ниву доволен, он закуривает и в добром расположении духа разгуливает по комнате. Радость так и светится в его глазах. Он впускает кошку в дом, смахивает снежинки с нее. Кошка замурлыкала. Уютно!

С кошкой на руках Тойво Ниву разглядывает географическую карту в телефонном справочнике. Есть, есть интересные места в мире. Берег Слоновой Кости, Виргинские острова в США, Богота в Колумбии, Лунувила в Шри-Ланке... Надо бы осведомиться, как дела в этих краях...

Тойво начинает набирать телефонные номера Берега Слоновой Кости. Пытается раз-другой, но ответа нет. Между делом он пробивается в Гонконг, но тоже безрезультатно. Чтобы взбодриться, он пропускает еще рюмочку и затем звонит еще раз на Берег Слоновой Кости. Упорно набирает он разные телефонные номера. Наконец его настойчивость вознаграждается, кто-то пролепетал незнакомые ему слова — неясно и, видно, очень издалека.

Тойво Ниву вздрогнул и посильнее прижал телефонную трубку.

— Это Берег Слоновой Кости? — закричал он.— Есть ли у вас свежие слоновые кости? Я спрашиваю: есть ли у вас в продаже копченые слоновые кости для супа? Я бы взял килограмма полтора.

На этом разговор закончился. Тойво Ниву очень доволен. Кошка насторожилась, взмахнула хвостом и на всякий случай шмыгнула под диван.

Затея Тойво, честно говоря, не очень остроумна, но для собственного развлечения вполне уместна. Он в прекрасном расположении духа. Подумать только, завтра утром ему предстоит убирать снег, расчищать дорогу к хлеву, подвозить дрова на кормокухню, доставать почту из почтового ящика, до которого четыреста метров, а он знай себе заказывает копченые слоновые кости для супа.

Вот если бы еще кто-нибудь из его приятелей оказался здесь, тогда бы посмеялись на славу! И об этом затем заговорила бы вся округа: «Слышали, Тойво Ниву звонил на Берег Слоновой Кости. С ним не соскучишься!»

Тойво Ниву ищет новых абонентов. Он вспомнил, что в Эстонии большим начальником значится какой-то Вайно. И ему захотелось позвонить в Эстонию и спросить: «Дома ли этот самый Вайно? Позовите Вайно к телефону». Однако он обнаружил, что в Советский Союз нельзя звонить по автомату. Разговор нужно заказывать через телефонный центр, это малоприятное занятие. Немного угомонившись, он сходил и подбросил дров в камин. Жена спросила, кто звонил.

— Да так, мужик один,— сухо ответил Тойво.

К вечеру он позвонил в Италию, в район Генуи, и, хотя никто не ответил, осведомился, готовы ли макароны. Он пытался также связаться с Сомали, и весьма настойчиво, но безуспешно. В Восточную Германию он дозвонился и спросил, дома ли Хонеккер.

— Дома ли этот самый Хонеккер? — упрямо твердил он в течение трех минут, пока голос не охрип, а глаза не посоловели.

Время незаметно подошло к одиннадцати, и он постеснялся звонить еще куда-нибудь.

— Какое мне дело до чужих проблем? — заключил он, и глаза его слипались от

[1] Имеется в виду президент Египта Хосни Мубарак.

сна.— Пусть сами с ними разбираются, почему это меня должно тревожить? — Затем он сходил по малой нужде за уголок дома, подивился обилию снега и отправился спать.

Проснувшись утром, он вспомнил вчерашние переговоры и улыбнулся. Он, конечно, знал, что никто не обратит внимания на его болтовню. Лишь какой-нибудь электронный счетчик оставил в своей памяти электроимпульсы. Счет за разговоры придет, вне всякого сомнения.

Но они мало значат, эти несколько сотенных. Спустил бы он их в ресторане, да еще и за такси пришлось бы платить, и угрызения совести за учиненный там по пьяной лавочке скандал...

Гораздо больше стоило то, что он держал в руках нити, какие-то тонкие паутинки в далекий мир. Его голос слышали на берегах самой Африки. Он установил контакт с неизвестным собратом-человеком. Кто-нибудь там далеко-далеко подумает: кто-то и мне позвонил, кому-то и я нужен.

Ох, уж эти спутники

Уже давно люди стали покидать эту деревню. Многие уехали — особенно молодые — в Швецию, даже в Норвегию. Молодых и предприимчивых не привлекало житие в полумраке, на поляне, окруженной лесом. Да и сельское хозяйство стали хулить почем зря. Коровы, видите ли, оставались все той же скотиной и неприятно пахли тем же навозом. Пугал рост долгов, скучища... А вот в городах, как поговаривали, била ключом настоящая жизнь, была там и работа, за которую платили настоящие деньги. Поэтому и уходили туда целыми семьями, заколачивая окна.

Оставались старики. Но когда закрыли школу и купец прикрыл лавку, все продали землю и хозяйства и перебрались в города и поселки.

Случилось так, что последним жителем в этой деревне остался одинокий человек, холостяк, Фолке Вяятая. Он не уехал, хотя ему и предлагали продать его хозяйство. Жил он тихо и скромно. У него было четыре овцы, собака и кошка, да еще небольшое картофельное поле.

Он выписывал много газет, прилежно пользовался передвижной автобиблиотекой и вообще много читал. Он приобрел телевизор и долгими вечерами следил за событиями в мире. Он принадлежал к той возрастной категории, которая в молодости дивилась первым велосипедам, автомобилям и вела лесное и сельское хозяйство старым, допотопным, но надежным способом. Фолке многое повидал в жизни, испытал и голод и холод, исходил пешком, на лыжах и на веслах не одну тысячу километров. Ему не раз приходилось сидеть за маслобойкой и крутить ручку сепаратора. Поэтому головокружительное развитие техники и открывшийся перед ним у телевизора широкий мир с его чудесами производил на него неизгладимое впечатление. Он поражался, пьянел от новых впечатлений и даже пугался их.

Свое незамысловатое хозяйство он вел кое-как. Купленные в передвижной автолавке продукты, завернутые в уже посеревший пергамент, подолгу залеживались в холодильнике. Каши и другие немногочисленные горячие блюда прокисали, а зачастую и безнадежно затвердевали в кастрюльках и жестяных банках. Утром приходилось выпускать на прогулку собаку и кошку, кормить овец.

Когда деревня еще была жива, Фолке Вяятая был нормальным, общительным человеком. Он с удовольствием навещал соседей, любил бывать на лосиных поминках[1] и неизменно участвовал в картежных баталиях на берегу озера. После того как деревня опустела, его иногда охватывала острая тоска и желание пообщаться с людьми, он отправлялся в соседнюю деревню, чтобы поговорить там с кем-нибудь. Однако со временем он примирился с действительностью и стал в конце концов отшельником. Случайный прохожий, следовавший вдоль прежней деревни, заставлял его вздрагивать. Он мог заложить дверь на щеколду и не открывать ее незнакомому путнику.

Как-то раз очередная почта доставила Фолке Вяятая пачку газет, в числе которых был и «Скандинавский вестник науки и техники». На обложке крупными буквами было начертано: «Глаз шпиона-спутника видит тебя». Слово «тебя» было выделено красным шрифтом.

— Неужели меня,— пробормотал Фолке.

Он пришел в замешательство и, крадучись, проследовал к окну, запрокинул голову и долго смотрел в небо.

---

[1] Пиршество после удачной охоты.

— Неужели и меня видит,— удивился он.

Он прочел всю статью, но так и не постиг до конца ее содержания. Одно он твердо усвоил — спутник оттуда, из поднебесья, способен делать такие фотоснимки, что при их увеличении можно опознать человека.

Это навело Фолке Вяятая на новую тему для размышлений. Он и без того считал положение в мире весьма напряженным. По его мнению, так же как по мнению всех разумных и даже неразумных людей, самая ужасная черта современности — гонка вооружений, нагнетаемая великими державами. Несмотря на свое положение стороннего наблюдателя, он все же был осведомлен о том, что разрушительное оружие огромной силы находится в состоянии боевой готовности и может уничтожить сотни миллионов людей. И чтобы обеспечить хотя бы минимальную персональную защиту, он навез дополнительно земли на сводчатую крышу своего картофельного погреба и отнес туда несколько банок с консервами, небольшой газовый кипятильник и полдюжины бутылок спиртного, чтобы выпить в случае чего....

Теперь положение еще больше обострилось. Влиятельные военные чины из далекого, большого мира решили установить слежку за всеми его передвижениями и секретно фотографировать. Это не сулило ничего хорошего. Просыпаясь по ночам, Фолке вздрагивал, весь в холодном поту. Значит, они принялись и за него. Следят и хотят знать о каждом его шаге. А он, как и некоторые другие, твердо стоит на линии Паасикиви— Кекконена и поэтому не запасся ядерным оружием.

— Что за чертовщина,— ворчал он в ночной тишине, шаря рукой возле кровати в поисках пачки папирос. Чего хотят от него, одинокого бедолаги, который отнюдь не является никакой важной персоной. Воителя из него теперь уже больше не получится, секретными сведениями он не располагает. В этом захолустье нет ни укреплений, ни даже металлодобывающих предприятий.

От этих размышлений он затрясся, как маслобойка при пахтанье, что привело в беспокойство собаку, и она запросилась наружу. Выпустив ее, Фолке плюхнулся на кровать. Он долго не мог уснуть, а потом его настиг тревожный и беспокойный сон.

Правда, он наметил конкретные меры. Прежде всего он решил, что не позволит высокому военному чину из дальней страны установить его личность. А для этого ему следует затаиться и вообще вести себя так, чтобы не привлекать внимание к своей персоне.

Все последующие дни он созерцал небо. К счастью, оно было покрыто облаками, и Фолке сообразил, что никакая камера не сможет фотографировать его сквозь тучи. Стояла слякотная погода, вокруг вихрился мокрый снег. Даже авиация во время войны в такую собачью погоду не летала, насколько он помнит. И все же, когда пришло время кормить овец, он тихо шмыгнул во двор, прикрывая лицо ладонью...

Фолке слушал прогнозы погоды и с опаской ждал, когда наступят ясные морозные дни. Тогда уж его грешная персона, передвигающаяся по земле, вполне будет доступна несущемуся в поднебесье спутнику-шпиону.

Он отправился в село и купил охотничий маскировочный костюм серых тонов, пятнистый, аляповатый. Одноцветный свитер, особенно темный, будет, очевидно, хорошо просматриваться зимой сверху. На чердаке Фолке нашел белый маскировочный халат, оставшийся еще со времен войны, и повесил его на гвоздь в прихожей. В дальнем закутке шкафа отыскал древнюю шляпу с бескрайними полями, которые так надежно укрывали лицо, что опознать его было невозможно...

Фолке Вяятая пребывал в твердом убеждении, что человека нельзя фотографировать без его разрешения. Однажды в составе группы ветеранов войны он побывал в туристской поездке в Ленинграде и Петрозаводске. Когда кто-то из туристов попытался сфотографировать очередь у продовольственного магазина, появился милиционер и конфисковал пленку. Так что, очевидно, у человека есть право уклоняться от фотографирования!

Неоднократно и в полный голос Фолке произносил в своей избе: «Меня не фотографировать!» Он заявлял об этом в таком категорическом тоне, что собака и кошка вскакивали всякий раз на ноги и, преисполненные решимости действовать, неотрывно смотрели на хозяина. У Фолке Вяятая была небольшая порубочная делянка в лесу. В ненастные дни он отправлялся туда спокойно, ничего не остерегаясь. Но в ясные морозные дни он надевал маскировочный халат. Позже, поразмыслив, он сосновой веткой стал заметать за собой лыжню. А то глубокая лыжня могла навести небесного шпиона на мысль о том, что в лесу что-то происходит...

В морозные дни Фолке передвигался по лесу осторожно, прячась под ветками, перебегая от сосны к сосне. Даже невзначай он избегал смотреть на небо, а упорно глядел вниз. Он не разжигал костров, ибо дымный столб мог вызвать у кого-то подозрения.

Он приволок из леса кучу сосновых веток. От крыльца его дома до дровяного сарая и старого хлева было около двадцати метров. Над тропинкой к этим строениям он сложил из веток маскировочный тоннель, по которому и передвигался в случае крайней необходимости. Но и тогда он неотрывно смотрел в землю, а его широкая шляпа была низко надвинута на самые глаза.

У Фолке Вяятая была привычка сидеть за столом, у окна, и читать газеты. А теперь ему пришло в голову, что спутник может сфотографировать его через окно, на фоне света лампы. И он повесил на окно маскировочную штору из старого одеяла.

Если ему нужно было сходить в амбар или баню, он следовал туда с пестрым зонтиком над головой, хотя на улице был сорокоградусный мороз, не предвещавший дождя.

И хотя деревня была нежилой, через нее все-таки иногда кто-то проходил. То компания охотников катила на лыжах по укутанному снегом полю, то мимо дома Фолке следовал консультант по вопросам лесного хозяйства. Дом Вяятая хорошо просматривался и с дороги, по которой часто хаживал почтальон. К Фолке в лес, на его порубочный участок, наведывался и агент лесозаготовительной компании и удивлялся, что Фолке уставился в землю и не разводит костров.

И если объектив спутника-шпиона был всегда начеку, то начеку были и людские глаза, неусыпные и бдительные...

Можно было ожидать развития дальнейших событий по старой знакомой схеме. Даже наверняка, вне всяких сомнений.

И уже стали поговаривать, что Фолке Вяятая свихнулся от одиночества...

Он выкидывал такие коленца, что вывод напрашивался сам собой...

И как долго это будет продолжаться, прежде чем...

Очевидно, уже кто-то побывал с докладом у местных властей по социальным вопросам. А кто-то другой навестил — разумеется по собственным делам — врача в местном медпункте и доложил, что пожилой человек идет с летним зонтиком над головой в трескучий мороз! И как доктор на это смотрит?

Рано или поздно кто-нибудь сердобольный непременно явился бы взглянуть на Фолке и осведомился, как он себя чувствует. Возможно, они предложили бы ему пройти обследования, полечиться или вовсе перебраться на жительство в село, в дом для престарелых. Там за пожилыми людьми обеспечен уход, там Фолке получит возможность жить и общаться с людьми.

И Фолке наверняка разгневался бы и выгнал бы гостей с топором в руках, а то и пригрозил бы ружьем.

И неизвестно, чем бы все это кончилось.

Полиция здоровья

На пресс-конференцию некоего видного полицейского чина собралось много журналистов и представителей разных информационных ведомств. Ему ассистировали два известных врача. Эти важные господа задались целью проинформировать слушателей о комплексе мер, направленных на оздоровление нации.

Дискуссии велись уже на протяжении десятка лет. Врачи предостерегали, а муниципальные власти вслед за ними комментировали, в какую копеечку влетает деятельность по поддержанию здоровья нации, как она своим гигантским бюджетом грозит подорвать муниципальную экономику. Для сокращения расходов необходимо было немедленно предпринять реформы в различных областях государственной жизни. Так, были изменены различные платежи, предприняты попытки прекратить никчемную бумажную войну (безрезультатно), сократить чиновничий аппарат (то же самое). Да и можно ли, по правде говоря, ожидать сокращения рабочих мест и аппарата, если ведущие профсоюзные организации выступают как раз за укороченный рабочий день и обеспечение новых рабочих мест. Как сократить ассигнования на зарплату, если профсоюзы, используя нажим и благодаря забастовкам, все время способствуют увеличению зарплат, социальных расходов и дотаций на образование.

Ну а что, если попытаться сбить волну калек, больных, мнимых больных, пьяниц,

курильщиков и наркоманов, волну, которая сокрушительно захлестывает больницы и оздоровительные центры. Пробовали — не получилось. Народ продолжает пить, курить, дебоширить, народ тонет в озерах, отлеживается перед телевизорами и становится все более немощным. Выдвигается лозунг: каждый должен получить право на бесплатное медицинское обслуживание, и это уже — политическое требование.

— Сегодня на нашей встрече мы не будем затрагивать проблемы алкоголизма и курения, хотя их решение и является самым насущным в деятельности по оздоровлению нации. Тут ничего не попишешь, ибо государство стремится сохранить за собой доходы, получаемые от реализации этого зелья, — заявил полицейский чин. — Поэтому в этом плане нам с вами придется пока ограничиться предупреждениями, а также запугиваниями и угрозами со стороны медицинского персонала. Новые же полицейские меры сосредоточены на опасностях, таящихся в приверженности граждан нашей страны к одежде, не соответствующей условиям нашего арктического климата. Передаю слово врачам.

Врач выступал деловито и конкретно. Прежде всего он отметил, что в нашей стране можно свободно приобрести практичную одежду и по доступным ценам. В связи с этим он выразил недоумение, почему джинсы в обтяжку надеваются при 35-градусном морозе вместо более свободных и теплосберегающих штанов, изготовленных из добротного материала. И почему стыкующиеся части рубашки или блузки, с одной стороны, и штанов — с другой, расходятся так, что в наклонном положении, при работе, добрая пядь оголенной спины подвержена холодному ветру. Почему также обувь, в которой ходят зимой по льду, должна быть непременно тесной, неутепленной и на плоской подошве. И почему многие даже не имеют представления о том, что такое длинные кальсоны и теплые панталоны, а также настоящее зимнее нижнее белье. Почему народ не носит шарфы, шерстяные носки и теплые варежки. Он подчеркнул, что даже самая длинная и густая шевелюра не способна защитнть от арктического ветра так, как шерстяная шапочка на подкладке или меховая ушанка. По его мнению, в столь неразумной экипировке виновна мода, а также урбанизация, теплые водонепроницаемые жилища и сокращение числа работающих под открытым небом.

Затем он перешел к собственно научно-медицинской проблематике. Особенно основательно он анализировал различные простудные заболевания и привел весьма убедительную статистику. Унылой иллюстрацией к ней последовали гаймориты, заболевания ухо-горло-нос, боли в позвоночнике, воспаления мочевого пузыря и яичников, лихорадки, насморки, обмораження и переломы в результате падений. Он сказал, что в зимние периоды эти заболевания, увы, неизбежны, но поскольку за ними просто охотятся, то и без того загруженные выше головы врачи и другие труженики медицины буквально стонут, и положение становится просто нетерпимым. А во что все это обходится? Он назвал умопомрачительную сумму, для перевозки которой (в бумажных купюрах) потребуется товарный поезд. И все это — деньги налогоплательщиков.

Затем слово вновь взял полицейский чин. Он объявил, что в течение сентября большинству больных, подверженных систематическим заболеваниям, будут розданы простые по форме, различного цвета карточки, которые следует постоянно носить при себе. В карточках будет содержаться минимум информации в закодированном виде. Карточки больных ухо-горло-нос будут синего цвета, перенесших травмы конечностей — зеленого, с повторными переломами — красного и т. д. В период с 1.XI по 31.III карточки по первому требованию следует предъявлять полиции. Тогда полицейский по цвету карточки сразу определит, о чем идет речь, и проверит, к примеру, у владельца красной карточки подошвы ботинок. Если окажется, что они скользкие и гладкие, то полицейский предпишет отправляться немедленно домой и поменять ботинки на другую обувь с ребристой, устойчивой подошвой. Ознакомившись с закодированной информацией, полицейский может назначить штраф. Если же гражданин вздумает препираться, то будет подвергнут максимальному наказанию — трем месяцам заключения.

Соответственно полицейский вправе, ознакомившись с контрольной карточкой, в зависимости от погодных условий, проверить состояние и других предметов туалета данного гражданина (гражданки). Так, например, страдающие простудными заболеваниями должны носить, даже в оттепель, длинные кальсоны, или достаточно теплые колготки, или хотя бы чулки. При морозе ниже 10 градусов и даже при более умеренной погоде, но при резком ветре требуются дополнительно теплые шерстяные кальсоны, или плотные колготки, или стеганые панталоны. Обувь должна быть теплой, а носки сухими.

В означенный период у всех граждан на голове должен быть головной убор. О женских головных уборах разрабатываются отдельные инструкции. Объектом особого внимания будет молодежь в возрасте 12—21 года. За ними будущее нации. От них требуется особенно внимательное отношение к своей одежде, и за их поведением будет установлено особо тщательное наблюдение. Достигшие совершеннолетия будут отвечать за себя сами, а за теплую экипировку более молодого поколения ответственность будут нести их родители и опекуны. Наказания не заставят себя ждать. С другой стороны, будет развернута просветительская работа, малообеспеченным семьям будет оказываться помощь в приобретении одежды. В школьные правила внутреннего распорядка будут включены подробные инструкции о переодевании детей во время перемен.

Когда полицейский чин закончил свое подробное выступление, посыпались вопросы. Корреспонденты заерзали и стали перешептываться.

Первой поднялась разбитная дамочка, писаная красотка, с хорошо поставленным голосом из какой-то финско-шведской газеты. Позируя собравшимся и кокетничая, она спросила: впрямь ли полиция намерена задирать на улице у спокойно шествующих дам подол и изучать их панталоны.

Очаровательная корреспондентка была награждена бурными аплодисментами. Зал покатился со смеху. Но полицейский чин не растерялся, он даже смеялся вместе со всеми. Когда шум поутих, он заверил, что полиция будет вести себя деликатно. Само собой разумеется, обращение с женщинами будет корректным, как, впрочем, и с мужчинами. Полицейские, подобранные для этой работы, будут хорошо обучены, а точнее сказать, уже обучены. Они безошибочно, с первого взгляда определят, что у этой дамы в трескучий мороз на ногах тонкие как паутинка чулки. Естественно предположить, что взрослые женщины вообще одеваются по погоде и не нуждаются в опеке. Ну, а что касается граций помоложе, то стоит ли осуждать действия полицейского, которому вменено в обязанность отвечать за их здоровье?

Полицейский начальник сообщил, что в женском отделе полиции здоровья открылось 117 вакансий специально для женщин-полицейских. В этот отдел стараются подбирать приятных, вежливых и вместе с тем энергичных женщин, предпочтительно студенток, а также медицинских сестер.

— А теперь предположим,— сказал полицейский чин,— что в участок доставлена дама, скажем, среднего возраста, она встречает здесь к себе весьма уважительное отношение. Для начала ей предложат чашечку кофе с малиновым или клубничным пирожным. Тем временем любезная женщина-полицейский заведет с ней душеспасительную беседу, а затем деликатно начнет читать лекцию об опасностях арктического климата. Возможно, она по-сестрински, мельком покажет ей свое нижнее белье и перечислит его достоинства. Чувство враждебности, вызванное приводом дамы в полицию, начнет таять. Если она живет на окраине города, ей одолжат в полицейском участке, под расписку, шерстяные или стеганые панталоны. Потом она сможет вернуть их.

По мнению полицейского начальника, с большинством мужчин можно обращаться пожестче — ведь все они прошли службу в армии и привычны к четкой команде. Если придется иметь дело с юношей, то его можно безо всяких церемоний завести в подворотню и сказать: «А ну-ка, друг, покажи, есть ли у тебя под этой рубашкой шерстяная». А если нет, мигом отправить домой натянуть на себя шерстяную рубаху, прихватить кашне и надеть зимние ботинки.

На фланирующего по краю тротуара подростка можно и прикрикнуть: «А ну-ка, шапку из кармана и на голову!» Если он не подчинится или у него нет с собой головного убора, ему скажут:

«Ну хорошо, будем считать, что это последний раз, когда ты, патлатый, шляешься в мороз без шапки. Еще раз увижу твою посиневшую морду, дрожащую от холода,— оштрафую твоего отца. А ну, вали домой за шапкой!»

Полицейский босс привел и другие веские аргументы и примеры из повседневной жизни, не забыв при этом и про охрану труда. Журналисты задавали вопросы — и деловые, и каверзные,— а полицейский чин и врачи давали исчерпывающие ответы.

По окончании брифинга журналисты с горящими глазами заторопились в редакции, чтобы дать репортаж о новой полицейской акции.

К этому власти и стремились. Доброе начинание сразу получит широкий резонанс, а негативная поначалу реакция широкой публики со временем станет позитивной. А вдруг и в самом деле здравомыслящий народ Суоми с пониманием отнесется к заботе о своем здоровье в критический зимний период?

◆

Классика и мы

ЛЕВ ШЕСТОВ

«ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ» ШЕКСПИРА

1601 год был роковым для Шекспира. Что случилось с великим поэтом — мы точно не знаем. Разные исследователи высказывают различные догадки. Одни полагают, что на него сильно повлиял судебный процесс и осуждение его высоких друзей и покровителей Эссекса и Соутгемптона[1], нелепо задумавших и еще более нелепо пытавшихся осуществить план свержения с престола королевы Елизаветы; другие говорят о несчастной страсти к «черной даме», воспетой в сонетах; третьи приурочивают к этому времени смерть отца Шекспира и т. д.

Каждой из этих догадок можно давать больше или меньше веры — это дело склонности ума и решительности в суждениях; но одно — несомненно: в жизни Шекспира произошло какое-то страшное, потрясшее все его существо, событие — и с 1601 года он становится совсем иным человеком. Соответственно тому и творчество его принимает иной характер. Еще недавно написал он комедию «Двенадцатая ночь», где так много искреннего, веселого и беспечного смеха, и почти непосредственно вслед за ней он пишет «Юлия Цезаря», в котором ни одно из действующих лиц не смеет даже на мгновение улыбнуться, и «Гамлета», где смеется лишь сам Гамлет, но так смеется, что не знаешь, чему больше ужасаться — его смеху или его безумным рыданиям.

«Юлий Цезарь» и «Гамлет», так мало по сюжету и внешней обстановке друг на друга похожие, написаны на одиу тему, которая выражается восклицанием принца, не совсем точно, но тем не менее очень удачно переданным русским переводчиком в известных словах: «Пала связь времен, зачем же я связать ее рожден?» Это значит — прежняя, бессознательная, дающаяся нам всем даром, вера в целесообразность и осмысленность человеческой жизни рушилась. Нужно сейчас же, немедленно найти новую веру — иначе жизнь обращается в непрерывную, невыносимую пытку. Но как это сделать? Где найти веру? И есть ли такая вера на земле?

«Юлий Цезарь» — первый опыт беспокойного, нетерпеливого, лихорадочного, а вместе с тем и скрытного, боящегося обнаружить себя искания, когда не столько нужен ответ на вопрос, сколько ответ немедленный. Шекспиру кажется, что он не может больше ждать, что уже все силы истощились, что еще несколько дней, даже часов таких нечеловеческих мук — и он обезумеет. Это, разумеется, ошибка. Человек — выносливейшее животное. Ответ не только не придет сейчас, но не придет и через многие годы, а Шекспир не обезумеет и будет жить с сознанием, что для него все погибло и что все ответы, когда-либо дававшиеся на гамлетовский вопрос, были лишь пустыми словами. Но в «Юлии Цезаре» Шекспир боится допустить даже возможность такого предположения. Он напряженно вспоминает все, что когда-либо приходилось ему слышать от людей или читать в книгах, в надежде, что кто-либо из древних или новых мудрецов наставит и научит его, покажет ему, как связывается распавшаяся связь времен... Ведь должно же быть где-нибудь то «слово», которым разрешаются все его мучительные сомнения...

Плутарх, которого Шекспир знал в английском переводе Томаса Норта, казалось, был лучшим советчиком в этом трудном деле. Плутарх — прежде всего учитель, моралист. У него есть твердые, незыблемые принципы, в основании которых лежит вера в нравственный миропорядок. Он глубоко убежден, что мораль всевластна и всесильна и что в сознательном подчинении долгу смертные могут найти достаточное утешение при каких угодно жизненных превратностях. Он приверженец Платона и вслед за ним настойчиво проводит ту мысль, что можно вынести какую угодно несправедливость, только бы самому не быть несправедливым. Правда, мораль Плутарха, как и его учителя Платона, не безусловно чиста или, как говорят теперь в философии, не «автономна». Она освящается у него религией и находится под непосредственным покровительством богов. Свой диалог о «Позднем наказании безбожника» Плутарх, как и Платон некоторые свои, заканчивает фантастическим изображением

[1] Сохранено авторское написание имен собственных. Шекспировские цитаты приведены в переводах, известных Л. Шестову. (*Прим. ред.*)

загробного мира. Несправедливый человек, в его представлении, казнится не только бесплотной моралью, но и всемогущими богами. Да и не только в этом сочинении — почти во всех своих повествованиях Плутарх, по обычаю древних, замешивает небожителей в человеческие дела. Такому воззрению Шекспир, как сын XVII века и современник Бэкона, не мог, конечно, придавать серьезного значения. Для него плутарховские боги имели только символический смысл. Он, как теперь делаем мы все, совершенно отделил мораль от религии, но тем не менее не перестал ожидать от нее чудес и не отказался от мысли, что этому бесплотному богу, как и всем богам, можно и должно приносить жертвы — даже жертвы человеческие...

Эта мысль и составляет содержание «Юлия Цезаря» — и, само собою, она связана не с личностью Цезаря, который менее всего способен своей жизнью оправдать такую идею, а с личностью его убийцы, благородного Брута. Брут своим поведением должен доказать, что тот, кто до конца решится следовать внушениям высокой морали, может не бояться ничего. В III сцене 4-го действия Брут с Кассием обмениваются следующими, обыкновенно не замечаемыми критикой, словами:

Брут: Кассий, у меня
Так много горя!
Кассий: Если пред бедами
Случайными ты духом упадешь,
То где же *философия* твоя?

Как видите, Шекспир считает, что у Брута была философия, которая научает смотреть в глаза какому угодно несчастию и мужественно выносить все «случайные беды». Не правда ли, завидная философия и стоит перечесть не только Плутарха, но и всех его учителей и какое угодно множество книг, чтоб только добыть это высокое учение! Ведь «случайных бед» Брута, о которых говорит Кассий, с избытком хватило бы на целый десяток самых добродетельных, самых римских мужей. Беды Брута начались еще задолго до того времени, как он решился вступить в заговор против Цезаря. Та же «философия», которая, по словам Кассия, столь многому может научить человека, уже не раз, все ссылаясь на свои божественные права, требовала от Брута жертв. Плутарх рассказывает, что во время борьбы Цезаря с Помпеем Брут принял сторону Помпея, убившего его отца, ибо считал его дело — правым. А какую жизнь вел бедный Брут! Он не ел, не пил, не спал, и даже во время походов, когда другие отдыхали и занимались своими частными делами, он проводил ночи напролет за чтением разных книг, утверждавших его в вере во всемогущество морали!

Когда же Цезарь, друг и благодетель Брута, явился в Рим и стал грозить древней свободе, мораль только кивнула своему верноподданному — и он все забыл и стал готовиться к жертвоприношению, разумеется человеческому. Мораль в этом случае куда требовательнее, чем обыкновенные языческие боги, которые считали себя вполне удовлетворенными какой-нибудь овцой или козленком и только в редких, особенно торжественных, случаях требовали себе сотню быков.

Морали подавай людей, и не одного, а много — и не первого встречного, а самое близкое и дорогое тебе существо: отца, мать, сына, друга...

Для чего же морали все эти жертвы? С такими вопросами можно было обращаться к богам, и боги иногда на такие вопросы отвечали,— но мораль стоит выше подобных вопросов: sic volo, sic jubeo — sit pro ratione voluntas [2]. Шекспир это понимал превосходно, но его критики, к сожалению, не умели или не хотели понять этого. Не только современный Брандес, но даже и люди старой веры (да еще к тому немцы, следовательно, идеалисты par excellence [3]). Гервинус и Крейссиг или их доверчивый ученик француз Мезьер или англичанин Hudson все считают возможным нападать на Брута за его безропотную и смиренную готовность исполнять веления морали. Брута называют «мечтателем», «непрактическим идеалистом», «плоским идеалистом»... Зачем, спрашивают, убил он Цезаря, когда и слепому было видно, что республику уже нельзя спасти и что свобода все равно погибла для Рима!..

Но критики ошиблись в адресе: со своими упреками им нужно было обратиться не к Бруту и даже не к Шекспиру, а непосредственно к самой морали: ведь из-за нее, только из-за нее кроткий по своей природе Брут пустился на злодейские дела. Вслушайтесь хоть немного в его монологи, присмотритесь хоть поверхностно к его поступкам, наконец, если для вас труден Шекспир, прочтите популярного Плутарха — и вы убедитесь, что если Брут и предпринимал что-либо, то не из личных, эгоистических побуждений, а единственно во исполнение велений долга. Кант мог бы быть им вполне доволен: все время он, совсем как того требует автономная мораль, поступал вопреки своим симпатиям и желаниям. Цезарь был его другом и благодетелем, он любил Цезаря как родного отца — и он же убил Цезаря. Кассий только намекнул ему, что нужно действовать, и Брут уже готов на все. «Что ты хочешь сообщить мне?» — спрашивает он своего друга —

Если это
Ко благу клонится народа — пусть
И честь и смерть восстанут предо мною.
Я глаз своих не отвращу от них.

И это — не фразы! Брута ждали ужаснейшие испытания, но он не бросил своего дела. От него никто не слышал даже жалоб. Жаловаться — значило бы не доверять морали, пожалуй, обвинять ее. А ее нужно уважать: так учит до сих пор наша этика и ее гениальный обоснователь Кант. Брут обязан считать свой жребий счастливым! Сама мораль сделала его своим избранником! Тут нужно торжествовать: ведь высшее, «абсолютное» благо — это приносить в жертву высокой нравственности себя и других.

И не ради каких-нибудь целей: всякая цель должна быть безусловно исключена, иначе в чистое дело морали привносится —

---

[2] Так я хочу, так я велю — пусть доводом будет моя воля (*лат.*).
[3] По преимуществу (*франц.*).

страшно сказать — эвдаймонистический элемент — и вся «автономия» оказывается пустым звуком. Пред Брутом и Шекспиром стоит незапятнанная идея долга во всей своей голубиной чистоте — и ей, этой идее, они приносят жертвы: они, ибо (и этого нельзя ни на минуту упускать из виду, если хочешь понять «Юлия Цезаря») Шекспир делает то же, что и Брут,— складывает пред алтарем морали все, что ему было дорого, все, что у него было лучшего на земле.

И каких ужасных жертв у них потребовали! У Шекспира Порция говорит Бруту:

Если бы могла твоя забота
Так действовать на тело, как на душу,
Мне б не узнать тебя!

То же можно о самом Шекспире сказать: если б за тот короткий промежуток времени, который отделяет его последнюю комедию от первой трагедии, его наружность изменилась так, как изменилась его душа,— самые близкие люди отказались бы узнать его. Но он, как и его Брут, в рассказе Плутарха, «в общественных местах старается держаться спокойно», и никто не хочет догадаться, какие мысли занимали поэта, когда он писал «Юлия Цезаря». Одни, как Свинберн, толкуют, что Шекспир хотел возвеличить республику, другие приписывают Шекспиру желание доказать ту великую истину, что в политике следует держаться тех же принципов, которыми люди довольствуются в своем домашнем обиходе. Но об этом ведь писали многие — и выходили ученые трактаты, а не трагедии. Когда Шекспир был занят «Юлием Цезарем», ему, очевидно, было не до республики и не до политики. Из своего Плутарха, которому он так доверял и во всем следовал, он мог без труда понять, что республика была обречена на гибель не Цезарем, а ходом исторических событий. Описывая подробно римскую жизнь этой эпохи, Плутарх говорит: «...толпа не расходилась часто до тех пор, пока ораторская трибуна не покрывалась трупами и не заливалась кровью, и таким образом, Рим, как корабль без кормчего, был предан всем ужасам анархии. Поэтому *самые благоразумные граждане считали еще счастием, если вся эта безумная сумятица не приведет ни к чему худшему, чем монархия,* и многие осмеливались уже открыто говорить, что государственные недуги могут быть исцелены только монархическим правлением и что для этого лечения следует избрать наиболее снисходительного врача,— чем они намекали на Помпея»[4]. Уже одного этого замечания было бы достаточно для Шекспира, чтобы оставить все свои республиканские симпатии, если у него таковые были, или во всяком случае попридержать их до времени. Но он шел к Плутарху не за историческими уроками, которых у него было и без того достаточно, как об этом свидетельствуют его хроники, не имеющие себе равных во всемирной литературе. Ему нужно было найти в жизни нечто такое, пред чем мог бы склониться каждый — и слабый и сильный, и правый и виноватый, и счастливый и несчастный; ему нужно было высшее начало в жизни, которое могло бы в минуты отчаяния и безнадежности поддерживать падающего человека. От него требовали жертвы, и он хотел знать, кому он ее приносит... Разве при этом можно думать о политике, о формах правления, о нуждах отдаленного Рима?! Шекспир прочел у Плутарха, что благородный, честный, бескорыстный Брут убил своего лучшего друга и затем принужден был положить конец своей жизни самоубийством. Как оправдать Брута, как убедить себя, что в своем несчастье и в своих неудачах Брут был выше, правее, достойнее счастливого, удачливого Цезаря? Ведь намерения Брута были чисты, а чистота намерений оправдывает все. Или это — неправда?! *Чистота намерений не оправдывает?* Плутарх и философия лгут?! Шекспир, когда писал «Юлия Цезаря», не смел думать, что здесь возможен обман. Нравственность права, и жрецы ее правы: абсолютное благо не у Цезарей, а у Брутов. Нужно только быть последовательным, нужно только верить высоким заветам, нужно не бояться жертв — все остальное приложится, и претерпевший до конца спасется.

Этим и объясняется «прямолинейность» Брута, возбуждающая в критиках столько неудовольствия. Для Шекспира на одной чашке весов лежала человеческая жизнь, на другой — требования высокой морали, и он сделал все, что было в его власти, чтоб перетянула вторая. Когда бы и зачем бы нравственность ни позвала Брута — он всегда готов отозваться на ее призыв. Другие участники заговора руководятся посторонними соображениями — честолюбием, ненавистью к Цезарю и т. д. Бруту же, как рассказывает Плутарх, «даже и враги не приписывали таких намерений». К убийству он питает отвращение: он не выносит даже лжи и притворства, которых требует характер предпринятого дела. Он хотел бы действовать прямо и открыто, он хотел бы избегнуть пролития крови. Но долг требует — и он безропотно повинуется. Он говорит, обращаясь к Кассию и заговорщикам:

Не будем мы, Кай Кассий, мясниками,
Мы Цезаря лишь в *жертву* принесем,
Против его мы духа восстаем,
А дух людей ведь не имеет крови.
О, если бы, его не убивая,
Могли его мы духом овладеть!
Но он — увы! За этот дух страдая,
Кровавой смертью должен умереть.
Убьем его мы смело, *но без гнева,*
Как жертву, приносимую богам...

Бруту нельзя ни одну секунду действовать по тем побуждениям, по которым обыкновенно действуют люди. Ему нельзя ни сердиться, ни радоваться, он не вправе ни бояться, ни желать. Он должен повиноваться, он священнодействует, он приносит жертвы. У Фихте есть удивительные слова — удивительные тем, что они необыкновенно отчетливо характеризуют «желательные» отношения человека к идеалу. «Я призван,— говорит он,— свидетельствовать об истине; моя судьба, моя жизнь ничего не значат; дело моей жизни значит бесконечно много. Я жрец истины, я наемник ее, я обязан для нее все делать, на все дерзать, все вынести». Замените в этой красноречивой фразе слово «истина» словом «нравственность», и вы получите profession de foi[5] Брута. И он жрец, и он на-

[4] Плутарх. Жизнеописание Юлия Цезаря, гл. 28. (*Прим. авт.*)

[5] Кредо (*франц.*).

емник, и он обязался на все дерзать, все вынести ради своего идеала. Но ни в одном из монологов Брута нет того радостного, торжествующего, стремительного пафоса, которым одушевлена речь Фихте.

Наоборот, от слов Брута веет какой-то странной, мрачной подавленностью. Он не может говорить свободно, словно предчувствуя, что его вера, ради которой он дерзнет действительно на все, обманет его. И его предчувствия сбылись. Фихтевская философия, почерпнутая Шекспиром у Плутарха, тоже представляющего из себя огромные залежи de la pâture de grandes âmes[6], оказалась лишь книжной мудростью, которую нужно отвергнуть в критическую минуту жизни. Красноречивые слова об истине, добре и красоте способны наэлектризовать толпу в ярко освещенных залах — и здесь они уместны, здесь они заставляют биться восторгом тысячи молодых сердец. Но Шекспиру они не дадут, не могут дать ничего. «Есть многое на небе и земле, что не снилось учености» ученейших. Об этом Шекспир говорит уже в «Гамлете», написанном почти одновременно с «Юлием Цезарем». В «Гамлете» нет даже попытки разрешить жизненную трагедию традиционной моралью. Плутарх и все учителя мудрости отвергнуты. Гамлет столкнулся с духом, пришельцем из иных стран, и все прежние верования, убеждения, идеалы показались ему детскими измышлениями. Первой мыслью Гамлета после беседы с духом было:

...Мне помнить о тебе? Да, бедный дух,
Пока есть память в черепе моем!
Мне помнить? Да, с страниц воспоминанья
Все пошлые рассказы я сотру,
Все изреченья книг, все впечатленья,
Минувшего следы, плоды рассудка
И наблюдений юности моей,
Твои слова, родитель мой, одни
Пусть в книге сердца моего живут,
Без примеси других *ничтожных* слов.

Книги не годятся, плоды рассудка выбрасываются за борт. Все, кроме того, что слышал Гамлет от духа, кажется «ничтожными словами». Ни красноречие Фихте, ни научно обоснованная, автономная мораль Канта не могут отогнать страшное видение, посетившее бедного принца.

А ведь «дух» в Гамлете не есть плод расстроенного воображения. И сам Гамлет и Шекспир отлично знают, что «иной мир» навсегда закрыт для нас: «страна безвестная, откуда путник не возвращался к нам». В наше просвещенное время оттуда утешения не приходят. В этом смысле мы все позитивисты до мозга костей — и не только не придаем значения чужим рассказам о такого рода чудесах, но даже отказались бы верить свидетельству своих собственных чувств, как бы осязательно оно ни было. Но мы позитивисты лишь наполовину. Мы не принимаем духов, когда они являются к нам со словами помощи и одобрения,— и отсылаем их прочь, как обманчивую иллюзию, как галлюцинацию. Но когда к нам, как к Гамлету, являются тени, чтобы пытать нас,— мы ни на минуту не сомневаемся в их реальности; наши ученые заклинания беспомощны и бессильны... Никто из критиков ни разу не обвинил Шекспира в том, что он позволил себе внести в реалистическую трагедию такой нелепый вымысел, как явление духа. Должно быть, мы чувствуем, что наша наука только отчасти справилась с суеверием старины. Она уничтожила рай, но ад принуждена была сохранить, да еще перевести его поближе к нам, сюда *на землю,* из потустороннего в посюсторонний мир.

Это основной мотив всех трагедий Шекспира. В «Юлии Цезаре» он еще не вполне явственно слышен, так как поэт все старается уверить себя, что Брут, поступив в наемники к морали, попал в рай, а не в ад. Брут упорно стремится победить усилиями разума и воли страшный и безумный кошмар действительности. «Я не спал с тех пор, — говорит он,— как Кассий на Цезаря меня вооружил». Но тем не менее Шекспир не дает своему герою терять душевное равновесие. Его речи к заговорщикам ясны и определенны; он не хочет выполнить свой план как-нибудь, наскоро, лишь бы развязаться с ним. Нет, он все время остается на высоте задачи. Кассий предлагает заговорщикам поклясться друг другу в том, что они выполнят задуманное. Но Брут не хочет клятв. Это оскорбило бы высокую мораль, которой он служит. Ей нужно подчиняться свободно, а не в силу клятв.

Кассий предлагает погубить Антония, который может оказаться коварным врагом. Другой на месте Брута принял бы это предложение: где там уж думать об отдельных жизнях, когда затевается государственный переворот! Но Брут ведь обязан считаться с моралью: она, как ревнивая любовница, требует, чтоб человек всегда о ней, и только о ней одной, думал. И Антоний спасен!.. Когда заговорщики расходятся, у Брута находится и ласковое слово для его слуги, Люция, и приветливая улыбка для жены, Порции, словно он не накануне страшного дела, словно наступающие иды марта будут одним из обыкновенных дней года. Брут всегда правдив, тверд и справедлив. После убийства Цезаря он обращается с речью к народу. И — единственный, быть может, в истории случай — в этой речи нет ни одного слова лжи и никаких ораторских украшений. Он мог сказать людям: смотрите, каков я — я ничего ни от кого не утаиваю. Наконец, в 4-м действии, в сцене ссоры с Кассием, вы видите, что Брут горячится, выходит из себя; но и тут он прав пред моралью: он негодует на Кассия за его недобросовестное ведение дела.

О себе лично он никогда не думает! А ему известно, что судьба ко всем «бедам», им вынесенным, прибавила еще новую, страшнейшую: его бедная подруга жизни, Порция, тоже в качестве дочери Катона, считавшая себя обязанной все вынести, на все дерзнуть ради морали, получив ложные известия о Бруте, отчаялась и умерла страшной смертью: проглотила раскаленный уголь. Но «философия» не велит Бруту смущаться. Все ей отдай, ничего не жалей. Она требует, чтоб ты убил Цезаря,— убей Цезаря, хоть он и лучший твой друг. Она требует междоусобной войны — начни войну. Она приводит к тому, что любимая, ни в чем не повинная жена принуждена глотать горячие угли,— и это прими. Она от тебя потребует, чтоб ты сам глотал огонь и при

[6] Пищи для великих умов (*франц.*).

этом восторженно улыбался. И если она этого от тебя добьется, она чуть-чуть подарит тебя снисходительной улыбкой и скажет то, что сказал Антоний о Бруте:

Прекрасна была жизнь Брута; в нем стихии
Так соединились, что природа может,
Восстав, сказать пред целым миром: «Это —
Был человек».

Всего только? — спросите вы. Когда Шекспир писал «Юлия Цезаря», он хотел думать, что этого достаточно, ибо был убежден, что ничего другого у жизни вырвать нельзя. Жизнь требует жертв — это уже не теория, не вымысел, не Плутарх, не Платон,— но кому же их отдать? Неужели никому и ничему? Признать их бесцельными? Так не лучше ли снести их к алтарю морали и принять ее бездушную похвалу — все, что она может дать? Нет, хуже, в тысячу раз хуже! Это видно уже и в «Юлии Цезаре», где даже сам Брут, так беззаветно исполнивший свой долг, в последнюю минуту теряет охоту продолжать свое служение и отворачивается от высшего, «абсолютного блага», так красноречиво описываемого в философских книгах. «О, Цезарь,— говорит он,— я тебя убил не так охотно, как себя». Но в «Юлии Цезаре» этот диссонанс не заметен для беспечного уха, тем более что он заглушается сказанным Антонием над трупом Брута надгробным словом. В «Гамлете» же нет и следа внешне твердых, брутовских речей и дается полная свобода отчаянию. В «Короле Лире» ставится в заключение трагедии страшный вопрос: «Это ли обещанный конец?», а в «Макбете» герой, страшный убийца, который бы должен был не сметь и думать о себе, и валяться в прахе пред высокой моралью, дерзает бросить вызов судьбе. «Тебя, судьба, зову на поединок»,— восклицает он... От величайшего смирения Шекспир перешел к величайшему дерзновению. Не в этом ли смысл трагических переживаний? И не здесь ли нужно искать разгадку тайны трагической красоты? Во всяком случае ясно, что «автономная мораль», долг an sich[7], к которым Шекспир прибег в труднейшую минуту жизни, не принесли ему ничего. Современная этика, претендующая на суверенные права, была им отвергнута. Нужно либо вернуться назад, к Плутарху и его детским верованиям и мифам, либо идти вперед — куда вперед? Вслед за Шекспиром — к Макбету?!

Сказанным достаточно выясняется роль Брута в разбираемой нами трагедии. Что касается самого Цезаря — нужно признаться, что он, сравнительно, не удался Шекспиру. И, странное дело, очень долгое время критики не хотели замечать этого обстоятельства. Почему? Трудно сказать наверное: вероятно, авторитет Шекспира слишком импонировал им, и всем казалось неловким порицать то, что вышло из-под пера столь славного поэта. Теперь, однако, ослепление прошло. Брандес, например, даже позволяет себе по поводу Цезаря читать длинные нотации Шекспиру. Это, конечно, смешно: Цезарь у Шекспира вышел неживым и карикатурным — но, разумеется, не потому, что великому поэту не под силу было справиться со своей задачей, как думает Брандес. Может быть, если бы он взялся писать о Цезаре не в 1601—2 году, а пятью, шестью годами раньше, он изобразил бы его иначе. Но теперь, когда дело шло о торжестве «автономной морали», об «идее долженствования» как высшем принципе человеческой деятельности, Цезарь не мог занимать поэта ни как человек, ни как исторический деятель. Тем более, что и у самого Плутарха он изображен в слегка комическом виде. Передавая, например, известный эпизод о том, как Цезарь был захвачен в плен морскими разбойниками и как он гордо и вызывающе вел себя в плену, Плутарх заключает свой рассказ следующим насмешливым замечанием: «...но разбойникам все это очень нравилось, и они в его дерзких выходках видели лишь одни невинные шутки». Такими иронически замечаниями пересыпан весь рассказ Плутарха о Цезаре, и уже этого было бы достаточно для того, чтобы внушить Шекспиру недоверие к качеству цезаревского величия. Но даже и помимо того, Цезарь, естественно, должен казаться смешным человеку, который принужден искать себе последнего оплота в Бруте. Ибо торжество Цезаря — значит поражение Брута.

Не менее загадочным, хотя уже совсем в ином смысле, выходит у Шекспира Антоний. Его фигура очерчена бесподобно, его речи — сплошь до последнего слова — перлы художественного творчества. Но что поразительнее всего: у читателя остается впечатление, что Шекспир на время из-за Антония забывает своего Брута. Антоний близок поэту, он им невольно любуется и прощает ему все, даже его изменническую политику с Брутом. А ведь Антоний так же далек от автономной морали, как и Цезарь,— пожалуй, еще дальше... Для него нормы не существуют. Он ничем не связан и боится только силы. Это великолепный образчик смелого, красивого и хитрого хищника. Пока Брут силен — Антоний угодливо склоняет пред ним колени. Но Брут отвернулся, опасный момент прошел, и хищник, почуяв себя на воле, одним ловким, красивым и свободным прыжком бросается на своего укротителя. Из-за угла, из кустов, коварно, лживо, не считаясь ни с благодарностью, ни с иными высокими чувствами и правилами. Но в каждом его движении нас невольно поражает доверяющая себе, непокорная, не признающая над собой чуждых законов, самодержавная жизнь. Впечатление получается тем более захватывающее, что мы недавно, вслед за Шекспиром, спускались в душное и темное подземелье, где современная инквизиция, автономная мораль, пытала Брута, заставляла его глотать пылающие угольев... Конечно, и хищник не всегда верно рассчитывает: там, где он надеется на победу, его ждет нередко поражение. Но погибнуть в борьбе за свое право все же не так страшно, как признать себя бесправным существом, наемником — хоть бы морали:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог.

Брут не может знать этих неизъяснимых наслаждений — он борется не за себя, а за идею, за призрак, который люди сделали Богом, Брут — не цель, а средство, не жрец, а жертвенное животное.

[7] Сам по себе (*нем.*).

Даже и с Кассием нам как будто легче, чем с Брутом, хотя он делами своими возбуждает в нас ненависть, порой отвращение. Он убивает Цезаря из узколичных расчетов, он грабит провинции, через которые проходит с войском, он сквозь пальцы смотрит на взяточничество подчиненных ему офицеров, он отказывает Бруту в денежной помощи и т. д.

Не будь наряду с ним Брута, мы дали бы простор своему моральному негодованию. Но все преступления Кассия кажутся нам маловажными сравнительно с поставленной себе Брутом задачей. Брут хочет себя и весь мир принести в жертву идее — для нас слово «жертва» становится невыносимым.

Жаль, бесконечно жаль глядеть на Порцию, бедную подругу бедного Брута. И ее, ни в чем не повинную, сожрала ненасытная мораль. Трогательно и вместе ужасно вспомнить, как ранила она себя в бедро, чтоб проверить себя и убедиться, что она достойная дочь Катона и жена Брута. Она вынесла первое испытание, но чем дальше — тем ей становится труднее. Когда Брут уходит в сенат, у нее уже нет сил владеть собой и она чуть не выдает вверенную ей мужем страшную тайну. Но все же она справляется с собой — с тем, чтобы потом умереть мучительной смертью. И о ней можно бы сказать: «прекрасна была ее жизнь», и ее можно поставить в пример всем жаждущим отличиться пред высокой нравственностью. Глотайте угли, а там уже история вас не забудет и соорудит вам памятник — каждому отдельно или всем вместе, если вас наберется много. Это ли не утешение? Это ли не оправдание жертв и требовательности автономной морали?

Еще есть одно, многоголовое действующее лицо в «Юлии Цезаре» — это народ, или, вернее, «толпа». Шекспир недаром заслужил славу «реалиста». Он нисколько не льстит толпе и не приукрашивает ее шаблонными добродетелями. У него она легкомысленна, изменчива, неблагодарна, жестока. Сегодня она бежит за колесницей Помпея, завтра орет «ура» в честь Цезаря, а еще через несколько дней умиляется речам его убийцы Брута, чтоб потом, поддавшись убеждениям Антония, требовать головы своего недавнего любимца. Непостоянством толпы принято возмущаться. Но на самом деле здесь, по-видимому, лишь осуществляется древнейший закон справедливости: око за око, зуб за зуб. Толпе, в сущности, нет никакого дела до Помпеев, Цезарей, Антониев, Сулл, как всем этим героям нет никакого дела до толпы. Сегодня хозяйничает Цезарь — хвала ему; завтра Антоний — можно пойти и за ним. Пусть только дают хлеб и зрелища. А об их заслугах вспоминать нет никакой надобности. Они и сами достаточно хорошо об этом помнят и награждают себя с истинно царской щедростью. Правда, иной раз в густые ряды честолюбцев затешется и честный, бескорыстный Брут. Но у кого есть время и охота искать жемчужину в куче песку? Толпа — пушечное мясо для героев, герои — забава для толпы. Справедливость торжествует, и занавес может быть опущен...

НЕЛЛИ МОТРОШИЛОВА

НЕВЫНОСИМОЕ СЛОВО «ЖЕРТВА»...

Новое опубликование ставших библиографической редкостью произведений выдающихся мыслителей России — процесс, который начался в самые последние годы,— оправданно считать выплатой нашей многострадальной культуре тягостно накапливавшегося целыми десятилетиями, давно уж просроченного долга. И даже теперь, когда сравнительно быстро публикуются сочинения одних философов, действительно самых крупных — Владимира Соловьева или Николая Бердяева,— мы не спешим восстанавливать историческую справедливость в отношении других авторов, чей вклад в мыслительную и художественную отечественную культуру тоже был весьма значительным. Среди тех, кого в лишь начавшемся выздоровлении от культурной амнезии нынешние поколения пока что по-настоящему не вспомнили, но вспомнить, конечно, должны,— Лев Шестов. Чтобы хоть несколько способствовать этому припоминанию, «Иностранная литература» предлагает вниманию читателей небольшое эссе Шестова — «Юлий Цезарь» Шекспира». Выбор публикации я нахожу удачным: блестящее, изящное эссе, сверкающее, подобно отдельному камню в ожерелье, теми же гранями, какие в целом свойственны яркому творчеству его автора, ою позволит и нам совместить анализ частного с усмотрением общего, причем общего не только для сочинений Льва Шестова, но в известном смысле и для представительной тенденции российского философствования начала века — экзистенциально-религиозной мысли[1]. Того частного и того общего, которые — в виде идей, сомнений, страстей, пророчеств и предостережений — теперь ждут нашего вдумчивого, ответственного, непредубежденного освоения.

Эссе «Юлий Цезарь» Шекспира», включенное Шестовым в его вышедшую в 1905 году книгу «Апофеоз беспочвенности (опыт адогматического мышления)», было своего рода дополнением к опубликованному еще в 1898 году сочинению «Шекспир и его критик Брандес». Между первым сочинением о Шекспире и новым обращением к нему в творчестве Шестова поместились две работы — и принять их в расчет

[1] Сравнительно недавно и по сходному поводу — в связи с публикацией в «Вопросах философии» (№ 1, 1989) последней шестовской статьи, посвященной памяти основателя феноменологии немецкого философа Э. Гуссерля (публикацией, которая, увы, оказалась одним из редких пока напоминаний о Л. Шестове),— мне уже довелось высказать суждение о жизненной драме и специфике философии Л. Шестова, к которому я и отсылаю заинтересованных читателей. (*Здесь и далее прим. авт.*)

совершенно необходимо, чтобы уловить смысл и направленность публикуемого эссе: это «Добро в учении гр. Толстого и Фр. Нитше» (1900) и «Достоевский и Нитше (философия трагедии)» (1903). Цель, а одновременно и результат названных сочинений — прослеживание того, как в мучительном духовно-нравственном поиске, осуществленном великими писателями-мыслителями, прежде всего Достоевским и Ницше, рождается то, что можно считать способом жизни авторов, их «оставленных», «подпольных», как выражается Шестов, героев и одновременно жанром творчества: философия трагедии. В свою очередь ее избирает сам Шестов и как главный творческий жанр, и как объект заинтересованного, даже страстного художественно-философского осмысления.

Идейно-нравственный настрой философии трагедии можно кратко передать следующими словами из работы 1903 года: «...Нитше и Достоевский уже не считаются с нуждами добрых и справедливых (Миллей и Кантов). Они поняли, что человеческое будущее, если только у человечества есть будущее, покоится не на тех, которые теперь торжествуют в убеждении, что у них уже есть и добро и справедливость, а на тех, которые, не зная ни сна, ни покоя, ни радостей, борются и ищут и, покидая старые идеалы, идут навстречу новой действительности, как бы ужасна и отвратительна она ни была» [2].

Последующие сочинения — например, написанные в России («Начала и концы», 1908; «Великие кануны», 1912), а также созданные после революции и после высылки в эмиграцию («Власть ключей», 1923; опубликованные после смерти: «Афины и Иерусалим», 1951; «Умозрение и откровение», 1964) — по существу мыслились Шестовым как развертывание возможностей философии трагедии. Одновременно — и как поиски бога, ибо единственно только богу и вере, самостоятельно обретенным человеческой душой, а не навязанным догматами существующих религий, под силу, считает Шестов, поддержать идущего, оказавшегося в трагической ситуации человека. Эссе «Юлий Цезарь» Шекспира» — одна из заметных вех (можно сказать и так: один из шестов [3]) на нелегком пути Л. Шестова, пути мыслителя-новатора.

Постоянный интерес Шестова к творчеству Шекспира вряд ли можно счесть чем-то оригинальным: кого же из великих или выдающихся писателей, философов не завораживала и не звала к разгадке неисчерпаемая, загадочная глубина шекспировских образов и идей... Но вот направленность, характер интереса и анализа, которые ясно видны и в публикуемом эссе,— типично шестовские и, смею утверждать, достаточно оригинальные.

Шестова совсем не случайно интересует поворотный период в творчестве великого английского драматурга — всего один год, который назван «роковым», «переломным», год 1601-й. Что именно произошло тогда с Шекспиром, Шестову доподлинно неизвестно, да, по правде говоря, не так уж и важно. «Юлий Цезарь» и «Гамлет» свидетельствуют о нарастании трагических мотивов в мировосприятии Шекспира, и этого реального факта Шестову более чем достаточно. Ибо и историческая судьба Гая Юлия Цезаря, и участь Брута, и какой-то надрыв в жизни Шекспира, и драматический перелом от эпохи к эпохе в истории Рима, потом в истории Европы,— все сплеталось в тугой узел, распутывание которого органично отвечало жанру философии трагедии. А само пристрастие к ней в свою очередь было обусловлено только что пережитым переломом от XIX века к веку XX, трудным, поистине драматическим рождением новых духовно-нравственных ценностей и непривычных парадигм творчества. И обостренным, в самый канун первой социальной грозы нового века — войны и революции 1905 года — предчувствием крутых, кровавых перемен, настоящего распада связи времен в будущем.

Потому-то Шестову и не нужно было прилагать особых усилий для вчувствования в трагедии прошлого. Глубина и искренность собственного трагического мировосприятия и миропонимания помогли ему психологически точно передать непереносимость разрушения «веры в целесообразность и осмысленность человеческой жизни», жажду немедленного ответа на обострившиеся, ставшие роковыми бытийные вопросы.

Оттого наш критик хорошо понимает и, пожалуй, еще более драматизирует установку Шекспира, который в «Юлии Цезаре» и «Гамлете» действительно не видит для Брута и Гамлета реальной возможности терпеливо ожидать или искать «разумного», примиряюще-диалектического ответа. Сейчас — или никогда; здесь — или нигде; быть — или не быть... Таково их неодолимое умонастроение. Распавшаяся связь времен все превращает в страшную противоположность: дружба перерастает в смертельную вражду, мать предает мужа и сына, а сын не на жизнь, а на смерть воюет против матери...

Мне не хотелось бы давать повод к шекспироведческим спорам, разбирая вопрос о том, прав, адекватен или, наоборот, неточен Л. Шестов в трактовке эпохи, намерений и текстов Шекспира. Я хотела бы скорее ограничиться временем, намерениями и текстом самого Шестова, тем более что его манера достаточно вольно перетолковывать исторический материал хорошо известна. Вот и в публикуемом эссе читатель без труда заметит произвольность и даже причудливость шестовской реконструкции драматических ситуаций прошлого. Шестов целенаправленно смещает и совмещает исторически различные плоскости действия, а интересующие его исторические фигуры заставляет двигаться по плоскостям воображаемым — не в соответствии с реальной последовательностью времен и обстоятельств, а согласно сфантазированным траекториям. К тому же получается, что реальные исто-

[2] Л. Шестов. Достоевский и Нитше (философия трагедии). Спб., 1903, с. 226.

[3] Л. И. Шверцман выбрал псевдоним «Шестов», имея в виду расшифрованное у В. Даля значение слова «шест»: высокое, врытое в землю очищенное прямое тонкое дерево, которое может служить вехой; шест в руке человека пользуется для отталкивания лодки от берега, для измерения незнакомой глубины.

рические лица, скажем Цезарь и Брут, в философии трагедии Шестова встречаются с их плутарховскими, шекспировскими, да и шестовскими историографическими, литературно-художественными или философскими двойниками. Но еще, пожалуй, необычнее то, что все эти и похожие друг на друга, и отличающиеся друг от друга фигуранты, вместе с их создателями Плутархом и Шекспиром, благодаря художественно-философскому вымыслу Шестова построены в единую когорту и выведены на битву — с кем же и с чем же? Трагизм их судьбы ставится в укор не чему-нибудь и кому-нибудь еще, а всегда находившейся под огнем шестовской критики немецкой классической философии — тут прежде всего Канту и Фихте. О философии немецкой классики Брут, Плутарх, Шекспир, понятно, и не могли догадываться. Но таков уж характерный прием шестовской философской эссеистики, что всех их Шестов делает исполнителями и вместе данниками, жертвами кантовской философии автономной нравственности. Даже тут, несмотря на произвольность конструкции, у Шестова есть оправдание: ведь духовно-нравственные тенденции, осмысленные и представленные Кантом, не в его век родились и в известном смысле действительно пробивали себе дорогу и в предшествующей человеческой истории. В частности, «предвосхищающий» Канта Шекспир — не бессмыслица, а тема вполне здравая; и шестовская попытка показать, как Шекспир должен был «разочароваться» в неведомом ему кантовском моральном ригоризме и прийти к отчаянию, не столь фантастична, как может представиться на первый взгляд. А все же Шекспир и его древние герои являются на выстроенную именно Шестовым сцену духа и играют скорее не свои исторические, но назначенные им роли: на сцене этой они одновременно должны выполнять начертанное Кантом — и свидетельствовать против него на страшном шестовском суде над автономной нравственностью.

Чем же, позволительно спросить, провинился Кант? А тем, что за внешней мягкостью, гуманностью его подхода скрывалась, по Шестову, диктатура всевластно поставленных над отдельным человеком моральных принципов. Дать бой их диктатуре и есть, как я полагаю, сверхзадача, решить которую Шестов мыслит и в этом, хотя не только в этом, эссе.

А в чем повинны абстрактные, не допускающие компромиссов нравственные принципы? Да в том, что идеи и идеалы, превращенные в принципы, сначала, согласно Шестову, устанавливают беспрекословную тираническую власть над человеком; потом они требуют новых и новых, притом не символических, а самых что ни на есть настоящих, во плоти и крови, человеческих жертв. Шестову не дает покоя то, что человечество, начиная с глубокой древности и по сегодняшний день, непрерывно приносит к алтарю идей и принципов именно человеческие жизни. В готовности оправдать такие жертвы едины, в соответствии со схемой Шестова, политик-республиканец Брут и историк-моралист Плутарх, до определенного времени великий драматург Шекспир и не менее великий философ Кант.

Оставив здесь в стороне специальные темы Плутарха и Шекспира, я хочу хотя бы кратко ответить на вопрос: прав или неправ Шестов по отношению к Канту? Шестова, на мой взгляд, всегда надобно проверять и нередко приходится оспаривать, если речь идет об историко-философских формулах. Так и с его пониманием Канта. Кантовский категорический императив ничему, полагаю, не был так противоположен, как идее и психологии жертвенности. И нацелен он был, в частности, на то, чтобы пресечь любую попытку ссылками на нравственность, долг оправдать жертвование жизнями других, да и принесение в жертву собственной жизни — за исключением тех редчайших случаев, когда это требуется чрезвычайными обстоятельствами и когда жертвование может считаться доблестью и героизмом. Кстати, Гегель, еще более Канта ненавистный Шестову, разделял кантовскую установку и в «Философии права» вполне определенно высказывался против стремления государств вместо разумной организации общественной жизни то и дело ожидать жертв, приносимых гражданами, и постоянно взывать к их героизму. Современная цивилизованная страна, согласно смыслу резонного рассуждения Гегеля, не должна то и дело приказывать своим гражданам быть героями.

Чтобы многомерно раскрыть содержание нравственных принципов, их противоречивую связь с реальным поведением людей, классики немецкой мысли осуществили весьма сложные исследования, написали глубочайшие, умнейшие книги. Высоко образованный философ Шестов их, конечно, знал. Но Шестову-эссеисту и философу трагедии психологически сподручнее до предела упростить картину критикуемого им классического мышления. Он метил в категорический императив Канта. Однако его критические стрелы, не попав, в сущности, именно в эту мишень, не полетели и в пустое пространство, а поразили-таки вполне реальное и очень опасное духовное явление. Какое же? В чем Шестов проявлял незаурядное чутье, так это в прозорливом конструировании некоторых мишеней — состояний общественного сознания, расхожих идеологем, которым суждено было становиться ингредиентами действительной истории. Психология жертвенности во имя идеи — вот та на первый взгляд привлекательная, но страшная по своим последствиям идеологема, которую выводит на суд современников и потомков Шестов. И все, что с нею связано, стремится воплотить в характере Брута.

Интерес к Бруту заставляет автора эссе оставить в стороне образ Цезаря: «напросившийся» на смерть император Шестову решительно неинтересен (он полагает: неинтересен и самому Шекспиру). Другое дело Брут, центральная фигура, властно притягивающая испытующий взор Шестова. Впрочем, вместе с ним, опять-таки исторически и психологически точно, введена в круг анализа неотъемлемая от «благородного героя» Брута, всегда готовая к крови и потасовкам, беспринципная, наглая римская толпа. Кем был исторический Брут и каким именно его изобразил Шекспир (и действительно ли последний стремился, как пола-

гает Шестов, «оправдать Брута», в однозначности чего я лично сомневаюсь) — вопросы совершенно особые, и здесь вдаваться в них нет никакой возможности. Но вот каким должен был оказаться Брут в интерпретации Шестова, вполне уясняется уже из знакомой нам схемы, под которую попросту подверстываются и реальный исторический деятель, и шекспировский герой.

Брут — таким его видит Шестов — совершает свое кровавое деяние вопреки всем склонностям и предрасположениям: Цезарь — прежде любимый друг, и к его убийству, как и к убийству вообще, Брут питает только отвращение. В публичном умерщвлении Брутом императора нет и никакой личной корысти — как раз напротив: Брут идет на верную смерть и сам казнит себя; он, кроме того, обрекает на мучительную смерть и преданную жену свою, Порцию. Только долг, диктуемый высшими моральными принципами, и ничего кроме долга — таков главный мотив поступка Брута. У Шестова Брут стал живым носителем, полным воплощением морального учения Канта, да еще и мысли Фихте о человеке, как «жреце» и «наемнике» истины, идеала, принципа. По отношению к Канту конструкция Шестова опять сугубо неточна: поступок Брута заведомо не мог бы служить Канту прообразом действия, отвечающего нравственному долгу, ибо ведь другие люди (Цезарь, Порция) становились здесь простыми средствами, что кантовский «Долг» как раз и запрещал. Но вернемся к шестовскому Бруту.

То обстоятельство, что Брут — сначала не без колебаний, но в конце концов решительно выполняющий диктаторскую волю принципа — сам обречен сыграть и роль жертвы, полностью вписывается в общую драматургию шестовской философии трагедии. Сказал или не сказал Цезарь иногда приписываемые ему предсмертные слова: «И ты, Брут...» — но они имели бы глубокий смысл. Близкий друг[4] — и самый страшный среди врагов; защитник нравственности, чистых принципов, закона — и он же убийца; добровольный палач — он неизбежно и жертва. Для такого трагического совмещения смысложизненных противоположностей Шестову сподручно обратиться и к Гамлету. Принц Датский в шестовском истолковании — тот же Брут, ради нравственного долга истязающий других людей, он, разумеется, готов принести в жертву долгу и свою собственную жизнь.

Несмотря на очевидную сконструированность образа Брута, Шестов, вообще говоря, вряд ли погрешил и против довольно привычного исторического и против шекспировского изображения этого римского политика. В согласии с традицией, Шестов в образе Брута акцентировал как раз те черты, благодаря которым он на целые столетия стал героем для сменявших друг друга поколений, особенно, конечно, для пылких республиканцев и самоотверженных революционеров. Но далее — уже в яростной борьбе против традиции — Шестов предлагает свою идейно-нравственную трактовку образа Брута, в которой романтический восторг многих прежних интерпретаторов уступает место строгому осуждению и самих толкающих на убийство принципов, и мотивированного ими кровавого деяния. Что, несомненно, было навеяно тогдашней мировой и российской духовной культурой, в первую очередь — хотя и в разном смысле — Толстым, Достоевским и Ницше.

Недаром же Шестов с таким сочувствием относился к тем сторонам идейной программы Ницше, которые тот следующим образом выразил в одной из дневниковых записей: «Здесь (в работе «Человеческое, слишком человеческое».— *Н. М.*) лишь спокойно кладется одно за другим на лед ряд заблуждений: идеал не отвергается, *а замораживается*. Здесь, например, замерзает «гений»; еще дальше — «святой», еще дальше герой обращается в толстую ледяную сосульку; под конец замерзает «вера» в так называемое «убеждение»; значительно охлаждено и сострадание — почти повсюду окоченевает Ding an sich[5] (вещь в себе). Дегероизация, «замораживание» прежних кумиров и, согласно суждению Шестова, неминуемо подстерегает человечество на крутых поворотах истории. Расчет с «книжальными» героями-мстителями, с романтизацией убийства из «высоких» целей был мировой культурой поставлен в повестку дня задолго до того, как к подобной же необходимости стали приходить и мы с вами.

Шестовская схема, примененная к Бруту, Шекспиру или Канту, конечно, оставляет место и для других литературоведческих, философских споров и разногласий. Но вряд ли может быть отвергнута дума-страсть Шестова, направляемая им против идеологии, которая оправдывает практику человеческих жертвоприношений. Тем, кто сегодня ищет новых, обогащенных уроками истории, нравственных императивов, вряд ли пристало равнодушно или предвзято проходить мимо предостережений Шестова. Другое дело, что в сегодняшних поисках верно было бы удержать и сохранить гуманистические акценты кантовской этики, требующей отнестись к человеку и человечеству как к целям, а не как к средствам. Но к кантовскому прославлению нравственного долга, нравственного закона, следуя Шестову и не переча, кстати, Канту, следовало бы прибавить: ни один принцип, ни один идеал не может считаться подлинно нравственным, если ради его воплощения возможны и необходимы человеческие жертвы, попрание прав и свобод человека. Настоятельно требуется испытание принципов, идеалов, нормы с точки зрения их реального, а не только афористично, лозунгово заявленного содержания. Это проблема, мимо которой по существу проходит Шестов, неверно, как я думаю, уравнивающий все духовно-нравственные принципы и рассматривающий их лишь с точки зрения власти над людьми, которая действительно способна причинять им боль и страдания.

Но ведь предощущения Шестова, его страх-отчаяние перед лицом диктатуры

[4] Светоний даже полагал, что Марк Юний Брут был незаконным сыном Цезаря и что тот, увидев среди заговорщиков Брута, воскликнул: «И ты, дитя мое...» — и перестал сопротивляться.

[5] См. Л. Шестов. Достоевский и Нитше, с. 168—169.

«высоких» принципов и идеалов для истории XX века оказались поистине пророческими. На алтарь «великих идеалов» у нас в стране и за ее пределами принесены были невиданные в прежней истории многомиллионные жертвы. Был возвеличен, а потом стал частью повседневно работавшей гильотины «карающий меч революции». И разве не в том была одна из причин, что очень многие люди — вопреки предостережениям Толстого, да и Шестова — верили, допускали, что дело, дескать, прочно, «когда под ним струится кровь»? Правда, наш цезарь сумел обратить кинжалы потенциальных наших брутов друг против друга и против самих себя А мотивировала их снова же идеология жертвенности.

Высоконравственное самопожертвование, конечно, никогда не исчезало и сегодня не исчезает из перечня человеческих ценностей. Кто же не преклонится перед величием подвига человека, ценою своей жизни спасающего других людей, отстаивающего свободу родины, последовательно верного чистым моральным принципам?! Но жертвование жизнями, тем более жизнями других людей,— можно ли вообще его оправдать? Даже освободительная война и борьба за свободу народа сегодня не способны «списать» ни массовых, ни одиночных жертвоприношений. А уж мирное время тем более требует нести неотвратимую ответственность за все и всякие человеческие жертвы.

Так знакомая нам чреватая кровью идеология жертвоприношений во имя принципов и идеалов — канула ли она в лету нашего прошлого? Отнюдь нет. По-прежнему из разных, готовых к бою социальных лагерей нас призывают «не поступаться принципами» и снова бросить к жертвеннику социальных экспериментов, подчиненным старым принципам, благополучие и, возможно, само существование целых поколений. А верно увидевшие бесперспективность этих принципов сегодняшние бруты — что же они? Точат кинжалы — не для себя только: они готовы вооружить и кинжалами, и чем-нибудь пострашней друзей, родителей, жен и детей, большие социальные группы и целые нации. Психология жертвенности, захватывающая и брутов, и толпу, в последние годы то и дело празднует у нас большие или малые кровавые тризны.

Время снова и снова взывает к радикальному очищению духовно-нравственных ценностей, идеалов и самих способов служения им. Пусть переведутся цезари, попирающие демократические идеалы, верящие в свою избранность и непогрешимость. Но и пусть выпадут из рук брутов занесенные для ударов кинжалы. Пусть исчезнут улюлюкающие толпы, жаждущие новых цезарей и новых брутов,— и в конце концов теми и другими тоже приносимые в жертву. В том и состоит, полагаю, смысл проникновенного обращения гуманистов XX века, включая Льва Шестова, к современникам и потомкам. Современников, пока они еще не знали гражданской войны, двух мировых войн, массовых репрессий и были снисходительны к жертвоприношениям, как-то можно понять. Но уж никто не поймет и не оправдает нас, потомков, если мы, зная все, что знаем, останемся глухими к голосу истории и к голосу собственной совести.

◆

Вне жанра

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

БЫЛ ЛИ ФРЕЙД ВЕЛИКИМ ПИСАТЕЛЕМ?

То, что Фрейд оказал влияние на культуру XX века, причем такое, как ни один другой из людей этого столетия, вряд ли нуждается в доказательствах. Иногда это просто дань моде, иногда — глубокая связь, порою глубокая настолько, что художник ее не всегда сознает либо замалчивает, а то и отрицает, заметая следы, и нужен психоаналитик, чтобы ее обнаружить и доказать. К примеру, упорно насмешничал над «венскнм мудрецом» Набоков — так упорно, что невозможно было не заподозрить в этом настойчивом открещивании тайную связь: ключевой эпизод «Лолиты» — воспоминания Г. Г. о своей детской любви к Аннабелле — непредставим без осмеянного Набоковым Фрейда. Думаю, Набокова раздражал скорее не Фрейд, а мода на психоанализ в Америке — эту пародию на его учение не любил и сам Фрейд (как, впрочем, и Америку). Современник и соотечественник Фрейда, знаменитый венский острослов Карл Краус, сказал, что «психоанализ сам по себе есть род психического заболевания, которое он же должен вылечить»,— определение, которое вроде бы нравилось самому Фрейду.

Набоков, однако, особый случай, зато бесспорно влияние Фрейда на многих других художников — в широком диапазоне от Хичкока, Бунюэля и Сальвадора Дали до О'Нила, Д. Г. Лоуренса, Фолкнера и Роллана, не говоря уже о немецкоязычных авторах: Стефане Цвейге, Гауптмане, Кафке, Музиле, обоих Маннах. Кстати, высоко ценивший Фрейда Томас Манн не придавал самодовлеющего значения фрейдовским мотивам в трактовке характеров, зато активно использовал многие элементы его антропологии и особенно высоко ценил фрейдовское учение об извечной борьбе двух мировых сил, Эроса и Танатоса — влечения к жизни и влечения к смерти; эта поздняя фрейдовская мифологема просматривается (либо угадывается) в «Волшебной горе» и в «Иосифе и его братьях». Между прочим, и Д. Г. Лоуренс настаивал — и у нас нет оснований ему не верить,— что написал свой, по мнению критиков, самый фрейдистский роман «Сыновья и любовники» еще до знакомства с трудами Фрейда, а в эссе «Психоанализ и бессознательное» критиковал Фрейда (вкупе с Юнгом) за рационализацию бессознательного. Этот упрек Фрейду бросали довольно часто — прежде всего, естественно, художники. Упрек, может быть, и справедливый, но лишь отчасти: ведь сам Фрейд писал, что «наше Я — не хозяин в собственном доме», и бессознательное трактовал как сумму вытеснений.

Как не раз случалось с великими учениями, основоположника путают с эпигонами, Фрейда — с фрейдизмом и психоанализом. Это приметил еще Герман Гессе в статье «Психология недоучек»: «Разве нужно, чтобы я склонял голову лишь перед Фрейдом и его достижениями? Разве нужно, чтобы я признал за гениальным Фрейдом право рассматривать любого другого гения нашего мира посредством его метода? Разве нужно вспоминать, что в те времена, когда учение Фрейда еще оспаривали, я помог защитить его? И смею ли я просить читателя не считать нападками на гениального Фрейда и его достижения в области психологии и психотерапии то, что нахожу смехотворным ложное применение основных понятий фрейдовской теории бездарными критиками и дезертирами-филологами?»

Однако часть критических стрел, пущенных во Фрейда, попадает в него самого, и его эпигоны ему не защита. Это относится не к отдельным высказываниям либо колкостям типа набоковских, но и к критическим исследованиям его жизни и творчества. То, что с Фрейдом продолжают спорить спустя 50 лет после его смерти, говорит как раз в его пользу — своего рода доказательство от обратного. Фрейд не просто не оставляет равнодушным — отношение к нему его оппонентов слишком живое, слишком горячее, как будто Фрейд все еще жив и от него продолжают исходить противоречивые, парадоксальные и провокационные заявления. Не меньше у Фрейда и страстных защитников. Не проходит года, чтобы не появилась его новая биография, а то и несколько — и почти каждая вовсе не академическая, а с уклоном в сенсацию. Поводом для спора о Фрейде служат все его годовщины — не только рождения и смер-

© 1990 by Vladimir Solovyov

ти, но и такие случайные, как, скажем, столетие начала его врачебной практики.

Не менее интересно, что о Фрейде сейчас спорят не столько врачи и биологи, сколько историки, социологи, писатели и философы, хотя сам Фрейд, изначально эмпирик и позитивист, полагал философию непростительной растратой интеллектуальных сил. Что не помешало ему, однако, в два последних десятилетия своей жизни создать именно философские, а точнее философско-мифологические построения,— так что Герман Гессе имел все основания отметить у Фрейда именно «дар создавать структуры». Собственно, эти дерзкие, чтобы не сказать дерзостные, структуры и влекли к нему художников, а то и целые художественные направления: несомненно, Фрейда можно назвать духовным отцом сюрреализма с его установкой на сны, кошмары и сомнамбулизм; Сартр и Симона де Бовуар связывали с Фрейдом экзистенциализм; сейчас все чаще пишут о влиянии Фрейда на экспрессионизм. В ряде случаев скорее можно говорить о совпадениях, а не о влиянии — к примеру, как ни схожи прустовские поиски утраченного времени с фрейдистским терапевтическим методом реконструкции прошлого, вряд ли все-таки венский гуру прямо повлиял на парижского затворника.

В 1936 году Томас Манн напечатал в журнале «Имаго» статью «Фрейд и будущее». То будущее, какое имел в виду Томас Манн, сейчас, спустя более полувека после появления этой статьи, наступило, и как ни велико было влияние Фрейда при жизни, посмертная его слава значительно больше, и его критики способствуют ей даже сильнее, чем его последователи и эпигоны. В книгах о Фрейде последнего десятилетия вообще критический анализ преобладает над апологетикой, в последней Фрейд и не нуждается, его значение — по крайней мере в США — признается априорно. Оба эти качества — априорное признание и критический анализ — в той или иной мере присущи любой мало-мальски известной интерпретации Фрейда, откроем ли мы «Фрейд, биолог ума» Фраика Саллоувея, «Вена конца века: политика и культура» Карла Скорске, «Открытие Фрейдом психоанализа: политика истерии» Уильяма Макграса либо книгу о Фрейде Питера Гея. В нашем контексте важны, однако, не столько расхождения современных исследователей с Фрейдом, сколько их расхождения друг с другом, потому что по сути это расхождения в понимании Фрейда, в интерпретации его открытий. А интерпретации эти, в свою очередь, зависят от профессиональных и индивидуальных наклонностей интерпретатора. Если для политического философа и социального психолога Герберта Маркузе Фрейд в конечном итоге выразил «аккумулированную вину человечества перед собственными жертвами», то, с точки зрения социолога Филиппа Рифа, Фрейд «заново возрождает мораль в столетии, у которого явно больная совесть». Философ Ричард Уоллхейм считает Фрейда пессимистическим рационалистом, а его работы — «исследованием глухоты разума», в то время как религиозный философ Пол Рикёр трактует учение Фрейда как искусство выносить жизненные тяготы. Примеры можно множить, но нам они важны именно как примеры различных интерпретаций Фрейда в современном интеллектуальном мире. А посему обратимся к примеру, который лежит в русле данной статьи и даже является ее изначальным толчком.

Большой читательский резонанс вызвала напечатанная в «Нью-Йорк таймс бук ревью» статья «Фрейд — величайший современный писатель», автор которой, известный американский критик Гарольд Блум, поставил Фрейда выше Джойса, Пруста и Кафки, этих трех литературных китов нашего века, вровень с Платоном, Монтенем и Шекспиром. Точнее — «четвертым в этом ряду», сочетающим метафизику Платона, моральный пафос Монтеня, красноречие и драматизм Шекспира. «Фрейд хотел, чтобы мы верили в психоанализ как метод интерпретации, но в нем больше интерпретации, чем метода,— пишет Блум, а заключает и вовсе еретической на первый взгляд мыслью: — Сегодня, возможно, мы больше нуждаемся в шекспировском истолковании Фрейда, чем в дальнейшей фрейдистской интерпретации Шекспира». А один из американских карикатуристов, вдохновленный статьей Блума, изобразил ошарашенного Фрейда на сцене, а в зрительном зале послушно записывающих за ним именитых слушателей — в том числе Шекспира.

Конечно, и в утверждениях Гарольда Блума, и в упомянутом рисунке есть полемическое преувеличение, но есть ли в этом причислении Фрейда к лику великих писателей доля истины? Сам Фрейд рассматривал свои опыты в научном контексте и активно использовал их как главный инструмент в лечении больных. Но мы знаем из истории, что самооценки могут быть ошибочными: известно, к примеру, что Эразм Роттердамский главным трудом своей жизни считал исправленное издание греческого текста Нового завета и его новый латинский перевод, а вовсе не «Похвалу глупости», которая сохранила его имя в веках. Может быть, ошибался и Фрейд? Ведь, так и не получив Нобелевской премии по медицине, он был зато в 1930 году удостоен литературной премии имени Гёте.

Красноречивый факт, не правда ли, особенно если учесть, что именно под влиянием натурфилософии Гёте Фрейд еще в школьные годы увлекся естествознанием?

Фрейд дружил с многими писателями — Томасом Манном, Стефаном Цвейгом, Ромэном Ролланом, к нему приходили на поклон как к своему наставнику такие ставшие впоследствии знаменитыми художники, как Сальвадор Дали. Сам он любил литературу, знал ее, опирался на нее в своих исследованиях. В своих работах он цитирует либо упоминает Библию, древних греков, Шекспира, Рабле, «Дон Кихота», Свифта, Руссо, Вольтера, Шиллера, Гёте, Гейне (наиболее часто). Гюго, Додэ, Золя, Ибсена, Голсуорси, Марка Твена, Стефана Цвейга. У Фрейда есть статьи о Шекспире, Гёте, Гофмане, он автор трех книг о художниках: «Галлюцинации и сны в «Градиве» Иенсена», «Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи» и «Достоевский и отцеубийство». Не говоря уж о том, что его самая известная теория названа по имени героя трагедии Софокла и фиванского мифологи-

ческого цикла: эдипов комплекс. Но был ли Фрейд, как утверждает Гарольд Блум, сам создателем собственной мифологии, собственной метафизики, собственного морального кодекса — короче, был ли он писателем, тем более великим, а то и величайшим?

Несомненно, он был великим читателем — блестящим критиком, проницательным комментатором, отважным интерпретатором литературных судеб и литературных текстов. С Фрейдом вовсе не обязательно соглашаться, но не признать оригинальность его структур и концепций нельзя.

Возьмем хотя бы русский объект его литературных интересов — Достоевского.

Основываясь на том, что приступы эпилепсии у Достоевского начались еще в юности, сразу же после убийства крестьянами его отца-изувера, полностью прекратились во время каторги и возобновились после нее, Фрейд сделал совершенно поразительный вывод. Припадки были карой за подсознательное, а не исключено, что и сознательное желание им смерти своему отцу, которое материализовалось в убийстве того крепостными. В Сибири Достоевский более в этом наказании не нуждался, хотя доказать это с абсолютной точностью невозможно, оговаривается Фрейд. Скорее этой потребностью в наказании для душевного эквилибризма Достоевского объясняется то, что он прошел несломленным через все эти годы бедствий и унижений. Осуждение Достоевского в качестве политического преступника было несправедливым, и он должен был это знать, но он принял это незаслуженное наказание от батюшки-царя как замену наказания, заслуженного им за свой грех по отношению к своему собственному отцу. Вместо самонаказания Достоевский дал себя наказать заместителю отца, считает Фрейд, исходя из известного наблюдения, что многие преступники сами ищут наказания, жаждут его. Это лежащее на совести Достоевского бремя определило также отношение Достоевского к другим сферам, покоящимся на отношении к отцу — к государственному авторитету и к вере в Бога.

Отсюда уже переход Фрейда к братьям Карамазовым, каждый из которых, включая кроткого Алешу, желает отцу смерти. Старец Зосима опускается перед Дмитрием на колени, чувствуя, что тот несет в себе готовность к отцеубийству. Симпатия Достоевского к преступнику выходит далеко за пределы сострадания, на которое несчастный имеет право,— она напоминает благоговение, с которым в древности относились к эпилептику, к душевнобольному. Преступник для Достоевского — почти спаситель, взявший на себя вину, которую в ином случае пришлось бы нести другим.

Конечно, в моем пересказе схема Фрейда выглядит еще схематичнее и проигрывает в убедительности. Я многое опустил: и априорное условие исследования, что отцеубийство — основное и изначальное преступление человечества и отдельного человека, и ряд спорных, на мой взгляд, выводов Фрейда, типа «сделка с совестью — характерная русская черта». Тем не менее о Достоевском с тех пор никто глубже, на мой взгляд, не написал, хотя ни о ком из русских писателей не написано столько, как о нем.

Любопытно, что в отличие от своих последователей Фрейд отнюдь не идеализирует, а тем более не идолизирует открытый им метод и с самого начала предупреждает читателя: «К сожалению, перед проблемой писательского творчества психоанализ должен сложить оружие». Известен тот пиетет, который испытывал Фрейд по отношению к художникам — равно к классикам и к современникам, которых почитал. Меньше чем за три года до смерти, прочитав первый том «Иосифа и его братьев», он пишет Томасу Манну: «...мне стало грустно, что чудесное это переживание миновало и что продолжения мне, вероятно, уже не читать». Удивительная эта фраза выдает в нем настоящего книгочея — кто другой может подумать о надвигающейся смерти как о невозможности дочитать понравившуюся ему книгу, которая еще не дописана?

Фрейд был великим интерпретатором литературы, и школа психологизма — больше в жанре писательской биографии, чем собственно критики — ему многим обязана. И не только писательской биографии вообще. Свежий пример фрейдовского подхода к этому популярному на Западе жанру — написанная британским исследователем Рональдом Кларком биография Ленина. В ней нет, конечно, таких сенсаций, как в ставшей уже классической книге о Ленине Роберта Пейна, который на основании многих косвенных свидетельств утверждает, что Ленин умер не естественной смертью, а был убит по приказанию Сталина — гипотеза, впервые высказанная еще Троцким и использованная мною в футурологическом романе «Операция МАВЗОЛЕЙ» (русский оригинал опубликован нью-йоркским издательством «Либерти»). Тем не менее у Кларка свой индивидуальный подход к Ленину — минуя политическую деятельность, Кларк показывает его исключительно как человека. А учитывая, что другая биография Кларка посвящена Фрейду, вряд ли стоит удивляться, что и к Ленину англичанин подходит во всеоружии психоанализа. Упоминает он, естественно, и душевные травмы, нанесенные Володе Ульянову в детстве и в юности, и викторианскую атмосферу сексуального подавления, в которой и рассмотрена двойственная любовь Ленина — к Надежде Крупской и Инессе Арманд, и даже его любовь к горным прогулкам с крутым подъемом и многое другое. Одни аналогии менее убедительны, другие более: для меня несомненна, скажем, связь — если не психоаналитическая, то эмоциональная — между казнью Александра Ульянова и ненавистью Ленина к самодержавию, хотя я и не думаю, что русская революция — это месть за брата. Вообще, уж коли зашла речь об этой «фрейдистской» биографии Ленина, скажу, что Кларк, как мне кажется, впадает в крайность, противоположную той, которой одержимы многие советские биографы Ленина: те все объясняют социально-политическими предпосылками, а Кларк — психологическими, подсознательными. Хотя, конечно, читать книгу Кларка много интереснее — она написана в заботе о читателе и изобилует массой занятных подробностей. Как мне

представляется, последователи Карла Маркса меньше могут рассчитывать на успех среди читателей, чем последователи Зигмунда Фрейда...

Естественно, поиски ключа к деятельности политика либо к творчеству писателя в перенесенных ими в детстве душевных травмах, когда увенчиваются успехом, а когда — нет. И дело не в том даже, что нельзя все объяснить кровосмешением и неврозами, а в том, что любой метод в руках эпигонов превращается в пародию на себя, и как по нынешним последователям психоанализа в медицине нельзя судить о его основоположнике, точно так же нельзя судить о Фрейде-писателе по его литературным отпрыскам.

Как раз сам Фрейд отделял художника от невротика, ибо, как ни далеки уходы последнего в мир фантазии, он только частично компенсирует недостачу реальных удовлетворений, в то время как художник благодаря высокоразвитой у него способности к сублимации достигает в создаваемой им иллюзорной реальности катарсиса. Выполняя психотерапевтическую функцию, искусство занимает, согласно Фрейду, промежуточное положение между неврозом и здоровьем. Другими словами, недостижимое в действительности — вспомним снова о поисках Прустом утраченного времени — достигается в сфере духовной и художественной деятельности.

Благодаря тому же Прусту, а также Кафке, Джойсу и Музилю (не в последнюю очередь и Фрейду) граница между художественным текстом, с одной стороны, и литературно-критическим, искусствоведческим, историческим и научным — с другой, эта граница оказалась сильно смещенной и легко проходимой. К чему относятся страницы Пруста о фресках Джотто — даже если это искусствоведение, то заодно и прекрасная проза. Могут ли стать прозой поиски утраченного времени, либо описание одного дня из жизни двух дублинцев, либо сплошной, без единого просвета, кошмар-невроз, как у Кафки?

Доказано: могут.

Более того, даже возвращение к традиционным эстетическим и моральным ценностям, минуя модернизм, оказалось невозможным, как невозможно возвратиться в детство, разве что лишившись к старости разума. Но если Роберт Музиль и Франц Кафка — писатели, то почему не писатель их соотечественник Зигмунд Фрейд, творец и комментатор великой драмы, которая разыгрывается в человеческом подсознании и, сметая преграды разума, рвется наружу?

Гарольд Блум пишет:

«Если один из признаков большой литературы есть ее сверхъестественная способность вызывать бесконечно разнообразные интерпретации, тогда Фрейд под стать любому трудному и по-настоящему оригинальному писателю, и его вклад в нашу культуру миновать уже никому невозможно — ни его откровенным последователям, ни его слишком горячим ниспровергателям, ибо если от любви до ненависти один шаг, то и расстояние в обратном направлении — то же самое».

От себя добавлю: жаль, что эти слова были сказаны после смерти Набокова и остались ему неизвестны. Впрочем, Набоков был не настолько наивен, чтобы отрицать контаминацию фрейдизма с мировой культурой — он не отвергал эту связь, но, воспринимая ее как свершившийся факт, пытался отделить зерна от плевел и оградить собственное литературное поместье от нивелирующей все и вся моды.

В схожей ситуации оказывается любой постмодернистский художник, который обречен отстаивать свою творческую индивидуальность, если не хочет дублировать азы и быть поглощенным современной культурой, в основание которой Фрейд своим учением заложил краеугольный камень.

Влияние Фрейда на нее продолжает увеличиваться почти в прямой пропорции с убыванием роли психоанализа как терапии в медицинской практике. Фрейдизм национализирован мировой культурой, он принадлежит всем вместе и никому в отдельности, стал достоянием западного общества — его мифологией, чтобы не сказать религией.

Сам Фрейд не был религиозным человеком — ни в церковном смысле, ни в смысле веры. «Меня не связывала с еврейством — мой долг в этом признаться — ни вера, ни национальная гордость, потому что я всегда был неверующим и был воспитан без религии, хотя и не без уважения к требованиям человеческой культуры, называемыми «этическими»»,— писал Фрейд в частном письме в 1926 году. Он цитирует выражение Ибсена из «Врага народа» — «компактное большинство» — и пишет ему о своей оппозиции: относится это в том числе к религии, хотя и не к одной только ней. Религия была чужда его аналитическому уму, за исключением разве что одного аспекта — трагического чувства конечности всего живого, смерти как необходимого условия жизни. Вряд ли, однако, Фрейд отделял развитые религии от примитивных верований первобытных племен, чьих божков и истуканов он всю жизнь собирал и под чьим неусыпным наблюдением — они стояли у него на письменном столе — он сочинил свои главные работы. Разве что за одним только исключением — развитые религии внесли в мир понятие «греховности», которое отсутствовало у первобытного человека. Вот что Фрейд писал в своей замечательной работе «Неудовлетворенность культурой»:

«Народ Израиля считал себя избранным сыном Божьим, и по мере того, как великий Отец ниспосылал на свой народ несчастье за несчастьем, народ не сходил с ума от этого отношения и не сомневался в могуществе и справедливости Бога, а рождал таких пророков, которые говорили ему о его греховности, и из сознания своей вины создал непомерно строгие предписания своей наследственно-священнослужительской религии. Примечательно, насколько иначе ведет себя примитивный человек. Когда с ним случается несчастье, он винит в этом не себя, а фетиш, явно не выполнивший своего обязательства; и он подвергает его порке — вместо того, чтобы наказать самого себя».

Если все-таки говорить о религиозном чувстве, которое есть у каждого человека, независимо от того, сознает ли он это, то

у Фрейда это чувство было скорее всего сродни тому, которое описано в «Этике» Спинозы: религия как искусство нести бремя жизни ввиду неизбежной смерти, то есть человеческое бремя, а не «бремя страстей человеческих», как переведено название знаменитого романа Сомерсета Моэма. (У него «Of Human Bondage» — прямое заимствование из Спинозы.) Так что утверждение упомянутого уже религиозного философа Пола Рикёра о том, что Фрейд на новой, психоаналитической основе возобновляет этическую программу Спинозы, не лишено оснований. Если Фрейд и склоняется к религиозно-моральным поискам, то никак не в ортодоксальном их понимании.

Вот почему сам Фрейд был против догматизации и идолизации его учения — он создал интеллектуальную мифологию XX века, но вовсе не новую религию. Как и любая другая, мифология эта противоречива, причины и следствия в ней часто меняются местами, она не менее таинственна, чем действительность, которую она призвана объяснить. Будучи комментарием к ней, эта мифология сама нуждается в комментарии, которым и обрастает — с каждым годом все больше: о Фрейде написано во много раз больше страниц, чем сочинил он сам, хотя и был плодовитым писателем. Трудно согласиться с апологетами Фрейда, которые носятся с его учением как с писаной торбой и полагают, что комментарий — единственное, что остается его потомкам. Тем более этот комментарий не всегда позитивный.

Несомненно, однако, что любая интеллектуальная дисциплина пронизана теперь открытиями Фрейда. Ни к одному из писателей не обращаемся мы так часто, как к нему, когда нас тревожат и мучат опорные проблемы бытия — любовь, ревность, зависть, страх смерти, фетишизм, фатализм или просто любопытство. Мы не ждем от Фрейда ответов, и он их нам не обещает, но оснащает нас интеллектуальным инструментарием, который помогает нам заглянуть в самих себя. Из врача Фрейд превратился в советчика, который подсказывает, как нам самим врачевать душевные раны, а разве не в этом первостепенная задача настоящей литературы?

Тогда, может быть, Фрейд и в самом деле был великим писателем?

◆

Вниманию читателей!

Если Вы хотите быть в курсе выходящих за рубежом новинок прозы, поэзии, драматургии, литературной критики, подписывайтесь на издаваемый Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы совместно с издательством «Радуга» литературно-критический журнал «Современная художественная литература за рубежом». Основной вид информации — рецензии, обзоры, проблемно-аналитические статьи. Редакция регулярно подготавливает специальные тематические номера.

Год издания — 30-й. Выходит раз в два месяца. Подписка годовая. Цена — 3 руб. 60 коп. Подписка принимается всеми отделениями Союзпечати. Индекс — 70931.

АЛЬБЕР КАМЮ

ЧЕЛОВЕК БУНТУЮЩИЙ

Главы из книги

Перевод с французского Ю. СТЕФАНОВА

Буржуазные пророчества

Маркс — пророк буржуазный и в то же время революционный. Эта вторая его ипостась более известна, нежели первая Но первая способна многое объяснить в судьбе второй. Мессианство христианского и буржуазного происхождения, одновременно историческое и научное, повлияло у него на мессианство революционное, которое было порождено немецкой идеологией и французскими революционными выступлениями.

При сопоставлении с античным миром схожесть христианского и марксистского представляется поразительной. Их роднит общий взгляд на мировые процессы, столь отличающийся от воззрений античности. Прекрасное определение этого взгляда было дано Ясперсом: «Именно христианской мысли присуще понимание истории как в высшей мере единого процесса». Христиане первыми усмотрели и в человеческой жизни, и в чередовании мировых событий некую связную историю, разворачивающуюся от начала к концу, в ходе которой человек либо удостаивается спасения, либо обрекает себя на вечную гибель. Философия истории родилась из христианских представлений, непостижимых для греческого духа. Греческое понятие о становлении не имеет ничего общего с нашей идеей исторической эволюции. Между ними та же разница, что между окружностью и прямой линией. Греки представляли себе мир цикличным. Аристотель, к примеру, считал себя почти что современником Троянской войны. Чтобы распространиться по всему Средиземноморью, христианству пришлось эллинизироваться и тем самым придать своему учению известную гибкость. Но именно благодаря христианству в античный мир были введены два дотоле не связанных между собой понятия — истории и возмездия. Идея посредничества роднит христианство с греческой мыслью. Понятие историчности, которое мы найдем потом в немецкой идеологии, связывает его с иудаизмом.

Разница между античным и христианским мировоззрениями будет особенно заметна, если мы вспомним о той вражде, которую историческое мышление питает к природе: для него она является предметом не созерцания, а преобразования. Как христиане, так и марксисты стремятся покорить природу. А греки полагали, что лучше всего следовать ее велениям. Греческая любовь к космосу недоступна первым христианам, которые к тому же ждали скорого конца света. Эллинизм в сочетании с христианством породил впоследствии восхитительное цветение альбигойской культуры, с одной стороны, и «Цветочки» Франциска Ассизского — с другой. Но с появлением инквизиции и последующим искоренением катарской ереси церковь снова отгораживается от мира и мирской красоты, признавая превосходство истории над природой. Тот же Ясперс мог с полным основанием сказать: «Именно христианство мало-помалу лишило мир его субстанции... ибо та основывалась на совокупности символов». То были символы божественной драмы, разыгрывающейся во времени. Природа превратилась теперь всего лишь в декорацию этой драмы. Прекрасное равновесие человеческого начала и природы, дружеское согласие человека с миром, возвышавшее и украшавшее всю античную мысль, было нарушено прежде всего христианством, нарушено в пользу истории. Появление на исторической арене северных народов, не привыкших жить в согласии с природой, только ускорило этот процесс. А начиная с того момента, когда божественность Христа была поставлена под сомнение, когда усилиями немецкой идеологии он был превращен всего лишь в символ человекобога, понятие посредничества сходит на нет и воскресает иудаистское видение мира. Вновь воцаряется беспощадный бог небесных воинств, любое проявление красоты оплевывается как источник праздных наслаждений, и сама природа объявляется подлежащей покорению. С этой точки зрения Маркса можно считать Иеремией бога истории и святым Августином революции.

Окончание. Начало см. в № 5.

Простое сравнение Маркса с одним из его современников, искусным идеологом реакции Жозефом де Местром, позволит объяснить эти реакционные аспекты его учения.

Жозеф де Местр отвергал якобинство и кальвинизм, в которых, по его мнению, подводился итог «всех злокозненных мыслей за последние три столетия», противопоставляя им христианскую философию истории. Вопреки всем расколам и ересям он стремился воссоздать «хитон без шва», то есть подлинно вселенскую церковь. Целью де Местра, как явствует из его масонских увлечений [1], было построение всемирного христианского Града. Он размышлял об Адаме Протопласте, или Всечеловеке Фабра д'Оливе, в котором видел прообраз обособившихся человеческих душ, а также об Адаме Кадмоне каббалистов, которого надлежало теперь восстановить в том виде, в каком он пребывал до грехопадения. Когда церковь сможет объять весь мир, считал де Местр, она станет плотью этого первого и последнего Адама. В его «Санкт-петербургских вечерах» содержится масса высказываний на этот счет, поразительно напоминающих мессианские формулировки Гегеля и Маркса. Де Местр мечтал о новом Иерусалиме, земном и в тоже время небесном Граде, «чьи жители, проникнутые единым духом, будут взаимно одухотворять друг друга и делиться между собой своим счастьем» и где «человек обретет самого себя после того, как его двойственная природа уничтожится, а оба начала этой двойственности сольются воедино».

Гегель тоже примирял все противоречия в Граде абсолютного знания, где духовное зрение сольется с телесным. Но грезы де Местра больше напоминают предвидение Маркса о «разрешении спора между сущностью и существованием, между свободой и необходимостью». Зло, согласно де Местру, является не чем иным, как нарушением единства. И человечество должно снова обрести его как на небе, так и на земле. Но каким образом? На сей счет де Местр, приверженец старого режима, не оставил столь же ясных указаний, как Маркс. Однако он жил в предчувствии великого религиозного переворота, в сравнении с которым 1789 год покажется лишь «устрашающим предисловием». Он цитировал апостола Иоанна, требовавшего, чтобы мы *делали* правду, что вполне согласуется с духом современной революционной программы, и апостола Павла, возвещавшего: «последний же враг истребится — смерть». Сквозь преступления, насилие и смерть человечество стремится к исполнению этого пророчества, которым будет оправдано все на свете. Земля представлялась де Местру «огромным алтарем, на котором все сущее должно бесконечно, безрассудно и безостановочно приноситься в жертву до тех пор, пока не истребится всякое зло, вплоть до смерти самой смерти». Но его фатализм активен. «Человек должен действовать так, как если бы он был всемогущ, и смиряться так, как если бы он был совершенно немощен». Та же самая разновидность творческого фатализма встречается и у Маркса. Де Местр, разумеется, оправдывал уже установившийся порядок. А Маркс — тот порядок, который в свое время установится. Самая красноречивая похвала капитализму была произнесена самым лютым его врагом. Маркс был настроен антикапиталистически лишь потому, что капитализм обречен. На смену ему должен прийти новый строй, который от лица истории потребует нового конформизма. Что же касается средств, то и у Маркса и у де Местра они одинаковы: политический реализм, дисциплина, сила. Когда де Местр вслед за Боссюэ утверждает: «Еретик — это тот, у кого есть собственные идеи», то есть идеи, не согласующиеся с социальной или религиозной традицией, он дает определение старого как мир и вечного обновляющегося конформизма. Таким образом, этот поборник реакции и меланхолический певец палачей смыкается с теперешними прокурорами в обличье дипломатов.

Все эти черты сходства не делают, разумеется, де Местра марксистом и не превращают Маркса в ортодоксального христианина. Марксистский атеизм абсолютен. И однако, он воссоздает высшее существо на уровне человека. «Критика религии завершается учением о том, что человек человеку — бог». С этой точки зрения социализм оказывается очередной попыткой обожествления человека и принимает некоторые черты традиционных религий [1]. Это сопоставление, во всяком случае, позволяет выявить христианские истоки любого исторического мессианизма, в том числе и революционного. Единственное различие состоит в несовпадении цели. Как для де Местра, так и для Маркса конец времен знаменует собой осуществление великой мечты Альфреда де Виньи, примирение волка с ягненком, совместное преклонение пред алтарем преступника и жертвы, обретение или повторное обретение земного рая. Но для Маркса исторические законы являются отражением реальной действительности, тогда как для де Местра они отражают божественную реальность. Для Маркса материя является субстанцией, а для де Местра субстанция бога воплощается в материальном мире. Их принципиальные установки разделены вечностью. Зато их практические выводы сходятся в историческом плане.

Де Местр ненавидел Грецию (которая смущала Маркса, равнодушного ко всякой солнечной красоте), он обвинял ее в том, что она растлила Европу, передав ей свой дух разделения. Было бы справедливее сказать, что греческая мысль была как раз выражением единения, поскольку не могла обойтись без посредников, что ей был неведом изобретенный христианством дух тотальной историчности, который, оторвавшись от своих религиозных корней, грозит теперь уничтожить Европу. «Сыщется ли вымысел, безумие или порок, у которых не было бы греческого имени, эмблемы, личины?» — писал де Местр. Не будем принимать в расчет его пуританское негодование. Эта бурная вспышка на самом деле свидетельствует о разрыве современного духа

[1] E. Dermenghem. "Joseph de Maistre mystique". *(Здесь и далее прим. авт.)*

[1] Сен-Симон, повлиявший на Маркса, сам в свою очередь испытал влияние де Местра и Бональда.

со всем античным миром и о его тесной связи с авторитарным социализмом, которому предстояло десакрализировать христианство и сделать его одной из составных частей новой воинствующей церкви.

Научное мессианство Маркса имеет буржуазное происхождение. Прогресс, будущее науки, культ техники и производительных сил — все это буржуазные мифы, ставшие в XIX веке настоящими догмами. Любопытно отметить, что «Коммунистический манифест» вышел в свет в том же году, что и «Будущее науки» Ренана. Этот труд, скучноватый с точки зрения современного читателя, дает, однако, исключительно четкое представление о почти мистических надеждах на будущее, пробужденных в XIX веке развитием промышленности и поразительными успехами науки. Эти надежды неотделимы от самого буржуазного общества, являвшегося зачинателем технического прогресса.

Понятие прогресса зародилось в эпоху Просвещения и буржуазной революции. Можно, разумеется, отыскать его провозвестников и в XVII веке: уже так называемый «спор Древних и Новых» ввел в европейскую идеологию совершенно абсурдное понятие прогресса в искусстве. Более серьезные предпосылки можно извлечь из картезианской идеи о неудержимом развитии науки. Но только в 1750 году Тюрго дает первое ясное определение нового закона. Его речь о прогрессе человеческого духа во многом перекликается со «Всемирной историей» Боссюэ, разница лишь в том, что божественную волю Тюрго заменяет идеей прогресса. «Преобладающее большинство рода человеческого, чередуя покой с борением и добро со злом, неустанно, хоть и медленно, движется ко все большему совершенству». Этот оптимизм станет сутью риторических рассуждений Кондорсе, официального поборника прогресса как такового, который был для него неотделим от прогресса государственности и жертвой которого он в конце концов оказался: просвещенное государство вынудило его принять яд. Сорель[1] был совершенно прав, утверждая, что философия прогресса как нельзя лучше подходит для общества, желающего наслаждаться материальным благополучием, зависящим от технического прогресса. Когда ты уверен, что завтрашний день, в силу самого порядка вещей, принесет тебе больше благ, чем сегодняшний, ты можешь спокойно почивать на лаврах. То есть прогресс, как это ни парадоксально, может служить оправданием консерватизма. Основанный на вере в будущее, он позволяет господину жить со спокойной совестью. А рабу, который сегодня прозябает в нищете и уже не может рассчитывать на загробное воздаяние, он обещает, что уж будущее-то наверняка будет за ним. Таким образом оно превращается в единственный вид собственности, которую господа охотно уступают рабам.

Все эти рассуждения, как видим, нельзя считать неактуальными. Они актуальны, поскольку революционный дух подхватил эту двусмысленную и удобную идею — идею прогресса. Речь, разумеется, идет об иной его разновидности — ведь даже у Маркса встречается немало насмешек над рациональным буржуазным оптимизмом. Его собственное понимание прогресса, как мы увидим, было другим. И однако, мысль его определяется нелегким поступательным движением к светлому будущему. Гегель и марксизм сокрушили формальные ценности, освещавшие якобинцам прямой путь истории к счастью. И в то же время сохранили саму идею этого поступательного движения, спутав его с социальным прогрессом и объявив исторической необходимостью. Таким образом они оказались продолжателями буржуазной мысли XIX века. Токвиль, зараженный энтузиазмом Пекера (который оказал влияние на Маркса), торжественно заявлял: «Постепенное и последовательное развитие идеи равенства составляет суть как прошлого, так и будущего всемирной истории». Отсюда — один шаг до марксизма, заменившего равенство уровнем производства и вообразившего, будто на последнем этапе этого производства свершится некое чудо преображения, в результате которого возникнет общество всеобщего примирения.

Что же касается неизбежности эволюции, то Огюст Конт еще в 1822 году дал ей систематическое определение посредством закона о трех стадиях. Выводы Конта странным образом напоминают основные постулаты, принятые научным социализмом[1]. Позитивизм с достаточной ясностью выявил последствия идеологической революции XIX века, одним из участников которой был Маркс,— революции, переместившей райский сад и божественное откровение из начала времен, где их привыкла видеть религиозная традиция, в конец всемирной истории. Эра позитивизма, пришедшая на смену эпохам теологии и метафизики, должна была совпасть с появлением «религии человечества». Анри Гуйе точно определил деятельность Конта, сказав, что она сводилась к поискам человека, лишенного и намека на божественное. Первоначальная цель Конта, заключавшаяся в повсеместной замене абсолютного относительным, вскоре сменилась обожествлением этого относительного и проповедью новой религии, универсальной и в то же время лишенной трансцендентного. Конт видел в якобинском культе разума одно из провозвестий позитивизма и с полным правом считал себя истинным преемником революционеров 1789 года. Он продолжал и развивал эту революцию, искореняя из нее трансцендентные принципы и последовательно заменяя их религией рода человеческого. Его девиз «Устранить Бога во имя религии» ничего иного и не означает. Стоя у истоков мании, которой предстояло большое будущее, он возомнил себя апостолом Павлом этой новой религии и хотел заменить римский католицизм католицизмом парижским. Он надеялся увидеть в церквах «статуи обожествленного человечества на месте прежних алтарей бога». И рассчитывал, что ему

[1] "Les Illusions du Progrès".

[1] Последний том «Курса позитивной философии» появился в тот же год, что и «Сущность христианства» Фейербаха.

удастся начать проповедь позитивизма в соборе Парижской богоматери никак не позже 1860 года. Этот расчет не так смехотворен, как может показаться. Осажденный позитивистами собор все еще не сдается. Но проповедь «религии человечества» и впрямь началась во второй половине XIX века; Маркс, который конечно же не читал Конта, стал одним из его пророков. Он понял одно: религия без трансцендентного должна называться политикой. Впрочем, и сам Конт не мог этого не знать или, по крайней мере, не отдавать себе отчет, что его «религия» является прежде всего обожествлением социального и что она предполагает политический реализм [1], отрицание прав личности и установление деспотизма. Общество, в котором ученые исполняют роль священников, а две тысячи банкиров и технократов властвуют над ста двадцатью миллионами европейцев; общество, в котором личная жизнь абсолютно неотделима от жизни общественной, а абсолютное послушание всемогущему первосвященнику осуществляется «на деле, в мыслях и в сердце» — такова утопия Конта, ставшая прообразом того, что можно назвать «горизонтальными революциями» нашего времени. Подлинная утопичность этой утопии состоит, кстати говоря, в том, что ее создатель, уверенный во всемогуществе науки, забыл предусмотреть в своем обществе полицию. Его последователи оказались более практичными, и «религия человечества» и в самом деле была основана, но только на людской крови и страданиях.

Если ко всем этим соображениям добавить, что мысль об исключительной роли промышленного производства была заимствована Марксом у буржуазных экономистов, а суть своей теории трудовой стоимости он взял у Рикардо, экономиста времен буржуазной промышленной революции, то будет позволительно говорить о его буржуазных пророчествах. Наши сопоставления призваны лишь доказать, что учение Маркса, не будучи началом и концом человеческой мысли, как того хотелось бы современным разнузданным марксистам [2], представляется, напротив, выражением человеческой натуры: Маркс был сначала чьим-то продолжением, а потом чьим-то предшественником. Его учение, которое он считал реалистическим, и было таковым в эпоху обожествленной науки, дарвиновской теории эволюции, паровых двигателей и текстильной промышленности. Но ведь через сотню лет наука столкнулась с относительностью, неопределенностью и случайностью, а экономике пришлось считаться с электричеством, черной металлургией и атомной энергией. И неспособность «чистого» марксизма усвоить всю эту массу достижений оказалась также свидетельством краха современного ему буржуазного оптимизма. Этот крах делает смехотворными попытки марксистов цепляться за устаревшие на сто лет, а потому переставшие быть научными истины. Мессианство XIX века, как революционное, так и буржуазное, не устояло перед развитием той науки и той истории, которые были им в той или иной степени обожествлены.

Революционные пророчества

Но пророчества Маркса по сути своей являются также и революционными. Поскольку вся реальность человеческой жизни основывается на производственных отношениях, историческое становление революционно хотя бы потому, что существует экономика. На каждом уровне производства она вызывает к жизни противоречия, которые во имя более высокого уровня разрушают соответствующее ей общество. Капитализм — последняя из этих стадий, ибо он порождает условия разрешения всех противоречий, в которых экономика прекратит свое существование. И тогда вся наша история превратится в предысторию. В каком-то смысле эта схема напоминает гегелевскую, только диалектика рассматривается в ней с точки зрения производства и труда, а не с точки зрения духа. Сам Маркс, разумеется, никогда не говорил о диалектическом материализме. Заботу о прославлении этого логического монстра он предоставил своим продолжателям. Но в то же время он утверждал, что действительность диалектична и экономична. Действительность — это бесконечный процесс становления, чреватый плодотворными конфликтами, неизменно разрешающимися высшим синтезом, который порождает свою противоположность и таким образом движет историю вперед. То, что для Гегеля было движением действительности по направлению к духу, становится у Маркса экономикой, развивающейся в сторону бесклассового общества. Любая вещь является одновременно собственной противоположностью, и это противоречие понуждает ее превратиться в нечто иное. Так капитализм, будучи буржуазным, таит в себе революционные задатки и расчищает путь для коммунизма.

Своеобразие Маркса заключается в утверждении, что история, будучи диалектикой, является еще и экономикой. Более высокопарный Гегель заявлял, что она есть материя и в то же время дух. Причем может быть материей лишь в той мере, в какой является духом, и наоборот. Маркс же, отрицает дух как последнюю субстанцию, провозглашает исторический материализм. Здесь можно сразу же повторить вслед за Бердяевым, что диалектика и материализм несовместимы. Возможна только диалектика мысли. Впрочем, само понятие материализма достаточно двусмысленно. Произнося это слово, мы тем самым уже признаем, что в мире существует нечто помимо материи. С тем бо́льшим основанием эта критика может быть отнесена к историческому материализму. История тем и отличается от природы, что она преобразует ее посредством воли, науки и страсти. Стало быть, Маркс не является чистым материалистом по той простой причине, что ни чистого, ни абсолютного материализма не существует.

[1] «Все, что развивается спонтанно, с необходимостью узаконивается в течение известного времени».

[2] По определению Жданова, «марксизм — это философия, качественно отличающаяся от всех предшествующих систем». Но отсюда следует, что либо марксизм не является, к примеру, картезианством, чего никто не будет отрицать, либо он ничем картезианству не обязан, что вполне абсурдно.

Он был чистым материалистом в столь малой степени, что признавал: если оружие может способствовать торжеству теории, то и теория может с тем же успехом превратиться в оружие. Позицию Маркса можно с большим основанием назвать историческим детерминиизмом. Он не отрицает существование мысли, а только считает, что она полностью обусловлена внешией действительностью. «У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». Это поразительно грубое определение лишено всякого смысла. Вопрос о том, как и каким образом «идеальное» может быть «пересажено в голову», кажется сущим пустяком в сравнении с возникающей вслед за тем необходимостью определить, что же такое «преобразование» идеального. Но Маркс был представителем куцей философии своего времени. Выяснить то, что он хотел этим сказать, нужно на других примерах.

Человек был для него всего лишь продуктом истории, и в частности истории средств производства. Он полагал, что человек отличается от животного тем, что способен производить средства к собственному существованию. Если ему нечего есть, не во что одеться, негде жить — он уже не человек. Формула «primum vivere» [1] — первейшее его определение. Та малость мыслей, что приходит ему при этом в голову, находится в прямой зависимости от его насущных потребностей. Маркс доказывает, что зависимость эта является постоянной и необходимой. «История промышленности... является *раскрытой* книгой *человеческих сущностных сил*». С присущей ему склонностью к обобщениям он извлекает из этого в общем-то приемлемого положения такой вывод: экономическая зависимость является для человека единственной и самодостаточной, что, разумеется, следовало бы еще доказать. Можно согласиться с тем, что она играет огромную роль в генезисе людских поступков и мыслей, но не заключать отсюда, подобно Марксу, что борьба немецких государств против Наполеона объясняется лишь нехваткой у них кофе и сахара. Впрочем, чистый детерминизм тоже абсурден. Будь это не так, было бы достаточно единственного верного утверждения, чтобы мы могли, от следствия к следствию, добраться до абсолютной истины. А поскольку это не так, мы либо никогда не делали ни одного истинного утверждения, включая то, на котором основан детерминизм, либо нам случается высказывать истину, но она остается без последствий и тем самым доказывается ложность детерминизма. Приходится признать, что у Маркса были свои доводы, чуждые чистой логике, позволяющие ему прибегать к столь произвольным упрощениям.

Считать коренной особенностью человека экономическую зависимость — значит сводить его к социальным отношениям. В XIX веке было неопровержимо установлено, что человек не способен жить в одиночку. Отсюда можно сделать произвольный вывод: человек чувствует себя одиноким в обществе только в силу социальных причин. В самом деле, если одиночество объясняется чем-то внешним для человека, то ему открыт путь к трансцендентному. Социальные же отношения, напротив, создаются самим человеком, а если вдобавок к этому предположить, что они, в свою очередь, творят человека, то можно считать, что найдено исчерпывающее объяснение этой проблемы, которое позволяет устранить понятие трансцендентности. Человек становится тогда, как это и хотелось Марксу, «автором и действующим лицом собственной истории». Пророческая миссия Маркса революционна потому, что он завершает негативное движение, начатое философами Просвещения. Якобинцы уничтожили трансцендентиость личностного бога, но заменили ее трансцендентностью принципов. А Маркс основал современный атеизм, покончив и с этим видом трансцендентности. В 1789 году вера была заменена разумом. Но этот разум в неизменности своей был трансцендентен. Действуя куда решительней Гегеля, Маркс свел на нет трансцендентность разума и ниспроверг его в историю. До них разум был регулятивным принципом, теперь он превратился в средство завоевания. Маркс пошел дальше Гегеля и даже объявил его идеалистом (которым тот не был или был в той же степени, в которой сам Маркс был материалистом) именно потому, что в учении Гегеля царство духа каким-то образом восстанавливает надисторические ценности. «Капитал» принимает диалектику господства и рабства, но заменяет самосознание экономической самостоятельностью, а конечное царство абсолютного духа — воцарением коммунизма. «Атеизм есть гуманизм, опосредствованный с самим собой путем снятия религии, а коммунизм — гуманизм, опосредствованный с самим собой путем снятия частной собственности». У религиозного отчуждения тот же источник, что и у отчуждения экономического. Покончить с религией можно, только обеспечив абсолютную независимость человека от его экономических потребностей. Революция, таким образом, отождествляется с атеизмом и царством человека.

Вот отчего Маркс вынужден был всячески подчеркивать экономическую и социальную зависимость человека. Его самые плодотворные усилия были направлены на то, чтобы разоблачить реальность, скрывавшуюся за формальными ценностями, которыми кичилась современная ему буржуазия. Его теория мистификации приемлема до сих пор, покуда она, если разобраться, носит всеобъемлющий характер и приложима также к революционным мистификациям. Свобода, которую почитал Тьер, была свободой привилегированных классов и подкреплялась силой полиции; семья, восхваляемая консервативными газетами, укреплялась в том же самом обществе, где полуголые мужчины и женщины спускались в шахту, обвязанные одной веревкой; мораль процветала за счет проституции среди рабочих. Маркс был несравненным обличителем. С невиданной до него силой он бичевал жалкое и алчное общество, лицемерно поступившееся понятиями чести и разума в угоду корыстным целям. Эти исполненные негодования разоблачения привели к эксцессам, которые, в свою очередь, тре-

[1] Прежде всего — жизнь (*лат.*).

буют разоблачения. Но необходимо помнить, что разоблачительство Маркса было вызвано прежде всего потопленным в крови Лионским восстанием 1834 года и невероятной жестокостью версальских моралистов при подавлении Коммуны в 1871 году. «Человек, у которого ничего нет, и сам является ничем». Если теперь это утверждение кажется ложным, то в оптимистическом обществе XIX века оно было почти истинным. Крайняя нищета, порожденная процветающей экономикой, принудила Маркса выдвинуть на первый план социально-экономические отношения и придала особый пыл его пророчествам о наступлении царства человека.

Учитывая все это, можно лучше понять чисто экономическое объяснение истории, предпринятое Марксом. Если все принципы ложны, истинна только реальность нищеты и тяжкого труда. А если к тому же удастся доказать, что именно этой реальности достаточно, чтобы объяснить все прошлое и будущее человечества, то с принципами будет раз и навсегда покончено, равно как и с обществом, которое так ими кичилось. Этим и предстояло заняться Марксу.

Человек появился вместе с производством и обществом. Неравноценность земельных угодий, более или менее стремительное усовершенствование орудий производства, борьба за существование — все это быстро привело к зарождению социального неравенства, которое воплотилось в противоречиях между производством и распределением, а затем — в классовой борьбе. Эти противоречия и эта борьба являются двигателями истории. Античное рабство и феодальное крепостничество были этапами долгого пути, приведшего к классическому ремесленному укладу, где производитель является хозяином средств производства. Именно на это время приходится открытие международных торговых путей и новых рынков сбыта, которое способствовало преодолению провинциального уровня производства. Противоречия между способом производства и новыми потребностями распределения уже предвещают конец эпохи мелкотоварного промышленного и сельскохозяйственного производства. Промышленная революция, изобретение парового двигателя и борьба за рынки сбыта не могли не завершиться разорением мелких собственников и образованием крупных мануфактур. Средства производства сосредоточиваются тогда в руках тех, кто мог их купить; а у подлинных производителей, то есть рабочих, остается только сила их рук, которую они могут продать «денежному мешку». Итак, буржуазный капитализм определяется отделением производителей от средств производства. Из этого противоречия проистекает целая серия неопровержимых выводов, позволяющих Марксу возвестить конец всех социальных противоречий.

Здесь необходимо сразу же заметить, что твердо установленный принцип диалектической борьбы вряд ли может так внезапно утратить свою состоятельность. Либо он изначально справедлив, либо никогда таковым не был. Маркс говорил, что грядущая революция упразднит классы, подобно тому как революция 1789 года упразднила сословия. Но как с исчезновением сословий не исчезли классы, так и с исчезновением классов не исчезнет какая-то иная форма социальных противоречий. А ведь суть марксистских пророчеств зиждется именно на этом утверждении.

Основные черты марксистской схемы общеизвестны. Вслед за Адамом Смитом и Рикардо Маркс определяет стоимость любого товара количеством труда, который его произвел. Количество труда, проданное пролетарием капиталисту, само является товаром, стоимость коего определяется количеством необходимого для воспроизводства труда, то есть для поддержания жизни пролетария. Приобретая этот товар, капиталист обязуется назначить за него плату, достаточную для того, чтобы тот, кто его продает, то есть трудящийся, смог прокормиться и хоть как-то просуществовать. Но одновременно капиталист получает право заставить рабочего трудиться столько времени, сколько тот сможет. А может он куда больше, чем ему необходимо для поддержания жизни. Если при двенадцатичасовом рабочем дне половина времени уходит на покрытие нужд рабочего, то остальные шесть часов он трудится бесплатно, создавая прибавочную стоимость, составляющую доход капиталиста. Стало быть, интересы предпринимателя сводятся к тому, чтобы максимально увеличить продолжительность рабочего дня, а если это уже невозможно — повысить нормы выработки. Выполнение первого требования зависит от жестокости работодателя и от полицейского произвола. Второе решается организацией труда. Она ведет сначала к его разделению, а затем к применению машины, которая обесчеловечивает рабочего. С другой стороны, борьба за внешние рынки и необходимость все больших капиталовложений в новое оборудование способствуют концентрации и аккумуляции производства. Сначала мелкие предприятия поглощаются более крупными, которые в состоянии, например, в целях конкуренции дольше поддерживать убыточные цены. Затем все большая и большая часть прибыли вкладывается в новые машины и аккумулируется в постоянном капитале. Это движение, с одной стороны, ускоряет разорение средних классов, пополняющих ряды пролетариата, а с другой — сосредоточивает в руках немногих богатства, созданные исключительно пролетариями. Таким образом, численность пролетариата возрастает по мере возрастания его нищеты. Капитал сосредоточивается в руках нескольких хозяев, чье растущее могущество основано на краже. Сотрясаемые беспрестанными кризисами, измученные противоречиями собственной системы, эти хозяева уже не могут обеспечить прожиточный минимум своим рабам, попадающим в зависимость от частной или общественной благотворительной деятельности. И вот неизбежно наступает день, когда огромная армия угнетенных бросает вызов кучке презренных предпринимателей. Это и есть день революции. «Гибель буржуазии и победа пролетариата в равной степени неотвратимы».

Это ставшее знаменитым описание еще не касается проблемы затухания противоречий. После победы пролетариата борьба за жизнь может продолжаться и порождать новые противоречия. Далее Маркс вводит два понятия, одно из которых является экономическим,— это тождественность развития производства и развития общества, а второе — чисто доктринальным,— это миссия пролетариата. Оба эти понятия сливаются в том, что можно назвать активным фатализмом Маркса.

Тот же процесс экономического развития, который сосредоточивает капитал во все меньшем количестве рук, делает противоречия все более жестокими и в то же время в некотором роде ирреальными. Создается впечатление, что на вершине развития производительных сил достаточно легкого толчка, чтобы пролетариат стал единственным хозяином средств производства, уже изъятых из сферы частной собственности и сконцентрированных в огромную и единую общую массу. Частная собственность, сосредоточенная в руках единственного владельца, отделена от коллективной собственности только жизнью одного человека. Неотвратимым итогом частного капитализма является своего рода государственный капитализм, который достаточно затем поставить на службу коллектива, чтобы родилось новое общество, где труд и капитал, слившись воедино, приведут к изобилию и справедливости. Принимая во внимание этот процесс со счастливым исходом, Маркс не уставал подчеркивать революционную роль, которую, пусть неосознанно, играет в нем буржуазия. Он говорил об «историческом праве» капитализма, источнике нищеты и в то же время прогресса. Историческая миссия и оправдание капитала состоят, по мнению Маркса, в том, что они подготавливают условия для высшего способа производства. Способ этот, сам по себе не являясь революционным, будет лишь увенчанием революции. Только основы буржуазного производства революционны. Когда Маркс утверждает, что человечество ставит перед собой лишь такие вопросы, которые оно в силах разрешить, он указывает тем самым, что решение революционной проблемы находится в зародыше еще в самой капиталистической системе. И рекомендует не только терпеть буржуазный строй, но и способствовать его созиданию, а не возвращаться к менее развитым способам производства. Пролетарии «могут и должны принять буржуазную революцию как условие революции пролетарской».

Таким образом, Маркс является пророком производства, и позволительно думать, что не где-то еще, а именно в этом пункте он отдал своей системе предпочтение перед действительностью. Но не уставал защищать Рикардо, экономиста манчестерской формы капитализма, от тех, которые обвиняли его в желании развивать производство ради производства («Он желал это с полным основанием!» — восклицал Маркс), не считаясь с нуждами людей. «В этом и состоит его достоинство»,— подчеркивал Маркс с той же беззастенчивостью, что и Гегель. И в самом деле, какое значение имеют человеческие жертвы, если они послужат спасению всего человечества! Прогресс похож на «того чудовищного языческого бога, который пил нектар только из черепов своих убитых врагов». Он перестанет быть пыткой только после промышленного апокалипсиса, в день всеобщего примирения.

Но если пролетариат не может ни избежать этой революции, ни отказаться от овладения средствами производства, сумеет ли он хотя бы использовать их ради всеобщего блага? Где гарантия того, что из его собственных недр не появятся новые сословия и классы с присущими им противоречиями? Гарантию такого рода дает Гегель. Пролетариат принужден использовать свои богатства ради всеобщего блага. Ведь он и есть воплощение всеобщего, в противоположность частному, то есть капитализму. Антагонизм между капиталом и пролетариатом — это последняя фаза борьбы между единичным и всеобщим в исторической трагедии раба и господина. Схема развития общества, начертанная Марксом, завершается тем, что пролетариат вбирает в себя все остальные классы, кроме преступной кучки хозяев, которых неминуемо должна смести революция. Более того: доведя пролетария до полной нищеты, капитализм мало-помалу лишает его определенных особенностей, которые могли бы отделять его от остальных людей. У пролетариата не остается ничего — ни собственности, ни морали, ни отечества. Он сохраняет связи лишь с человеческим родом, чьим обездоленным и неумолимым представителем отныне является. Утверждая себя, он тем самым утверждает всё и вся. И делает это не потому, что пролетарии — это боги, а как раз в силу того, что они низведены до бесчеловечного уровня. «Только пролетарии, полностью лишенные понятия о собственной личности, способны к подлинному самоутверждению».

Ибо такова миссия пролетариата: превратить наихудшее унижение в высшее человеческое достоинство. Подобно Христу в человеческом обличье, пролетариат своими страданиями и битвами искупает коллективный грех отчуждения. Будучи сначала тысячеликим выразителем тотального отрицания, он становится затем глашатаем окончательного утверждения. «Цели философии не могут осуществиться без исчезновения пролетариата, пролетариат не может освободиться без осуществления целей философии», или: «Пролетариат может существовать только в масштабах всемирной истории... Коммунистическое движение может существовать лишь как всепланетная историческая реальность». Но этот Христос является в то же время мстителем. Он, по убеждению Маркса, приводит в исполнение приговор, который вынесла себе частная собственность. «Ныне все дома мечены таинственным красным крестом. Судья — это история, исполнитель приговоров — это пролетариат». Кризисы будут следовать за кризисами [1], обнищание пролетариата будет углубляться, пока, наконец, не разразится всемирный кризис, в котором погибнет мир товарообмена и история, претерпев послед-

[1] Каждые десять-одиннадцать лет, уточняет Маркс. Затем периодичность циклов должна постепенно сокращаться.

нюю вспышку насилия, перестанет быть насилием. И приидет конечное царство.

Вполне понятно, что этот фатализм мог быть доведен (как это произошло с мыслью Гегеля) до политического квиетизма теми марксистами, кто, подобно Каутскому, считал, будто пролетариат столь же мало способен произвести революцию, как буржуазия — поменять ей. Даже Ленин, сторонник активных аспектов марксистского учения, в непримиримом тоне писал в 1905 году: «Только реакционная мысль может искать спасения пролетариата в чем-то ином, кроме массированного развития капитализма». Природа экономики, согласно Марксу, не делает скачков в своем развитии, ее нельзя насиловать. Совершенно неверно утверждать, будто социалисты-реформисты в этом вопросе остались верными Марксу. Напротив, фатализм исключает любые реформы, способные в какой-то мере смягчить катастрофический аспект эволюции и, следовательно, отсрочить неотвратимый конец. Логика подобной позиции требует одобрения всего, что может способствовать растущему обнищанию пролетариата. Рабочему нельзя давать ничего, чтобы в будущем он мог иметь все.

Тем не менее Маркс осознавал опасность этого квиетизма. Захват власти невозможно откладывать на неопределенное время. Наступит день, когда ее нужно брать, но как раз относительно этого дня в сочинениях Маркса царит сомнительная ясность — это чувствует каждый его читатель. В этом пункте Маркс постоянно себе противоречил. Он отметил, что общество «исторически вынуждено пройти через диктатуру пролетариата». Что же касается характера этой диктатуры, то здесь его определения противоречивы [1]. Он был убежден, что вынес недвусмысленный приговор государству, сказав, что его существование неотделимо от рабства. И в то же время протестовал против справедливого замечания Бакунина, считавшего понятие временной диктатуры несовместимым с тем, что нам известно о человеческой природе. Маркс, разумеется, полагал, что диалектические истины выше истины психологической. А чему учит диалектика? Тому, что «уничтожение государства имеет смысл только при коммунизме в качестве необходимого результата уничтожения классов, чье исчезновение автоматически влечет за собой утрату необходимости в организованной власти, с помощью которой один класс подавляет другой». Согласно знаменитой формулировке, руководство людьми должно смениться управлением вещами. Итак, диалектика на сей счет высказывается вполне определенно и оправдывает пролетарское государство лишь в течение того времени, когда буржуазия должна быть уничтожена или растворена в пролетариате. Но и пророчество и фатализм допускают, к сожалению, и другие толкования. Если мы уверены, что царство придет, что по сравнению с этим значат годы? Страдания кажутся вечными тому, кто не верит в будущее. Но что такое сто лет муки для того, кто утверждает, будто сто первый год будет годом созидания вселенского Града? В перспективе пророчества ничто не имеет значения. Как бы то ни было, с исчезновением класса буржуазии пролетариат установит царство Всечеловека на вершине развития производства, что вытекает из самой логики производственного развития. И разве так уж важно, что все это свершится с помощью диктатуры и насилия? Кто вспомнит о воплях казненных в этом новом Иерусалиме, преисполненном рокота чудесных машин?

Итак, золотой век, отодвинутый в конец истории и вдвойне заманчивым образом совпадающий с апокалипсисом, оправдывает все. Нужно как следует призадуматься над поразительным честолюбием марксизма, оценить весь размах его проповеди, чтобы понять, что столь пылкая надежда поневоле заставляет забыть об остальных проблемах, кажущихся второстепенными. «*Коммунизм* как ...подлинное *присвоение человеческой* сущности человеком и для человека; а потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства предшествующего развития, возвращение человека к самому себе как человеку *общественному*, т. е. человечному. Такой коммунизм, как завершенный натурализм, = гуманизму... он есть *действительное* разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком... между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение». Здесь только форма выражения силится быть научной. Но чем, по сути дела, эта тирада отличается от пророчеств Фурье, вещавшего о «плодоносных пустынях, опресненных морях, чья вода отдает фиалками, о вечной весне...»? Вечная весна людей предсказывается нам языком папских энциклик. Чего может желать и на что может надеяться лишенный бога человек, как не на царствие человека? Этим и объясняется восторг учеников Маркса. «В безмятежном обществе легко забыть о смерти»,— говорит один из них. Конечно, подлинным проклятием нашего общества является тот факт, что страх перед смертью является в нем роскошью, доступной скорее бездельнику, чем труженику, задыхающемуся под бременем своих забот. Но всякий социализм утопичен, и научный — прежде всего. Утопия заменяет Бога будущим. Она отождествляет будущее с моралью, а единственная ценность, которую она признает, должна служить этому будущему. Отсюда следует, что она почти всегда была принудительной и авторитарной [1].

Есть, конечно, основания настаивать на том, что в основе марксистских мечтаний лежат этические требования [2]. Перед тем как приступить к рассмотрению краха марк-

[1] Мишель Коллине в своей «Трагедии марксизма» выявляет у Маркса три формы захвата власти пролетариатом: якобинская республика в «Коммунистическом манифесте», авторитарная диктатура в «Восемнадцатом брюмера» и федерально-анархистское правительство в «Гражданской войне во Франции».

[1] Морелли, Бабеф и Годвин описывают, в сущности, инквизиционные общества.

[2] Maximilien Rubel. "Pages choisies pour une éthique socialiste". Rivière.

сизма, нужно сказать, что требования эти составляют подлинное величие Маркса. Краеугольным камнем его рассуждений был вопрос о труде, о его исконном достоинстве и несправедливом унижении. Он восстал против сведения труда к товару, против низведения труженика до уровня вещи. Он напомнил привилегированным классам, что их привилегии отнюдь не божественны, а право на собственность не является вечным. Он заставил мучиться угрызениями совести тех, у кого она была нечиста, и с небывалой смелостью обличал тот класс, чье преступление состояло не столько в обладании властью, сколько в злоупотреблении ею ради выгоды бездарного и пошлого общества. Мы обязаны ему мыслью, заключающей в себе все отчаянье нашего времени — а отчаянье в данном случае лучше всякой надежды,— мыслью о том, что труд, превратившийся в унижение, уже не имеет ничего общего с жизнью, хотя длится столько же, сколько и сама жизнь. И кто теперь в этом обществе, каким бы тщеславным оно ни было, может спать спокойно, зная, что все его низменные наслаждения зиждутся на труде миллионов мертвых душ? Требуя для труженика подлинных богатств, заключающихся не в деньгах, а в праве на отдых и свободное творчество, Маркс, в сущности, требовал восстановления достоинства человека. И — это следует особо подчеркнуть — он вовсе не предусматривал дополнительных унижений, которые от его имени были навязаны человеку. Есть у него фраза, на редкость ясная и резкая, которая раз и навсегда отказывает его торжествующим ученикам в величии и гуманизме, свойственных ему самому: «Цель, нуждающуюся в неправедных средствах, нельзя считать праведной целью».

Но здесь уже чувствуется ницшеанская трагедия. Размах пророчеств Маркса щедр и всеобъемлющ, но учение его ограниченно. Сведение всех ценностей к единственной, исторической, не могло не повлечь за собой самых крайних последствий. Маркс верил, что по меньшей мере цели истории окажутся совместимыми с моралью и разумом. В этом состояла его утопичность. А судьба утопии, как это ему было небезызвестно, заключается в служении цинизму, хотел он этого или не хотел. Маркс разрушил всякую трансцендентность, а затем по собственной воле совершил переход от факта к долженствованию. Но у этого долженствования нет иного принципа, кроме факта. Требование справедливости превращается в несправедливость, если оно не основывается прежде всего на этическом оправдании справедливости. В противном случае и преступление в один прекрасный день может стать долгом. Когда добро и зло внедрены во время и смешаны с событиями, ничто уже не может считаться добрым или злым, но лишь преждевременным или устаревшим. Кому судить о своевременности, как не временщику? А придет время, говорят ученики, и судить будете вы сами. Но жертвы уже не будут участвовать в правосудии. Для жертвы единственной ценностью является настоящее, а единственным возможным действием — бунт. Мессианство должно ополчиться против жертв, чтобы существовать самому. Маркс, возможно, и не хотел этого, но, оправдав именем революции кровавую борьбу против всех видов бунта, он несет за это ответственность, в которой мы попробуем разобраться.

Крах пророчеств

Гегель самонадеянно подводит итог истории в 1807 году, сен-симонисты считали революционные схватки 1830 и 1848 годов последними, Конт умер в 1857 году, готовясь взойти на церковную кафедру, чтобы проповедовать позитивизм человечеству, отрекшемуся наконец от своих заблуждений. В свою очередь и в том же романтическом ослеплении Маркс возвещал установление бесклассового общества и разрешение тайны всемирной истории. У него хватило благоразумия не называть точную дату, но, к сожалению, его пророчества также описывали ход истории вплоть до часа всеобщего утоления и предрекали общую направленность событий. Если же эти события и факты не желают укладываться в уготованную им схему, их приходится загонять туда силой. К тому же — и это главное — пророчества, успевшие сделаться живой надеждой миллионов, не могут безнаказанно оставаться несвершенными. Наступает время, когда разочарование превращает терпеливую надежду в негодование и когда та же цель, защищаемая с остервенелым упорством, вынуждает искать иные средства для ее достижения.

Участники революционного движения конца XIX — начала XX века жили, подобно первым христианам, в ожидании неминуемого конца света и пришествия пролетарского Христа. Известно, сколь упорным было это чувство в среде ранних христианских общин. Еще в конце IV века один из епископов Африки рассчитывал, что до конца света осталась всего какая-нибудь сотня лет. А затем приидет царствие небесное, которое нужно, не теряя времени, заслужить. В I веке нашей эры чувство это было всеобщим[1], и им объясняется то безразличие, с которым первые христиане относились к чисто теологическим вопросам. Если второе пришествие близко, нужно посвятить всего себя не догмам и поучениям, а пылкой вере. В течение целого столетия, вплоть до времен Климента и Тертуллиана, христианская литература не интересуется богословскими проблемами и не заботится об утонченности стиля. Но как только стало ясно, что второе пришествие откладывается, верующие поняли, что им предстоит жить, то есть что-то творить. Тогда рождается благочестие и катехизис. Сходным образом апостол Павел взялся за обоснование христианских догм лишь после того, как описанное в Евангелии богоявление отошло в прошлое. Церковь облекла плотью ту веру, которая первоначально была лишь чистой тягой к грядущему царствию. Ей предстояло упорядочить в мирской жизни все, начиная с жи-

[1] О неминуемости этого события см.: Марк, VIII — 39, XIII — 30; Матфей, X — 23, XII — 27, 28, XXIV — 34; Лука, IX — 26, 27, XXI — 22 и т. д.

тий мучеников, свидетельства о которых легли в основу монастырских орденов, и кончая формой проповеди, которая в конце концов зазвучала из-под капюшонов инквизиции.

Сходное движение зародилось после того, как рухнули надежды на революционное богоявление. Уже цитированные выше тексты Маркса дают представление о пылкой вере, воодушевлявшей в то время революционеров. Несмотря на отдельные неудачи движения, вера эта продолжала расти вплоть до того момента, когда в 1917 году мечты революционеров показались близки к осуществлению. «Мы боремся за овладение вратами неба»,— восклицал Либкнехт. В 1917 году революционный мир почувствовал, что достиг этих врат. Сбывалось пророчество Розы Люксембург: «Завтра революция распрямится во весь рост и с наводящим ужас грохотом протрубит во все свои трубы: я была, я есть, я буду». Деятели спартаковского движения верили, что участвуют в окончательной революции, ибо, по мнению самого Маркса, она должна была начаться в России и продолжиться на Западе. После революции 1917 года советская Германия и впрямь могла бы распахнуть небесные врата. Но восстание «Спартака» было подавлено, всеобщая забастовка 1920 года во Франции провалилась, итальянское революционное движение захлебнулось в крови. И тогда Либкнехт признал, что революция еще не созрела. «Времена для нее не пришли». Но добавил — и по этому добавлению мы можем судить, как поражение может воспламенить веру побежденного, доведя ее до религиозного экстаза: «Грохот экономического развала, чьи первые раскаты уже приближаются, разбудит павших рабочих, трупы погибших борцов встанут как по зову трубы Страшного суда и потребуют отчет у тех, кто навеки обречен проклятью». Но, не дождавшись этого события, он сам и Роза Люксембург были убиты, а Германия подпала под иго рабства. Русская революция, выжившая вопреки собственной системе и все еще далекая от небесных врат, принялась в одиночку налаживать свой апокалипсис. Богоявление снова было отложено. Вера сохранилась в неприкосновенности, но ей пришлось склониться под тяжкой грудой проблем и открытий, которые не были предусмотрены марксизмом. Новая церковь опять призвала на суд Галлилея: чтобы сберечь свою веру, она должна была вновь отрицать солнце и унижать свободного человека.

Что же сказал в этот момент Галлилей? Какие ошибки в пророчестве были выявлены самой историей? Известно, что экономическое развитие современного мира опровергло прежде всего некоторую часть постулатов Маркса. Оказалось, что революция, которая должна была свершиться в конечной точке двух параллельных движений — безграничной концентрации капитала и безграничного обнищания пролетариата,— либо не свершится, либо не должна была свершиться. Капитал и пролетариат в равной степени оказались неверны Марксу. Тенденция, подмеченная в промышленной Англии XIX века, в одних случаях превратилась в собственную противоположность, в других — усложнилась. Экономические кризисы, которым следовало учащаться, стали, напротив, более редкими: капитализм овладел тайнами планового хозяйства и со своей стороны способствовал росту государства-молоха. С другой стороны, с образованием акционерных обществ капитал, вместо того, чтобы концентрироваться, порождает новую категорию мелких собственников, которые отнюдь не поощряют забастовок. Мелкие предприятия были во множестве уничтожены конкуренцией, как это и предвидел Маркс. Но усложнение производства способствовало появлению вокруг крупных фирм множества мелких мануфактур. В 1938 году Форд мог заявить, что на него работают более пяти тысяч независимых мастерских. Эта тенденция с тех пор усилилась. Нет сомнения, что в силу вещей Форд главенствует надо всеми этими предприятиями. Но главное в том, что эти мелкие промышленники образуют промежуточный социальный слой, усложняющий надуманную схему Маркса. И наконец, закон концентрации оказался совершенно ложным по отношению к сельскому хозяйству, на которое Маркс смотрел излишне легкомысленно. Здесь разрыв между теорией и практикой громаден. С какой-то точки зрения история социализма в нашем столетии может рассматриваться как борьба рабочего движения с классом крестьянства. Эта борьба продолжает — в историческом плане — идеологическую борьбу XIX века между авторитарным социализмом анархистского толка, чье крестьянское и ремесленническое происхождение очевидно. Стало быть, в идеологическом багаже своей эпохи Маркс имел достаточно материала для размышления над крестьянской проблемой. Но его страсть к системе упростила ее. И это упрощение в свое время дорого обошлось кулакам, представлявшим собой более пяти миллионов исторических исключений, которые посредством казней и высылок были незамедлительно приведены к правилу.

Та же страсть к упрощению отвлекла Маркса и от национальной проблемы — и это в век развития национальностей! Он полагал, что развитие торговли и обмена, не говоря уже о пролетаризации, сокрушит национальные барьеры. Но случилось так, что эти барьеры сокрушили пролетарский идеал. Межнациональная борьба оказалась почти столь же важной для объяснения истории, как и борьба классовая. Но национальные особенности не могут целиком объясняться экономикой; стало быть, марксистское учение проморгало их.

Пролетариат тоже не укладывался в отведенную ему схему. Поначалу опасения Маркса оправдались: реформистские и профсоюзные движения добились повышения уровня жизни и улучшения условий труда. Эти достижения, разумеется, не могли должным образом решить социальную проблему. Но нищенское положение английских текстильщиков по сравнению с эпохой Маркса не только не ухудшилось, как он это предсказывал, но, напротив, претерпело изменения к лучшему. Впрочем, Маркс не пожалел бы об этом, поскольку равновесие системы было восстановлено другой ошибкой в его предсказаниях. В самом деле, нетрудно заметить, что наиболее активной участницей

революционного и профсоюзного движения всегда была рабочая элита, отнюдь не парализованная голодом. Нищета и вырождение остались тем же самым, чем они были до Маркса и чего он, вопреки всякой очевидности, не хотел замечать,— фактором рабства, а не революции. Треть тружеников Германии в 1933 году оказалась без работы. И тогда буржуазному обществу пришлось выискивать средства для существования безработных, создавая тем самым условия, необходимые, по мнению Маркса, для революции. Но что хорошего в положении, когда будущие революционеры вынуждены получать хлеб от государства. Эта навязанная им привычка сменилась другими, уже менее бескорыстными,— и Гитлер не преминул воспользоваться ими в своих целях.

И, наконец, численность рабочего класса не возрастает до бесконечности. Сами условия промышленного производства, о которых должен радеть каждый марксист, способствовали значительному росту среднего класса [1] и даже способствовали появлению новой социальной прослойки — техников. Столь дорогой Ленину идеал общества, в котором инженер будет в то же время чернорабочим, не выдержал испытания фактами. Главный из этих фактов состоит в том, что наука и техника до такой степени усложнились, что один человек более не в силах овладеть совокупностью их принципов и практических приемов. Вряд ли представимо, например, чтобы современный физик имел всеобъемлющие познания в биологии. Даже в собственной науке он не может претендовать на равный авторитет во всех ее секторах. То же самое касается и техники. Начиная с того момента, когда производительность труда, которую и буржуазные ученые, и марксисты рассматривают как безотносительное благо, достигла неимоверной степени развития, разделение труда, которого Маркс надеялся избежать, стало неизбежным. Каждый рабочий вынужден выполнять личное задание, не имея понятия об общем плане, в котором принимает участие своим трудом. А те, кто сводит воедино труд каждого, в силу самой своей должности превратились в прослойку, чья социальная важность оказалась решающей.

Говоря об этой эре технократов, возвещенной Бёрнхемом, было бы несправедливо не отметить, что она была еще семнадцать лет назад описана Симоной Вей [2] в статье «Идем ли мы к пролетарской революции?» в форме, которую можно считать окончательной, хотя и не содержащей неприемлемых выводов Бёрнхема. К двум традиционным формам угнетения, известным человечеству, угнетению посредством оружия и посредством денег, Симона Вей прибавила третью, угнетение должностью. «Можно устранить противоречие между покупателем и продавцом труда,— писала она,— не устранив его между теми, кому подчинена машина, и теми, кто подчинен машине». Стремление марксистов уничтожить унизительное противоречие между умственным и физическим трудом столкнулось с нуждами производства, которые Маркс превозносил при каждом удобном случае. Разумеется, он предвидел важность «директора» на уровне максимальной концентрации капитала. Но не предполагал, что концентрация эта может сохраниться и после уничтожения частной собственности. Разделение труда и частная собственность, писал он, являются тождественными понятиями. История доказала противоположное. Идеальный режим, основывающийся на общественной собственности, тщился определить себя как справедливость плюс электрификация. В конечном счете он оказался электрификацией минус справедливость.

Идея миссии пролетариата до сих пор не нашла своего воплощения в истории; в этом и заключается крах марксистских предсказаний. Банкротство 2-го Интернационала доказало, что судьба пролетариата определяется не только экономическими условиями его существования и что, вопреки известной формуле, у него все-таки есть отечество. В большинстве своем пролетариат принял или вынужден был принять войну и волей-неволей поддерживал националистические безумства того времени. Маркс полагал, что перед тем, как одержать победу, рабочий класс должен был достичь юридической и политической зрелости. Его заблуждение состояло лишь в том, что он верил, будто крайняя нищета, в особенности среди индустриальных рабочих, может привести к политической зрелости. Нельзя, впрочем, отрицать, что революционный порыв рабочих масс был заторможен разгромом анархистской революции во время и после Коммуны. В конце концов, марксизм легко взял верх в рабочем движении начиная с 1872 года как по причине своего величия, так и потому, что социалистическое движение, которое могло бы ему противостоять, было потоплено в крови; среди мятежников 1871 года практически не было марксистов. Эта автоматическая чистка революции силами полицейских государств продолжается и по сей день. Революция все более и более начинает зависеть от своих бюрократов и доктринеров, с одной стороны, и от ослабевших и сбитых с толку масс — с другой. Когда революционная элита гильотинирована, а Талейран остался в живых, кто может противостоять Бонапарту? Но к этим историческим резонам добавляются еще и экономические нужды. Нужно познакомиться с текстами Симоны Вей об условиях жизни заводских рабочих [1], чтобы понять, до какой степени морального истощения и молчаливого отчаянья может довести рационализация труда. Симона Вей справедливо отмечала, что эти условия вдвойне бесчеловечны, ибо рабочие лишены как денег, так и собственного достоинства. Труд, который может заинтересовать работника, труд творческий, даже плохо оплачиваемый, не унижает человека. А промышленный социализм не сделал ничего существенного для улучшения условий жизни рабочих, поскольку не коснулся самого принципа производства и организации труда,

[1] В период интенсивного роста производства, с 1920 по 1930 год, число рабочих-металлургов в США значительно уменьшилось, а число торговцев, зависящих от этой отрасли промышленности за то же время почти удвоилось.

[2] "Allons-nous vers une révolution prolétarienne?". "Révolution prolétarienne", 25 avril 1933.

[1] "La Condition ouvrière". Gallimard.

перед которым он преклоняется. Он мог предложить рабочему исторического оправдание, равноценное обещанию небесного блаженства тому, кто умирает в муках; он и не подумал вознаградить его творческой радостью. Политическая форма общества на данном уровне уже не имеет значения; важны лишь установки технической цивилизации, от которой в равной мере зависят и капитализм и социализм. Любая мысль, не занятая решением этой проблемы, имеет лишь косвенное отношение к страданиям трудящихся.

В результате простой игры экономических сил, столь восхищавших Маркса, пролетариат отказался от навязанной ему тем же Марксом исторической миссии. Марксу можно простить его заблуждение, поскольку человек, заботящийся о судьбах цивилизации, видя вырождение правящих классов, инстинктивно начинает искать элиту, способную их заменить. Но это требование само по себе не является творческим. Революционная буржуазия взяла власть в 1789 году потому, что уже обладала ею. По выражению Жюля Моннеро, право в ту эпоху шло по пятам факта. А факт состоял в том, что буржуазия уже располагала командными постами и невиданной дотоле силой, деньгами. Совсем не так обстоит дело с пролетариатом, у которого нет ничего, кроме нищеты и надежд, и которого держит в этой нищете все та же буржуазия. Буржуазные классы выродились, помешавшись на производстве и материальном могуществе; сама организация этого помешательства не способствовала появлению элиты [1]. А критика этой организации и развитие революционного сознания могли, напротив, выковать ее элитарную замену. Именно по этому пути и пошел революционный синдикализм во главе с Пеллутье и Сорелем, стремясь посредством профессионального воспитания и культуры создать новые кадры, в которых так нуждался и до сих пор нуждается наш лишенный чести и совести мир. Но все это не делается в один день, а тем временем новые хозяева земли были тут как тут: их цель состояла в немедленном использовании несчастий ради грядущего блага, а вовсе не в безотлагательном облегчении теперешней тяжкой участи миллионов людей. Социалисты авторитарного толка сочли, что история движется чересчур медленно и что для ее ускорения необходимо передать миссию пролетариата горстке доктринеров. Тем самым они оказались первыми, кто отвергал эту миссию. А ведь она существует, хотя и не в том исключительном смысле, который закрепил за ней Маркс, а наравне с миссиями любых других человеческих групп, которые способны извлечь плодотворную гордость из своего труда и своих страданий. Но чтобы она проявилась, нужно пойти на рискованный шаг: довериться свободе и спонтанному рабочему движению. Авторитарный социализм узурпировал эту живую свободу ради идеальной, будущей свободы. А сделав это, он, вольно или невольно, усилил процесс порабощения трудящихся, начавшийся в эпоху заводского капитализма. Совместное воздействие этих двух факторов привело к тому, что на протяжении полутора столетий, за исключением лишь периода Парижской коммуны, последнего прибежища бунтарской революции, единственная историческая миссия пролетариата состояла в том, чтобы его предали. Пролетарии сражались и умирали, чтобы привести к власти военных или интеллектуалов, будущих военных, которые в свой черед навязывали им иго рабства. В этой борьбе, однако, они черпали свое достоинство, признаваемое всеми, кто решился разделить их надежды и горести. Достоинство это было завоевано ими вопреки воле прежних и нынешних господ. Оно отрицает этих господ всякий раз, когда они думают использовать его в своих целях. В каком-то смысле достоинство предвещает их закат.

Итак, экономические предсказания Маркса были по меньшей мере поставлены под вопрос действительностью. В его воззрениях на мир экономики верным остается лишь становление общества, все более и более определяемого ритмом производства. Но и эту концепцию он разделял с буржуазной идеологией своей эпохи, полной веры в будущее. Буржуазные иллюзии относительно науки и технического прогресса, разделяемые авторитарными социалистами, породили цивилизацию укротителей машин, которая, вследствие конкуренции или воли к власти, может распасться на враждебные блоки, но в плане экономики остается подчиненной одним и тем же законам: аккумуляции капитала, рационализации и непрерывного роста производства. Политические различия, касающиеся большего или меньшего могущества государства, бывают ощутимы, но экономическое развитие способно свести их на нет. Только разница во взглядах на мораль, только формальная добродетель, противопоставленная историческому цинизму, кажется незыблемой. Но и в этом случае императив производства довлеет над обоими мирами и фактически — в плане экономики — превращает их в единое целое [1].

Как бы там ни было, если экономический императив и невозможно отрицать [2], его последствия оказываются совсем не такими, как их представлял себе Маркс. Экономически капитализм угнетает посредством аккумуляции. Он проводит политику угнетения всеми присущими ему способами, он занимается накоплением, чтобы

[1] Кстати говоря, первым эту истину отметил Ленин, но безо всякой явной горечи. Если его замечание звучит ужасно по отношению к революционным надеждам, то оно еще ужаснее по отношению к нему самому. Ведь он не постеснялся сказать, что массы легко воспримут его бюрократический и диктаторский централизм, поскольку «дисциплина и организация легче воспринимаются пролетариатом благодаря этой фабричной школе».

[1] Уточняем, что производительность пагубна лишь в том случае, когда она превращается в самоцель, переставая быть средством освобождения.

[2] Хотя его и отрицали — вплоть до XVIII века — в течение всех тех эпох, в которых он, по мнению Маркса, играл свою роль. Приведем примеры исторических конфликтов между разными формами цивилизаций, не способствовавших прогрессу в уровне производства: гибель микенской цивилизации, вторжение варваров в Рим, изгнание мавров из Испании, истребление альбигойцев и т. д.

разрастаться, он усиливает эксплуатацию ради все большего и большего накопления. Маркс не представлял иного выхода из этого порочного круга, кроме революции. С ее приходом, полагал он, накопление окажется необходимым лишь в той малой степени, в какой оно обеспечивает поддержание общественного производства. Но революция в свой черед индустриализируется, и тогда становится очевидным, что накопление зависит не от капитализма, а от самой техники и что машина, так сказать, взывает к машине. Любое жизнеспособное общество нуждается в накоплении, а не в расточении своих доходов. Оно накапливает, чтобы расти самому и наращивать свою мощь. Будь оно буржуазным или социалистическим, это общество откладывает справедливость на будущее ради укрепления своей силы. Но одна сила неминуемо сталкивается с другими. Она оснащается и вооружается, поскольку и другие делают то же самое. Она не перестает аккумулировать — и будет заниматься этим до тех пор, пока ей не удастся в одиночку овладеть всем миром, ради чего, разумеется, она должна будет развязать войну. Вплоть до этого момента пролетариат едва получает то, что ему необходимо для существования. Революция бывает вынуждена путем огромных человеческих издержек создавать промежуточное индустриально-капиталистическое общество, в котором нуждается ее собственная система. Рента заменяется людскими страданиями. Рабство становится всеобщим, а небесные врата остаются закрытыми. Таков экономический закон мира, живущего культом производства, а действительность оказывается еще более кровавой, чем этот закон. Революция, загнанная в тупик своими буржуазными противниками и нигилистическими поборниками, оборачивается рабством. Если она не сумеет пересмотреть свои принципы и избрать иные пути, у нее не остается иного выхода, кроме рабских мятежей, потопляемых в крови, да жуткой надежды на атомное самоубийство. Воля к власти и нигилистическая борьба за мировое господство не просто разгнали туман марксистской утопии. Она в своей черед стала историческим фактом, который можно использовать как и любой другой исторический факт. Она, желавшая подчинить себе историю, затерялась в ней; она, стремившаяся воспользоваться любыми средствами, сама стала циничным средством достижения самой банальной и самой кровавой из возможных целей. Непрерывное развитие производства отнюдь не разрушило капиталистический строй в угоду революции. Оно в равной степени разорило и буржуазное, и революционное общество в угоду звероголовому идолу власти.

Каким же образом социализм, называющий себя научным, мог дойти до такого противоречия с фактами? Ответ прост: он неначен. Крах социализма обусловлен его довольно двусмысленным методом, притязающим одновременно на детерминизм и пророчество, диалектику и догму. Если дух — всего лишь отражение вещей, он может опережать их ход разве что гипотетически. Если теория определяется экономикой, она может описывать производство в прошлом, но отнюдь не в будущем, которое остается всего лишь вероятностью. Задача исторического материализма может состоять лишь в критике современного общества, а об обществе будущего он — оставаясь научным — может лишь строить предположения. Не потому ли, кстати, его главный труд называется «Капиталом», а не «Революцией»? Но Маркс и марксисты взялись за пророчества о будущем и о коммунизме в ущерб своим же постулатам и научному методу.

Эти пророчества могли бы быть научными, не претендуй они на абсолютность. Но марксизм не научен, а, в лучшем случае, наукообразен. Он — воплощение коренного разлада между научным разумом, плодотворным орудием поиска, мысли — и даже бунта — и разумом историческим, детищем немецкой идеологии, порожденным ею в процессе отрицания всех высших принципов. Исторический разум не есть разум, который, согласно своему предназначению, судит о мире. Притязая на суждение о мире, он в то же время движит им. Увязнув в гуще событий, он силится ими управлять. Он относится к миру и как наставник, и как завоеватель. Впрочем, эти туманные определения скрывают за собой наипростейшую суть. Если свести человека к истории, у него не останется иного выбора, кроме растворения в ее шуме и ярости или придания ей обличья человеческого разума. Следовательно, история современного нигилизма есть всего лишь затянувшаяся попытка придать истории видимость порядка, который был ею утрачен,— придать чисто человеческими силами, а то и просто силой. Такой псевдоразум в конце концов становится неотличимым от стратегии завоевания и ждет своего часа, чтобы взойти на престол идеологической империи. Так какое же отношение все это имеет к науке? Нет ничего менее агрессивного, чем разум. История не делается со щепетильностью ученого; тот, кто претендует на научную объективность, тем самым отстраняет себя от участия в историческом творчестве. Разум не проповедует, а, ввязавшись в проповедь, перестает быть разумом. Вот почему исторический разум иррационален и романтичен; вот почему он напоминает то систематизированный бред сумасшедшего, то мистическое утверждение слова божия.

Единственный подлинно научный аспект марксизма состоит в его предвзятом отрицании мифов и откровенном выпячивании самых низменных интересов. Но в этом отношении Маркс не более научен, чем Ларошфуко; к тому же он сразу забывает об этих положениях, как только становится в позу пророка. Неудивительно поэтому, что для того, чтобы сделать марксизм научным и подкрепить эту фикцию, столь выгодную в наш научный век, пришлось сначала сделать науку марксистской, пустив для этого в ход террор. Научный прогресс

[1] Роже Кайюа заметил, что сталинизм отвергает квантовую теорию, но использует основанную на ней атомную физику ("Critique du marxisme", Gallimard).

со времен Маркса состоял, грубо говоря, в замене детерминизма и механистического материализма тогдашней эпохи пробабилизмом. Маркс писал Энгельсу, что учение Дарвина составляет основу их собственного учения. Стало быть, для того, чтобы марксизм сохранил ореол непогрешимости, следовало отрицать биологические открытия, сделанные после Дарвина. А поскольку открытия эти, начиная со скачкообразных мутаций, выявленных де Фризом, вводили в биологию принцип случайности, противоречащий детерменизму, пришлось поручить Лысенко навести порядок в хромосомах и заново доказать истинность элементарнейшего детерменизма. Все это кажется смешным. Но представьте себе какого-нибудь провинциального аптекаря во главе тайной полиции — и вам будет не до смеха. Именно это и произошло в XX веке. Именно поэтому XX век отрицает принцип неопределенности в физике, частную теорию относительности, квантовую теорию [1] и всю общую направленность современной науки. Теперешний марксизм научен только при условии, что он отвергает Гейзенберга, Бора, Эйнштейна и других великих ученых нашего времени. В конце концов, нет ничего таинственного в принципе, ставящем научное мышление на службу пророчества. Он уже давно именуется принципом авторитета; именно им руководствовалась церковь, когда стремилась подчинить истинный разум мертвой вере, а свободу суждения — поддержанию мирской власти [2].

В конечном счете от пророчеств Маркса, противоречащих его же двум основным принципам — экономике и науке, осталось лишь страстное провозвестие некоего события, которое должно произойти в весьма отдаленном будущем. Любимой уловкой марксистов являются речи о затянувшейся отсрочке этого события и о том, что в один прекрасный день им будет оправдано всё. Иначе говоря, мы находимся в чистилище, и нас уверяют, что ада не будет. В связи с этим возникает проблема иного порядка. Если борьбы одного или двух поколений в процессе благоприятного экономического развития достаточно для достижения бесклассового общества, то жертвы, приносимые участниками этой борьбы, вполне оправданны; ведь они видят будущее во вполне конкретном обличье, в облике своего ребенка, например. Но если не хватит жертв многих поколений и мы должны вступить в бесконечную полосу разрушительных всемирных битв, нам придется искать опору в вере, чтобы научиться умирать и умерщвлять. Беда в том, что эта новая вера основывается на чистом разуме не в большей мере, чем все предыдущие.

Но как же все-таки представить себе этот конец истории? В данном случае Маркс не прибегает к гегелевской терминологии. Он в достаточно темных выражениях говорит, что коммунизм — это всего лишь необходимая форма человеческого будущего, не исчерпывающая собой всей совокупности будущего. Но коммунизм либо не завершает историю противоречий и страданий, и тогда непонятно, как им можно оправдать столько жертв и усилий; либо он является ее завершением, и тогда весь ее ход можно представить себе лишь как движение к этому совершенному обществу. И тогда в описание, претендующее на научность, произвольно вводится некое мистическое понятие. Окончательное исчезновение политической экономии, этой излюбленной темы Маркса и Энгельса, означает конец всякого страдания. Ведь экономика тождественна тяготам и несчастьям истории, исчезающим вместе с ней. И мы оказываемся в раю.

Невозможно разрешить эту проблему, сказав, что речь идет не о конце истории, а о скачке в иную историю. Эту иную историю мы можем представить себе только подобием нашей собственной; для человека эти истории слиты воедино. К тому же и эта иная история предлагает нам ту же дилемму. Либо она не является разрешением противоречий, значит, мы страдаем, умираем и убиваем друг друга впустую; либо она разрешает их и практически завершает историю. На этой стадии марксизм может найти свое оправдание только в последнем Граде.

Но какой же смысл заключен в этой метафоре? Он имел его в сакральной вселенной, где были приняты религиозные постулаты. Мир был сотворен — следовательно, у него будет и конец; Адам был изгнан из рая, человечество должно в него вернуться. Не так обстоят дела в исторической вселенной, где принимаются диалектические постулаты. Должным образом употребляемая прикладная диалектика не может и не имеет права застыть на месте [1]. Противоборствующие начала определенной исторической ситуации могут сначала отрицать друг друга, затем быть снятыми в новом синтезе. Но нет оснований полагать, что этот новый синтез будет выше предыдущих. Эти основания могут появиться лишь после того, как мы произвольно положим диалектике предел и, стало быть, привнесем в нее почерпнутое извне ценностное суждение. Если бесклассовое общество завершает историю, тогда капиталистическое общество и в самом деле оказывается выше феодального в той мере, в какой оно ускоряет приход общества бесклассового. Но если принимаешь диалектические постулаты, нужно принимать их целиком. Нужно признать, что подобно тому, как сословное общество сменилось обществом без сословий, но с классами, так и на смену классовому обществу придет общество без классов, но с иными, еще неведомыми нам антагонизмами. Движение, которому отказывают в начале, не может иметь конца. «Если социализм,— говорит один эссеист анархистского толка,— есть вечное становление, то его средства и являются его целью» [2]. Точнее говоря, у него нет цели, есть только средства, не подкрепленные ничем, кроме чуждой становлению ценности. В этом смы-

[1] Роже Кайюа заметил, что сталинизм отвергает квантовую теорию, но использует основанную на ней атомную физику («Critique du marxisme», Gallimard).

[2] Обо всем этом см. книгу Жана Гренье «Эссе о духе ортодоксии» (изд. «Галлимар»), которая и по прошествии пятнадцати лет остается актуальной.

[1] См. замечательное рассуждение Жюля Монеро «Социология коммунизма», часть III.

[2] Ernestan. "Le Socialisme et la Zibertè".

сле было бы справедливо заметить, что диалектика не революционна и не может быть таковой. С нашей точки зрения, она лишь нигилистична, будучи чистым течением, стремящимся отрицать все, что не является им самим.

Стало быть, нет никакого резона воображать конец истории в этой вселенной. И однако, именно он служит единственным оправданием жертв, которые во имя марксизма требуются от человечества. Он не имеет иных разумных оснований, кроме логической ошибки, вводящей в единое и самодостаточное царство истории чуждую ей ценность. Поскольку ценность эта к тому же чужда морали, ее нельзя считать ценностью в собственном смысле слова, на которой можно основывать свое поведение; это безосновательная догма, которая либо усваивается отчаянным движением мысли, задыхающейся от одиночества или нигилизма, либо навязывается извне теми, кому эта догма выгодна. Конец истории невозможно считать ценностью, достойной подражания или ведущей к совершенствованию. Она является принципом произвола и террора.

Маркс признавал, что все революции, произошедшие до него, потерпели поражение. Но полагал, что возвещаемая им революция должна одержать окончательную победу. Вплоть до сего времени рабочее движение держалось за этот постоянно опровергаемый фактами постулат, чью ложность давно пора без лишнего шума обличить. По мере того как богоявление откладывалось, мечта о последнем царстве, уже не поддающаяся осмыслению, превратилась в символ веры. С тех пор единственной ценностью марксистского мира стала, вопреки Марксу, догма, навязанная всей идеологической империи. Последнее царство, подобно вечной морали и царствию небесному, превратилось в средство социальной мистификации. Эли Галеви признавался, что не в силах сказать, к чему ведет социализм — к подобию швейцарской республики, разросшейся до вселенских масштабов, или к европейскому цезаризму. Мы теперь куда лучше осведомлены на сей счет. По крайней мере в данном пункте пророчества Ницше сбылись. Вопреки себе самому, но в соответствии с неопровержимой логикой, нынешний коммунизм проявляется в своем интеллектуальном цезаризме, к описанию которого нам следует наконец приступить. Последний представитель борьбы справедливости против благодати, он, сам того не желая, берет на себя ответственность за битву справедливости против истины. «Как можно жить без благодати?» — таков был коренной вопрос XIX века. «Справедливостью»,— отвечали на него все те, кто не хотел принять абсолютный нигилизм. Народам, отчаявшимся в царствии небесном, они обещали царство человека. Проповедь человеческого Града усилилась к концу XIX века, когда она сделалась поистине визионерской и поставила достижения науки на службу утопии. Но царство отступало все дальше и дальше, чудовищные войны опустошали древнейшую из земель, кровь бунтарей пятнала стены городов, а полная справедливость так и не наступала. И вот мало-помалу прояснился коренной вопрос XX века, тот самый, за который отдали жизнь террористы девятьсот пятого года и который продолжает терзать современный мир: «Как жить без благодати?»

На этот вопрос ответил только нигилизм а не бунт. Но отвечал он доныне лишь формулой романтических бунтарей: «Безумием». Историческое безумство именуется властью. Воля к власти сменила стремление к справедливости, сначала прикинувшись его подобием, а затем загнав его куда-то на задворки истории в ожидании того часа, когда на земле не останется ничего, не подвластного ей. Идеологические выводы восторжествовали над экономическими: история русского коммунизма опровергла собственные принципы. И мы вновь оказались в начале долгого пути, уже пройденного метафизическим бунтом. Но на сей раз он продвигается вперед, бряцая оружием и отдавая приказы,— продвигается, забыв о своих подлинных принципах, скрывая свое одиночество в гуще вооруженных толп, тая дух отрицания под пеленой упрямой схоластики и все еще взирая в будущее, ставшее теперь его единственным божеством, но отделенное от него толпой обреченных на уничтожение народов и предназначенных для покорения континентов. Действие во имя единственного принципа, оправдываемое мифом о царстве человека, уже воплощается в строительстве укрепленного лагеря на востоке Европы, лицом к лицу с другими укрепленными лагерями.

Последнее царство

Маркс не предвидел столь устрашающего апофеоза. Не предвидел его и Ленин, сделавший, однако, решительный шаг к созданию военизированной империи. Будучи посредственным философом, но хорошим стратегом, он прежде всего был озабочен проблемой захвата власти. Сразу же заметим, что все разговоры о якобинстве Ленина представляются нам неуместными. Якобинской можно назвать лишь его мысль о партии агитаторов и революционеров. Ленин верил только в революцию и в добродетель силы. Он считал, что нужно быть готовым к любым жертвам, пользоваться при случае любыми хитростями и уловками, прибегать к незаконным методам, скрывать истину для того, чтобы проникнуть в профсоюзы, и, несмотря ни на что, выполнить задачу коммуниста. Борьба против формальной морали, начатая Гегелем и Марксом, превратилась у него в критику неэффективных революционных методов. Этот путь вел к коммунистической империи.

Сравнивая два произведения, относящиеся к началу[1] и к концу[2] его агитаторской карьеры, поражаешься тому, что он не уставал беспощадно бороться против сентиментальных форм революционного действия. Он стремился изгнать мораль из революции, ибо вполне резонно полагал, что невозможно установить революционную власть, почитая при этом десять запове-

[1] «Что делать»?, 1902.
[2] «Государство и революция», 1917.

дей. Когда он после первых испытаний появился на подмостках истории, где ему было суждено сыграть столь огромную роль, естественная свобода, с которой он воспринимал мир таким, каким его сделали идеология и экономика предшествующего столетия, выдавала в нем первого человека новой эпохи. Равнодушный к человеческим тревогам и переживаниям, а также к вопросам морали, он берется за рычаги управления и решает, какие добродетели подходят для машинистов локомотива истории, а какие нет. Поначалу он действует на ощупь, колеблется относительно того, не должна ли Россия пройти сперва стадию капиталистического и индустриального развития. Но признание этого означает сомнение в том, что революция может произойти в России. А ведь он — русский, его задача — совершить русскую революцию. И прежде чем приняться за дело, он вышвыривает за борт экономический фатализм. Начиная с 1902 года он открыто заявляет, что рабочие не способны собственными силами выработать собственную идеологию. Он отрицает стихийность масс. Социалистическое учение должно иметь научную основу, заложить которую могут только интеллектуалы. Когда он говорит, что необходимо уничтожить всякую разницу между рабочим и интеллектуалом, это нужно понимать в том смысле, что можно не быть пролетарием, но понимать его интересы лучше, чем он сам. Поэтому Ленин хвалит Лассаля за то, что тот вел ожесточенную борьбу со стихийностью масс. «Теория,— говорит он,— должна подчинить себе стихийность» [1]. Иными словами, это означает, что революция нуждается в вождях и теоретиках.

Он борется одновременно против реформизма, ослабляющего революционный порыв, и против терроризма [2], который казался ему напыщенным и бессмысленным позерством. Революция — явление не только экономическое и духовное, но прежде всего военное. Вплоть до того дня, когда она разразится, революционная деятельность тождественна стратегии. Главный враг — самодержавие, опирающееся на полицию, профессиональную армию политических солдат. Вывод прост: «Борьба с *политической* полицией требует особых качеств, требует революционеров по *профессии*». У революции будет своя кадровая армия наряду с массами, которых можно будет в нужное время призвать под ружье. Этот передовой отряд должен быть сформирован раньше, чем будут организованы массы. Эта «сеть агентов» — таково выражение самого Ленина — предвосхищает приход к власти тайного общества под руководством не знающих колебаний монахов революции: — Мы — младотурки революции с капелькой иезуитства вдобавок,— говорил он.— Начиная с этого момента у пролетариата не остается никакой миссии. Он становится лишь могучим орудием в руках революционных аскетов [1].

Вопрос взятия власти влечет за собой вопрос о государстве, «Государство и революция» (1917), в котором рассматриваются эти проблемы, можно считать самым любопытным и противоречивым из трудов Ленина. В нем он пользуется своим излюбленным методом ссылок на авторитеты. Опираясь на Маркса и Энгельса, Ленин прежде всего ополчается против всякого реформизма, который пытается использовать буржуазное государство, орудие подавления одного класса другим. Буржуазное государство опирается на полицию и армию, поскольку оно прежде всего является орудием угнетения. Оно служит одновременно отражением непримиримого классового антагонизма и насильственного подавления этого антагонизма. Такая власть не заслуживает ничего, кроме презрения. «Даже глава военной власти цивилизованного государства мог бы позавидовать старшине клана, пользующемуся «не из-под палки приобретенным уважением» «общества». Впрочем, уже Энгельс раз и навсегда установил, что понятия государства и свободного общества несовместимы. «Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и бронзовым топором».

Этим, без сомнения, объясняется тот факт, что невнимательные читатели «Государства и революции» относят сей труд на счет анархистских устремлений Ленина и сетуют на странную судьбу учения, столь непримиримого к армии, полиции, палке и бюрократии. Но чтобы понять точку зрения Ленина, необходимо всегда исходить из понятий стратегии. Энергично защищая тезис Энгельса об исчезновении буржуазного государства, Ленин стремится, с одной стороны, помешать распространению чистого «экономизма» Плеханова и Каутского, а с другой — доказать, что правительство Керенского — это буржуазное правительство и поэтому его необходимо свергнуть. Месяцем позже, кстати говоря, оно и было им свергнуто.

Ленину нужно было также дать отповедь тем, кто считал, будто революция тоже нуждается в административном и репрессивном аппарате. Здесь он снова прибегает к пространным ссылкам на Маркса и Энгельса, доказывая их авторитетом, что пролетарское государство организовано совсем не так, как все остальные, и что оно, по определению, находится в постоянном процессе отмирания. «С того времени, как не будет ни одного общественного класса, который надо бы было держать в подавлении... не будет и надобности... в государстве. Первый акт, в котором государство выступает действительно как представитель всего общества — взятие во вла-

[1] То же самое говорил и Маркс: «То, что считают своей целью отдельные пролетарии или даже весь пролетариат в целом, не имеет никакого значения».

[2] Известно, что его старший брат, избравший путь терроризма, был повешен.

[1] Уже Гейне называл социалистов «новыми пуританами». Пуританство и революция в историческом смысле идут в ногу.

дение средств производства от имени общества,— является в то же время последним самостоятельным актом его, как государства... Место правительства над лицами заступает распоряжение вещами и руководство процессами производства. Государство не «отменяется», *оно отмирает*». Буржуазное государство сначала разрушается пролетариатом. А затем, но лишь после этого, рассасывается и пролетарское государство. Диктатура пролетариата необходима для того, чтобы, во-первых, подавить или устранить остатки буржуазных классов и, во-вторых, осуществить обобществление средств производства. Когда обе эти задачи выполнены, она тотчас начинает отмирать.

Ленин, стало быть, исходит из твердого и ясного принципа, что государство отмирает сразу же после того, как обобществление средств производства завершено, а эксплуататорские классы ликвидированы. И однако, в той же самой книге он пытается оправдать установление диктатуры одной из фракций пролетариата над всем остальным народом уже после обобществления средств производства и на неопределенно долгий срок. Его памфлет, в котором он то и дело ссылается на опыт Коммуны, абсолютно противоречит идеям федералистов и антиавторитаристов, которые ее создали; не согласуется оно и с оптимистичными описаниями Маркса и Энгельса. Причина этого проста: Ленин не забыл, что Коммуна потерпела крах. Что же касается методов этого поразительного доказательства, то они еще проще: каждая новая трудность, встающая на пути революции, порождает дополнительные права для Марксова государства. Например, десятком страниц ниже и безо всякого перехода Ленин утверждает необходимость власти для того, чтобы подавить сопротивление эксплуататоров, а также «для *руководства* громадной массой населения, крестьянством, мелкой буржуазией и полупролетариями в деле «налаживания» социалистического хозяйства». Здесь неоспорим поворот: временное правительство Маркса и Энгельса облекается новыми полномочиями, грозящими превратить его в постоянное. Здесь уже угадываются зачатки противоречий между практикой сталинского режима и его же официальной философией. Одно из двух: либо этот режим построил социалистическое бесклассовое общество — и тогда его поддержание силами чудовищного репрессивного аппарата не может быть оправдано марксистской теорией, либо ему не удалось этого сделать — и тем самым он доказал, что марксистское учение ошибочно и что, в частности, обобществление средств производства не означает исчезновения классов. Перед лицом своей официальной доктрины этот режим вынужден либо объявить ее ложной, либо признать, что он предал ее. На самом же деле Ленин, вопреки Марксу, помог восторжествовать в России не только идеям Нечаева и Ткачева, но и теориям Лассаля, провозвестника государственного социализма. Начиная с этого момента история внутренних битв в партии от Ленина до Сталина сводится к борьбе между рабочей демократией и военно-бюрократической диктатурой, между справедливостью и эффективностью.

Временами кажется, что Ленин искал путь примирения между этими двумя крайностями, превознося меры, осуществленные Коммуной: выборы должностных лиц, могущих быть отозванными и получающих жалованье наравне с рабочими; замена буржуазной бюрократии прямым рабочим управлением. Можно даже подумать, что Ленин сочувствует федералистам — ведь он похвально отзывается об учреждении коммун и их представительстве в высшем органе власти. Но затем становится понятно, что этот федерализм проповедуется лишь в той мере, в какой он означает уничтожение парламентаризма. Вопреки исторической правде Ленин выдает его за централизм. И тут же подчеркивает значение диктатуры пролетариата, упрекая анархистов за их непримиримость ко всему, что касается государства. Затем следует, со ссылкой на Энгельса, новое утверждение, оправдывающее поддержание диктатуры пролетариата после национализации, уничтожения буржуазии, и даже наконец-то достигнутого правления масс. Теперь временные рамки политической власти отодвигаются до пределов, установленных самими условиями производства. Окончательное отмирание государства, к примеру, произойдет не раньше того момента, когда всем трудящимся могут быть предоставлены бесплатные жилища. Это и будет высшей фазой коммунизма: «Каждому по потребностям». А до той поры государство будет существовать.

Когда же свершится переход к этой высшей фазе коммунизма, когда каждый будет получать по потребностям? «Этого мы не знаем и знать *не можем*... Ибо материала для решения таких вопросов *нет*». Для большей ясности Ленин — как всегда, произвольно — утверждает, будто «обещать», что высшая фаза развития коммунизма наступит, ни одному социалисту в голову не приходило». Можно сказать, что в этом месте его писаний свобода умирает окончательно. От идеи правления масс, от понятия пролетарской революции делается переход к революции, осуществляемой и руководимой профессиональными агентами. Затем беспощадная критика государства сопрягается с признанием неизбежной, но временной диктатуры в лице ее вождей. И наконец, объявляется, что невозможно предвидеть конец такого временного состояния; более того, никто не в силах сказать, окончится ли оно вообще. После всего этого вполне логичными выглядят такие факты, как утрата Советами своей самостоятельности, объявление Махно вне закона и подавление партией мятежа кронштадтских моряков.

Само собой разумеется, что многие из утверждений Ленина, пылкого поборника справедливости, еще могут быть противопоставлены реальности сталинского режима — взять хотя бы теорию отмирания государства. Даже если согласиться с тем, что пролетарское государство не может самоустраниться сразу, следовало бы ожидать, что оно, в соответствии с марксистским учением, проявит тенденцию к самоустранению и будет становиться все менее

и менее репрессивным. Нет сомнения, что Ленин верил в неизбежность этой тенденции, но его надежды не оправдались. За тридцать лет существования пролетарское государство не выказало ни малейших признаков прогрессирующего малокровия. Напротив, оно неуклонно процветает. Но вернемся к Ленину. Двумя годами позже он, под давлением внешних и внутренних событий, сделал некоторые уточнения, позволяющие предвидеть бесконечное сохранение пролетарского сверхгосударства. Этой машиной или дубиной он предполагал разгромить всякую эксплуатацию, и когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не останется владельцев земли, владельцев фабрик, не будет так, что одни пресыщаются, а другие голодают,— лишь тогда, когда возможностей к этому не останется, эту машину можно будет отдать на слом. Стало быть, до тех пор, пока хоть где-нибудь на земле, а не только в определенном обществе, сохранится хоть один угнетенный или собственник, государство продолжит свое существование. И все это время ему предстоит крепнуть, чтобы одну за другой одолевать все формы несправедливости, побеждать упрямые буржуазные государства и народы, ослепленные своекорыстными интересами. И лишь когда на земле, наконец-то покоренной и очищенной от противников, последняя несправедливость будет потоплена в крови праведников и злодеев, государство, достигшее вершины своего могущества, этот чудовищный идол, поправший весь мир, благоразумно устранится из немотствующего Града справедливости.

Империализм справедливости зарождается вместе с Лениным — зарождается под давлением империалистических противников, которое, впрочем, можно было предвидеть. Но у всякого империализма — даже справедливого — всего два выбора: либо погибнуть, либо создать мировую империю. А до той поры в его распоряжении нет иных средств, кроме несправедливости. Доктрина отождествляется с пророчеством. Ради грядущей справедливости она узаконивает несправедливость на протяжении всей истории, превращаясь в ту самую мистификацию, которую сам Ленин ненавидел сильнее, чем кто бы то ни было. Суля людям чудеса, доктрина вынуждает их смириться с несправедливостью, преступлением и ложью. Все больше продукции, все больше власти, непосильный труд, бесконечные лишения, беспрерывные войны — и вот наконец настает момент, когда всеобщее рабство в тотальной империи чудесным образом превращается в собственную противоположность: свободный отдых во всемирной республике. Псевдореволюционная мистификация обрела теперь свое кредо: необходимо задушить всякую свободу, чтобы построить империю, которая в один прекрасный день станет свободной. Путь к единству пролегает через тотальность.

Тотальность и судилища

Ибо тотальность, в сущности, есть не что иное, как извечное стремление к единству, свойственное как верующим, так и бунтарям, но низверженное теперь влашмя на обезбоженную землю. Отречение от всех ценностей в таком случае равнозначно отречению от бунта ради Империи и рабства. Критика формальных ценностей не может тогда не коснуться идеи свободы. Признав невозможность зарождения в недрах бунта того свободного индивида, о котором мечтали романтики, мы должны признать, что и сама свобода оказывается включенной в исторический процесс. Она становится свободой в борьбе, а бытие борьбы определяется действием. Отождествляемая с поступательным ходом истории, свобода может принести плоды только по завершении исторического процесса, во вселенском Граде. А до тех пор каждое ее завоевание будет спорным и, следовательно, бессмысленным. Немецкий народ освободился от угнетавших его держав Антанты лишь ценой свободы каждого немца. Отдельные личности при тотальном режиме порабощены, хотя человеческий коллектив можно считать освобожденным. В конце концов, когда Империя освободит весь род человеческий, свобода будет царить над скопищем рабов, освобожденных и от Бога, и от всего трансцендентного. Именно здесь проясняется пресловутое диалектическое чудо, переход количества в качество: всеобщее рабство выступает отныне под именем свободы. Но превращение это, как и во всех примерах, приводимых Гегелем и Марксом, ни в коей мере не является объективным, это всего лишь произвольная подмена одного названия другим. Чудес не бывает. Если единственная надежда нигилизма заключается в том, что миллионы рабов в одно прекрасное утро превратятся в навеки свободное человечество, то всю историю следует считать всего-навсего несбыточным сном. Историческая мысль должна была освободить человека от покорности Богу, но это освобождение требует от него абсолютного подчинения становлению. И человеку приходится тогда прибегать к авторитету партии, как раньше он прибегал к алтарю. Вот почему эпоха, заносчиво именующая себя сверхреволюционной, вербует своих пособников только среди соглашателей. Подлинной страстью XX века является страсть к рабству.

Но тотальную свободу завоевать ничуть не легче, чем свободу личную. Чтобы обеспечить власть человека над миром, нужно отсечь от мира и человека все, что не подвластно Империи, все, что несовместимо с царством количества: это предприятие безгранично во всех трех измерениях истории — в пространстве, во времени, в человеческой душе. Империя — это война, мракобесие и тирания, отчаянно клянущиеся, что когда-нибудь они превратятся в братство, истину и свободу: к этому их принуждает логика собственных постулатов. В сегодняшней России, даже среди коммунистов, существует, без сомнения, истина, отрицающая сталинскую идеологию. Но у этой идеологии есть своя логика, которую необходимо вычленить и выставить на всеобщее обозрение, дабы революционный дух избежал окончательного вырождения.

Циничная интервенция западных армий против советской революции, помимо всего прочего, показала советским революцио-

нерам, что война и национализм столь же реальны, как и классовая борьба. Лишенная международной пролетарской поддержки, которая должна была бы возникнуть сама собой, внутренняя революция может считаться жизнеспособной только при условии создания некоего международного порядка. Исходя из этого, следует признать, что построение вселенского Града возможно только при двух условиях. Либо осуществление почти одновременных революций во всех крупных странах мира, либо ликвидация военным путем буржуазных наций; либо перманентная революция, либо постоянная война. Как известно, первая точка зрения едва ли не восторжествовала. Революционные движения в Германии, Италии и Франции ознаменовались высочайшим взлетом революционных надежд. Но подавление этих революций и вытекающее отсюда укрепление капиталистических режимов сделало войну реальностью революции. И тогда философия просвещения обернулась в Европе буднями затмения. Вселенский Град, который предполагалось заложить путем стихийного восстания угнетенных, в силу логики истории и революционной доктрины был мало-помалу перекрыт Империей, навязанной посредством силы. Энгельс, поддержанный Марксом, хладнокровно воспринял эту перспективу в своем ответе на «Призыв к славянам» Бакунина: «Ближайшая мировая война сметет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные нации. Это тоже составляет часть прогресса». Такой прогресс, по мысли Энгельса, должен был уничтожить царскую Россию. Сегодня русский народ перевернул направление прогресса. Война, как холодная, так и горячая, состоит на службе у всемирной Империи. Но, став имперской, революция заходит в тупик. Не отрекшись от своих ложных принципов, чтобы вернуться к истокам бунта, она будет означать только поддержание власти тотальной диктатуры над сотнями миллионов людей на протяжении многих поколений, вплоть до самопроизвольного распада капитализма или — если она захочет ускорить создание Града людей — до атомной войны, к которой она не стремится и после которой от любого града останутся только развалины. Согласно законам той самой истории, которую она так опрометчиво обоготворила, мировая революция обречена полиции и бомбе. И тем самым поставлена перед дополнительным противоречием. Принесение в жертву морали и добродетели, принятие всех мер, которые она постоянно оправдывала преследуемой ею целью, могут быть приемлемы, строго говоря, лишь при том условии, что вооруженный мир, сохраняющий диктатуру до бесконечности, означает бесконечное отрицание такой цели. Тем более, что опасность войны делает эту цель почти недостижимой. Расширение мировой Империи в пространстве является одним из неизбежных условий революции XX века. Но эта неизбежность ставит ее перед второй дилеммой: обрести новые принципы — или отречься от справедливости и мира, к окончательному воцарению которых она стремилась.

Не успев подчинить себе пространство, Империя с той же неотвратимостью берется за покорение времени. Отрицая любую стабильную истину, она доходит до отрицания самой низшей формы, в которую облекается истина, до отрицания истории. Она переносит пока что невозможную во всемирном масштабе революцию в прошлое, которое она силится уничтожить. И в этом, разумеется, есть своя логика. Всякая связь между человеческим прошлым и будущим, не являющаяся чисто экономической, предполагает некую константу, которая, в свою очередь, может напомнить о человеческой натуре. Подспудная связь, которую Маркс, будучи культурным человеком, находил между различными цивилизациями, грозила вырваться за пределы его построений и выявить естественные формы преемственности, перекрывающие преемственность экономическую. Русский коммунизм был мало-помалу вынужден разрушить все мосты между прошлым и будущим, разорвать непрерывный процесс становления. Отрицание гениев-еретиков (а почти все они еретики), неприятие вклада цивилизации, искусства в той мере, в какой он неподвластен истории, разрыв с живыми традициями — все это привело к тому, что марксизм понемногу стал замыкаться во все более узких рамках. Теперь он уже не только отрицал или замалчивал все то, что во всемирной истории было несовместимо с его учением, не только отвергал достижения современной науки. Ему предстояло теперь перелицевать историю, даже самую недавнюю, хорошо известную, и прежде всего — историю партии и революции. Из года в год, а порой из месяца в месяц «Правда» сама себя исправляет, фальсифицированные издания официальной истории следуют одно за другим, Ленин подвергается цензуре, Маркс не издается. При таком положении дел было бы несправедливым сравнение даже с религиозным обскурантизмом. Церковь никогда не доходила до утверждений, будто господь проявился сначала в двух лицах, потом в четырех или трех, а потом снова в двух. Ускорение, свойственное нашему времени, затрагивает и процесс фабрикации истины, которая при подобном ритме превращается в чистую иллюзию. Подобно ткачам из народной сказки, ткавшим из пустоты наряд короля, тысячи людей, выбравших себе довольно странную профессию, каждый день переделывают призрачную, не успевающую дожить до вечера историю, ожидая, что вот-вот прозвенит спокойный детский голосок, объявляющий, что король-то голый. Этот голосок бунта подтвердит тогда то, что уже сейчас может увидеть всякий: что революция, обреченная ради выживания либо отрицать свое всемирное призвание, либо отречься от самой себя, чтобы стать всемирной, покоится на ложных принципах.

А пока эти принципы продолжают править миллионами людей. Имперская мечта, облеченная в реальности времени и пространства, утоляет свою ненасытную жажду соками живой человеческой личности. Личности враждебны Империи не просто как индивиды — иначе хватило бы вполне традиционного террора. Личность враждебна

ей в той мере, в какой человеческая натура не могла до сих пор жить только историей и везде от нее так или иначе ускользала. Империя предполагает отрицание и уверенность уверенность в бесконечной податливости человека и отрицание человеческой природы. Техника пропаганды служит тому, чтобы определить меру этой податливости и постараться свести рефлексию человека к условным рефлексам. Она побуждает его заключить пакт с тем, кто в течение долгих лет считался смертельным врагом. Более того, она позволяет затем преобразовать полученный таким образом психологический эффект и заново выдрессировать целый народ, настроив его против этого врага. Хотя опыты еще не окончены, их принципы вполне поддаются осмыслению. Если человеческая природа — это фикция, податливость человека и впрямь бесконечна. Политический реализм, достигнувший этой ступени,— это уже разнузданный романтизм, романтизм эффективности.

Этим объясняется тот факт, что русский марксизм в общем и целом отвергает мир иррационального. Хотя очень неплохо умеет им пользоваться. Иррациональное может служить Империи с таким успехом, с каким способно ее подорвать. Но оно не поддается расчету, а в Империи все должно быть рассчитано. Человек — всего лишь игрушка внешних сил, которыми можно рационально управлять. Иные безрассудные марксисты пытались, например, примирить свою доктрину с теориями Фрейда. Это было немедленно поставлено им в вину. Фрейд — еретический и «мелкобуржуазный» мыслитель, он вытащил на свет бессознательное, признав за ним по меньшей мере такую же реальность, как за «сверх-я» или социальным «я». Ведь отсюда недалеко и до того, чтобы признать за бессознательным определяющую роль в человеческой натуре, противопоставив ее историческому «я». А человек должен сводиться к своему общественному и рациональному «я», которое поддается расчетам. Стало быть, необходимо закабалить не только человеческую жизнь, но и то глубоко иррациональное, глубоко личностное событие, в ожидании которого человек проводит всю свою жизнь. В своем судорожном порыве к конечному царству Империя тщится пресуществить в себе даже саму смерть.

Можно поработить живого человека, низвести его до уровня вещи. Но, предпочитая смерть рабству, он утверждает свою человеческую природу, неподвластную царству вещей. Вот почему обвиняемого судят и казнят прилюдно только тогда, когда он соглашается признать, что его смерть справедлива и сообразна с Империей вещей. Нужно либо умереть обесчещенным, либо просто перестать быть — как в жизни, так и в смерти. В последнем случае люди не умирают, а исчезают. Сходным образом, если приговоренный несет наказание, оно безмолвно вопиет к небесам и тем самым вносит разлад в тотальность. Но приговоренного не наказывают, а только перемещают в пределах этой тотальности, этой имперской махины. Он превращается в винтик производственного механизма, винтик столь для него необходимый, что в дальнейшем считается, будто он стал им не по своей вине, а повинен в том, что в нем нуждается этот механизм. Русская концентрационная система и впрямь осуществила диалектический переход от правления лицами к управлению вещами, спутав при этом личность с вещью.

Даже враг должен участвовать в общем деле. Вне Империи нет спасения. Империя есть или будет царством дружбы. Но дружбы между вещами, ибо друга нельзя предпочесть Империи. Дружба между личностями является — лучшего определения не подобрать — особым видом сплоченности до самой смерти перед лицом всего того, что противостоит царству дружбы. А дружба между вещами — это дружба вообще, предполагающая, в случае необходимости, донос на каждого. Любящий своего друга или подругу любит их такими, какие они есть; революция любит человека таким, каким он должен быть. В каком-то смысле любовь — это убийство совершенного человека, которого должна породить революция. Ведь чтобы прожить хоть один день, он должен уже сейчас предпочитаться всему на свете. В царстве личностей люди связаны между собой любовью, в Империи вещей — правом на донос. Град, стремившийся стать воплощением братства, стал муравейником, где кишат одиночки.

С другой стороны, только дошедший до иррационального остервенения зверь в человеческом обличье может додуматься до садистских пыток людей, чтобы выбить у них согласие. В этом случае происходит как бы омерзительное совокупление личностей, из коих одна подавляет другую. Представитель рациональной тотальности, напротив, довольствуется тем, что позволяет вещному началу в человеке одержать верх над личностным. Сперва посредством полицейского промывания мозгов высшие духовные начала в человеке сводятся к низшим. Затем следует пять, десять, двадцать бессонных ночей, в результате которых появляется на свет новая мертвая душа, проникнутая иллюзорной убежденностью. С этой точки зрения единственная подлинная психологическая революция нашего времени, после Фрейда, была осуществлена органами НКВД и вообще политической полицией. Исходя из детерминистской гипотезы, высчитав все слабые точки человеческой души и степень ее податливости, эта новая психотехника раздвинула одну из границ человеческого существа и попыталась доказать, что индивидуальная психология отнюдь не изначальна и что общей мерой человеческих характеров является их вещная основа. Она в буквальном смысле слова создала физику души.

Тем самым были преобразованы традиционные человеческие отношения. Эти последовательные преобразования характеризуют мир рационального террора, в большей или меньшей степени захлестнувшего всю Европу. На смену диалогу, отношению двух личностей, пришли пропаганда и полемика, то есть два вида монолога. Абстракции, присущие миру силы и расчета, заняли место подлинных страстей, порождае-

мых сферой плоти и иррациональности. Хлебные карточки заменили хлеб, дружба и любовь подчинились сухому доктринерству, судьба — плану, приговоры стали нормой жизни, производство пришло на смену живому творчеству. Таково теперь положение вещей в этой обескровленной Европе, населенной самодовольными или покорными призраками силы. «Достойно жалости общество, не знающее лучшего защитника, чем палач!» — воскликнул когда-то Маркс. Но в те времена палачи еще не были философами или, по крайней мере, не претендовали на роль филантропов во всемирном масштабе.

Основное противоречие величайшей революции в истории состоит в том, что она стремилась к достижению справедливости посредством бесконечной череды беззаконий и насилия. Рабства и обмана было сколько угодно во все времена. Ее трагедия — это трагедия нигилизма, сливающаяся с драмой современного разума, который, претендуя на универсальность, только концентрирует в себе все человеческие увечья и уродства. Тотальность — это не единство; осадное положение, даже распространившись на весь мир, не означает примирения. Требования вселенского Града сохраняются в этой революции только за счет того, что отрицается две трети человечества и великое наследие веков, природа и красота отдаются на закланне во имя истории, а человек лишается силы страстей, сомнений, радостей, творческого воображения, словом, всего, что составляло его величие. Принципы, избираемые людьми, в конце концов берут верх над самыми благородными их стремлениями. В силу беспрестанных словопрений, схваток, полемик, отлучений, чисток и преследований вселенский Град свободы и братства мало-помалу уступает место той единственной в своем роде вселенной, чьими высшими мерилами являются история и сила,— вселенной судилищ.

В основе каждой религии лежат понятия невинности и вины. Однако Прометей, первый бунтовщик, отвергал право казнить и миловать. Даже сам Зевс не был достаточно невинным для того, чтобы воспользоваться этим правом. Первоначально бунт отвергает законность любого возмездия. Но в своем последнем воплощении, в конце своего изнурительного пути, бунтовщик возвращается к религиозному понятию возмездия и помещает его в центр своей вселенной. Высший судия находится теперь не на небесах, он принимает обличье истории, ставшей неумолимым божеством. Сама история есть не что иное, как затянувшееся наказание, поскольку подлинные вознаграждения в ней откладываются до конца времен. Здесь мы, разумеется, далеки от Маркса и Гегеля, и уж тем паче от первых бунтарей. И однако, всякая чисто историческая мысль приводит именно к этим безднам. Поскольку Маркс предсказывал неизбежное появление бесклассового общества, поскольку он утверждал, таким образом, добрую волю истории, любое замедление освободительного хода истории следует вменить в вину злой воле человека. Маркс ввел в дехристианизированный мир понятия греха и возмездия, но соотнес их с историей В каком-то смысле марксизм — это учение о вине человека и невинности истории. До захвата власти коммунистами историческим воплощением этих понятий было революционное насилие, на вершине их власти оно стало насилием узаконенным, то есть террором и судилищем.

Впрочем, в религиозной вселенной истинное возмездие откладывается на будущее; вовсе не обязательно, чтобы преступление незамедлительно наказывалось, а невинность освящалась. В новой вселенной, напротив, приговор, вынесенный историей, должен быть незамедлительно приведен в исполнение, ибо там виновность совпадает с поражением и наказанием. История осудила Бухарина потому, что обрекла его на смерть. И провозгласила невиновность Сталина — ведь он находится на вершине власти. В настоящее время происходит судилище над Тито, как некогда оно происходило над Троцким, чья вина для знатоков исторических преступлений стала ясна лишь после того, как на его голову обрушился ледоруб убийцы. Так же обстоит дело и с Тито, о котором пока доподлинно неизвестно, виновен он или нет. Он уже обличен, но еще не повержен. Когда это произойдет, его вина будет установлена. Впрочем, временная невиновность Троцкого и Тито зависела и зависит главным образом от географии: они были слишком далеко от карающей десницы. Вот почему следует незамедлительно судить тех, до кого эта десница может дотянуться. Окончательный суд истории зависит от множества приговоров, вынесенных сегодня,— приговоров, которые когда-нибудь будут окончательно утверждены или отменены. В день, когда будет достроен новый мир, соберется всемирный трибунал, обещающий нам ряд поразительных реабилитаций. Кто-то из обвиняемых, в свое время признавший себя презренным предателем, войдет в человеческий Пантеон. А другие навеки останутся в исторической преисподней. Но кто же будет их судить? Его величество человек, наконец-то принявший обличье юного божества. А до тех пор этим будут заниматься только люди, наделенные пророческим даром, способные вычитывать в истории смысл, который они сами в нее вложили; именно им надлежит выносить приговоры: смертные — обвиняемым, предварительные — самим судьям. Ведь случается и так, что бывшие судьи — Райк, например,— в свой черед предстают перед судом. Значит ли это, что Райк разучился как следует вчитываться в историю? Его падение и гибель служат этому доказательством. Но где порука тому, что теперешние судьи тоже не превратятся в предателей и не будут сброшены с высоты своих трибун на цементные полы застенков, где корчатся в смертных муках те, кого заклеймила проклятием история? Единственная порука — в их непогрешимой прозорливости. Что служит ее доказательством? Их неизменная удачливость. Мир судилищ — это кругообразная вселенная, где удачливость и невинность удостоверяют друг друга, где все зеркала отражают одну и ту же ложь и мистификацию.

Существует, таким образом, нечто вроде

исторического провидения[1], в чьи замыслы дано проникнуть только властям предержащим,— именно оно казнит и милует подданных Империи. И нет у них иной защиты от капризов этого провидения, кроме веры, по крайней мере, той ее разновидности, что описана в «Духовных упражениях» Игнатия Лойолы: «Дабы избежать заблуждения, мы должны быть всегда готовы счесть черным то, что нам видится белым, если это предписывается духовными властями». Только эта действенная вера в представителей истины может спасти подданного Империи от неожиданных исторических катастроф. Но и тогда он не в силах оправдаться перед вселенной судилищ, с которой его навсегда связывает историческое чувство страха. А без этой веры он рискует в любой миг помимо собственной воли и при самых благих намерениях превратиться в объективного преступника.

В этом понятии заключена наивысшая суть вселенной судилищ. Круг замыкается. Извращенным итогом затяжного бунта во имя человеческой невиновности становится понятие всеобщей вины. Преступник — это как раз тот, кто мнит себя невиновным. Субъективно он считает свои действия безвредными или даже полезными для будущего справедливости. Но ему доказывают, что с объективной точки зрения они вредят этому будущему. Следует ли считать эту объективность научной? Нет, это объективность историческая. Кто может сказать, например, не повредит ли будущей справедливости необдуманное обличение теперешних беззаконий? Истинная объективность заключалась бы в суждениях, опирающихся на результаты научных наблюдений, на факты, тенденции развития. Что же касается понятия объективной виновности, то эта диковинная объективность основывается на фактах и результатах, которые будут доступны только науке 2000 года, не раньше. А до тех пор она будет воплощаться в беспредельной субъективности, навязываемой другим как объективность: таково философское определение террора. Эта объективность лишена всякого определимого смысла, однако власть вложит в нее определенное содержание, объявив преступным все, чего она не одобряет. Она заявит сама или предоставит сделать это философам, живущим вне пределов Империи, что таким образом берет на себя ответственность за ход развития истории, подобно тому как это делает, сам того не зная, объективный преступник. Вещь будет осуждена позже, когда уже не останется ни жертв, ни палачей. Но такое оправдание годится только для палача, который вовсе в нем не нуждается. А пока верноподданные регулярно приглашаются на странные пиршества, во время которых, согласно раз и навсегда установленным обрядам, преисполненные раскаяния люди приносятся в жертву богу истории.

Прямое назначение этого понятия сводится к искоренению безразличия в вопросах веры. Это нечто вроде принудительной евангелизации. Закон, обеспечивающий преследование подозреваемых, сам же их и порождает. А породив, обращает в истинную веру. В буржуазном обществе предполагается, что каждый гражданин одобряет его законы. В обществе объективной вины считается, что он должен их отрицать. Или, по крайней мере, должен в любой миг представить доказательства того, что он их не осуждает. Виновность выражается там не в действиях, а в простом отсутствии веры, чем, кстати, объясняется внешняя противоречивость «объективной» системы. При капиталистическом строе человек, объявляющий себя нейтральным, считается объективно благосклонным по отношению к строю. Нейтральная позиция в Империи рассматривается как объективно враждебная по отношению к ее режиму. И в этом нет ничего удивительного. Если подданный Империи не верит в Империю, это значит, что он сам выбрал историческое уничтожение: он выступает против истории, он богохульствует. Внешнего исповедания веры уже недостаточно; она должна стать основой жизни и деятельности человека, который, помимо прочего, должен быть постоянно готов к изменению ее догматов. При малейшем просчете его потенциальная виновность может стать фактической. Завершая историю на свой лад, революция не довольствуется расправой с любым проявлением бунтарства. Она стремится к тому, чтобы каждый человек, не исключая последнего раба, нес ответственность за то, что в мире существовал и продолжает существовать дух бунтарства. В этой наконец-то созданной и завершенной вселенной судилищ целые толпы виновных обречены без конца шагать к недостижимой невиновности под горьким взглядом великих инквизиторов. Власть в XX веке неотделима от чувства тоски.

* * *

Здесь завершаются поразительные странствия Прометея. Во всеуслышанье заявляя о своей ненависти к богам и любви к людям, он с презрением отворачивается от Зевса и нисходит к смертным, чтобы повести их на штурм неба. Но люди слабы или трусливы: их необходимо сплотить. Они не любят откладывать наслаждения на завтра, они жаждут немедленного счастья, а ведь, не отказавшись от жизненных услад, им не обрести величия. И вот Прометей в свой черед становится господином и наставником, сначала обучающим, а потом и повелевающим. Борьба не прекращается, а только ужесточается. Люди сомневаются в том, что город солнца достижим, не верят в само его существование. Нужно спасти людей от них самих. Герой объявляет им, что ему — ему одному — знаком этот город. Сомневающиеся будут изгнаны в пустыню, пригвождены к скалам, станут добычей стервятников. Остальные побредут вслепую за своим задумчивым и одиноким предводителем. Прометей становится божеством и единовластно царит над человеческим одиночеством. Но он унаследовал от Зевса только его одиночество и жестокость; он уже не Прометей, он превратился в Цеза-

[1] «Хитрость разума» в исторической вселенной покоится на проблеме зла.

ря. Истинный, извечный Прометей принял обличье одной из его жертв. Вопль, донесшийся до нас из глубины веков, до сих пор не смолкает в скифской пустыне.

В интервью, данном Альбером Камю перед вручением ему Нобелевской премии, он говорил о двух этапах своего творчества, двух циклах философских и литературных работ. Теме абсурда посвящены произведения, начатые в 30-е годы и вышедшие во время войны: философское эссе «Миф о Сизифе», повесть «Посторонний» и пьеса «Калигула». Теме бунта — эссе «Человек бунтующий», роман «Чума» и пьеса «Праведники». В первом цикле представлено отрицание, второй решает положительные задачи; оба были задуманы одновременно и воплощены последовательно.

В ретроспективе такая картина выглядит логично, однако путь Камю от абсурда к бунту, от нигилистического отрицания к утверждению универсальных ценностей был более сложен и противоречив. Философские воззрения Камю претерпели значительные изменения, не менялся только исходный пункт — констатация абсурдности человеческого удела. Всем своим творчеством Камю отвечал на вопрос: как человеку жить в мире без высшего смысла и без благодати?

Сам по себе мир не абсурден, он просто неразумен, не имеет ничего общего с нашими желаниями и поисками смысла. Не абсурден и человек, вопрошающий о смысле всего сущего и собственной жизни. Абсурд — это отношение между ними, раскол, пропасть между устремлениями «мыслящего тростника» и молчанием мира. В «Мифе о Сизифе» Камю отвергает самоубийство, уничтожающее один полюс абсурдного отношения — взыскующего смысла человека. Такое же бегство от абсурда представляет собой «философское самоубийство». На место ясности мышления здесь приходят иллюзии, желаемое принимается за действительное, миру приписываются человеческие черты — разум, любовь, милосердие и т. п. Очевидная бессмыслица преобразуется в замаскированную, человек примиряется со своим уделом. «Скачок» через «абсурдные стены» мира утверждает наличие последнего смысла, порядка, промысла. И философские поиски абсолюта, и религиозную веру Камю считает замутнением ясности видения, примирением человека с бессмысленностью страдания и смерти.

Подлинным ответом на абсурд он полагает бунт индивида против своего удела. В «Мифе о Сизифе» бунт предстает как «борьба интеллекта с превосходящей его реальностью», «зрелище человеческой гордыни», «отказ от примирения». Абсурд требуется не уничтожать самоубийством или «скачком», его нужно максимально полно изжить. Ясность видения своего удела и полнота переживания — вот ценности абсурдного человека. На нем нет греха, становление «невинно», единственной шкалой для оценки существования является подлинность выбора, самопреодоление. Без ницшеанского энтузиазма Камю принимает вывод «все позволено» — нет никаких предзаданных ценностей, они создаются самим человеком.

Ко времени завершения работы над «Мифом о Сизифе» у Камю уже накопились сомнения по поводу такого «самопреодоления». В пьесе «Калигула» император сделал вполне приемлемые с точки зрения абсурда выводы из наблюдения «люди умирают, и они несчастливы» — он стал «бичом божьим», «чумой». Не воспетые Мальро, а реальные завоеватели имели тогда полное право устроить всемирный хоровод смерти. Абсурдный человек может отправиться в Африку лечить прокаженных, но он с теми же основаниями может загонять других в лагерные печи — «все позволено». В «Письмах немецкому другу», в цикле статей «Ни жертвы, ни палачи» постепенно формируется тот круг идей, который получил окончательный вид в «Человеке бунтующем».

Если «Миф о Сизифе» начинался с вопроса о допустимости самоубийства, то «Человек бунтующий» с начала и до конца является отрицанием всяких оправданий убийству. Люди во все времена убивали друг друга — это истина факта. Тот, кто убивает в порыве страсти, предстает перед судом, иногда его отправляют на гильотину. Но сегодня подлинную угрозу представляют не преступные одиночки, а добропорядочные государственные чиновники, хладнокровно отправляющие на смерть миллионы людей, оправдывающие массовые убийства логикой истории, интересами нации, государственной безопасности, прогресса. Человек XX века оказался перед лицом тоталитарных идеологий, служащих легитимации убийств. Конечно, и ранее церкви благословляли войны, казнили еретиков, но каждый христианин все-таки знал, что сказано «не убий», что убийство — тягчайший грех. На скрижалях нашего века написано: «Убивай», а потому свою задачу Камю видит в исследовании идейных истоков этой максимы тоталитаризма. Проблема заключается в том, что сами тоталитарные идеологии родились из бунта, преобразившегося в нигилистическое своеволие.

Понятны трудности, с которыми сталкивается Камю. Христианским мыслителям было просто осуждать нигилизм вместе со всяким бунтом, представляющим собой «люциферов грех» гордыни. Политические революции и «штурм неба» шли рука об руку последние два века, и проще всего объявить их «бесовством». Только тогда нужно быть последовательным, и вместе с де Местром провозгласить палача подлинным хранителем христианства. Камю считает бунт оправданным: бунтарь встает с колен, говорит «нет» угнетателю, проводит границу, с которой должен считаться тот, кто полагал себя господином. Отказ от рабского удела одновременно утверждает свободу, равенство и человеческое достоинство каждого. Из бунта рождается сопричастность, солидарность людей: не просто раб свергает господина, но че-

ловек восстает против мира господ и рабов. Благодаря бунту в истории есть нечто большее, чем закон силы — им утверждается ценность человеческой жизни. Бунт против несправедливости человеческого удела есть бунт против смерти, и уже поэтому он лишает всяких оправданий убийство.

Однако мятежный раб может перейти этот устанавливаемый бунтом предел, он желает сделаться господином, и бунт вырождается сначала в тотальную революцию, а затем — в кровавую диктатуру. В прошлом, по мнению Камю, революционное движение «никогда реально не отрывалось от своих моральных, евангелических и идеалистических корней». Сегодня политическая революция соединяется с выводами, сделанными из метафизического бунта. Сам по себе этот бунт против небесного демиурга также имеет свое оправдание, он означает отказ от примирения со своим уделом. Но из утверждения земного существования метафизический бунт превратился в отрицание всяких ценностей, в не знающее границ своеволие.

Метафизический бунт маркиза де Сада, денди, романтиков, проклятых поэтов, сюрреалистов, Штирнера, Ницше отвергает вместе с космическим вседержителем и нравственный миропорядок. Богоубийство и цареубийство, метафизический и исторический бунт идут навстречу друг другу. Людовика XVI казнили еще во имя торжества «всеобщей воли» и республиканской добродетели, но вместе с принцепсом были убиты и все принципы. «От гуманистических идиллий XVIII века ведет прямая дорога к кровавым эшафотам,— писал Камю в «Размышлении о гильотине»,— и нынешние палачи, как известно,— гуманисты». Еще один шаг — и восставшими массами руководят полностью освободившиеся от моральных запретов «человекобоги», настает время «шигалевщины», а она в свою очередь возводит на трон новых цезарей.

Такое соединение метафизического бунта с историческим было опосредовано «немецкой идеологией». В одном из интервью Камю говорил: «Злые гении Европы носят имена философов: их зовут Гегель, Маркс и Ницше... Мы живем в их Европе, в Европе, ими созданной». Эти философы, а также Фейербах, русские мыслители, воспринявшие «немецкую идеологию»,— вот источник современного нигилизма.

В философии истории Гегеля, по мнению Камю, происходит окончательное растворение всех трансцендентных ценностей в историческом процессе. Нет ничего выше суда истории, а он заявляет о себе в победе сильнейшего — на его стороне историческая закономерность, логика объективного духа. Единственным императивом становится эффективность действия. Установить, кто же был глашатаем исторического разума, можно только с концом истории, а пока оправдана борьба. Раб из гегелевской «Феноменологии духа» знает, что история тотальна, и ему не остается ничего, кроме труда и борьбы. Итогом всех коллизий истории будет абсолютное государство, воздвигнутое солдатами-рабочими. Тогда, и только тогда, осуществится примирение противоположностей, «всеобщая история в качестве всемирного трибунала вынесет свой приговор». Всякая мораль временна, нужно жить и действовать в зависимости от будущего. Ради движения к цели всей истории можно пожертвовать всем — тотальность выше составляющих ее частей.

Конечно, Камю упрощает гегелевскую философию, у него можно найти немало спорных оценок и других мыслителей прошлого. Скажем, Фейербах не был «государственником», Герцен не восхвалял русского нигилизма. Имеются и фактические ошибки, натяжки. Всякому, кто знает труды Ленина, бросается в глаза, что Камю пользуется исключительно двумя произведениями — «Что делать?» и «Государство и революция». Но не Камю была придумана предложенная им интерпретация работ Гегеля, Ницше, Маркса, Ленина. Достаточно вспомнить, что именно на вышеуказанных работах Ленина держалась система «доказательств» партийных идеологов, обосновывавших всевластие аппарата и «вождей». Ницше и Маркс не несут прямой ответственности за деяния своих учеников, но вопрос об интеллектуальной ответственности мыслителя ставится Камю вполне правомерно. «Пророчество» обладает своей логикой развития и может не иметь ничего общего с благими пожеланиями создателя доктрины; однако не из всякого учения можно вывести необходимость массовых убийств.

Но признание ответственности мыслителей за свои *слова* все же не стоит смешивать с ответственностью за *дела*, тогда как у Камю они разделяются не всегда достаточно четко. Всякая разработанная идеологическая система, в особенности тоталитарная, предполагает такое переосмысление истории, что даже мыслители глубокой древности превращаются в предтеч и даже в «борцов». Появляется целое сословие истолкователей-талмудистов, подбирающих необходимые цитаты или вбивающих всю премудрость веков в какой-нибудь «краткий курс». За интерпретацию несут ответственность интерпретаторы, они руководствуются политической конъюнктурой, которая в свою очередь связана с многообразными историческими обстоятельствами, независимыми не только от философских идей, но и от идеологических доктрин. Тоталитарные режимы появились в Европе не волею «злых гениев», а в результате первой мировой войны, которую ни в малейшей мере не подготавливали все перечисленные Камю метафизические бунтари, поэты, анархисты, философы и революционеры. Моральные и политические принципы европейской цивилизации рухнули в окопы войны, оправдываемой с амвонов и кафедр. Не будь этой войны, и Гитлер остался бы второразрядным копиистом, Муссолини редактировал бы газету, а о Троцком и Сталине можно было бы прочитать только в примечаниях к самому дотошному исследованию по истории рабочего движения.

При всех имеющихся неточностях, предложенная Камю генеалогия нигилизма верна в главном: освободительный бунт преобразился в свою противоположность.

Когда история сделалась божеством, ее священнослужителями становятся идеологи и следователи. Но и отказ от истории во имя вечных ценностей является, с точки зрения Камю, нигилистичным. Тот, кто готов примириться с выпавшим на его долю существованием, отрекается от себя самого — он получает все свое бытие от угнетателя и ссылается на вечное, чтобы оправдать собственное ничтожество. Консервативный нигилист ссылается на веру в абсолютные ценности, но тем самым оправдывает «мир во зле лежащий». Активный нигилист торопит историю, он желает обрести бытие, стать самим собой в будущем, но реально он также лишен бытия. Примирения между представителями этих двух позиций внешне нет, но «йог и комиссар» (Кёстлер) на деле дополняют друг друга. И тот, и другой враждебны ценностям, которые несет бунт. Он не отдает всего человека истории, но он не смиряется и с абсолютами. Более того, с точки зрения Камю, «немецкая идеология» есть позднее порождение христианства: «В ней нашли завершение двадцать веков напряженной борьбы с природой — сначала во имя исторического бога, затем во имя обожествленной истории». Романтический Люцифер является наследником Бога — после смерти второго умер и первый, а историей завладели мелкие бесы.

Камю предлагает вернуться к аполлоновской ясности греков, к «средиземноморской цивилизации», не знающей ни безмерности христианской надежды, ни беспредельного нигилизма. Мы имеем дело со светским гуманизмом, главным источником которого является античность. Европа — наследница не только христианского монотеизма и «немецкой идеологии», а также Афин (отличаемых Камю от «унтер-офицерской цивилизации Рима»). «Непобедимое солнце» митраизма совпадает у него со светом разума и сопоставляется с образом солнца в платоновском «мифе о пещере». Прометеевский бунт для Камю означает не отрицание миропорядка в целом, а стремление уменьшить земные страдания; человеческий удел и без того несправедлив, и бунт против него не должен увеличивать несправедливость. Ценности не предзаданы, они должны всякий раз заново устанавливаться человеком. Бунтарь не делает абсолюта из истории, поскольку тотальность истории ему неведома. История как целое могла бы существовать только для того, кто смотрит на нее со стороны. Действовать приходится здесь и теперь, действие всегда есть рискованное предприятие, и ценности, им утверждаемые, всегда относительны. Бунт отстаивает пределы, в которых возможно сообщество людей, а потому бунтующий человек не делается ни йогом, ни комиссаром, и он не находит рациональных оправданий убийству.

Политически эти идеи расшифровываются Камю как похвала постепенной, но постоянной борьбе за политические свободы и экономическую справедливость. Он противопоставляет тоталитаризму анархо-синдикализм прошлого века и практику скандинавской социал-демократии. Камю был выходцем из рабочих, и его возмущало то, что от имени пролетариев говорят стремящиеся к неограниченной власти «вожди», видящие в рабочих удобное дисциплинированное орудие. «В периодических изданиях и в книгах, составленных специалистами по прогрессу, пролетариев часто изображают как некое племя со странными обычаями — о них говорят так, что будь у пролетариев время читать этих специалистов, дабы получить представление о шествии прогресса, их просто стошнило бы. Трудно сказать, что оскорбительнее в этих нудных проповедях — омерзительная лесть или наивное презрение. Разве нельзя воздержаться от использования в своих целях, от унижения тех, чьими защитниками вы так хотели бы слыть?» Понятно, почему «Человек бунтующий» был встречен в коммунистической печати начала 50-х годов даже не критикой, а бранью, инсинуациями о полученных в американском посольстве деньгах. Камю рвет все связи с «прогрессистами» и «попутчиками» (Сартр и др.). Никакие массовые жертвоприношения не приблизят «царство человека», и прежде всего нельзя жертвовать демократическими свободами. Ни одно из зол, которые обещает победить тоталитарный режим, не настолько худо, как сам тоталитаризм. Проводить любые реформы необходимо в условиях свободы, а потому бунт направлен в первую очередь против лжи и насилия. «Я ненавижу только палачей» — вот, пожалуй, самое краткое и точное определение социальной и этической позиции Камю.

А. РУТКЕВИЧ

Публицистика

ГОРДОН БРУК-ШЕПЕРД

СУДЬБА СОВЕТСКИХ ПЕРЕБЕЖЧИКОВ

Перевод с английского ИОСИФА КОСИНСКОГО и ЛЮДМИЛЫ СКОРОПИСЦЕВОЙ

Публикуемая книга посвящена судьбам пяти самых известных перебежчиков, которые в двадцатые и тридцатые годы — одни по идейным, другие по личным мотивам — порвали со сталинским режимом. Это Борис Бажанов, Григорий Беседовский, Георгий Агабеков, Вальтер Кривицкий и Александр Орлов. Автор, британский журналист и историк Гордон Брук-Шеперд, собрал факты и материалы, в свое время не вошедшие ни в мемуары самих перебежчиков (отрывки из книг Б. Бажанова и А. Орлова напечатал «Огонек»), ни в посвященные им исследования. В оригинале труд Г. Брук-Шеперда имеет другое название — «Буревестники», однако переводчики изменили его, очевидно сочтя, что это слово вызывает у русскоязычного читателя совсем другие ассоциации.

Впервые книга была опубликована в 1977 году в лондонском издательстве «Коллинз», мы же перепечатываем (с некоторыми сокращениями) русский перевод, вышедший в нью-йоркском издательстве «Время и мы» (главный редактор Виктор Перельман). Помимо книг издательство с 1975 года выпускает журнал под тем же названием, ставший сегодня одним из наиболее популярных и массовых журналов русского зарубежья. Вскоре журнал начнет выходить в Советском Союзе.

Глава первая

Побег сталинского секретаря

В ночь под Новый 1928 год двое молодых мужчин вышли из кишлака Лютфабад на крайнем юге Туркмении. Оба были тепло одеты, у каждого на плече висел карабин, а в кармане было разрешение ашхабадских властей на охоту в горно-лесных дебрях вдоль персидской границы.

Дорога шла по приграничному ущелью. Еще миля — и двое охотников дойдут до советской пограничной заставы.

Когда уже показалась застава, один из охотников — тот, что был меньше ростом и более хрупкого сложения,— неожиданно снял с плеча карабин и направил ствол на своего спутника. «Послушай-ка,— сказал он, не повышая голоса,— я знаю твое настоящее имя, знаю, что ты работаешь в ГПУ и какие тобой получены инструкции насчет меня в Москве. Здесь рядом — граница, и сегодня не составляет никакой сложности ее перейти: пограничники, забыв обо всем, пьянствуют еще со вчерашнего вечера. Впереди — Персия, а за ней — Индия, куда я и направляюсь, и не советую мне мешать. Но если ты готов пойти со мной, я даю слово, что переправлю тебя в Европу. Там ни одна душа не будет знать, кто ты такой. Разумеется, если ты пойдешь со мной, они ни перед чем не остановятся, чтобы выследить нас, где бы мы ни оказались. Ну, а если я перейду границу один и ты вернешься без меня — тебя тоже не помилуют. Так что решай, только побыстрее!»

Его спутник не в силах был скрыть изумление. потом на его лице появилось замешательство. Последний довод о том, что по возвращении его не помилуют, был достаточно веским, и ему ничего не оставалось, как в знак согласия молча кивнуть головой. Оба осторожно приблизились к заставе и обнаружили, что пограничники не теряли времени даром, встречая приход Нового года: из небольшого дома, где размещалась застава, доносился мощный храп. Никто их не окликнул, и минуту спустя они направлялись уже по ничейной полосе к персидской границе. Побег состоялся.

© «Время и мы», 1983

Значение того второго, колеблющегося, в нашей истории близко к нулю. Его звали Аркадием Романовичем Максимовым, и он выдавал себя за бывшего командира Красной Армии (позднее он как будто работал в наркомате путей сообщения). В действительности он являлся одним из многочисленных агентов ОГПУ, и его настоящая фамилия была Биргер. Ему было поручено неотступно сопровождать своего компаньона и докладывать о его действиях, не вызывая у него подозрений, но и никоим образом не допуская, чтобы этот человек ускользнул из СССР.

Такое задание становится более понятным, если учесть, что опекаемого звали Борис Георгиевич Бажанов. Это тот самый Бажанов, который, не достигши еще и тридцати лет, успел проработать восемнадцать месяцев личным секретарем Сталина, а затем стал секретарем Политбюро — всемогущего высшего органа коммунистической власти.

Только личная связь со Сталиным и спасла Бажанова от ареста и гибели в ходе первых массовых чисток. Руководитель ОГПУ Ягода уже в течение ряда лет сомневался в благонадежности этого молодого интеллигента, которого никак не удавалось поймать на чем-нибудь серьезном. Эти сомнения были не просто плодом подозрительности главы секретной полиции. Ягода испытывал личную ненависть к Бажанову, который с подчеркнутым отвращением относился и к самому начальнику ОГПУ, и ко всем, кто за ним стоял. Когда в 1925 году Бажанов был смещен со своей кремлевской должности, слежка за ним со стороны «органов» лишь усилилась. Никоим образом нельзя было допустить, чтобы человек с независимым образом мыслей, занимавший ключевые посты в партийной иерархии, покинул страну, унося с собой во внешний мир секреты Кремля. Но Ягоде представлялось особенно заманчивым схватить Бажанова уже на границе, при явной попытке к бегству из СССР, ведь это было бы самым бесспорным доказательством его измены. Вероятнее всего, именно по этой причине Ягода и не чинил препятствий поездке Бажанова в Туркмению. Здесь, на границе, ОГПУ удалось схватить многих неудачливых беглецов. Однако в канун 1928 года произошла осечка: сталинский секретарь сбежал, прихватив с собой агента ОГПУ.

Уже в Персии на первой же пограничной заставе Бажанова с Максимовым окружила взбудораженная толпа босоногих персидских солдат. Никто из них не знал ни слова по-русски (не говоря уже о французском, которым хорошо владел Бажанов). Наконец обоих привели в местный полицейский участок в кишлаке, где они провели далеко не спокойную ночь — слишком уж близка была советская граница. Местный полицейский инспектор чувствовал себя не в состоянии что-либо решить сам. Он отправил гонца в ближайший административный центр, и на следующий день, когда гонец вернулся, беглецов перевезли чуть дальше от границы, в город Мухаммадабад. Именно здесь шеф окружной полиции, некто Пасбан, оказался одним из тех двух официальных лиц, которым беглецы были обязаны спасением. Пасбан, выслушав мольбу перебежчиков о предоставлении им политического убежища, взял на себя ответственность помочь им перебраться в Мешхед, административный центр Хорасанской провинции.

Поначалу название «Мешхед» ужаснуло Бажанова. Ему было известно, что там орудует многочисленная агентура ОГПУ. При этом она действовала настолько эффективно, что годом раньше два штатных агента ОГПУ, дезертировавших к персам из Ашхабада, были похищены их же коллегами в Мешхеде средь бела дня и переправлены обратно на советскую сторону, где их тут же расстреляли. Бажанов понимал, что как бывший секретарь Сталина он был более важным объектом, чем все агенты ОГПУ в Туркмении вместе взятые. Так что у него не оставалось ни малейших сомнений, что к этому моменту Кремль и лично Сталин подняли тревогу и ударили в набат.

То, что Пасбан сообщил Бажанову о географическом положении этого района Персии, только усилило тревогу. Район был отрезан от внутренней части страны высокими горными хребтами. Зимой глубокий снег обычно заносил все перевалы, и в январе добраться до Мешхеда можно было только в обход гор.

Между тем уже поступили сообщения, что советские агенты появились на этой окружной дороге. Пасбан был убежден, что они устроят засаду поблизости от советской границы, в Кучане, через который придется пробираться беглецам, если они рискнут отправиться этим маршрутом.

Чтобы не угодить в ловушку, им предстояло верхом на лошадях в сопровождении проводника преодолеть перевал Кухи-Назар на высоте трех тысяч метров. Зимой он был практически непроходим, и советские агенты вряд ли рискнут сюда сунуться. Последнее напутствие Пасбана звучало так: «Не доверяйте проводнику, доверьтесь лошадям, они найдут дорогу».

Лошади действительно нашли дорогу, и после четырехдневного тяжелого пути по горам, проводя ночи в горных хижинах, маленький караван спустился в долину и сделал привал в кишлаке, не доехав немного до Мешхеда. Гепеушники тем временем успели сообразить, что беглецы избрали горный маршрут, и отправились кружной дорогой из Кучана им наперерез. Едва сойдя с лошадей, Бажанов и его спутник поняли, что в кишлаке их уже ждут.

В этот день отсюда в Мешхед отправлялась только одна машина — грузовичок, переоборудованный под автобус. По-видимому, это было подстроено советскими агентами: шофер автобуса, по всем признакам, находился на содержании ГПУ. К тому же с беглецами должен был следовать и некто Пашаев, известный в округе как советский секретный агент, действовавший под маской торгового представителя. Бажанов и Максимов вместе с проводником-персом вскочили в автобус первыми и заняли сиденья сзади, что было явным тактическим выигрышем. Появившимся следом за ними двум агентам пришлось расположиться спереди, спиной к ним. Хотя все в машине прекрасно знали, кто есть кто, ни одна сторона не проронила ни слова.

Приблизительно на середине пути их остановила встречная машина, в которой следовали сотрудники ОГПУ, включая Осипо-

ва, главного советского агента в Мешхеде. Он и Пашаев (оба вооруженные до зубов) долго о чем-то переговаривались, стоя на обочине дороги,— по-видимому, о том, как бы расправиться с перебежчиками на месте. Но, ошибочно полагая, что те тоже имеют при себе оружие, они пришли к выводу, что перестрелка в присутствии свидетеля — проводника-перса — чревата осложнениями. Наконец Осипов принял решение и втиснулся в маленький автобус. Компания следует в Мешхед. Никто не нарушает молчания.

Между тем на линиях Москва — Тегеран и Тегеран — Мешхед лихорадочно стучат телеграфные аппараты. Приказы Москвы настойчивы и категоричны: бывший сталинский помощник должен быть ликвидирован на месте, любым способом и любой ценой. Товарищ Платте, советский генеральный консул в Мешхеде, Осипов и его агенты заверяют начальство, каждый по своей линии: они делают все, что в их силах, чтобы по возможности быстро выполнить приказ. Никто из них не допускает и мысли о возможности провала.

Похоже, они действительно делают все от них зависящее. Такси доставляет беглецов к единственной в городе гостинице «Доганов». Пока убирают для них номер, служащий отеля приносит кофе. Бажанов подносит чашку к губам — и тотчас отставляет ее, предлагая сделать то же Максимову. Кофе имеет запах горького миндаля — признак подмешанного цианистого калия.

Однако агенты ОГПУ не думали отступать. Когда беглецам показали отведенный им номер, Бажанов заметил, что задвижка на внутренней стороне двери снята. Другую комнату получить не удалось: в гостинице были свободные номера, но все они оказались для кого-то забронированы. Выбившиеся из сил беглецы проспали несколько часов, забаррикадировав дверь изнутри. Как только они поднялись, им предложили ужин. От ужина они тоже отказались и, должно быть, не напрасно. В гостинице работал армянин по фамилии Колтухчев, состоявший на содержании у советского консула Платте. Он-то и подмешал в еду смертельную дозу яда. За это ему были обещаны деньги, советский паспорт и безопасный проезд в СССР. На тот случай, если яд снова не «сработает», Колтухчеву вручили револьвер и приказали пристрелить обоих беглецов ночью в постели. Колтухчев и попытался проникнуть среди ночи в их номер, но полиция Мешхеда, оказавшаяся на этот раз на высоте, устроила засаду в коридоре и прямо перед дверью номера арестовала убийцу. Кто направлял действия полиции, так и осталось загадкой.

Вспоминая все это как некое чудо, Бажанов был склонен приписать ее оперативность нажиму главного соперника ОГПУ в Мешхеде — английской секретной службы «Интеллидженс сервис», которая славилась своей информированностью. Однако из английских официальных документов, связанных с историей Бажанова, следует, что в первых числах января 1928 года британскому генеральному консулу в Мешхеде еще ничего не было известно о двух беглецах. Тем более он не подозревал о том, какой важной птицей окажется один из них.

Так или иначе, в эти критические дни Бажанов и Максимов нашли надежных защитников. Им было сказано, что, поскольку местные власти не могут гарантировать их безопасность в гостинице, придется перевести их в другое здание, которое служило одновременно и полицейским участком, и тюрьмой. Бажанову и Максимову ничего не оставалось, как отправиться в указанное место. Бажанов немного успокоился лишь после того, как ему устроили ночлег в кабинете начальника полиции. В осаде они пробыли целых шесть недель. Из окна Бажанов мог постоянно видеть агентов ОГПУ, круглосуточно дежуривших перед зданием в надежде на то, что он вдруг появится без сопровождения вооруженной охраны.

Одновременно Платте пытался воздействовать на персидскую полицию. Он утверждал, что охраняемые ею узники подлежат немедленной выдаче, что это крупные воры, бежавшие из России и захватившие с собой большое количество драгоценностей и денег. Ложь была легко опровергнута, когда персидская полиция принялась описывать имущество Бажанова, находившееся при нем. В бумажнике у него оказалось всего 1200 рублей, что составляло его двухмесячную зарплату. Со своей стороны, Бажанов не был уверен в том, что отношение к нему местной полиции не изменится, и, следовательно,— в исходе «мешхедского сидения». Он решил завоевать доверие персидской администрации с помощью единственного эффективного средства, имевшегося в его распоряжении,— секретной информации. Так, будучи доставлен к генерал-губернатору Хорасана, он продемонстрировал ему выдержки из секретного доклада о советско-персидских отношениях, сделанного на заседании Политбюро наркомом иностранных дел Чичериным всего шесть месяцев назад (в августе 1927 года). В этом докладе прямо ставился вопрос об организации государственного переворота в Тегеране. Чтобы поддержать переворот, планировалось двинуть через границу соединения Красной Армии, затем последует оккупация Персии и присоединение ее к Советскому Союзу. Это лишит Англию — главного соперника Советской России — всех позиций в стране, которая рассматривалась как важное стратегическое звено (своего рода «мост») между Индией и странами Ближнего Востока.

Предложения Чичерина, подчеркнул Бажанов, получили принципиальное одобрение Политбюро. Для большей убедительности он сообщил и такую информацию: советская агентурная сеть, внедренная в Тегеран, по его словам, дотянулась даже до шахского двора. При этом он назвал по имени главного из агентов — министра двора Теймурташа.

Губернатор вежливо выслушал Бажанова, но особого интереса к его сообщению не проявил. Зато когда несколько недель спустя Бажанов получил возможность передать эту информацию командующему Хорасанским военным округом, генералу Шахзада Аманулла Мирзе, тот немедленно довел ее до сведения шаха, и карьера Теймурташа на этом закончилась: он был отдан под суд.

Между тем персы решили, по-видимому, что настала пора избавить Мешхед от при-

сутствия политических беженцев, доставлявших им столько хлопот. Возможно, в благодарность за полученную информацию, генерал согласился удовлетворить просьбу Бажанова и отправить его с Максимовым поближе к индийской границе. 20 февраля оба они в сопровождении четырех персидских солдат пустились в дальнюю дорогу на юг — машиной до Дуздапа. Дорога заняла четыре дня. Агенты ОГПУ следовали за ними только первую часть пути — до Турбат-и-Хайдири, но оставили их в покое, когда стало ясно, что персидской охране дано указание не спускать с беглецов глаз. Оставалась последняя надежда прикончить их в самом Дуздапе.

По прибытии сюда Бажанов понял, что губернатор этой южной провинции точно так же, как и его коллега в Мешхеде, не имеет ни малейшего представления, что ему делать с беглецами, свалившимися как снег на голову. С другой стороны, он не имел полномочий и отправлять их куда-нибудь из Дуздапа. Так или иначе, перспектива быстро оказаться в Индии явно померкла.

Беглецов поселили в домике при железнодорожной станции. Им разрешалось ходить сколько угодно по городу, и прежде всего на базар, где они могли покупать еду. Охраны в доме не было. Во время вылазок в город беглецов также никто не сопровождал.

Впрочем, подобная свобода была сомнительным благом, так как затишье, безусловно, не могло продолжаться долго: ОГПУ вот-вот должно было снова напасть на след Бажанова. Однако теперь о его существовании знала британская разведка, которая не замедлила взять его под свое покровительство.

Первое упоминание об этой истории, сохранившееся в английских архивах, находим в телеграмме, датированной 22 февраля 1928 года. Эта телеграмма подписана английским генеральным консулом в Мешхеде и адресована в Тегеран — министру иностранных дел Персии. Копии телеграммы были направлены в Дели и английскому вице-консулу в Дуздап. Послание звучало довольно решительно: «Двое русских, арестованных в Мешхеде, куда они прибыли из Туркестана, уже более двух месяцев содержатся в тюрьме. Пока нам не удалось установить их подлинные имена. Они заявляют, что принадлежат к партии Троцкого и хотели бы проследовать в Европу. Вначале местный генерал-губернатор намеревался отправить их в Тегеран, но 18-го числа он неожиданно информировал нашего атташе, что направляет их в Дуздап, откуда, по всей вероятности, они отправятся в Индию. Хотя атташе сообщил генерал-губернатору, что в Дуздапе визы на въезд в Индию не могут быть выданы без санкции британского консула в Мешхеде, губернатор игнорировал это обстоятельство и отправил русских под охраной в Дуздап 20-го числа».

Ответ на эту телеграмму последовал только из Нью-Дели — из министерства иностранных дел. Он был предельно лаконичен и касался лишь денежной стороны дела: «Дайте знать, смогут ли русские оплатить проезд».

Серьезная проблема — кто будет оплачивать транспортные расходы — преследовала Бажанова почти все время, пока он имел дело с англичанами, даже и после того, как его личность была установлена и значимость его персоны уже не вызывала никаких сомнений. Как ни странно, но англичане упорно задавались именно этим вопросом: стоит ли беглец того, чтобы оплатить стоимость его проезда автобусом из казенных средств? Эта нелепая мелочность давала себя знать даже после того, как английский официальный чиновник, лично встретившись с Бажановым, доложил начальству о благоприятном впечатлении, которое тот на него произвел.

На шестой день своего пребывания в Дуздапе Бажанов и Максимов получили наконец возможность встретиться с капитаном Маканном, местным британским вице-консулом. В своем отчете об этой встрече, отправленном в тот же день в Нью-Дели, вице-консул подчеркнул, что беженцы представляют значительный интерес. «Они владеют исключительно важными политическими секретами,— докладывал он,— которые хотели бы сообщить правительству Его Величества, но отказываются раскрывать их, находясь в Персии. Они готовы полностью сделать это, как только окажутся в Индии. Можно ли разрешить им,— спрашивал в заключение вице-консул,— проследовать в Кветту?»

И получил однозначно отрицательный ответ. Предоставление этим двоим политического убежища на британской территории может стать нежелательным прецедентом. Если разрешить им проследовать в Кветту, это создаст источник беспокойства для правительства Индии. Их утверждение, будто они знают какие-то важные государственные секреты, «выглядит неубедительно».

Похоже, что англичане готовы были отправить перебежчиков обратно в Мешхед. Эта более чем странная позиция вряд ли могла быть оправдана тем, что Бажанов пока все еще рекомендовался «бывшим секретарем финансового отдела Московского комитета по делам промышленности» (такую мифическую должность он себе изобрел), а бывший агент ОГПУ Максимов, скрывая свое прошлое по совершенно иным мотивам, выдавал себя за «бывшего начальника торгового сектора» неизвестно какого ведомства. Англичане должны были по крайней мере обстоятельно допросить эту странную пару. Но они не сделали и этого.

Бажанов начал приходить в отчаяние — и было от чего! Однако 3 апреля на сцене появляется второй его спаситель. Фамилия спасителя была Скрайн. Он служил консулом Его Величества в районах Кайн и Систан. Именно его тогдашним энергичным действиям (однако не поддержанным начальством) мы обязаны тем, что спустя много лет смогли появиться на свет главы настоящей книги, посвященные Бажанову, и больше того, сам Борис Бажанов остался в живых и смог в дальнейшем рассказать о себе[1].

Все происшедшее после встречи со Скрайном нашло отражение в целом ряде телеграмм и писем, снабженных грифом

[1] Имеется в виду книга Бажанова «Воспоминания бывшего секретаря Сталина». (*Прим. перев.*)

«секретно». В течение нескольких недель Скрайн прямо-таки бомбардировал своими депешами делийский секретариат министерства иностранных дел.

Началось с того, что, услышав о встрече дуздапского вице-консула с беженцами, Скрайн немедленно прибыл туда из Систана. Встреча Скрайна с Бажановым и Максимовым произошла в зале ожидания при железнодорожной станции. Его внимание привлек один лишь Бажанов — не только по той причине, что они смогли объясниться друг с другом по-французски (Максимов не владел никакими языками, кроме русского), но также потому, что Бажанов сразу же поразил английского чиновника уровнем своего мышления. В первом же докладе начальству, отправленном в Нью-Дели из Дуздапа, Скрайн отмечает: «Бажанов — человек очень умный и образованный и мог бы успешно работать в высших гражданских органах любого западного государства».

В ходе двух длительных бесед (одна продолжалась два часа, другая — на следующий день — три) Бажанов признался, что он куда более значительная фигура, чем та, за которую себя выдавал до сих пор. Теперь Скрайн знал, что этот человек с тихим голосом и хрупкого сложения был не просто одним из служащих советского бюрократического аппарата, но личным секретарем Сталина и секретарем советского Политбюро. Чувствуя, что спасение уже близко, Бажанов выложил перед явно симпатизировавшим ему британским чиновником почти всю информацию, которой располагал. Он оговорился, правда, что несколько сугубо важных секретов сможет раскрыть только английскому правительству в Лондоне. Но он располагал также информацией, представляющей особый интерес для Индии. Она касалась большевистских планов подготовки военных действий в Центральной Азии и тех, что были направлены против Индии, организации советских вооруженных сил в пограничных областях, экономической ситуации в этом районе, деталей советско-китайских отношений, кремлевских планов захвата власти в Персии и Афганистане, а также нелегальной агентуры ОГПУ в различных азиатских странах.

Бажанов представил Скрайну несколько впечатляющих документов, которые он каким-то чудом сумел сохранить за три месяца своего опасного странствия по Персии. Так, он продемонстрировал официальный бланк, датированный 10 августа 1923 года и содержащий выписку из протокола заседания Оргбюро ЦК РКП(б) о назначении Бажанова помощником Сталина. На документе стояла пометка «Строго секретно», а на обороте были перечислены правила соблюдения абсолютной секретности в отношении всех решений Центрального Комитета партии.

Затем собеседник Бажанова увидел оригиналы таких документов, исходивших от Политбюро, и за подписями таких лиц, что они явно выходили за пределы компетенции скромного провинциального консула. Он, вероятно, даже не ухватил всего смысла этой информации, который заключался в том, что Сталин жаждал превратить — и, собственно, уже превратил — Политбюро и весь Центральный Комитет партии просто в машину для безотказной штамповки своих личных решений. Однако мистеру Скрайну было ясно одно: Бажанов являлся уникально важным перебежчиком, наиболее важным из всех, какие когда-либо появлялись за пределами СССР (не говоря уж о тех, с которыми приходилось иметь дело Скрайну). Для человека энергичного и решительного, каким был Скрайн, это означало одно: как бы скептически ни относились к этому человеку высшие власти в Нью-Дели или британское посольство в Тегеране, было просто необходимо срочно доставить Бажанова на территорию, управляемую англичанами, то есть — в Индию.

Поэтому 4 апреля консул докладывает в обе столицы следующее:

«В результате допроса Бажанова... я пришел к выводу, что он говорит правду и что его с Максимовым побег из России и намерение пробраться в Европу означают для правительства Его Величества уникальную возможность получить актуальную информацию касательно внутренней политики советского правительства, его военной подготовки и военных планов».

Одновременно Скрайн телеграфирует майору Стивени, британскому военному представителю в Мешхеде, убеждая того прийти на помощь. Однако советские официальные лица тоже не дремлют. Специальная группа во главе с Платте 7 апреля внезапно появилась в Дуздапе и была замечена вблизи полустанка, где жили беглецы. У Платте просто не было иного выхода, как лично продолжать охоту за Бажановым. По сообщению английской разведки, поступившему в середине марта из Мешхеда, с Платте встретились двое высокопоставленных сотрудников ОГПУ, один из которых прибыл ради этого из Москвы. Платте, видимо, основательно прочистили мозги, так как после отбытия представителей Москвы (их настоящие фамилии остались невыясненными) советский консул, согласно тому же донесению, «выглядел крайне удрученным».

Среди спутников Платте, агентов ОГПУ, Бажанов тотчас узнал Осипова — того самого, что должен был прикончить его и Максимова еще в Кучане. Майор Стивени, который к этому времени тоже прибыл и успел допросить беженцев, был согласен со Скрайном, что Бажанов представляет собой бесценный источник информации. Понял он и всю опасность положения Бажанова. Было ясно, что Платте не остановится ни перед чем — и если нужно, использует политическое давление, угрозы и подкуп, чтобы заставить местную полицию выдать ему перебежчиков. Параллельно Осипов и его люди готовили их убийство или похищение.

В тот же вечер трое английских чиновников — Скрайн, вице-консул капитан Маканн и майор Стивени — тайно встретились с преследуемыми. Так как оставлять их в Дуздапе было опасно — даже на одну ночь,— приняли решение немедленно вывезти их отсюда и переправить через границу в Индию. Но как это сделать? Скрайн сообщил, что до 11 апреля через Дуздап не пройдет ни одного поезда, да и вообще попытка вывезти беженцев средь бела

дня поездом выглядела безнадежно: их перехватили бы уже на ближайшей железнодорожной станции — в Мирджаве, а то и раньше.

Тут выступает на сцену новое действующее лицо — Джамолиддин Муллик, известный в городе купец. Ему принадлежал единственный в Дуздапе автомобиль, составляющий предмет его особой гордости и приносивший ему широкую популярность. То ли он хотел оказать услугу англичанам, то ли испытывал неприязнь к Советской России, а быть может, сыграли роль и та и другая причины вместе, но он вызвался бескорыстно довести беженцев до передового таможенного поста Индии в оазисе Кача, в тридцати шести милях на восток от Дуздапа.

Если бы беженцам удалось выехать из Дуздапа незамеченными, они могли бы считать себя окончательно спасенными. Так и произошло: Джамолиддину Муллику в эту светлую лунную ночь удалось объехать стороной полицейские и таможенные посты, пересечь территорию железнодорожной станции и выехать из городка. В одном месте узкая тропа проходила по ущелью шириной всего лишь в восемь футов, и бока его шикарного автомобиля немного пострадали. Однако еще до наступления рассвета он благополучно доставил беглецов в оазис Кача и вручил тамошним индийским таможенникам специальное письмо, написанное Скрайном. Так Бажанов и его спутник оказались в Белуджистане, на территории Британской Индии.

Наутро 8 апреля русские, обнаружив, что привокзальный домик пуст, начали метаться по Дуздапу, как рой растревоженных пчел.

Платте и его агенты рыскали по городу, прочесали все улицы, базар и железнодорожные запасные пути, стремясь обнаружить беглецов. На следующий день они обратились за содействием к персидской полиции, но ее усилия, конечно, тоже ни к чему не привели.

10 апреля Платте вынужден был нанести визит губернатору провинции, центром которой был Дуздап, официально требуя выдачи перебежчиков — Бажанова и Максимова. Предлог был такой: они совершили в Советской России убийство и бежали в Персию, чтобы избежать ответственности.

Губернатор к этому времени, надо полагать, был уже осведомлен, что беженцы скрылись из Дуздапа не без помощи англичан. Сохраняя на лице полную серьезность, он отдал письменное распоряжение начальнику дуздапской полиции — выдать обоих. Тот клятвенно уверял, что ему ничего не известно о местопребывании этой пары. Скрайн узнал — видимо, от своих осведомителей из советского консульства,— что Платте в тот же вечер разослал шифрованные телеграммы советским миссиям в Мешхеде, Систане и Кермане, извещая о случившемся. Сам же он еще дня три прочесывал окрестности Дуздапа в надежде на чудо, пока наконец не убрался восвояси.

Перед возвращением в Систан Скрайн проинструктировал вице-консула, как следует поступить в случае получения официального запроса о судьбе Бажанова и Максимова: надлежит ответить, что «администрация Белуджистана предупреждена о побеге двух потенциально опасных русских на британскую территорию».

Пока в Дуздапе царил весь этот переполох, Бажанов и Максимов медленно, но настойчиво продвигались в глубь территории Индии, подальше от пограничной зоны.

Почти пятьдесят лет спустя Бажанов рассказал автору этих строк, как закончился их побег. Оазис Кача расположен как бы на перекрестке границ трех стран — Персии, Афганистана и зажатой между ними полоски Белуджистана (часть Британской Индии). Индийская железная дорога, проложенная по этой территории Белуджистана с запада на восток, проходит в пятидесяти милях южнее Качи. До нее можно было добраться с каким-нибудь караваном верблюдов. При этом следовало торопиться, потому что советские агенты могли просочиться в этот глухой уголок и, уж конечно, не остановились бы перед убийством или похищением Бажанова и его спутника даже здесь, на территории Британской империи.

Поэтому после мирной ночи, проведенной с комфортом в бунгало таможни (Максимов, измученный переживаниями, заявил, что он с радостью остался бы здесь до конца своих дней), обоих перебежчиков передали вождю местного племени белуджей для организации их дальнейшего следования. Теперь беглецы должны были передвигаться на юг с караваном, состоявшим из нескольких вооруженных туземцев и дюжины верблюдов. Вождь племени лаконично объявил: «Они приведут вас к поезду».

Караван углубился в пустыню, продвигаясь из-за невыносимой жары только ночами, и вечером пятого дня достиг железнодорожной линии в назначенном месте, более чем в ста милях от персидской границы.

Железная дорога была пустынна до самого горизонта — никаких признаков жизни! Пришлось ждать еще одну ночь, пока наутро не появился специальный поезд, посланный, чтобы забрать беглецов.

После персидской тюрьмы, привокзальной комнаты ожидания, езды по горным дорогам на лошадях и верблюдах Бажанов и его спутник оказались в обстановке невообразимой роскоши салон-вагона. В вагоне была даже ванна!

Как только поезд тронулся, появился слуга в тюрбане и спросил, что господа желали бы получить на обед. Шел четвертый месяц со дня побега из Советской России. Бывший секретарь Сталина с комфортом следовал в Симлу, летнюю резиденцию вице-короля Индии.

Вся информация, которой располагал Борис Бажанов — и то, что он знал и хранил в памяти, и то, что было в бумагах, которые он прятал в подкладке одежды,— представляла для английского правительства несомненный интерес. Однако от одного документа у англичан буквально глаза полезли на лоб. Этот рукописный документ касался человека, который незадолго до того занимал пост британского премьер-министра.

Глава вторая

Допросы в Симле

Борис Бажанов прибыл в Симлу специальным поездом в середине апреля 1928 года. Знойная долина, выбранная британскими властями в Индии для своей резиденции еще в 1864 году, поразила Бажанова с первого взгляда.

С понятием «правительственная резиденция» у него связывалось совсем иное представление. Вместо холодного, наглухо замурованного мрачного Кремля, по существу крепости, каменные лестницы и коридоры которого он знал как свои пять пальцев, тут перед ним предстала беспорядочная масса красивых бунгало с верандами, сады, отели, открытые как дождю, так и солнцу,— и все это располагалось среди гор Гималчал Прадеш на высоте 7—8 тысяч футов над уровнем моря.

После того как Бажанова и Максимова разместили как почетных гостей в двух комфортабельных гостиницах Симлы, потянулась череда допросов, проводимых военным ведомством. Бажанов в точности сдержал обещание, данное им Максимову в канун Нового года, когда они оказались перед советской погранзаставой, ни словом, ни намеком не выдал он британской разведке, что его напарник был не тем, за кого он себя выдавал. Однако англичане быстро поняли, что Максимов не отличается ни умом, ни широким кругозором и не располагает сколько-нибудь ценной информацией. Их внимание сосредоточилось целиком на бывшем секретаре Политбюро, так что и нас впредь будут интересовать только протоколы допросов, относящиеся к Бажанову.

Он припоминает, что допросы проводились в основном тремя лицами. Старшим по чину среди них был генерал Айсмонгер, которого Бажанов считает главой британской разведывательной службы в Индии. Беседы с ним были вежливыми, но официальными и велись всегда в его кабинете.

Двумя другими были полковник Сондерз из военной разведки и полковник Роуленсон, бегло говоривший по-русски. Последний явно всячески стремился завоевать расположение Бажанова. Их отношения действительно оказались вскоре настолько раскованными, что допросы приняли характер непринужденных бесед. Велись они в отсутствии какой бы то ни было охраны и вообще посторонних лиц, во время прогулок по садам и базарам этого городка-курорта.

Официальный отчет о допросах Бажанова в Симле представляет собой документ объемом в пятьдесят восемь страниц, состоящий из двух частей: шестнадцать страниц занимает перечень вопросов и сорок две страницы — краткое изложение ответов. Эту информацию британские власти сочли настолько важной, что копии отчета были разосланы соответствующим ведомствам по всей Индии, а также британским миссиям на Среднем и Дальнем Востоке (не говоря уж о том, что несколько экземпляров нашли необходимым отправить в Великобританию).

Объем документа свидетельствует о том, что генерал Айсмонгер и его люди проделали огромную работу и что Бажанов, со своей стороны, был большей частью вполне откровенен с ними. Впрочем, в отдельных случаях он заявлял, что ответит на данный конкретный вопрос «перед компетентными инстанциями высшего уровня», подразумевая под такими инстанциями, без сомнения, британское правительство.

Разумеется, разведывательная служба индийской армии особое внимание уделяла военным и техническим аспектам советской угрозы, нависшей над Индией с севера. Какова пропускная способность Транссибирской железной дороги? Предполагается ли дотянуть железнодорожную ветку Мерв—Кушка до Тахта-Базара? Существует ли у Советского Союза намерение атаковать Британскую империю через Афганистан? И если это так, то сколько времени, считая со дня объявления войны, уйдет у Советов на переправу воинских соединений через реку Пяндж? Каковы обычные средства переправы через Пяндж в районе Термеза, какого рода плавсредства имеются в резерве? Оборудуются ли радиоаппаратурой советские пассажирские и военные самолеты? Существуют ли в СССР клубы радиолюбителей? За сколько времени доходит телеграмма из Ташкента в Ленинград? Существуют ли в СССР предприятия по производству отравляющих газов? Имеются ли проекты применения таких газов с использованием авиации? Имеются ли цельнометаллические самолеты? Способны ли они совершать посадку на аэродромы, покрытые снегом? Имеются ли в распоряжении Среднеазиатского военного округа аэростаты?

Обоих перебежчиков прямо-таки засыпали вопросами, носившими подобный специфический характер. Справедливости ради следует отметить, что некоторые ответы на технические вопросы давал только Максимов. Но, помимо этих деталей, допрос касался и более общих аспектов не только техники, но и политики, поэтому протоколы допроса еще и сегодня представляют немалый интерес.

Например, в самом начале Бажанову был задан вопрос, по-прежнему ли идея мировой революции входит в политические планы СССР, и если да, то какими путями предполагается ее осуществить. Кроме того, учитывая, что эта идея враждебна Западу, как оценивает Кремль возможную британскую политику в случае войны и какие контрмеры намечены в этой связи?

Бывший сталинский секретарь отвечал:

«Мировая революция, безусловно, все еще является целью советской политики. Однако внимание советского руководства теперь, пожалуй, переключилось с Европы на Восток... Методы подрыва существующего мирового порядка различны в зависимости от намеченной страны. Несмотря на провал в Китае, который Советы вынуждены были признать, попытки подрывной деятельности в этом районе будут продолжаться.

Советское руководство полагает, что Англия попытается организовать коалицию малых государств, направленную против СССР. В нее будут вовлечены Польша, Румыния, Финляндия и другие малые страны. Полагают также, что Англия возьмет

на себя снабжение этого блока деньгами, вооружением, амуницией, но что английские войска вовсе не обязательно будут участвовать в возможной схватке. Советское руководство считает, что политику Англии определяют Черчилль, Эмери и Биркенхед, причем главную роль в этом смысле играет Черчилль».

Что касается советских контрмер, Кремль считает Британскую империю своим основным противником, война с которым рано или поздно станет неизбежной. Соответственно этому советский план заключается в том, чтобы ослабить Англию изнутри, что сделает более вероятным ее военное поражение, когда наступит война. Главным оружием в проведении этой кампании следует считать пропаганду и агитацию. Основными центрами распространения пропаганды являются дипломатические миссии и торговые представительства СССР, а там, где Советский Союз не имеет этих официальных представнтельств, действуют агенты, снабженные фальшивыми документами, которые изготовлены специальным учреждением, существующим для этих целей в Москве.

Общества «культурной связи с заграницей», продолжал Бажанов, суть не что иное, как органы большевистской пропаганды. Их основные задачи можно сформулировать так: пускание пыли в глаза интеллигенции Запада; организация «обществ поддержки Советской России» в зарубежных странах; засылка в эти страны советских агентов.

Что же касается Индии, то коммунистические агенты стоят здесь за каждым случаем «возмущения масс», за каждой забастовкой. Советы играют главным образом на индийском национализме. Они надеются «нейтрализовать» на свой лад подступы к Индии (то есть Персию и Афганистан) и вызвать восстание там, где разразится ожидаемая война с западными державами. Советы считают, что они уже полностью контролируют ситуацию в Монголии, и им ничто не мешает открыто присоединить ее в подходящий момент к Советскому Союзу. Так называемая «народная республика» в Монголии, якобы суверенная,— это не более чем бутафория, фактическая власть тут давно уже в руках большевиков. Через основанную недавно «партию монгольского народа» они манипулируют этой страной из Улан-Батора (так называется столица Монголии, бывшая Урга). Бажанов подчеркивал, что точно такими же методами они намерены действовать впредь в других странах мира.

В этом лаконичном резюме не содержалось ничего такого, что не подтверждалось бы дальнейшей советской политикой — вплоть до настоящего времени. Правда, некоторые предвидения, как, например, курс СССР на подрыв и распад Британской империи, осуществились в несколько неожиданных вариантах: в разразившейся мировой войне Великобритания и СССР в течение четырех лет принимали участие как союзники, но так или иначе в конечном итоге Британская империя полностью распалась.

Многое из того, что говорил Бажанов, было, как ни странно, новым для полковника Роулендсона, который с интересом слушал своего собеседника, мирно гуляя с ним по роскошным паркам Симлы. Но что удивительно — оглядываясь назад, можно сказать, что и по сей день основные стратегические приемы Советского Союза мало в чем изменились с того момента, когда Бажанов в 1928 году впервые обрисовал их англичанам: захват власти путем организации марионеточных политических партий и группировок, использование «культурных связей» для шпионажа и ловли на крючок наивных западных интеллектуалов, организация волнений среди рабочего класса и тому подобное.

С другой стороны, заслуживает признания тот факт, что Кремль загодя понял: Черчилль является крупнейшей политической фигурой Британии и будет стоять во главе нации, тогда как на Западе в то время едва ли находились люди (не исключая и профессиональных политиков, журналистов и комментаторов), склонные считать, что этот выдающийся человек вернется к власти после десятилетнего пребывания в тени.

Но, рисуя в целом довольно тревожную картину, предупреждая о советской жестокости и бескомпромиссной решительности, Бажанов не обошел и слабых сторон большевизма. В одном из специальных политических обзоров, написанных в Симле, которому он дал название «Большевики и грядущая война», Бажанов отмечал, что в ходе сугубо секретных дискуссий, проводившихся в Кремле, их участники пришли к выводу, что воевать с Англией и Францией в Европе Советский Союз не способен по причине — как это ни парадоксально — чисто «капиталистического» порядка: сталинское государство было бы просто не в состоянии финансировать такую войну. Бажанов утверждал это с полным знанием дела — недаром он занимал один из ключевых постов в народном комиссариате финансов, не говоря уж о длительном пребывании в стенах Кремля.

Свой аналитический обзор он начал с изложения ряда дискуссий, происходивших на заседаниях Политбюро в начале 20-х годов (Бажанов присутствовал на них в качестве технического секретаря). Обсуждался вопрос: следует ли считать войну с Западом «возможной» или же «неизбежной». Параллельно дискутировался и другой вопрос, а именно: необходимо ли усилить повседневную борьбу с «враждебным капиталистическим окружением» или, напротив, можно ее несколько ослабить (ОГПУ стояло за усиление борьбы, народный комиссариат по иностранным делам предлагал противоположный курс).

Наконец, Политбюро приняло мудрое решение: война, конечно, неизбежна, однако время покажет, насколько. Наркому иностранных дел было приказано по возможности отдалять конфликт, в то время как советские вооруженные силы получили приказ исходить в своей боевой подготовке из того принципиального положения, что война разразится в самое ближайшее время.

В конце концов пришлось признать, что ни советские дипломаты, ни военное командование не в состоянии повлиять на ход событий, как бы они ни старались. Воевать СССР так или иначе не сможет. По-

литбюро упустило из виду фактор, именуемый старинным термином «государственная казна». Специальный финансовый комитет при штабе Красной Армии пришел к грустному заключению, что «войну против ожидаемой коалиции соседних государств во главе с Польшей мы не в состоянии вести дольше трех-четырех месяцев, даже при условии, что на стороне этой коалиции не выступит ни одна из крупных западных держав».

По свидетельству Бажанова, советские финансовые эксперты (без сомнения, набранные в основном из числа дореволюционных специалистов) в подтверждение своих выводов привели следующее любопытное сравнение с положением царской России накануне первой мировой войны:

«В 1914 году денежное обеспечение рынка составляло примерно двадцать миллиардов рублей золотом. Это создавало чрезвычайно подвижный резерв, на который можно было рассчитывать в случае войны и под который можно было взять военные ссуды. То есть получить необходимые государству средства и произвести необходимое перераспределение ресурсов национальной экономики, приспособив ее к изменившимся условиям военного времени. В настоящее время в СССР полностью отсутствует золотое обеспечение денежного обращения — необходимейшее условие мобилизации средств на военные нужды.

Банковские средства, составлявшие миллиардные суммы, могли быть использованы царской Россией для военных займов под это золотое обеспечение. При существующей же системе банковский капитал представляет собой только активный рычаг, заставляющий работать промышленность, которая полностью зависит от банковского кредита. Любая попытка взять из этого источника ссуду на военные нужды нанесет промышленности тяжкий удар и чрезвычайно повысит стоимость промышленных товаров в стране, где их и без того катастрофически недостает. Эта проблема сейчас приобрела неизмеримо большее значение, чем когда бы то ни было в прошлом. В 1914 году страна располагала огромными запасами товаров, достаточными для обеспечения жизнедеятельности государства и населения на многие месяцы. Сейчас резерва не хватит даже на две недели, и любая сумма, направленная на восполнение потерь военного времени и поддержание промышленного производства, будет означать немедленный рост очередей в городах и угрозу вспышки недовольства населения».

К началу первой мировой войны, продолжал Бажанов, денежные накопления мелких вкладчиков в банках и сберкассах составляли два миллиарда рублей. К лету 1927 года обнищавшее население держало в сберкассах ничтожную сумму в сто миллионов рублей.

Бажанов, опираясь на выводы компетентных советских экспертов, рассмотрел и другие возможности военного финансирования. Так, продажа золота и иностранной валюты из резервных фондов Государственного банка для закупки товаров хотя и могла быть предпринята, однако не достигла бы цели. В случае войны Запад осуществил бы экономическую блокаду Советской России, а на Востоке закупать нечего.

Увеличение таможенных сборов будет иметь отрицательные политические последствия. Рост денежного оборота без должного покрытия приведет лишь к полному обесценению рубля, а повышение прямых налогов мало что может дать, потому что хоть сколько-нибудь самостоятельная прослойка населения попросту отсутствовала.

Наилучшим вариантом финансирования военных акций следует считать выпуск облигаций военных займов, но и это, не дав в советских условиях существенных результатов, вызовет лишь дальнейшее снижение уровня жизни населения, который и без того крайне низок. В любом случае приблизительно на третьем месяце войны наступит финансовая катастрофа.

Этот трезвый анализ Политбюро неохотно приняло к сведению на своем заседании в сентябре 1927 года, за несколько месяцев до побега Бажанова. По-видимому, именно финансовой несостоятельностью советского режима можно объяснить военную сдержанность, которую Сталин продемонстрировал наряду с идеологической агрессивностью в последующие несколько лет.

Хотя все эти соображения выглядели очень вескими, однако в глазах офицеров британской разведки подобные проблемы относились скорее к отдаленному будущему и носили слишком специальный технический характер. Гораздо более интересным для себя они сочли другой документ, который Бажанов предложил их вниманию три недели спустя и который также дожил до нашего времени. Этот документ, адресованный правительству Его Величества, носит гриф «чрезвычайно секретно» и подписан: «С искренним уважением, Бажанов». В нем идет речь уже не о теоретической, а о реально осязаемой финансовой ценности — фонде драгоценных камней, доставшихся большевикам в наследство от царских времен. Этот неприкосновенный фонд члены Политбюро, по-видимому, хранили для себя — на случай, если советская власть вдруг потерпит крах.

Бажанов сообщает, что в феврале 1924 года, после шока, вызванного смертью Ленина, его как секретаря Политбюро обязали представить схему тайного распределения запасов бриллиантов и других драгоценностей из фондов Государственного банка. Открытого обсуждения, как их распределить, не было. Решение, очевидно, было принято ведущими членами Политбюро (Сталин, Каменев, Зиновьев), что называется, келейно. В то время это обстоятельство не вызвало у Бажанова никаких подозрений. Подобные решения — по крайней мере в отношении иностранной валюты — нередко принимались именно так, в частности, когда требовалось срочно выделить крупные суммы денег в поддержку революционных движений за границей.

Однако этот эпизод невольно припомнился ему спустя три года, когда он работал в качестве ответственного сотрудника народного комиссариата финансов. Однажды утром он собирался войти в кабинет наркома финансов Брюханова — и вдруг что-то заставило его остановиться на пороге.

Бажанов в своих воспоминаниях пишет об этом так:

«Я уже открывал дверь в кабинет наркома, когда услышал, как он берет трубку телефона-автомата. Надо заметить, что автоматическая телефонная связь в Кремле охватывала ограниченное количество номеров, ею пользовалась только большевистская верхушка, обеспечивая строгую секретность телефонных разговоров. Я задержался в дверях, не желая беспокоить наркома. В приемной никого, кроме меня, не было: секретарь отсутствовал. Дверь оставалась приоткрытой, и я отчетливо слышал разговор Брюханова с собеседником, которым оказался, судя по первым же фразам, Сталин.

Из реплик Брюханова я понял, что существует абсолютно секретный фонд драгоценностей (возможно, тот самый, с которым я заочно имел дело в 1924 году, в бытность мою секретарем Политбюро). Брюханов оценил его стоимость лишь приблизительно, сказав: несколько миллионов». Сталин, очевидно, спрашивал, не может ли Брюханов дать более точную оценку. Тот ответил: «Это сделать трудно. Стоимость драгоценных камней определяется обычно целым рядом переменных факторов; и то, как они котируются на внутреннем рынке, не является решающим показателем. К тому же все эти драгоценности рассчитаны на реализацию за границей и при обстоятельствах, которые сейчас предвидеть просто невозможно. В любом случае, полагаю, достаточно исходить из того, что они стоят несколько миллионов. Но я все же постараюсь уточнить эту цифру и тогда позвоню вам».

Впоследствии Бажанов, узнал, что этот секретный фонд драгоценных камней был предназначен исключительно для членов Политбюро и хранился на случай падения советской власти.

«Хотя Брюханов говорил понизив голос,— продолжает Бажанов,— я услышал, что он сказал Сталину, посмеиваясь: «Как это вы смело выразились — «в случае утраты власти»! Услышь это Лев Давыдович (Троцкий), он бы вас тут же обвинил в неверии в возможность победы социализма в одной стране!»

В этот момент Сталин, не склонный выслушивать подобные шутки, очевидно, перевел разговор на другую тему и заговорил о необходимости соблюдения строжайшей секретности, так как Брюханов поторопился ответить: «Конечно, конечно, я отлично все понимаю. Это просто временная предосторожность на случай войны. И это делается не только «анонимно», но у нас даже ничего не зафиксировано на бумаге!»

Далее Бажанов пишет:

«Я понимаю,— продолжал Брюханов,— что это необходимо для членов Политбюро, чтобы предотвратить паралич в работе Центра в случае чрезвычайных обстоятельств. Но вы сказали, что хотели бы изменить систему хранения... Что я должен сделать в этом смысле?»

Последовал длинный ответ Сталина, затем Брюханов сказал, что он полностью согласен: лучшего места для хранения драгоценностей, чем квартира Клавдии Тимофеевны, не найти.

Со всеми предосторожностями ценности были перевезены на новое место хранения. В этом мероприятии участвовало несколько особо доверенных людей, каждый из которых знал не больше того, что ему было необходимо по его положению определенного звена в цепи.

Что касается самих членов Политбюро, им, конечно, было сообщено об этом фонде, созданном «на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств», однако без уточнения, где именно он находится.

Только Сталин, Брюханов, «Клавдия Тимофеевна» и — волею случая — Бажанов знали все.

Эта женщина, фамилию которой Брюханов избегал называть даже в доверительном телефонном разговоре со Сталиным, была хорошо известна Бажанову. Он знал, что речь шла о К. Т. Новгородцевой, вдове покойного председателя ВЦИК Якова Свердлова, которая обладала двумя необходимыми для этого дела качествами. Во-первых, она была известна своей неподкупной честностью и принципиальностью. Во-вторых, ее квартира находилась на территории Кремля, что было весьма удобно.

Затем Бажанов рассказал, как он получил подтверждение этой необычной информации. Он был знаком с сыном Новгородцевой Андреем, подростком лет пятнадцати, который жил с матерью. В конце лета 1927 года ему удалось завести с мальчиком беседу на интересующую его тему. Андрей рассказал, что ему дважды случилось увидеть, как его мать открывает ключом буфет в своей комнате. В буфете хранились документы ее покойного мужа, и там же лежала «целая куча» драгоценных камней. Когда Андрей спросил, что это такое, мать отвечала, что это «семейные украшения», «стекляшки» и «безделушки», которые ничего не стоят, однако, казалось, была сильно раздражена тем, что он заинтересовался ими. Но Андрей поверил матери. «Конечно, они все фальшивые,— сказал он Бажанову. — Откуда бы у нее могло взяться столько настоящих драгоценностей?» Естественно, Бажанов согласился с этим.

Заканчивает Бажанов свои показания просьбой, обращенной к британскому правительству: не разглашать эту информацию, так как она представляет ценность, только пока сохраняется в секрете.

Бажанова поражали отменные манеры здешнего общества. По его словам, на всю жизнь ему запомнился обед в обществе офицеров генерального штаба, где он был почетным гостем. Случилось так, что именно в этот вечер в Симле показывали долгожданный немой фильм «Бен Гур». Фильм должен был начаться сразу же после обеда, и все присутствующие, отобедав, направились в кино.

Бажанов, всегда одевавшийся просто, не признавая многих условностей, был без шляпы. Выйдя на улицу и оглянувшись, он увидел, что все пятьдесят офицеров, вставших вместе с ним из-за стола, были без фуражек. Как объяснил полковник Роулендсон, они все оставили свои фуражки, проявляя вежливость по отношению к почетному гостю. Ничего подобного Бажанов и представить себе не мог в коммунистической России, которую он только что

покинул. Более того, ни с чем подобным ему не пришлось столкнуться и в континентальной Европе, где он прожил в дальнейшем целых пятьдесят лет.

Однако эти впечатления, вынесенные им из Британской Индии, только укрепили его убежденность в том, что едва ли этот край сможет противостоять грядущим политическим кризисам.

Как-то Бажанов подытожил свои мысли, откровенно беседуя с полковником Роулендсоном. Разговор шел о будущем коммунистической России, затем перекинулся на судьбы Британской Индии. Бажанов спросил: «Вы выполняете здесь имперскую миссию или же приехали сюда, потому что чувствуете моральную ответственность перед индийцами?» «Мы здесь для того,— ответил полковник,— чтобы защищать интересы Англии!» «Тогда вам не придется тут надолго задержаться»,— объявил бывший сталинский секретарь.

В устах 28-летнего русского, только что прибывшего из Москвы и почти незнакомого с Индией, это прозвучало слишком уверенно, даже, пожалуй, заносчиво. Однако прямота характера была естественной чертой этого располагающего к себе, спокойного и абсолютно бескомпромиссного человека. В «той» жизни, в Москве, он точно так же говорил со Сталиным. И хотя ни он, ни полковник Роулендсон в то время еще не могли представить, что́ их ждет, уместно отметить, что годы спустя Бажанов с такой же бесстрастной прямотой высказал свои мысли высшим руководителям британской разведки, а затем ближайшим сподвижникам Гитлера.

Пока военная разведка занималась допросами Бажанова и жадно изучала представляемые им документы и аналитические обзоры, вице-король и его администрация решали проблему, как им избавиться от перебежчиков. Бажанов и не догадывался, какой густой поток писем и телеграмм, непосредственно касающихся его персоны, циркулировал в те дни между Симлой и различными ведомствами в Лондоне. Впрочем, это и к лучшему. Зачем ему было знать, как нелестно аттестуют его многочисленные чиновники, раздраженные тем, что его появление не принесло им ничего, кроме дополнительных хлопот?

Однако, прежде чем судить английскую администрацию — и особенно министерство внутренних дел,— следует вникнуть в исторические особенности того времени. Современное слово «перебежчик» со всеми ассоциациями, которое оно теперь вызывает, тогда, в 1928 году, было, по-видимому, совершенно неизвестно, во всяком случае в официальной переписке по поводу Бажанова оно не встречается ни разу. И конечно, тогда умами британских чиновников еще ни в какой мере не владел глобальный идеологический конфликт нашего времени — борьба нервов, шантаж, подрывная деятельность,— словом, все то, что много лет спустя было названо «холодной войной». Поэтому и в Симле, и даже в Лондоне Бажанова и его бесцветного спутника считали попросту дезертирами, в лучшем случае — обыкновенными беженцами. Англичанам — особенно широким кругам английской общественности, никак не связанной с замкнутым миром разведки и контрразведки,— трудно было взять в толк, что эти люди порвали скорее с режимом, нежели со своей страной.

Что касается угрозы со стороны российского колосса, то во все времена эту угрозу несравненно больше ощущала Индия, чем Англия (или даже Европа в целом). Возможно, впрочем, что и индийская верхушка чувствовала себя даже спокойнее по соседству с обнищавшей и безалаберной коммунистической страной, нежели перед угрозой императорского Санкт-Петербурга. Чтобы в 1928 году уловить весь смысл побега Бажанова и важность информации, которую он принес с собой, нужно было обладать незаурядным политическим чутьем. Как уже упоминалось, Бажанов встретил только двух людей, равных ему в этом отношении.

Остальные, включая и лондонское правительство, отнеслись к нему в общем безразлично, если даже не с презрением. Кажется, они без обиняков давали ему понять: джентльмен не меняет своей одежды, даже если внезапно выясняется, что материя оказалась не того цвета.

Кроме того, Бажанов был первым, кто так открыто перешел на другую сторону и внезапно предстал перед Уайтхоллом. То есть его случай не имел прецедента, что очень усложняло дело. Именно поэтому бежавшего секретаря Политбюро — фигуру, на защиту которой НАТО в наши дни бросило бы, вероятно, целые дивизии или десантные армады,— рассматривали просто как незваного гостя.

В пользу британского правительства можно сказать разве лишь то, что оно не занимало в отношении Бажанова и Максимова явно негативной позиции, а в общем проявляло к их судьбе казенное равнодушие. Пожалуй, можно даже резюмировать, употребляя достаточно стертое определение: «Все хотели к а к л у ч ш е». Во всяком случае — зла им никто не желал!

Между тем оказалось, что французское правительство отнюдь не прочь воспользоваться редкой возможностью заполучить к себе бывшего секретаря большевистского Политбюро. Едва англичане, боясь нарваться на отказ, начали робко зондировать почву в Париже, французы дали понять, что они были бы рады предоставить убежище обоим беглецам. Благодарное английское правительство поняло, что пришла пора официально обратиться к Франции по этому вопросу.

Франция подтвердила свою готовность предоставить убежище обоим беглецам (как с легким удивлением отмечалось в телеграмме из Лондона, «французские власти, по-видимому, жаждут поскорее допросить этих людей»). Французскому генеральному консулу в Калькутте было предписано поставить необходимые визы в документах, выданных Бажанову и Максимову «для проезда в одном направлении». Единственное, что просили французы взамен, это показать материалы допросов, находившиеся в руках англичан. Возражений с английской стороны не последовало.

14 августа из Симлы ушло последнее сообщение, касающееся Бажанова и его спутника. 18-го все было готово к их отбытию

из Бомбея в Марсель морским путем. Им не было придано ни охраны, ни каких-либо сопровождающих.

Они прибыли в Марсель, как и намечалось, 1 сентября, спустя восемь месяцев со для перехода персидской границы в Лютфабаде.

Ни одна душа не встретила их в порту. В толпе прибывших они направились прямо к поезду, отправлявшемуся в Париж, и прибыли туда вечером того же дня. Бажанов не был ни удивлен, ни тем более обижен, что их и там никто не встречает. Ему были даны обычные для всех иммигрантов инструкции, предписывающие зарегистрироваться в ближайшем полицейском комиссариате, как только он найдет, где поселиться. Он предполагал — и в дальнейшем это подтвердилось,— что французские власти найдут его через полицию.

Глава третья

Парижское досье

Когда 1 сентября 1928 года Бажанов прибыл поездом на одни из парижских вокзалов, все его имущество состояло из более чем скромной суммы денег, костюма, в который он был одет, и пистолета, с которым он теперь не расставался. Он снял недорогой номер в отеле «Вивьен», расположенном между зданием биржи и Оперой. Отныне ему предстояло то и дело перебираться из гостиницы в гостиницу, чтобы ускользнуть из поля зрения сталинских агентов, которые — он был в этом уверен — следовали за ним неотступно. Как полагается иммигранту, он явился для регистрации в местную префектуру, где ему дали понять, что его безопасность вызывает столь же серьезную озабоченность и у французских властей. Шеф местного полицейского управления прямо заявил ему, что жизнь его находится под постоянной угрозой и что по первому же сигналу из министерства внутренних дел его немедленно возьмут под охранный арест. События могут развернуться с такой быстротой, добавил префект, что полицейские будут вынуждены схватить Бажанова без всяких объяснений прямо на улице. Он должен быть к этому готов.

Впрочем, Бажанов и не нуждался в особых разъяснениях, так как еще в Персии почти полтора месяца провел под полицейской охраной. Но он счел необходимым обратить внимание префекта на другой аспект создавшейся ситуации. Со всей откровенностью он заявил ему: «И тем не менее, кто бы ни пытался схватить меня посреди улицы и затолкать в машину, я буду стрелять без предупреждения, не выясняя, ваш ли это человек или агент ОГПУ, которыми, как мы оба знаем, наводнен Париж. Предупредите об этом своих людей!» Префекту ничего не оставалось, как проглотить пилюлю, и он неохотно кивнул в знак согласия.

Через некоторое время из префектуры сообщили Бажанову, что его хочет подробно допросить подполковник Жоссе и Бажанов должен незамедлительно явиться к нему.

Это было приглашение из французской контрразведки, которая повела расследование совсем в ином стиле, чем это делали англичане в Симле. Бажанова допрашивали чрезвычайно усердно, изо дня в день, в течение двух недель. Ему не раз вспоминались неторопливые, доверительные, прямо-таки идиллические беседы с англичанами во время прогулок по садам и бульварам Симлы. Здесь, в Париже, все выглядело жестче и суше. К тому же французов интересовали принципиально другие аспекты информации. Хотя допросы вела военная контрразведка, Бажанову не было задано ни одного вопроса на военную тему. Подполковник Жоссе сосредоточился на политических проблемах. Он, в частности, хотел знать, каким образом Москва финансирует компартию Франции и коммунистов других стран Западной Европы. Он попросил Бажанова не углубляться в социально-экономические проблемы СССР, его больше интересовала борьба за власть в Кремле, основные соперники и их шансы на победу.

В результате изнурительных многодневных допросов доклад подполковника Жоссе занял более двухсот машинописных страниц. Впервые механизм советского руководства, скрытый от внешнего глаза, и распри, раздирающие кремлевскую верхушку, были показаны изнутри, и на этом мрачном фоне над всем и вся владычествовала зловещая фигура «хозяина».

Сталин дома: холодный, молчаливый и замкнутый. «Вы знаете,— сказал однажды Бажанову старший сын Сталина Яков,— мой отец во вторник сам заговорил со мной!» — «О чем же?» — «Я читал, и отец, подойдя ко мне, спросил: «Что ты читаешь?» — «И это все?» — «Да, все...» Мальчик не слышал целыми днями от отца ни единого слова, хотя в то время они жили в Кремле в одной квартире.

Сталин на работе: исключительно скрытный, коварный, снедаемый неутолимой жаждой власти, к тому же необычайно злопамятный. Глава государства, который почти ничего не читает: за те 18 месяцев, в течение которых Бажанов был его личным секретарем, Сталин прочел едва ли с десяток официальных докладных. С ленивым безразличием он присутствует на заседаниях Политбюро, никогда не выступая первым. Он высказывает свою точку зрения только после того, как выслушает мнение остальных членов Политбюро.

Однако за этим презрением к бумажной рутине и официальным процедурам кроется жгучая, безраздельно владевшая им страсть — жажда неограниченной власти, для достижения которой он со свойственной ему жестокостью использует весь механизм управления партией — так называемый «партийный аппарат».

Бажанов рассказывал, как путем сложнейших манипуляций партийными постами Сталин шаг за шагом возвел вокруг себя непробиваемую стену. Первым долгом он позаботился о том, чтобы убрать своего главного соперника — Троцкого. Последнего Бажанов характеризовал как наиболее одаренного из всех большевиков, фанатичного трибуна, способного увлечь массы, подчинить их себе, но совершенно не способного понять природу тупой партийной машины. Только война, с точки зрения Бажанова, могла дать Троцкому явный шанс

«Красная Армия боготворила Троцкого в той же мере, в какой она не любила Сталина!»

По мнению Бажанова, единственный, кто после падения Троцкого в конце 1927 года мог противостоять Сталину, был Бухарин («единственно реальная сила в Политбюро»). Однако, предупреждал Бажанов, Запад не должен обольщаться иллюзией, будто замена Сталина более умеренным лидером может каким-то образом повлиять на отношения Советской России с западными державами. И умеренные, и экстремисты в равной степени понимали, что действительная нормализация жизни в России приведет к тому, что эта страна откроется для проникновения влияния Запада. Это могло усилить зависимость СССР от «империалистического лагеря», более того, у населения возникла бы возможность сравнивать обе системы.

Из-за отсталой промышленности и несовершенства экономической системы, комментировал создавшуюся ситуацию Бажанов, это государство еще долго не сможет влиять на европейские дела. Поэтому любой преемник Сталина будет продолжать его политику, добиваясь не только неограниченной власти внутри страны, но и стараясь всеми силами изолировать ее от всего остального мира.

В беседах со своими парижскими следователями Бажанов подчеркивал, что эти размышления носят чисто академический характер. Захват власти Бухариным, даже если бы ему и удалось сплотить вокруг себя ту или иную антисталинскую группировку, едва ли можно считать вероятным. Диктатор уже крепко держит в своих руках все нити власти: Политбюро, ЦК партии, секретариат ЦК. Теоретически высшим органом власти считался партийный съезд; съезды созывались только в тех случаях, когда это требовалось опять же Сталину для формального одобрения уже принятых им решений. Ставленники Сталина занимали посты во всех районных, областных и краевых комитетах партии, управлявших жизнью людей по всей стране.

В своей практике Сталин постоянно использовал политический и личный шантаж. В парижском докладе Бажанова приводится такой пример. Михаил Иванович Калинин, один из членов Политбюро, вообще говоря, не имел сколько-нибудь серьезного веса в политике; зато он был известен как обожатель молоденьких актрис.

Одно из его любовных похождений было связано с именем известной оперной певицы Татьяны Бах, которую он «продвигал по службе» и осыпал подарками, разумеется за государственный счет. Самым шикарным подарком было соболье манто, принадлежавшее когда-то императрице. Оно оценивалось в 37 тысяч рублей и хранилось в Кремле среди прочих царских ценностей.

В 1927 году, вскоре после того, как Татьяне Бах был преподнесен этот роскошный подарок, она обратилась за разрешением на поездку за границу в составе труппы оперного театра и включила соболье манто в список вещей, которые хотела бы взять с собой. ОГПУ, не имевшее понятия о том, что этот подарок получен от члена Политбюро, направило к ней на дом своих агентов, чтобы выяснить, как эта драгоценность попала к певице. Вначале Татьяна Бах гордо молчала, но под угрозой ареста ей ничего не оставалось, как позвонить своему высокопоставленному покровителю и объяснить ему ситуацию. Калинин по телефону распорядился, чтобы актрису оставили в покое: пусть она везет с собой шубу, если ей так хочется.

Принеся извинения, агенты ОГПУ удалились, однако не замедлили донести обо всем происшедшем своему непосредственному начальнику Ягоде. Так как речь шла о Калинине — одном из девяти самых влиятельных лиц в стране, Ягода сразу же позвонил Сталину и подробно обрисовал ему ситуацию. Реакция Сталина была абсолютно для него типичной. Он распорядился не предпринимать никаких шагов, но представить ему лично подробную докладную записку. Эту докладную, как стало известно Бажанову, Сталин препроводил в свою личную секретную папку, где хранил материалы, дискредитирующие его соратников, чтобы в будущем, если понадобится, воспользоваться этими компрометирующими сведениями...

В области международной политики французы хотели знать, каковы ближайшие планы Москвы и чем она располагает для их осуществления. Кремлем действительно был разработан обширный план подрыва западных демократий путем организации волнений, заговоров и террористических актов. Наиболее амбициозной из всех намеченных акций была попытка коммунистического переворота в Германии в 1923 году. Как секретарь Политбюро Бажанов присутствовал на всех заседаниях, где в глубокой тайне вынашивался этот грандиозный замысел.

Первое заседание по этому вопросу состоялось в Кремле 23 августа 1923 года. В Москву был вызван представитель Коминтерна Карл Радек, чтобы доложить о положении в Германии и о перспективах, какие обещала планируемая акция. Радек нарисовал радужную картину растущего в рядах немецкого народа революционного движения, которое в ближайшие недели должно достигнуть апогея.

Он ждал дальнейших инструкций. Как и следовало ожидать, Лев Троцкий, страстный защитник идеи мировой революции, стоял всецело за то, чтобы нанести немедленный удар по немецкой буржуазии — ковать немецкое железо, пока горячо. Если коммунистам удастся захватить власть в Берлине, утверждал он, то это станет началом конца ненавистного для всего человечества капиталистического порядка, первая брешь в котором была пробита на русском фронте. Он призывал не упустить случай и во что бы то ни стало использовать ситуацию в Германии.

Игра стоила свеч. Но Сталин и другие члены Политбюро понимали, что риск очень велик, и предлагали повременить. В результате было достигнуто компромиссное решение, типичное для Политбюро того времени. Не разделяя в полной мере оптимизма товарища Троцкого, Политбюро все же решило предпринять активные действия с целью вызвать в Германии кризисную ситуацию.

Была выделена руководящая четверка, которой было поручено спровоцировать и возглавить германскую революцию. В ее состав вошли: «связной от Коминтерна» — он же член ЦК партии — Карл Радек, заместитель председателя ВСНХ (Высшего совета народного хозяйства) Юрий Пятаков, заместитель председателя ОГПУ Уншлихт и народный комиссар по вопросам труда Шмидт. Эта четверка, наделенная широкими полномочиями и снабженная фальшивыми паспортами, отбыла в Германию. Каждый имел свой круг задач, которые надлежало выполнить в обстановке абсолютной секретности.

На Пятакова были возложены агитация, пропаганда и связь с Москвой. Радек играл роль эмиссара Коминтерна в немецкой компартии, на него была возложена задача придать акции в целом политически респектабельный вид. Уншлихт — в соответствии со своим положением в ОГПУ — должен был выполнить грязную работу: организовать множество так называемых «красных сотен», которые будут непосредственно осуществлять «революционное насилие», а затем, после победы, станут костяком германского отдела ОГПУ, необходимого для окончательного искоренения буржуазии и других врагов большевизма. В задачи Шмидта — специалиста по рабочему движению — входило создание коммунистических ячеек на предприятиях и подготовка создания рабочих советов, которые должны будут стать «зародышем новой государственной власти».

Вскоре в помощь этой четверке был придан тогдашний посол СССР в Берлине Крестинский. На него были возложены чисто технические функции — получение из Москвы и распределение огромных денежных средств, которые потребуются для проведения подготовительной кампании, в частности агитационной (агитаторы, кстати, тоже засылались из Москвы). Руководителям германской компартии, в частности Брандлеру, была отведена только совещательная роль, местные коммунистические организации остались за бортом. Вместо них в качестве командных рычагов планировалось использовать советские дипломатические, консульские и торговые службы. «Революционные» агитаторы — немцы и другие лица, говорящие по-немецки,— были переброшены в Германию в составе «торговых делегаций». Оружие и поджигательские листовки поступали по дипломатическим каналам. Финансирование переворота шло из сумм, предназначенных для оплаты обычных торговых операций.

В конце сентября в Москве было получено сообщение Пятакова, что все будет готово в самое ближайшее время, и секретное заседание Политбюро, куда не были приглашены даже члены ЦК, назначило окончательную дату начала операции. Бажанов как секретарь Политбюро заверил это решение своей подписью и запер его в сейф. Решающее выступление было намечено на 7 ноября 1923 года. Появление на улицах толп народа в день празднования шестой годовщины Октября будет выглядеть вполне естественно. «Красные сотни» должны будут спровоцировать столкновение с полицией, после чего произойдет «стихийное» выступление масс с оружием в руках, которое завершится захватом государственных учреждений и провозглашением советской власти.

Что произошло дальше, остается по сей день загадкой истории. «Великая революция» провалилась, похоже, главным образом из-за того, что в последний момент не все центры восстания успели получить депеши из Москвы об отсрочке выступления. Так, например, курьер, направленный с такой депешей в Гамбург, заведомо опоздал: «красные сотни» уже завязали на улицах кровавые бои, которые продолжались три дня. Это вызвало замешательство в других центрах намеченного восстания, не знавших, что им предпринять: то ли воздержаться от участия в путче, то ли поддержать гамбургских товарищей. Несколько беспорядочных и недостаточно подготовленных выступлений в разных частях Германии без труда были подавлены немецкими воинскими частями и полицией.

Москва обвинила в провале руководителя немецких коммунистов Брандлера и его сподвижников, которые на время восстания были вообще исключены из игры и потому не могли нести никакой ответственности. Из доклада Бажанова следует, что хотя в немецкой компартии было достаточно тупиц, однако в провале путча большевикам приходилось винить только себя. Политика, проводимая ими в компартии Германии, была типично сталинской — ставить на ключевые партийные посты исключительно рабочих и крестьян, независимо от уровня их образования и способностей. Причем Бажанов особо подчеркивал, что эта политика была не проявлением самодеятельности немцев как добросовестных учеников, а прямо диктовалась из Москвы.

Кто бы ни был ответствен за провал, бажановские разоблачения потрясли французское и английское руководство масштабами советской подрывной деятельности, ведь она велась в самом сердце европейского континента. С протоколами допроса Бажанова ознакомились также офицеры «Интеллидженс сервис», которые только теперь поняли, какую важную птицу они упустили. Из обширного парижского досье следовало, что Борис Бажанов являлся уникальным и незаменимым специалистом, раскрывшим ряд неразрешимых до того загадок, связанных с политикой СССР.

Бажанов вел жизнь напряженную и в то же время монотонную, типичную для российского эмигранта. Он зарабатывал на хлеб журналистским трудом. Как ни трудно ему было порой сводить концы с концами, он никогда не торговал пером.

Бажанов умудрялся довольно сносно жить на свои журналистские гонорары только потому, что уж слишком ничтожны были его потребности. Даже в ранней молодости его вкусы и привычки были почти спартанскими: он не курил, пил только чай, решительно отказывался даже от рюмки вина; он не был гурманом, и пища была для него лишь средством поддержания жизни, но никак не удовольствием. Он никогда не покупал дорогих вещей, не имел никаких ценностей, одевался очень скромно, не да-

вая себе труда следить за модой. Такой образ жизни, увы, не способствовал его популярности среди русской эмиграции. Это общество в силу привычки и традиций нередко вело беззаботную жизнь, не сообразуясь с реальными возможностями. Даже спустя десять лет после революции эта среда почти не изменилась, продолжая оставаться белоэмигрантской — не только по происхождению, но и по взглядам и пристрастиям. Появление здесь бывшего сталинского секретаря было явлением экстраординарным.

Помимо того что Бажанов занимал в коммунистическом Кремле столь высокий пост, он вообще был первым коммунистом, с которым белоэмигранты столкнулись на французской земле.

В это русское общество Бажанов был введен Гукасовым — владельцем газеты «Возрождение». Много лет спустя Бажанов вспоминал, как его взору предстало впечатляющее собрание изгнанников — российских аристократов, генералов, промышленников. Он с истинно светской легкостью беседовал с ними, они интересовались, что происходит и «что слышно» в Москве. Когда гости разошлись, Бажанов поинтересовался у Гукасова, какое впечатление он произвел. «Грустное,— без обиняков ответил Гукасов.— И главное, потому что вам всего двадцать семь лет. Сразу несколько человек сказали мне вполне откровенно, что если там, в Кремле, много таких, как вы,— тогда нам, монархистам, действительно не на что надеяться!»

Только в одном отношении Бажанов вполне отвечал представлениям, которые обобщенно принято именовать «парижским стилем»: он был неравнодушен к хорошеньким женщинам. Он так никогда и не женился, предпочитая независимую жизнь в отелях семейному уюту и меблированной квартире, которую можно было бы назвать домом. Когда его спрашивали, почему он и в Советской России не делал попыток «создать семью», он просто отвечал: «Я не имел морального права жениться. Моя жена автоматически стала бы заложницей в глазах Сталина. Кроме того, она легко могла бы остаться вдовой». Это мрачное объяснение было вполне справедливым. Бажанов мог бы насчитать множество случаев, когда его жизнь подвергалась опасности, но о которых нельзя было с полной уверенностью сказать, что они были подстроены ОГПУ. Наряду с этим он насчитывал с десяток настоящих покушений, например попытку подстроить автомобильную аварию или нападение какого-то испанского анархиста, вооруженного ножом. Другие явные попытки разделаться с Бажановым были задуманы более тонко. Так, на него однажды натравили темпераментного и ревнивого мужа некой дамы, с которой Бажанов якобы находился в связи. Дело по чистой случайности не кончилось убийством...

Как-то Сталин направил во Францию одного из самых известных чекистов-убийц — Якова Блюмкина. Любопытно, что Бажанов, еще находясь в Симле, на одном из первых допросов охарактеризовал этого человека как самого опасного террориста международного масштаба. История Блюмкина, его возвышения и падения — наглядный пример, характеризующий кровавую и предательскую сущность большевизма.

Карьера Блюмкина началась в 1917 году. Он сделался тогда членом партии левых эсеров, слившейся вскоре с большевиками и показавшей себя во многом даже более фанатичной, чем они. Этот альянс с большевиками распался в 1918 году в связи с заключением Брест-Литовского мира. Левые эсеры осудили Брест-Литовск как небывалое предательство дела революции и решили, что их партии пришло время взять власть в свои руки, свергнув большевиков. Сигналом к восстанию должно было стать убийство немецкого посла в Москве графа Мирбаха. Эта акция была поручена Блюмкину.

Хотя фактически убийство совершил никому не известный матрос, убийцей посла Мирбаха считается Яков Блюмкин, что и зафиксировано в «анналах истории». Вначале этот подвиг не принес Блюмкину никаких лавров, скорее напротив. Мятеж эсеров был подавлен. Блюмкина объявили вне закона, впрочем, вскоре, спасая свою жизнь, он решил помириться с победителями-большевиками. В Москве его провели через процедуру показного суда и вынесли за убийство Мирбаха предельно мягкий приговор.

Осенью 1919 года Блюмкин снова был уже на свободе и действовал вдали от Москвы — в северной части Персии, на этот раз в качестве советника при коммунистическом бандите Качук-хане.

С 1923 года он опять становится исполнителем «особых заданий» — террористом Иностранного отдела ОГПУ. На новом этапе своей экзотической карьеры Блюмкин изменил внешность, отрастив бороду и усы. Теперь ему было поручено наладить подрывную деятельность ОГПУ на Среднем Востоке, с базой в Палестине. Под новым псевдонимом — Моисей Гурфинкель — Блюмкин организовал тут нелегальную штаб-квартиру под видом прачечной, открытой в Яффе. Отсюда Блюмкина отозвали в Москву, чтобы послать командовать отрядом головорезов ОГПУ в Закавказье: необходимо было срочно подавить восстание, вспыхнувшее в Грузии. После кровавой расправы с восставшими Блюмкин был с аналогичным заданием переброшен в Монголию.

Именно этот профессиональный убийца и был послан во Францию, чтобы ликвидировать наконец Бажанова. Это ему не удалось, но Сталин не признавал подобных провалов, и, должно быть, в Кремле было доложено, что все в порядке. Чтобы деморализовать подпольную оппозицию внутри страны и напугать тех, кто мог бы последовать примеру Бажанова, чекисты распространили слух, что Блюмкин покончил с Бажановым. Этот слух оказался очень живучим; даже много лет спустя Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» пишет о Блюмкине: «Его держали, видимо, для ответственных мокрых дел. Как-то, на рубеже 30-х годов, он ездил в Париж тайно убить Бажанова (сбежавшего сотрудника секретариата Сталина) — и успешно сбросил того с поезда ночью».

Инцидент с поездом действительно имел место, но и это покушение на жизнь Бажанова провалилось. Бажанов так никогда и

не столкнулся лицом к лицу с Блюмкиным, но ему удалось выяснить, что Блюмкин завербовал в Париже человека, лично заинтересованного в ликвидации беглеца. Этим человеком был не кто иной, как Максимов, благополучно доставленный Бажановым на Запад и живший здесь под новым фальшивым именем. Теперь, пробыв в Париже всего год или два, Максимов снова начал служить ОГПУ. Он был, кстати, двоюродным братом Блюмкина.

Бажанов ничуть не удивился, узнав о вероломстве Максимова. Он всегда считал, что Максимов продажен, как почти все представители его профессии. Приходилось учитывать и то обстоятельство, что, не обладая ни умом, ни обаянием, ни писательскими или какими-нибудь иными способностями, Максимов чувствовал себя в Париже одиноким и никому не нужным. А тут вдруг о нем вспомнили, он снова понадобился родному ОГПУ и мог рассчитывать на прощение, если окажется на высоте порученного задания.

Не приходится удивляться и тому, что, со своей стороны, Бажанов испытал известное удовлетворение, узнав о печальном конце сначала Якова Блюмкина, а затем Максимова. Рассказом о судьбе этих двух гепеушников мы и закончим наше повествование о Бажанове.

20 января 1929 года главному сопернику Сталина Льву Троцкому, который уже год как жил в ссылке в Алма-Ате, было приказано вместе с семьей покинуть пределы Советского Союза. Он направился в Турцию. Турецкие власти предоставили в его распоряжение захолустную виллу в Бююк-Ада, на Принцевых островах (в Мраморном море), до которых можно было добраться только пароходом.

Но избавиться от влияния Троцкого было значительно труднее, чем удалить его лично. Он продолжал оставаться центром притяжения для многих коммунистов вплоть до самой смерти, последовавшей десятилетие спустя (и даже после смерти). Из всех стран мира в Бююк-Ада прибывали люди с одной только целью — повидаться с Троцким. Среди таких гостей оказался и Яков Блюмкин, который в то время был руководителем агентуры ОГПУ в Стамбуле.

Напомним, что Блюмкин начал свою революционную карьеру как левый эсер и какое-то время находился в оппозиции к большевикам. Возможно, в нем снова вспыхнул давний политический идеализм, и ему по-прежнему, как в годы юности, импонировал фанатик революции Троцкий. Может быть, была тут и какая-нибудь иная причина, но во всяком случае Блюмкин согласился доставить Троцкому секретное послание из Советской России, написанное сторонниками изгнанного деятеля.

Летом 1929 года он вернулся в Москву. Его уже подозревали в симпатиях к Троцкому, однако день массовой кровавой расправы с троцкистами еще не наступил. Ветерана революции, да к тому же находящегося на блестящем счету в ОГПУ, нельзя было арестовать просто так, на основании слухов. Его шеф Ягода решил добыть необходимые доказательства. Зная слабость Блюмкина к прекрасному полу, он предложил Лизе Горской, одной из самых неотразимых женщин-агентов ОГПУ, вступить в связь с Блюмкиным и попытаться выведать у него секретные данные.

Можно предположить, что Лиза «обслуживала» не только Блюмкина, но и их общего шефа Ягоду. Как бы там ии было, Блюмкин не только откровенно рассказал ей все подробности своего путешествия на Принцевы острова, но и пытался завербовать ее в сторонники Троцкого. Так Ягода получил подтверждение, которого ему недоставало[1]. Где-то в конце августа или в начале сентября 1929 года он нанес удар: в одно прекрасное утро оперативники ОГПУ подъехали к московской квартире Блюмкина точно в тот момент, когда он вместе с Лизой отъезжал от дома, направляясь на вокзал — выполнять очередное служебное задание. Последовала короткая погоня по московским улицам, выстрелы — и Блюмкин сдался.

Суда не требовалось, ограничились обсуждением его судьбы на коллегии ОГПУ. Ягода, выследивший Блюмкина, требовал смертного приговора. Трилиссер, непосредственный начальник проштрафившегося, был против. Номинальный глава ОГПУ Менжинский, по своему обыкновению, колебался, не зная, как поступить. Поэтому дело передали в Политбюро, то есть на усмотрение Сталина, который и вынес смертный приговор. Он был не на шутку встревожен тем, что влияние Троцкого проникло на самый верх секретной полиции — в преторианскую гвардию его диктатуры.

Якову Блюмкину было всего тридцать лет. Бывшие коллеги расстреляли его в подвале московской тюрьмы.

Конец Максимова последовал семь лет спустя. По причинам, не выясненным до сих пор, он прыгнул — или его столкнули? — с площадки Эйфелевой башни. Смерть этой совершенно незначительной личности не привлекла особого внимания ни в Париже, ни в Москве.

Уход из жизни этих убийц принес Бажанову понятное облегчение. Во мраке, клубившемся над ним в первое десятилетие его пребывания за границей, появился просвет. Однако бывший сталииский секретарь смог окончательно вздохнуть полной грудью лишь после смерти самого Сталина, унесшего с собой в могилу жажду личиой мести Бажанову.

Глава четвертая

Прыжок через стену посольства

3 октября 1929 года в размеренную парижскую жизнь Бажанова ворвалась не-

[1] По-видимому, Гордон Брук-Шеперд здесь допускает неточность. В частности, если верить Александру Орлову («Тайная история сталинских преступлений», Нью-Йорк — Иерусалим — Париж, изд-во «Время и мы», 1983, с. 192), Блюмкин, несмотря на «вспыхнувшую» страсть к Лизе Г., не только не рассказал ей о своем путешествии на Принцевы острова и не пытался ее завербовать в сторонники Троцкого, но даже, будучи с ней в близких отношениях, не упомянул ни о Троцком, ни о ком-либо другом из опозиционной верхушки. (*Прим. ред. «Время и мы».*)

ожиданная сенсация: он узнал, что во французской столице объявился еще один высокопоставленный советский перебежчик. Это был не кто иной, как поверенный в делах СССР во Франции Григорий Беседовский. В отличие от Бажанова, одиссея которого заняла три месяца и охватила несколько стран, все, что потребовалось беглому дипломату,— это преодолеть расстояние буквально в два шага, или, вернее, сделать прыжок через стену посольства. Но в то время как Бажанов, покидая советскую территорию, держал под прицелом приставленного к нему чекиста, Беседовский в этот критический момент сам оказался под дулом пистолета.

Первой газетой, сообщившей о побеге, была «Матэн» от 3 октября. На следующий день скандальное происшествие обсуждалось не только всеми французскими газетами, но и прессой остального мира.

До этого ни один советский правительственный служащий или штатный агент ОГПУ не просил политического убежища за границей, не говоря уже о дипломате. А этот в свои тридцать два года был уже советником посольства. Короче, речь шла о человеке с блестящей профессиональной карьерой впереди. У всех, кому становилось известно о побеге Беседовского, на устах был один и тот же вопрос: «Что же, в конце концов, толкнуло его на этот шаг?» Исчерпывающего ответа не нашлось ни тогда, ни в дальнейшем. Даже сейчас, полвека спустя, не удается найти сколько-нибудь удовлетворительного объяснения побегу Беседовского.

Нелепее всего было бы пытаться решить эту загадку с помощью явно сфабрикованных версий. К ним относится прежде всего объяснение, приведенное в заявлении ТАСС [1], которое появилось после трех- или четырехдневного молчания советской стороны (что само по себе выглядело весьма знаменательным). Любопытны тем не менее некоторые выдержки из этого заявления:

«Бывший советник посольства Беседовский, который в прошлом вел образ жизни далеко не по средствам, растратил значительную сумму денег, доверенную ему, и оказался не в состоянии отчитаться за нее. 2 сентября с. г. Народный комиссариат иностранных дел потребовал, чтобы Беседовский оставил свой пост и прибыл в Москву дать объяснения своим действиям. Так как Беседовский не подчинился этому распоряжению, члену коллегии Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции т. Ройзману было дано указание проверить финансовый отчет бывшего советника посольства. С этой целью Ройзман 2 октября прибыл в Париж. Желая избежать предстоящей финансовой ревизии, Беседовский сделал попытку представить инцидент как политический, коим он в действительности не является, поскольку носит чисто уголовный характер. Посольство самым категорическим образом заявляет, что Беседовский никогда — ни в посольстве, ни где-либо еще — не высказывал каких бы то ни было взглядов, идущих вразрез с официальными.

Тем не менее, надеясь, что это отвлечет внимание от его действий, он стал распространять ложную версию, будто бы он и его семья подверглись в здании посольства домашнему аресту и их жизнь находится в опасности. Сообщая об этом, посольство заранее категорически отвергает любые домыслы, которые могут возникнуть в этой связи».

В этом взвинченно-истерическом заявлении отвечает действительности, по-видимому, лишь тот факт, что деньги на самом деле играли существенную роль в поступке Беседовского. Однако дело заключалось вовсе не в опустевшем сейфе советского посольства.

Достоверно и то, что старый большевик товарищ Ройзман (или, по другим источникам, Ройзенман) 2 октября прибыл в Париж со специальным заданием Кремля. Это было в тот самый день, когда состоялся побег. Но настоящие цели кремлевского эмиссара были куда более зловещими, чем представлено в заявлении ТАСС, и приказы Москвы шли намного дальше простой финансовой ревизии. Так что Беседовский нисколько не преувеличивал, заявляя, что его жизнь в опасности.

Что касается политических расхождений между Беседовским и его московским начальством, то необходимо со всей определенностью подчеркнуть: несмотря на то, что он преданно служил Москве (вплоть до своего побега), советский режим никогда не испытывал к нему особого доверия.

Украинский еврей по происхождению, родившийся в 1896 году в Полтаве, он, как и Блюмкин, в юности принадлежал к партии эсеров. После того как эсеры были раздавлены большевиками, молодого Беседовского, как лицо не вполне благонадежное, направили на дипломатическую работу за границу, в сущности в политическую ссылку. Хотя в течение последующих лет он уверенно продвигался по службе, занимая видные дипломатические посты в Вене, Варшаве и Токио, его карьера всегда представляла собой нечто вроде почетной ссылки. Наконец летом 1929 года по причинам, о которых речь будет впереди, тайное недоверие Кремля приняло более явную форму. Агенты ОГПУ, орудовавшие в парижском посольстве, как и в прочих советских представительствах за рубежом, взяли Беседовского под неусыпный надзор.

Его почта проверялась и фотографировалась; в его квартире — в здании посольства — устраивались обыски, когда он уезжал с семьей на выходные дни за город. Агенты следовали за ним по пятам, не спуская с него глаз даже тогда, когда он отлучался всего на несколько минут, например выходил почистить обувь на вокзале Сен-Лазар. Его нервы начали сдавать, он все чаще пытался снять напряжение и делал это сугубо по-российски: стрелял, например, из револьвера в собственном кабинете — потолок был буквально изрешечен пулями.

Эти странности, о которых Москва, конечно, была информирована, не способствовали доверию к нему со стороны Кремля. Кризис, однако, разразился только в сентябре, когда Беседовский вызывающе отказался провести свой отпуск в Советском Союзе. До этого он уже проигнорировал несколько вызовов в Москву для «консультаций».

[1] Оно было опубликовано в «Известиях» 8 октября 1929 г.

В тот день, когда пришел на этот счет категорический приказ, советский посол в Париже Довгалевский намеревался выехать в Лондон для переговоров с министром иностранных дел, социалистом Артуром Гендерсоном, о восстановлении дипломатических отношений между Великобританией и Советским Союзом. Довгалевский был незаменим для подобной миссии, так как именно он возглавлял предыдущие (правда, не доведенные до конца) переговоры летом того же года. Поэтому, несмотря на кризис, назревший в посольстве, он был вынужден уехать из Парижа и не имел иного выбора, как оставить вместо себя в качестве поверенного в делах своего опального коллегу, продолжавшего развлекаться стрельбой из пистолета.

Таким образом, Беседовский, став на несколько дней или недель во главе самого влиятельного в то время советского представительства за рубежом, достиг вершины карьеры. По иронии судьбы это произошло как раз в тот момент, когда, как говорят англичане, из-под него собирались выбить стул. Для дел такого рода Кремль имел в своем распоряжении специального человека, который был старым заслуженным членом партии и одновременно носил высокий дипломатический чин. Этим человеком и был упомянутый товарищ Ройзман; его должность, помимо указанной в сообщении ТАСС, «украшалась» коротким и красноречивым званием «Заслуженный чекист».

Главная обязанность Ройзмана состояла в «обезвреживании» отдельных лиц и целых зарубежных учреждений, когда они по той или иной причине попадали под подозрение.

При осуществлении любой такой операции он становился непосредственным руководителем местной сети ОГПУ и автоматически облекался чрезвычайными полномочиями. Его коллеги из ОГПУ не удивились бы, узнав, что он прибыл на этот раз в Париж с огромным, специально изготовленным чемоданом, в котором при необходимости можно было бы переправить строптивого дипломата, усыпленного наркотиками, а то и мертвого, обратно на родину. Однако Ройзману дали понять, что ни при каких обстоятельствах не должны пострадать дипломатические отношения с Францией. Это всегда было важно для Советского Союза, а вдвойне важно сейчас — из-за разрыва с Лондоном.

Даже для такого опытного агента, как Ройзман, задание было отнюдь не простым.

Вначале, правда, все складывалось как нельзя лучше. Он прибыл из Берлина с фальшивым паспортом и французской визой, которая была проштампована в посольстве без ведома Беседовского. Едва появившись в здании посольства на улице Гренель, Ройзман вооружил пистолетами обоих охранников в холле, приказав никого не выпускать из здания посольства без специального разрешения и в случае необходимости применить силу. «Это относится и к товарищу поверенному в делах?» — «К поверенному в делах — в первую очередь!»

Затем Ройзман созвал чекистский штат посольства, чтобы конфиденциально сообщить о порученном ему задании, и наконец около трех часов дня дал знать о своем появлении и самому поверенному в делах.

В тот момент, когда Беседовский услышал, что Ройзман не только появился в Париже, но уже прибыл на улицу Гренель и требует встречи с ним в «комнате 82» (которая была главным кабинетом ОГПУ), он понял, что игра окончена. Бесполезно было пытаться разрядить напряжение, как он это проделывал раньше, выстрелив раз-другой в потолок. Он известил Ройзмана, что их встреча может произойти, но чуть позже, и тут же улизнул в свою квартиру в здании посольства, где предупредил жену, чтобы она немедленно собралась и вместе с девятилетним сыном была готова к внезапному отъезду. В этот серый и дождливый день свидание с Ройзманом все-таки состоялось. Оно произошло около пяти часов вечера.

Версию последующих событий в изложении Беседовского[1] приходится принимать с осторожностью, как почти все, что он писал. Он заявляет, что на обвинение Ройзмана в критике Советского правительства и в связях «не только с врагами нашей партии, но даже с иностранцами» ответил длинной темпераментной речью, в которой критиковал сталинский режим и банду безмозглых лакеев, управляемых диктатором, который страдает манией величия.

Маловероятно, однако, что Беседовский пустился в подобные рассуждения. Прежде всего, за свою довольно длительную и успешную карьеру, вплоть до этого критического момента, он никогда не обнаруживал ни малейшей склонности к идеологическим колебаниям и «уклонам». В течение всей своей жизни он безоговорочно принимал правила игры, навязанные большевистской системой, прекрасно зная, что она собой представляет. Кроме того, было бы чистым безумием разглагольствовать в таком духе перед человеком, который был известен как один из наиболее жестоких «безмозглых лакеев» на службе у Сталина. Можно считать, что эта версия выдвинута Беседовским постфактум, в расчете главным образом на западную публику.

Однако описания дальнейших событий, которыми мы сегодня располагаем, более или менее совпадают — так что им можно, по-видимому, доверять. Когда Ройзман пригрозил, что доставит изменника-дипломата в Москву «живым или мертвым», Беседовский перестал рассуждать и обратился в бегство. Он выбежал в парадный холл, проскочил мимо своего кабинета с эмалированной табличкой «Советник посольства» и без особого труда выскочил на большой, покрытый гравием двор. Но тут он обнаружил, что комната для посетителей, расположенная снаружи здания, и караульное помещение надежно охраняются людьми Ройзмана. Два охранника с пистолетами преградили ему путь. Хотя оба знали его и еще за несколько часов до этого беспрекословно подчинялись ему как главе посольства, теперь они слишком дорожили собственной жизнью, чтобы входить в положение Беседовского. Ему было сказано более чем решительным тоном: если он сделает еще хоть шаг, они будут стрелять.

---

[1] Revelations of a Sovjet Diplomat. London, 1931, p. 264—270.

Лишенный возможности двигаться вперед и боясь возвращаться, Беседовский нашел выход, который, увы, не мог предусмотреть его самоуверенный противник. Оставив охранников в караульном помещении, закрывавшем выход на улицу, он кинул свое пальто через стену посольства, которая была не слишком высокой, и перелез через нее. Он очутился в сыром саду; единственный безопасный выход отсюда вел через другую стену, за которой находился чей-то частный дом. Однако эта стена была высотой три метра, и Беседовский уже начал было отчаиваться, когда крик жены, донесшийся из здания посольства через раскрытое окно, придал ему решимости. Озираясь вокруг, он заметил садовый стул, встав на который сумел ухватиться за верхний ряд кирпичей и кое-как перевалиться через стену.

Некая мадам Рамбо, консьержка дома, куда он вбежал, оказалась первой из французских подданных, потрясенных необычайным событием. Было около семи часов вечера.

Вторым свидетелем бегства дипломата явился вызванный сюда инспектор местного полицейского комиссариата; третьим — господин Бенуа, комиссар парижской префектуры, которому инспектор быстро доложил о происшествии. Затем к делу подключились более высокие официальные лица как из министерства внутренних дел, так и из министерства иностранных дел Франции.

В восемь тридцать вечера Беседовский в сопровождении эскорта французских полицейских, возглавляемого самим комиссаром префектуры, вернулся в помещение на улице Гренель — на этот раз с парадного входа. Последовал телефонный разговор с взбешенным товарищем Ройзманом, который, находясь в главном здании посольства, снова увидел свою добычу, правда, под защитой французской полиции, но на соблазнительно близком расстоянии. Это был как раз тот самый случай, который так метко характеризуется русской пословицей — близок локоть, да не укусишь.

Сталинский агент хорошо помнил, что приказ гласил: захватить Беседовского, никоим образом не нарушая дипломатических отношений с французским правительством.

Вступить в открытую перестрелку, да еще с самим комиссаром полиции, означало устроить шумный дипломатический скандал, что произвело бы самое невыгодное впечатление во всем мире. Спустя некоторое время можно было увидеть, как продолжают развиваться события: жена Беседовского с маленьким сыном пересекли двор, неся свой ручной багаж. Около девяти вечера ее муж победоносно завершил свою рискованную игру, длившуюся шесть часов, которые, наверное, показались всем троим невероятно долгими.

Попробуем теперь проследить истоки скандального происшествия. Все началось по сути дела в Лондоне 12 мая 1927 года в 4.30 дня, когда большая группа полицейских в форме и в штатском ворвалась в дом № 49 по улице Мургейт. Здесь размещалось официальное торговое представительство СССР в Великобритании, а также контролируемая Советским Союзом фирма «АРКОС», которая в полном соответствии с английскими законами была зарегистрирована как совместное советско-британское акционерное общество.

Полиция подозревала, что в этом здании ведется еще какая-то деятельность помимо торговой, притом явно незаконная. Ворвавшись в «АРКОС», полиция тотчас отсоединила все телефоны, обыскала всех сотрудников, захватила и опечатала почту и даже забрала шифры, которыми торгпредство легально пользовалось. Обыск закончился только в полночь и вызвал один-два инцидента, которые напоминали рукопашные схватки. Но все это было мелочью по сравнению с политическим скандалом, разразившимся на следующее утро. Советское правительство выразило гневный протест в связи с этим налетом. К протесту присоединилось руководство английских профсоюзов, затем — социалистическая оппозиция в парламенте (правительство в те дни было консервативным, премьер-министром был Стэнли Болдуин), и стало ясно, что наряду с дипломатическим кризисом назрел кризис правительственный.

Министр внутренних дел сэр Вильям Джонсон-Хикс явно пребывал в затруднении: ему пришлось признать, что некий особо секретный английский документ, который, по всем данным, незаконно попал в это здание и ради изъятия которого была предпринята вся полицейская акция, так и не удалось обнаружить. Премьер-министр вынужден был подтвердить этот факт на заседании палаты общин 24 мая. Однако, настаивал он, было найдено много других доказательств шпионской и подрывной деятельности Советов, осуществлявшейся с территории торгпредства. 26 мая Англия заявила о разрыве дипломатических отношений, и советскому послу в Лондоне Майскому вместе со всем персоналом посольства было предложено покинуть страну в десятидневный срок. Утром 3 июня Майский отбыл с вокзала Виктория, провожаемый огромной толпой симпатизирующих, в числе которых было несколько известных политических деятелей — социалистов и лидеров профсоюзов. Когда поезд тронулся, они дружно запели «Интернационал».

Случайно или нет, но этот налет, сыгравший такую роль в отношениях между двумя державами и известный под названием «Дело «АРКОС», пронзошел на следующий день после того, как между торгпредством и Мидлендбэнком было подписано соглашение о предоставлении Советскому Союзу кредита на десять миллионов фунтов стерлингов — огромную по тем временам сумму — для финансирования закупок английских товаров.

Оппозиция обвинила правящую партию в том, что тори будто бы были настолько встревожены этой уступкой Советскому Союзу, что немедленно организовали налет на торгпредство, не видя иного способа сорвать соглашение. (Никому и в голову не пришло, что сонная администрация тогдашнего премьер-министра Болдуина просто не могла функционировать с такой оперативностью.)

Однако само совпадение этих двух событий ярко показало противоречивое отношение к СССР, существовавшее в те дни в

Англии (и по тем же причинам сохранившееся до настоящего времени). С одной стороны, Советского Союза боялись как тоталитарного, полицейского государства, боялись его разлагающей пропаганды и подрывной деятельности, с другой — его рассматривали как огромный и неоценимый рынок сбыта, который сулил лондонскому Сити и английской промышленности даже бóльшие прибыли, чем те, что они получали от царской России десятью — пятнадцатью годами ранее.

Именно это двойственное отношение Англии к Советской России и значение, которое в этой связи приобрело «Дело «АРКОС», возвращают нас снова к личности Григория Беседовского. В конце лета 1927 года, вскоре после разрыва англо-советских отношений, он был переведен из Токио в Париж и, по его словам, на пути через Москву получил специальную инструкцию сделать на новом посту все от него зависящее, чтобы восстановить «расшатанный мост» между Кремлем и британскими консерваторами. Для начала ему рекомендовали возобновить переговоры о получении кредита от Мидлендбэнка или предложить какой-нибудь аналогичный финансовый проект. Москва, по утверждению Беседовского, даже рекомендовала ему посредника для выполнения этого сложного задания. Посредником стал Владимир Боговут-Коломийцев (которого для краткости будем называть просто Боговутом) — русский эмигрант, поддерживавший в те времена прекрасные отношения как с большевистским режимом, так и с ведущими бизнесменами Парижа и Лондона.

Позднее Боговут характеризовал Беседовского одному из своих парижских друзей как человека «идейного, с высоким уровнем интеллекта, но слабовольного и слишком приверженного бутылке». Восхищение же Беседовского своим новым знакомым не знало границ. Он находил Боговута «превосходным организатором», «сильной личностью», человеком, обладавшим большой силой убеждения, настойчиво расширяющим свои личные связи и неизменно добивающимся успеха.

Из всего этого ясно, что по крайней мере первые шаги дуэта Боговут — Беседовский по отношению к Англии были сделаны с благословения Кремля. Но после того как в начале 1928 года Боговут несколько раз посетил Лондон (со свойственной ему самоуверенностью он пытался убедить директора Мидлендбэнка не только возобновить старый договор, но и повысить сумму кредита до 15 миллионов фуитов), из Москвы неожиданно повеяло холодом. Беседовскому дали понять, что он превысил свои полиомочия и переговоры следует прекратить.

Начиная с этого момента действия этой парижской пары становятся, мягко говоря, загадочными. В своих мемуарах Беседовский признает, что, возобновив летом 1928 года финансовые переговоры с Лондоном, он действовал на собственный страх и риск, используя свое положение дипломата.

Трудно сказать, что способствовало успеху новой попытки соглашения с англичанами, но летом 1928 года переговоры все-таки были продолжены, и дело продвинулось. Этим летом Боговут совершил несколько поездок в Англию. На этот раз он подвергал обработке не столько самих банкиров из Сити, сколько известных политических деятелей, принадлежавших к консервативной партии. Среди них был Эрнст Ремнант, редактор влиятельного «Инглиш ревю», сэр Артур Бальфур и другие.

Беседовский вспоминает, что 8 сентября того же года, исполняя обязанности поверенного в делах во Франции, он принял нанесшего ему визит Ремнанта и обсуждал с ним перспективы сотрудничества англичан с Боговутом. Неделю спустя энергичный издатель, взяв на себя роль «толкача» с английской стороны, сообщил, что он уверен в возможности сколотить делегацию британских финансистов, которые отправятся в Москву для обсуждения условий нового кредита. Все, что ему пока требовалось для этого визита,— это перечень крупных объектов, запланированных к строительству в СССР, и приблизительная оценка стоимости каждого из них.

Беседовский получил такой перечень, составленный Госпланом, в советском торгпредстве в Париже и смело отослал его в Лондон в качестве «закупочного списка». Фигурировавшие там суммы были достаточно велики, чтобы разыгралось воображение любого западного финансиста.

Среди проектов, перечисляемых в списке, были: реконструкция советского морского и речного флота, строительство московского метрополитена, канала Волга—Дон, гигантской гидроэлектростанции на Днепре... Ничего удивительного, что общая стоимость проектов, прикинутая Беседовским, составила почти пять миллиардов рублей золотом. Финансовым воротилам, стоящим за спиной Ремнанта, Беседовский и Боговут предлагали (хотя прямо об этом и не говорилось) ни много ни мало как обеспечить программу модернизации промышленности и транспорта СССР, взамен чего Англия (как они намекнули) получит не только прибыли, но и гарантии прекращения подрывной коммуинистической деятельности, которая в сущности была единственной причиной конфликта между двумя государствами.

Теперь два предприимчивых парижских дельца оказались действительно в глубоких и опасных водах: не будучи на то уполномочены, они вели от имени правительства СССР переговоры по вопросам, чрезвычайно важным как для экономического, так и для политического будущего их страны.

Начиная с этого момента, рассказ Беседовского становится очень отрывочным и путаным. К ноябрю 1928 года он решает, что его правительство имеет некоторое право быть посвященным в ход переговоров. Побывав в это время в Москве, он до некоторой степени «подготовил там почву» — «вел беседы с некоторыми из коммунистических руководителей и соблазнял их пятью миллиардами рублей в иностранной валюте». При этом, раскрывая в Москве свои карты, Беседовский, кажется, ухитрился обойти свое непосредственное начальство — наркома иностранных дел Чичерина, с которым его связывали хорошие отношения и которому он был подчинен на протяжении почти всей своей профессиональной деятельности. Вдобавок Беседов-

ский, не сообщая, как расстроился этот гигантский замысел, намекает, что виной всему было Политбюро: он обвиняет последнее в каких-то запутанных и сложных интригах. Впрочем, крах наступил не сразу, а спустя несколько недель. В январе 1929 года Ремнант успел вновь побывать в парижском посольстве — на сей раз в сопровождении сэра Артура Бальфура и других видных политических деятелей, поддерживающих смелый проект.

Беседовский пишет, что примерно в это время сам он «уже окончательно и навсегда потерял интерес к этому делу». К тому же его партнер Боговут, разочаровавшись в плодах своих усилий, стал таким «раздражительным», что не только умыл руки и отказался от дальнейших переговоров с англичанами, но и порвал в знак протеста с советским правительством (читай: с парижским посольством, то есть с самим Беседовским).

По-видимому, ключ к разгадке этой запутанной интриги содержится в иной версии событий. Эту версию сам же Беседовский излагал Борису Бажанову вскоре после того, как остался во Франции, и Бажанов пересказал ее автору этих строк пятьдесят лет спустя. Оказывается, Боговут после провала переговоров «от имени советского правительства» не умыл руки окончательно. Он убедил Беседовского создать под прикрытием посольства некое частное предприятие. С самого начала Боговут хлопотал не в интересах государства, а лишь ради собственной прибыли, ожидаемой от лондонской сделки. Теперь он хотел получить эту прибыль таким путем: пусть лондонские банкиры в качестве жеста доброй воли уплатят парижскому посольству СССР первый взнос, как только соглашение «в принципе» будет достигнуто. Таким ходом Боговут рассчитывал обеспечить себя материально до конца своих дней.

В качестве «подстраховочного» аргумента британской стороне было сказано, что если англичане попытаются выйти на прямой контакт с Москвой для получения той или иной информации, то Кремль, разумеется, будет отрицать свою заинтересованность в сделке и причастность к переговорам, которые ведет Боговут. Как признался сам Беседовский, в какой-то момент, в 1929 году, англичане все же осторожно попытались прозондировать почву непосредственно в Москве, явно не доверяя полномочиям Боговута и Беседовского.

Первым, кто почуял неладное, был Чичерин, сразу же доложивший Политбюро. С этого момента события стали разворачиваться очень быстро и через непродолжительное время привели к вызову Беседовского в Москву и его прыжку через стену посольства.

Чтобы судить о достоверности его воспоминаний, важно попытаться понять мотивы, заставившие его просить политического убежища, и сопоставить их с причинами, которые приводит он сам. Этот вопрос занимал умы всех, кто так или иначе интересовался судьбой Беседовского той осенью: русских эмигрантов, французских журналистов, сотрудников полиции и западных разведывательных служб, которые вскоре стали выкачивать из Беседовского информацию. Наиболее оперативным оказался один из агентов разведывательной службы в Париже, который уже 5 октября, спустя лишь два дня после побега Беседовского, провел с ним двухчасовую беседу. За ней 9 октября последовала еще одна встреча. Выводы, сделанные этим парижским агентом, были не очень лестны для Беседовского. У него осталось впечатление, что дипломат — человек умный, однако неискренний, беспринципный и, возможно, даже нечестный. К тому же он «чрезвычайно болтлив и нескромен и плохо разбирается в людях».

Такого же мнения единодушно придерживалась белоэмигрантская пресса. Беседовский мог винить в этом только самого себя. Сразу же после побега он связался с газетой правого крыла эмиграции «Возрождение», предложив написать для нее ряд статей. Но вскоре он обнаружил (как и Бажанов, двумя годами ранее), что русская пресса левого направления платит куда щедрее. Но в отличие от Бажанова он изменил своему обещанию писать для «Возрождения» и погнался за деньгами, начав сотрудничать с газетой «Последние новости».

Вскоре обнаружилось, что он пересмотрел свои взгляды и на будущее собственной страны. К примеру, вначале он утверждал (по-видимому, в полном соответствии с объективной истиной), что любые социалистические движения «по типу Керенского», еще сохранившиеся в России, оказались настолько скомпрометированными, что не могут рассчитывать на последователей. Однако, переключившись на эмигрантские издания левого толка, он стал публиковать противоположные заявления, очевидно потому, что они больше соответствовали настроениям читателей этих изданий. Все это, конечно, не способствовало упрочению репутации Беседовского, и многие склонны были верить обвинениям ТАСС, распространявшимся через газету французских коммунистов «Юманите».

То, что Беседовский сразу ринулся в печать и столь быстро себя скомпрометировал, возможно, сохранило ему жизнь, хотя и ценой упомянутого морального ущерба. Известно, что в качестве мгновенной, автоматической реакции на его побег Кремль задался целью организовать покушение на него в Париже, то есть довести до конца миссию товарища Ройзмана. Впоследствии эти планы были отменены. По-видимому, верх одержали опасения политического характера: речь ведь шла о человеке, который был профессиональным дипломатом, легально аккредитованным при правительстве Франции, а не просто о каком-нибудь нелегальном агенте секретной службы. Возможно, у Москвы появилось и такое соображение: если бывший дипломат публично демонстрирует себя в качестве человека неумного и беспринципного, то живой он может представлять для своих бывших хозяев большую ценность, чем мертвый.

Но безотносительно к ценности Беседовского как публициста его побег имел для Запада огромное значение. Хотя бы потому, что он немедленно дал французским властям информацию о сети ОГПУ на улице Гренель, работавшей под дипломатическим прикрытием. Он назвал руководителя этой сети — Владимира Яновича, который

числился шифровальщиком посольства, и двух его главных помощников, Иванса и Эллерта. Последний под прикрытием официальной должности «сотрудника Нефтесиндиката» поддерживал связь с советскими агентами в Лондоне. Эти господа не стали дожидаться, когда им официально предпишут покинуть страну. Из парижского посольства начался «великий исход». Сразу же после побега Беседовского многие сотрудники вместе с кипами документов были срочно отправлены самолетом в Берлин.

Главная же заслуга Беседовского состоит в том, что он дал широкую картину деятельности советской дипломатической службы, которая кишела агентами разведки, внедренными под разными обличьями и осуществлявшими глобальную подрывную деятельность. Налет на «АРКОС» показал, что западные демократии уже давно подозревали Советы в такого рода деятельности. Бажанов предупреждал о наличии агентурной сети как в Симле, так и в Париже, и в дальнейшем мы со слов крупных деятелей ОГПУ, перебежавших на Запад, подробно расскажем о ряде подрывных кампаний, проведенных Советами. Однако Беседовский был первым, кто сумел дать описание этой деятельности советской разведки в Вене, Варшаве, на Дальнем Востоке и в центре Западной Европы.

На всех этапах его собственной карьеры он был свидетелем такой нелегальной и вместе с тем лихорадочной деятельности. Например, в октябре 1922 года, вскоре после того как он получил свое первое назначение — консула Украинской республики в Вене,— один из руководителей Третьего Интернационала Мануильский сообщил, что австрийская столица должна стать одним из центров по проведению операций Коминтерна. В качестве прикрытия планировалось использовать, как обычно, советские дипломатические и торговые миссии. Затем путь Беседовского шел через Варшаву, где в то время советский посол представлял собой фигуру, словно сошедшую прямо со страниц Толстого. Это был Леонид Оболенский, граф по происхождению и бывший тайный советник, который, будучи большевистским послом, раньше двух часов никогда не поднимался с постели и принимал своих сотрудников, не соблаговолив одеться. Между двумя стопками водки он ухитрялся подписывать документы, даже не прочитывая их. Но перед чекистами, которые имели абсолютную власть в посольстве, Оболенский — номинальный глава миссии — испытывал постоянный страх.

Положение мало изменилось к 1924 году, когда Беседовский вернулся в Варшаву на второй срок. Теперь посольство было в руках товарища Волкова — распутного, самовлюбленного и напыщенного пьянчуги, единственной заслугой которого в глазах большевистского начальства было то, что он являлся одним из участников банды, убившей 18 июля 1918 года Николая Второго и его семью в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

В 1925 году Беседовского назначили официальным представителем в США, чтобы придать определенную респектабельность советскому торговому представительству в Нью-Йорке — «Амторгу», под прикрытием которого также разворачивалась подрывная деятельность.

Соединенные Штаты с их двенадцатью миллионами негритянского населения и двумя миллионами безработных были незадолго до этого намечены Политбюро в качестве главной мишени подрывной деятельности. Это решение последовало после очевидного провала нескольких коммунистических путчей, инспирированных Советами в странах Западной Европы.

Правда, Беседовскому не удалось занять намеченный пост в Нью-Йорке из-за трудностей, связанных с получением визы. Вместо этого его направили в Токио. Его задачей как советского дипломата, аккредитованного в Японии, была организация проникновения Советов в Маньчжурию и Монголию. На эти цели Политбюро выделило огромную по тем временам сумму — двадцать пять миллионов долларов.

Как-то по пути из Токио в Париж, будучи в Москве, Беседовский получил доказательство деятельности разведывательной службы ОГПУ, так сказать, из первых рук. Нарком иностранных дел Чичерин показал ему текст телеграммы, отправленной французским посольством в Москве. В телеграмме сообщалось о его собственном назначении во Францию! В числе многих французских кодов ОГПУ расшифровало и этот.

Уже в 1926 году в зданиях иностранных посольств и миссий в Москве действовали подслушивающие устройства, подсоединенные к некоему центральному пульту. Однажды сам Чичерин был приглашен послушать, как посол Афганистана в своих апартаментах предается утехам любви с московской звездой музыкальной комедии, состоявшей на платной службе в ОГПУ.

После того как утих ажиотаж, связанный с его прыжком через посольскую стену, и были опубликованы его мемуары, дальнейшая судьба Беседовского оказалась довольно печальной.

Дело в том, что его какое-то время даже подозревали в связях с ОГПУ. К 1938 году, напротив, появились глухие слухи о его связях с гитлеровской разведкой. Однако во время второй мировой войны он в течение некоторого времени принимал, по-видимому, активное участие во французском Сопротивлении[1] и, похоже, был «прощен» Москвой.

В связи с этим не может вызвать особого удивления послевоенная деятельность Беседовского. Уже в 1945 году он как будто собирал информацию для Советской России об американских войсках в Западной Европе. На последней стадии его карьеры, когда он снова вернулся к литературной деятельности, прежние московские хозяева, кажется, подкармливали его уже открыто...

[1] По свидетельству Бориса Бажанова, в разгар войны Беседовский был арестован как участник Сопротивления, но по свойственному ему нахальству сумел попасть в относительно «комфортабельный» лагерь для интернированных, размещенный на островах французского побережья и предназначенный для задержанных гестапо мусульман. Чтобы добиться этого, он заявил, что он глубоко верующий мусульманин, и в доказательство своей глубокой веры начал регулярно молиться, расстилая молитвенный коврик.

Беседовский всегда страдал чем-то вроде раздвоения личности, и к концу жизни это стало особенно заметным. При публикации своих книг и статей он пользовался псевдонимами Иван Крылов и Кирилл Калинов. Внешне антисоветские, эти публикации представляли Советский Союз и Сталина в неоправданно оптимистическом свете. Это были годы — приблизительно с 1947-го по 1951-й,— когда в Париже на улице Гренель под дипломатическим прикрытием подвизался некий Иван Иванович Агаянц из Министерства государственной безопасности. Впоследствии Агаянц сделался руководителем службы дезинформации МГБ (в 1959 году с этой целью в Москве был создан специальный «Отдел Д»). На Западе считали, что Беседовский был одним из тех российских писателей-эмигрантов, которые использовались Агаянцем в качестве «подопытных морских свинок» с целью отработки методов дезинформации. Через несколько лет Москва стала пользоваться этим методом в мировом масштабе. Сами же писатели не отдавали себе отчета в той роли, какую играли.

Характерно, что Беседовский всегда оказывался в нужный момент там, где пахло крупными деньгами. В дальнейшем он переселился на Ривьеру. И здесь, на прекрасном Лазурном берегу, след его окончательно теряется.

Известны судьбы всех крупных перебежчиков, упомянутых в этой книге. Правда, не всегда можно с уверенностью сказать, умерли они естественной смертью или в результате несчастного случая, покончили самоубийством или были уничтожены.

Мнения оставшихся в живых относительно обстоятельств смерти их коллег также порой противоречивы. Но только о Беседовском мы не знаем наверняка — жив он и по сей день или мертв. На запрос, сделанный в 1977 году, Бюро российских эмигрантов в Париже ответило, что если он и умер, то не во Франции, так как его досье, давно уже, впрочем, не пополняемое, официально не закрыто. Объявление, специально помещенное в ноябре 1976 года в парижской газете «Русская мысль», обращавшееся ко всем читателям с просьбой сообщить, что им известно о судьбе Беседовского, осталось без ответа.

Глава пятая

Георгий Агабеков — шекспировский герой

По иронии судьбы — так по крайней мере мог расценивать эту ситуацию Бажанов — следующим советским перебежчиком, появившимся в Париже, был не кто иной, как Георгий Агабеков, прибывший сюда 26 июня 1930 года из Марселя.

Агабеков произвел на Бажанова почти отталкивающее впечатление: «Появилась безобразная юркая личность, невзрачная, с физиономией преступника,— вспоминал впоследствии Бажанов.— Глаза его рыскали по сторонам, казалось, они ощупывают поочередно все углы комнаты, точно проверяя, нет ли там ловушки».

Они беседовали всего около двадцати минут. Тема была как нельзя более важной и интересной для обоих. Агабеков рассказал, что в «тот самый день» — накануне Нового 1928 года,— когда ему предстояло отправиться «по долгу службы» на крайний юг Персии, из Москвы была получена срочная телеграмма с сообщением о побеге Бажанова.

Бажанов узнал от Агабекова, что именно последний возглавлял охоту на него в Мешхеде.

Выяснилось также, что с ведома и санкции Сталина советским дипломатическим органам в Тегеране было предписано идти на любые уступки Персии в обмен на выдачу беглеца. Эти уступки касались спорных пограничных территорий, помощи Советов в разведке нефтяных месторождений на территории Персии и даже вечного спора о зонах рыбной ловли в Каспийском море. Кремль был настолько уверен, что Персию соблазнят его обещания, что Агабекову в какой-то момент было приказано повременить с убийством Бажанова. Приказ о «ликвидации» беглеца вновь вступил в силу на заключительном этапе побега Бажанова из Дуздапа, но было уже поздно: в его судьбу вмешался британский консул.

Однако Агабеков представляет для нас интерес не только потому, что именно он преследовал в «своей зоне» бывшего секретаря Сталина, а в силу необычайно фантастической истории собственного побега. Сам он заявлял, что причиной его бегства на Запад был очевидный «крах дела коммунизма» в Советской России — крах, о котором ярко свидетельствовал повальный голод в деревне[1]. На самом деле причина его бегства была наиболее невероятной из всех, какие только можно вообразить. Не будем забывать, что речь идет о крупном деятеле ОГПУ. Уместно напомнить еще и о том, что его внешность была столь же малопривлекательна, как и его профессия.

Так вот, как это ни покажется невероятным, агент сталинской секретной службы бежал на Запад, так как, подобно мальчишке, влюбился в совсем еще юную девушку-англичанку из сравнительно небогатой семьи. В свою очередь и она, несмотря на значительную разницу в возрасте, происхождение и политические взгляды, столь же безумно влюбилась в советского резидента.

Роман между Георгием Агабековым и Изабел Стритер без преувеличения можно назвать поразительной и трагической любовной историей, едва ли не достойной пера Шекспира. Достоверные и многочисленные свидетельства этого необыкновенного романа сохранились не где-нибудь, а в государственных архивах ряда стран. Страсть, охватившая этих столь непохожих и, казалось бы, мало подходивших друг другу людей, связавшая воедино их судьбы, ощутима даже при чтении архив-

[1] См. книгу Агабекова «The Russian Secret Terror», p. 246—267. Помимо этой явной передержки в книге немало других фактических ошибок. Так, свой приезд в Париж Агабеков датирует январем 1930 года, в то время как данные полиции свидетельствуют, что это событие произошло в июне того же года.

ных бумаг с их сухим, бюрократическим стилем.

История эта началась 27 октября 1929 года, когда из Одессы в Стамбул прибыл советский пароход «Чичерин». Среди пассажиров, сошедших на турецкий берег, был армянин с желтушным цветом лица, зарегистрировавшийся по прибытии под именем Нерсес Овсепян. Его настоящая фамилия, по-видимому, была Арутюнов, однако в Персии, как стало известно в дальнейшем, он жил под именем Георгия Агабекова [1]. Теперь он был назначен в Стамбул на ту же должность, какую занимал до этого в Тегеране, а именно — главы действовавшей здесь сети ОГПУ [2]. Официальным прикрытием этого нелегального агента ОГПУ должно было стать место управляющего фирмой по продаже велосипедов и пишущих машинок.

За невинной вывеской такой торговой фирмы скрывалось гнездо шпионажа, который охватывал по существу весь Ближний Восток. Что бы ни говорил Агабеков несколько позже о своих «расхождениях» с начальством, не подлежит сомнению, что, отбывая из Одессы, он пользовался в его глазах абсолютным доверием. В сферу его «службы» входили Сирия, Палестина, Египет и в первую очередь сама Турция, за исключением Стамбула, где под крышей советской дипломатической миссии действовала «легальная» агентура ОГПУ.

Агабекову было поручено провести на этой территории ряд деликатных и в то же время важных операций. Например, в Дамаске в его задачу входило прощупать возможности создания крупного просоветского (!) арабского государства, объединяющего сирийцев и их соседей. Для осуществления этой цели предстояло добиться раскола правящей партии Египта. А затем из ее бывших членов создать левую группировку, достаточно радикальную для того, чтобы вступить в коалицию с египетскими коммунистами. Ежемесячные дотации на эти цели уже поступали из Берлина — основного финансового центра ОГПУ, субсидировавшего операции в Западной Европе и странах арабского мира.

Задачей Агабекова был не столько шпионаж, сколько разработка планов подрывной деятельности в таком широком масштабе, чтобы ослабить в этом районе земного шара влияние Англии и Франции.

О, если б Москва знала, что вся эта глубоко продуманная конспирация (а вместе с ней и все эти амбициозные планы) внезапно лопнет! И притом из-за такого пустячного факта, как объявление, которое Агабеков поместил в стамбульских газетах вскоре после своего приезда. В объявлении, подписанном псевдонимом, говорилось всего-навсего о том, что его автор ищет преподавателя английского языка.

Мисс Стритер была младшей дочерью английского чиновника, который работал в стамбульской конторе британской пароходной компании. Семья Стритеров была почти классической семьей бизнесмена средней руки — то есть небогатой и ничем не примечательной. Стритеры были респектабельны и патриотичны. Они обладали незапятнанной репутацией даже в то время, когда торговля вовсе не считалась идеальным занятием для джентльмена. Нетрудно представить, сколь ужасен был удар, постигший ничего не подозревавшую семью: [1] в самом конце 1930 года, на Рождество, вдруг открылось, что их двадцатилетняя дочь вступила в связь со своим 34-летним учеником — фактически потеряла из-за него голову.

До знакомства со своим будущим возлюбленным Изабел производила впечатление приятной, скромной девушки, даже, пожалуй, чересчур робкой и застенчивой для своего возраста. Встреча с таким по-восточному темпераментным и вместе с тем несколько загадочным человеком, как Агабеков, круто изменила ее характер. Когда родители отчаянно пытались разрушить эту связь, она проявила удивительную стойкость. Родителям помогала ее старшая сестра Сибил — сотрудница английского посольства (Изабел временно работала там же машинисткой), однако и это ни к чему не привело.

Никто в семье не мог всерьез поверить, что безобразный Агабеков мог так глубоко и искренне полюбить Изабел. Между тем роман, начинавшийся как легкий флирт, вскоре сделался единственным смыслом его жизни. Впрочем, трудно сказать, только ли эта страсть привела его к решению порвать с ОГПУ, а тем самым — и со своей родиной. Как бы скептически ни относились мы к его рассказам, что он, дескать, внезапно почувствовал отвращение к большевикам,— некоторые косвенные признаки позволяют считать, что у него действительно могли возникнуть сомнения относительно своей дальнейшей карьеры. Двух-трех ближайших коллег Агабекова неожиданно понизили в должности или уволили в отставку, и это, естественно, вызвало у него чувство неуверенности, хотя еще не страха, за собственную жизнь.

Кульминационный пункт этой истории относится к 15 января 1930 года. В Стамбул прибыл советский пароход, на котором Агабеков мог вернуться домой. По-видимому, официально его не вызывали в Москву, но ему самому не вредно было бы выяснить, какова там ситуация. И именно в этот день он решил открыться Изабел, объявив ей, кто он такой и какого рода деятельностью занимается. Как он поступит потом, зависело от реакции Изабел. Если б она в ужасе отшатнулась, узнав, что ее любовник — один из руководителей советской секретной службы за рубежом, на совести которого были даже убийства, то наверняка он отправился бы в Москву.

[1] После побега он стал именовать себя на французский манер — Жоржем.

[2] Речь идет о сети, параллельной «легальной» шпионской агентуре, которая оперирует под дипломатическим прикрытием, то есть под видом советского дипломатического или внешнеторгового персонала. Известны случаи, когда обе сети — «легальная» и нелегальная — вступали в явное соперничество друг с другом.

[1] Этот шок давал себя знать даже полвека спустя. Единственный из семьи Стритеров, кто остался в живых к середине 70-х годов и кого удалось разыскать,— младший брат Изабел. В декабре 1976 года он заявил автору этих строк, что даже теперь, по прошествии стольких лет, не может вдаваться в обсуждение «этого трагического романа» своей сестры. Будучи в то время подростком, он знал об этой истории не так уж много, но родители запретили ему даже касаться этой темы.

Но Изабел, очевидно, выдержала испытание, так как пароход ушел обратно в СССР без Агабекова. А тот вскоре обратился к английским властям в Стамбуле с просьбой предоставить ему политическое убежище. Ведь он обещал Изабел, что, если она останется с ним, он уедет на Запад, женится на ней и, порвав с Москвой, начнет новую жизнь.

Все, однако, оказалось гораздо сложнее, чем ожидал Агабеков. Не зная, так сказать, «черного хода» в британскую разведывательную службу (который в подобных случаях является главным входом), он постучался в «парадную дверь»: обратился к военному атташе британского посольства.

Назвав свое настоящее имя и должность, Агабеков заявил, что не обещает англичанам предоставить всесторонней информации, но, во всяком случае, готов раскрыть методы, используемые ОГПУ для перехвата корреспонденции, которой обмениваются министерство иностранных дел Великобритании и британские посольства и миссии на Ближнем Востоке. Военный атташе вежливо ответил, что лично он не интересуется такого рода информацией, так как состоит на службе в военном ведомстве. Впрочем, он готов передать это предложение тем, кого оно может заинтересовать. На том все и кончилось. Выждав несколько недель, Агабеков попытался ткнуться в другую дверь и сделал то же предложение сотруднику английского консульства в Стамбуле Роджерсу. И снова шло драгоценное время, а никакого ответа не поступало.

(Продолжение следует)

К нашим иллюстрациям

К 100-летию со дня рождения

Джорджо Моранди
(1890—1964)

Джорджо Моранди родился в Болонье — городе первой в мире, основанной еще в XVII веке Академии изящных искусств, где получил художественное образование и где преподавал в течение 25 лет. Свободное владение азбукой классических форм определило склонности и возможности Моранди воспринимать любые веяния и тенденции искусства через свой внутренний непоколебимый закон, наиболее близкий к понятию "Principio italiano" («Итальянское начало»), которое легло в основу сложившейся к 1919 году группы "Valori plastici" («Пластические ценности»). К. Карра — автор термина «Итальянское начало» — понимал под ним стремление художника создать произведение «выше себя, возвышающее способ видения до той степени, чтобы узреть великое в простом и истинное в природном», соблюдать «дисциплину форм».

Именно Моранди и стал абсолютным выразителем «Итальянского начала». Известный ученый Р. Лонги сказал: «Моранди кажется монастырским уставом и при этом свободной песней вечного итальянского духа».

Понятие «монастырский устав» как нельзя лучше подходит к самой жизни Моранди, мирной, замкнутой и сосредоточенной внутри себя, хотя нельзя сказать, что его не затронули бури искусства, бушевавшие в то время. Напротив, художник прикоснулся к поискам собственно всех направлений, но неодолимая приверженность к традиции удерживала его от серьезной и длительной принадлежности к любому из них. В 1918 году в феррарскую группу «Метафизической живописи» Де Кирико Моранди привело увлечение символистской поэзией А. Рембо и влияние Карра, рьяно защищавшего от футуристического разложения на элементы, на фазы движения предметную основу реального мира. Сделавшиеся впоследствии нарицательными бутылки Моранди — своего рода метафоры, аналогии, символы, составляющие основу мифа, на котором зиждется «метафизическая живопись». Но при этом он учился у живописцев Возрождения строгому расположению предметов и объемов, акцентировал все, что касается первозначности предмета в пространственно-временных решениях.

Бесконечные натюрморты Моранди называли «алгебраическими инструкциями». Однако они не самоцельны. Главной заботой художника остаются поиски соотношения между реальным видением и его изобразительной структурой. Но связь и расположение предметов в его работах по числу, месту, объему, свету определяется только умозрительным путем. Цвет не природный, а придуманный: все предметы становятся вдруг серо-голубыми или бледно-желтыми и т. д.

При этой, по выражению Гуттузо, «францисканской» аскетической отрешенности, «очищенности» Моранди вовсе отказывается от фабульности в своих натюрмортах. Его искусство являет пример освобождения от какой бы то ни было декларативности, иллюстративности и литературности. Они заменяются ассоциативным восприятием внешних впечатлений. На конфигурацию предметов в его натюрмортах влияли эмоции и зрительные впечатления окружающего. Когда художник проходил военную службу (1915), нарочито удлиненные и тонкие формы бутылок в натюрмортах напоминали ружья в казарме. В 20-е годы, в пору внутренних колебаний, он писал вазы, керосиновые лампы, предметы обихода старой итальянской жизни, по словам Арканджели биографа Моранди,— «грустные, медленные, ласковые воспоминания» совсем во вкусе любимого художником Леопарди:

Молчит тропинка каждая и на балконах,
Редкая сияет лампа ночная...

В 30-е годы «молчаливый антифашизм» Моранди сказался в изображении — единственный раз в его жизни — поломанных, попорченных, болезненно деформированных предметов в мрачных, темных по цвету натюрмортах. В период Сопротивления реакция на окружающую реальность тоже выразилась в соответствующих образных ассоциациях, описанных Арканджели: «Будто чувствуем, как резонируют торжественные шаги тех, кто посещает на любимом кладбище дорогих покойников, которые не возвращаются, но возвращается наконец Италия, она сопротивляется, тайная, чарующая «земля мертвых».

В повторе сюжетов и тем, если их вообще можно так назвать, сказывается толкование времени у Моранди. Розы, цветы, часто встречающиеся в натюрмортах (1946—1948), безжизненные в нереальном и вневременном пространстве, блеклых красках, не распустятся и никогда не увянут. Ничто не может меняться, быть подвержено времени, истории и существует в раз и навсегда данной статике, как во вневременности мифа.

Среди многих «мифов» фашистской Италии родился и «миф» об «одиноком художнике» Моранди. Он был далек от политики, неоднократно заявлял о своей неспособности к продуманному политическому выбору. Как-то он сказал своему другу: «Башня из слоновой кости? Но я еще окружу ее колючей проволокой».

Для возникшего в огне второй мировой войны и развивавшегося в послевоенные годы неореализма именно Моранди стал главным объектом нападок, выразителем вкусов того слоя общества — «мелких буржуа», который играл главенствующую роль в рождении фашизма. Однако Гуттузо, глава неореализма, предлагал не путать политические понятия и принадлежность к определенному слою интеллигенции. Сомнения, недостаток внутренней свободы, молчаливый протест Моранди — типичная позиция многих итальянских интеллигентов, стремившихся сохранить свою индивидуальность. Моранди никогда не терял своего лица, своей манеры. Все тот же натюрморт в абсолютной тишине, где все «покрыто патиной и пылью остановившегося времени — тончайшей и неощутимой пылью древних умерших солнц...» — как сказал критик К. Мальтезе. Отсутствует суета, царит непреодолимая тишина созерцания, самопогружения, проникновения в суть вещей.

Скорее всего здесь-то и кроется разгадка высокой оценки Моранди, мастера однообразного, камерного жанра, которого относят к числу значительных художников XX столетия в Западной Европе и, уж бесспорно, в Италии.

Е. ХЕРСОНСКАЯ

Авторы этого номера

МАРГЕРИТ ДЮРАС (MARGUERITE DURAS; род. в Южном Вьетнаме в 1914 г.) — французская писательница, драматург, сценарист. С 1927 г. жила во Франции. Автор романов «Спокойная жизнь» («La vie tranquille», 1944), «Сквер» («Le Square», 1955), «Модерато кантабиле» («Moderato cantabile», 1958), «Вице-консул» («Vice-consul», 1965), «Английская любовница» («L'amante anglaise», 1967), «Болезнь смерти» («La maladie de la mort», 1982) и др. По ее сценариям поставлены фильмы «Хиросима, любовь моя», «Столь долгое отсутствие», «Желтое солнце» и др.
Повесть «Любовник», за которую Маргерит Дюрас была удостоена Гонкуровской премии, вышла в 1985 г. («L'amant». Paris, Editions de Minuit, 1985).

СТИВЕН ВИНСЕНТ БЕНЕ (STEPHEN VINCENT BENET; 1898—1943) — американский поэт и новеллист. Автор сборников стихов «Пятеро и Помпей» («Five Men and Pompey», 1915), «Порывы юности» («Young Adventure», 1918), «Небо и земля» («Heavens and Earth», 1920) и др., поэмы «Тело Джона Брауна» («John Brown's Body», 1928; удостоена Пулицеровской премии), «Кошмарный сон в разгаре дня» («Nightmare at Noon», 1940), «Западная звезда» («Western Star», 1943) и др. По-русски отдельные стихотворения С. В. Бене печатались в антологиях, сборник рассказов «За зубом к Полю Ревиру» вышел в Библиотеке журнала «ИЛ» в 1988 г.
Публикуемые фрагменты поэмы С. В. Бене «Тело Джона Брауна» печатаются по изданию Ann Arbor, Ardis, 1979.

ФИЛИП РИДЛИ (PHILIP RIDLEY) — английский писатель и художник. Автор рассказов и романа «Глазами мистера Гнева» («In the Eyes of Mr. Fury», 1989).

ЭЙДАН МЭТЬЮЗ (AIDAN MATHEWS; род. в 1956 г.) — ирландский англоязычный писатель. Автор двух сборников стихов, трех пьес и сборника рассказов «Приключения в батискафе» («Adventures in Bathyscope», 1988). Э. Мэтьюз — лауреат нескольких литературных премий.

ДЖЕЙМС ЛАСДАН (JAMES LASDUN; род. в 1958 г.) — английский писатель и поэт. Сборник его рассказов «Серебряный век» («The Silver Age») был отмечен в 1986 г. премией Дилана Томаса.

ДЖОАН СМИТ (JOAN SMITH) — английская писательница и журналист. Автор романа «Отчего они не кричат» («Why Aren't They Screaming?», 1988) и книги «Облака обмана» («Clouds of Deceit», 1985), посвященной испытаниям атомного оружия в Великобритании.

Рассказы Филипа Ридли, Эйдана Мэтьюза, Джеймса Ласдана и Джоан Смит взяты из сборника «20 моложе 35. Рассказы лучших молодых писателей Великобритании» («20 under 35. Original Stories by Britain's Best New Young Writers». London, Hodder and Stoughton, 1988). Переводы выполнены участниками семинара при редакции «ИЛ», руководитель — И. Багров.

ПЕТЕР КАРВАШ (PETER KARVAŠ; род. в 1920 г.) — словацкий писатель, автор двух романов, нескольких пьес и сборников рассказов. В 1968 г. был исключен из Союза словацких писателей, после чего около десяти лет не печатался у себя на родине. Восстановлен в 1990 г. Недавно вышел новый сборник его рассказов. На русском языке публиковались отдельные рассказы П. Карваша. В 60-е годы его пьесы «Святая ночь», «Антигона и другие» с успехом шли на сценах московских и ленинградских театров.
Рассказ «Об умении слушать» взят из сборника «Новые юморески и прочие пустячки» («Nové humoresky a iné chatochveilé». Bratislava, Slovenský spisovatel, 1986).

ГЕРТРУД ФОН ЛЕ ФОРТ (GERTRUD VON LE FORT; 1876—1971) — немецкая писательница, почетный доктор теологии Мюнхенского университета, член Баварской академии изящных искусств, Западноберлинской академии искусств. Лауреат литературных премий. Автор поэтических сборников «Гимны к Церкви» («Hymnen an die Kirche», 1924), «Гимны к Германии» («Hymnen an Deutschland», 1932), романов «Папа из гетто» («Der Papst aus dem Ghetto», 1930), дилогии «Плат Вероники» («Das Schweißtuch der Veronika», 1928—1946), многих новелл и эссе. Предлагаемые стихи взяты из книги «Стихотворения» («Gedichte», 1953).

ВЕЙККО ХУОВИНЕН (VEIKKO HUOVINEN; род в 1927 г.) — финский писатель. Автор романов и сборников рассказов: «Хавукка — мыслитель («Havukka — ajattelija», 1952), «Мышь» («Hiiri», 1950), «Хапуги» («Hamsterit», 1957), «Зимний турист» («Talvituristi», 1965), «Свободные отношения» («Vapaita suhteita», 1974), «Собачий цирюльник» («Koiran kynnen leikkaaja», 1980) и др. Публикуемые рассказы взяты из сборников «Министр по делам окружающей среды» («Umpariston ministeri», Keuruu, Otava, 1982) и «Преподаватель математики» («Matikanopettaja», Keuruu, Otava, 1987).

ШЕСТОВ ЛЕВ (псевдоним Льва Исааковича Шварцмана; род. в 1866 г. в Киеве, умер в 1938 г. в Париже) — философ и литературный критик. Окончил юридический факультет Киевского университета. В 1920 г. эмигрировал из России и поселился в Париже. Автор многих сочинений, опубликованных на русском и европейских языках. (Собр. сочинений, т. 1—6, Санкт-Петербург, 1911), «Афины и Иерусалим» (Париж, 1951), сборник статей «Умозрение и откровение» (Париж, 1964) и др. Статья «Юлий Цезарь» Шекспира» взята из книги Л. Шестова «Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления». С.-Петербург, 1905).

МОТРОШИЛОВА НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНА — историк философии. Автор ряда книг по истории европейской философии, в том числе «Познание и общество. Из истории философии XVII—XVIII вв.» (1969), «Путь Гегеля к «Науке логики» (1984), «Социально-исторические корни немецкой классической философии» (1990) и многих статей в отечественной и зарубежной печати.

СОЛОВЬЕВ ВЛАДИМИР ИСААКОВИЧ (род. в 1942 г. в Ленинграде) — журналист, литературный критик, защитил диссертацию по поэтике Пушкина. Его статьи печатались в советских периодических изданиях. В 1977 г. эмигрировал из Советского Союза. В настоящее время живет в США. Автор статей, публиковавшихся в американских газетах и журналах, книг (в соавторстве с женой, Е. Клепиковой), «Юрий Андропов — тайный ход в Кремль» и «За высокими стенами Кремля». Статья «Был ли Фрейд великим писателем» получена от автора в рукописи.

ГОРДОН БРУК-ШЕПЕРД (GORDON BROOK-SHEPHERD) — английский журналист, историк, писатель. Окончил Кембриджский университет. Много путешествовал по странам Азии и Ближнего Востока. Автор книг: «Австрийская Одиссея» («The Austrian Odyssey»), «Орел и единорог» («Eagle and Unicorn»), «Куда ступал британский лев» («Where the Lion Trod»), «Аншлюсс» («The Anschluss»), «Между двумя флагами» («Between Two Flags»), «Долфус» («Dollfuss»), «Последний из Габсбургов» («The Last Hapsburg») и др.
Книга «Буревестники» вышла в Англии в 1977 г. («The Storm Petrels». London, Collins, 1977).

Переводчики:

ХОТИНСКАЯ НИНА ОСИПОВНА — советский переводчик с французского. В ее переводе публиковались новеллы современных писателей — Бориса Виана (в сборнике «Пена дней»), Жильбера Сесброна (в сборнике «Елисейские поля», Библиотека «ИЛ», 1987).

ЕЛАГИН ИВАН ВЕНЕДИКТОВИЧ (наст. фам. Матвеев; 1918—1987) — русский поэт. С 1943 г. жил за пределами Советского Союза. Автор сборников стихов, вышедших в США и Германии: «По дороге оттуда» (1953), «Отсветы ночные» (1963), «Косой полет» (1967), «Дракон на крыше» (1973), «Под созвездием Топора» (1976), «В зале Вселенной» (1982), «Тяжелые звезды» (1986). Начиная с 1988 г. стихи И. Елагина публиковались в советской периодике. Книга его избранных стихов «Курган» готовится к изданию в 1990 г. издательством «Художественная литература».

ВОРОНИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1924 г.) — переводчик с финского. В его переводах издавались произведения финских классиков и современных писателей, в том числе повести и рассказы П. Хаанпяя, Т. Пекканена, О. Палохеймо, М. Хялли и др. В «ИЛ» печатались рассказы М. Ларни (1978, № 7), роман Симо Оянена «На небо — с гарантией (Забавная сатира в эпизодах и сценах)» (1983, № 10).

СТЕФАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1939 г.) — советский поэт, прозаик, переводчик. В его переводах публиковались стихотворения А. Шенье, Э. Верхарна, А. Рембо, Ф. Вийона, Э. Боске, Ф. Г. Лорки, Я. Сейферта, романы М. Бети «Помни Рубена», С. Бадиана «Кровоточащие маски», повесть Вольтера «Белый бык», роман-репортаж Робера Мерля «Солнце встает не для нас» («ИЛ», 1988, № 10) и др.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ И ПОДПИСЧИКОВ

В 1991 году редакция предполагает опубликовать:

«Костры тщеславия» Тома Вулфа

Первый роман лидера школы «нового журнализма», провозгласившей некогда гибель романа как формы.
Это живое, динамичное повествование, представляющее собой срез жизни сегодняшнего Нью-Йорка.

«Жидкая кровь» Франсуазы Саган

Роман о любви. Действие происходит в годы второй мировой войны во Франции, оккупированной немецко-фашистской армией.
Одно из новых произведений этого популярного автора.

«Билли Батгейт» Э. Л. Доктороу

История знаменитого американского гангстера.
Впервые этот автор стал известен советским читателям по нашумевшему роману «Рэгтайм», перевод которого в исполнении Василия Аксенова был опубликован в «Иностранной литературе» в 1978 году.

«Маятник Фуко» Умберто Эко

Как и предыдущий роман этого автора, «Имя розы» (в нашем журнале он был опубликован в 1988 году), «Маятник Фуко» значится в списке книг, имеющих сегодня наибольший читательский успех.
Его герои — наши современники, одержимые идеями мистических учений, футурологии, переоценки традиционных представлений о физических и духовных возможностях человека.

«Фердидурка» Витольда Гомбровича

Возможно, лучшая книга одного из крупнейших польских писателей нашего века. Его произведения, переведенные на многие языки, советскому читателю пока неизвестны.
«Фердидурка» (1938 г.) — это и сатирический гротеск, и философская повесть, и литературное эссе;
в центре повествования — переживания гимназиста, его первые любовные приключения, столкновение естественной, непосредственной личности с закоснелостью общественных норм.

«Яркие огни большого города» Джея Маккинерни

Написанная с мягким юмором повесть о молодом американце, оказавшемся в сложной жизненной ситуации.
Фоном служит повседневная жизнь Нью-Йорка.
С именем автора читатели «Иностранной литературы» познакомятся впервые.

«Это было, когда...» Хуана Карлоса Онетти

Повесть уругвайского писателя, произведения которого печатались в Советском Союзе в серии «Мастера зарубежной прозы».
Повесть рассказывает о «падшей женщине» из кабаре, связавшей свою судьбу с авантюристом.

«Ковентри встает из руин» Сью Таунсенд

Трагикомические злоключения молодой провинциалки в Лондоне. Сью Таунсенд известна читателям «ИЛ» по фрагментам книги «Тайный дневник Адриана Моула в возрасте $13^{3}/_{4}$ лет» и «Тяжкое отрочество Адриана Моула».

«Гибель всерьез» Луи Арагона

Роман-исповедь художника, мыслителя, публициста, привлекшего в 60-е годы внимание читателей и критиков оригинальностью формы, лирическим пафосом, смелостью суждений об искусстве, о бурной истории XX века.

Документальная проза и публицистика

Будет продолжена начатая в этом году рубрика «Вера и мораль», в которой публикуются труды выдающихся проповедников различных религий мира.
Мы представим читателю работы
Кароля Войтылы (папа Иоанн Павел II)
и популяризатора дзэн-буддизма
Дайсэцу Судзуки.

«Тайная жизнь Сальвадора Дали, описанная им самим». Сальвадор Дали

Автобиографическая книга.

«Одна из нас» Хьюго Янг

Главы из недавно вышедшей в Англии биографии Маргарет Тэтчер.

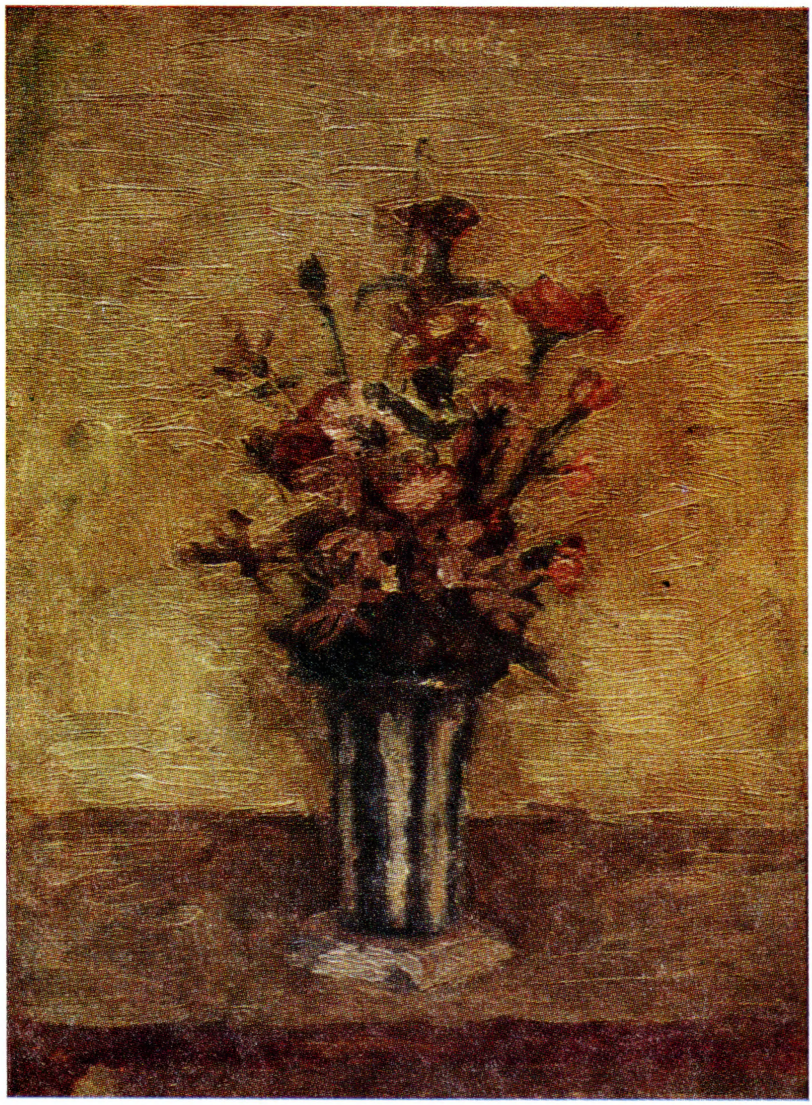
«Кокаиновые короли» Гая Гульотты, Джеффа Лина
История Медельинского кокаинового картеля и борьбы с наркомафией в Колумбии и США.
Книга вошла в сборник лучших произведений американской документальной прозы 1989 года.

А также проблемные статьи, дискуссии, переводы наиболее значительных публикаций на актуальные темы из зарубежной печати.

Натюрморт.

1 р. 80 к.

ИНДЕКС 70394



ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1990, № 6, 1—256